Роман
Шмараков
Овидий в
изгнании
Salamandra P.V.V.

Salamandra P.V.V.

Роман Шмараков

ОВИДИЙ В ИЗГНАНИИ

Роман

Salamandra P.V.V.

Шмараков Р. Л.

Овидий в изгнании: Роман. – Salamandra P.V.V., 2011. – 590 с., илл. – PDF.

В книге Романа Шмаракова прорабы и сантехники становятся героями «Метаморфоз» Овидия, летучие рыбы бьются насмерть с летучими мышами, феи заколдовывают города, старушки превращаются в царевен, а юноши – в соблазнительных девиц, милиционеры делятся изящными новеллами и подводные чудовища сходятся в эпической баталии.

«Овидий в изгнании» – лаборатория, в которой автор весело и безжалостно потрошит множество литературных стилей и жанров от волшебной сказки и рыцарского романа до деревенской прозы, расхожей литературы ужасов, научной фантастики и «славянского фэнтэзи» и одновременно препарирует ткань собственной книги.

В этом невероятно смешном романе-фантасмагории, написанном классическим филологом и известным переводчиком античной поэзии, гротеск соседствует с абсурдом, бытописательство с безудержной фантазией, шутовство – с дерзкими и точными описаниями окружающего нас культурного хаоса.

ОВИДИЙ В ИЗГНАНИИ

Глава первая,

в которой обход дома № 37 приводит к неожиданному погружению в личную память и к повести о двух великих грешниках

Сначала построили дом. Газета «Алый шюцкор», бывший орган обкома комсомола, написала: какой прекрасный построили дом! Его венчает башенка, и местные жители уже успели испытать к нему стойкую приязнь и по-доброму окрестить его «Дом с башенкой». Ее видно отовсюду. Даже под кровать заберись и укутайся одеялом, все равно хоть плинтус от нее да будет видно. Тут газета немного отвлеклась по привычке к низменному, но потом сделала над собой усилие и выразила надежду, что новый дом станет оазисом радости и благоустройства, детских качелек и задорного смеха. Въехали люди, наставили декабристов на подоконники, повесили бра над зеркалом и исподнее на балконе.

Потом выяснилось, что под домом залегает что-то не соответствующее плану и смете. Супесь там какая-то или почвенные воды, что-то такое. И все это, с башенкой вместе, вкрадчиво, но неуклонно проседает. Сначала не поднимались на крыльцо, а спрыгивали, и это было даже забавно, только те, кому надо было коляску из подъезда вывозить, жаловались, но для них принайтовили фуникулер к рябине напротив подъезда.

А потом один мужик с первого этажа выходит утром на кухню, механически отмечая, что погода, знать, дурная, раз так темно, и видит в окне что-то вроде школьного плаката по биологии на тему «Верхние слои почвы». Видит он земной срез, неровно проходящий вдоль форточки, скудную травку, колосящуюся выше окна, и ее крепкие желтые корни, уходящие вглубь. Тут вот строительная щебенка, ниже нечернозём, а там глина залегает, у нас ее много, но, к сожалению, не фаянсовая, пробовали уже. А в перспективе угадывается магма и земное ядро. Земля за окном источена червяками, как в познавательном кино из их жизни, и из дочки-

ной кормушки для синичек какой-то крот, примостившись, семечки подъедает.

Мужик, придя в себя, идет к соседу сверху и, разумеется, не находит у него сочувствия.

– Ну, земля, – говорит тот. – Это еще что. Вот однажды жена моя купила, значит, рыбу, салаку какую-то, на метры она ее, что ли, покупала, как елку, хрен ее знает, длинную, в общем; и вывесила за окно, потому что не влезает же никуда, не бухтовать же ее, а резать ее нож не берет, она же мороженая и спина у ней – дай Бог каждому. Прямо не спина, а становой хребет рабочего класса. И вот я прихожу утром на кухню; чего-то мне было как-то нехорошо, не помню... и вижу это я, представь себе, в окне, как кино Спилберга. Спина в чешуе, толстая, выгнутая, плавник этот на ней дорсальный... или вентральный, в общем, неважно... и синичка, значит, на ней сидит, такая желтенькая, как голубь на ковчеге. А мне и так нехорошо, и я, конечно, подумал первое, что подумал бы любой ответственный человек на моем месте: все, думаю, всемирный потоп вновь настал. И мне предстоит сделать все возможное, чтобы спасти генетический фонд человечества. Передать потомкам нашу выносливость и романтику, нашу непримиримость и любовь к закатам, наше внутреннее горение и острый ум. Тогда я с размаху бросаюсь в лодку и гребу, гребу...

– Погоди, – говорит мужик, – считай, что ты уже догреб до полной передачи генофонда, и давай по существу. Ты пойми, это сейчас тебе смешно, а где гарантия, что этот горообразовательный процесс до твоего этажа не дойдет? Ты большой любитель изучать скрытую жизнь грибниц?

– Нет, – признается сосед. – Я по ягодам больше. И на рыбалку.

– Много ты ловишь, если твоя жена гирляндами из салаки карнизы украшает. Ну, твое дело, чем забавляться. Посоветуй мне, что делать?

– Ну, что. Помнишь, тут щит висел, когда мы уже въехали, а пятый подъезд еще достраивали, – с телефонами ответственных лиц.

– За передачу фонда?

– За ввод в строй.

– И что?

– Я телефон прораба тогда списал.

Тут мужик вроде заподозрил что-то.

– Скажи-ка мне, милый друг, – спрашивает он, – что это за пристрастие у тебя – списывать телефоны прорабов? Зачем это тебе, ответь на милость?

– Ну... как зачем.

Мужик этим ответом не удовлетворился.

– Я, – говорит, – так и знай, этим ответом не удовлетворился. И полагаю, что ни один ответственный человек на моем месте им не удовлетворился бы. Ну, мы же с тобой соседи – не разлей вода, ты же протекаешь на меня, как на родного, рассказывай давай, зачем тебе прорабы!

И сосед рассказал.

– Мне, – говорит, – гадалка нагадала, что будет мне счастье, когда шестнадцать раз кончу партию «рыбой», играя с одними прорабами, причем каждый раз с новыми. Теперь я их пробую.

Мужик плюнул.

– Везет, – говорит, – тебе на рыбу. Сколько комплектов отработал?

– Четыре.

– Давно начал?

– В прошлом феврале.

– Ну, успеха. А с нашим-то играл? Могу я на тебя сослаться в разговоре?

Сосед разрешил.

– Можешь, – говорит. – Ссылайся. Напомни ему, как он у меня торшер согнул; ему неудобно станет.

– Ну, про торшер я ему, конечно, напоминать не стану, – отвечает мужик, – это неприличный способ добиваться своих целей, а в общем – спасибо за консультацию.

И пошел звонить прорабу.

Тот принял к сведению и даже принес искренние соболезнования. Но что-то отвлекало его всё время – то ленточку зовут перерезать в торжественной обстановке у нового трамвайного депо, то в почетные пионеры посвящают, то еще что – в общем, в вихре светской суеты как-то он закрутился и, понимаешь, совершенно забыл, что есть на свете такой мужик, который, из глубины почв звоня ему по телефону, проводит дни в бесшумной темноте; чьи огромные глаза оставляют за собой при движении фосфоресцирующий след и для которого главной забавой жизни стало ловить не успевших развернуться кротов, быстро открывая перед ними форточку. Подождав месяц-другой, мужик позвонил ему снова. Теперь он напомнил про торшер. Тогда прорабу стало неудобно, и он приехал.

– Поезжай, Коля, – сказал он служебному водителю, тяжело садясь позади его овчинной спины. – Время помочь людям.

Увиденное привело его в оцепенение. Опомнившись, он молча и не оборачиваясь поехал в стройуправление и позвонил генподрядчику.

Тот снимает трубку, и между ними происходит следующий разговор.

Прораб говорит: приятного дня, успехов во всём, а я, собственно, Ген, чего звоню. Тут объект у нас был, если помнишь, улица имени К. Фридриха, дом тридцать семь. Генподрядчик говорит: как не помнить, помню; а ты помнишь, Петрович, как звезды, горевшие над этим домом, слагались для нас в новые созвездия, созвездия Борьбы и Труда, а искры от сварки, взлетавшие к ним, символизировали, что на пыльных тропинках... Прораб говорит: да, было, чего греха таить. Так вот, съездить бы туда. Место там ненадежное. Гиблое место. Генподрядчик отвечает: шатается он? так что нужды? Не будет яркой доминанты – так будет яркая достопримечательность. Крен его откорректируем и оставим в пределах допустимой погрешности. Допустимой, но привлекательной туристически. Палатки разобьем вокруг, пиво-воды всякие, кукольников из села позовем, они настругают нам макетов чудесного дома и выкрасят их оптимистической хохломой. Потом англоговорящие гиды... Прораб его перебивает: стой, Ген, не увлекайся. Он проседает, причем решительно. Как никому просесть не удавалось. Генподрядчик отвечает: грусть-тоска меня снедает. Никакой возможности конструктивно мечтать. Ну, что с тобой поделаешь, поехали на объект.

Приезжают на объект и смотрят на него, в думу погруженные, с возвышенности.

Генподрядчик спрашивает: а что это у него, дорогой друг, подъезда нету? Прораб отвечает: а это потому, Гена, что у четвертого этажа подъезд не планируется. Генподрядчик, очень заинтригованный, переспрашивает: а это четвертый этаж? Ему говорят: четвертый. – А три предыдущие где? – Говорят: там.

Пошли смотреть.

У проходного окна жильцы наклали кирпичей уступчиками.

– Я думаю, мы о своем приходе не будем оповещать общественность, – сказал прораб.

– Повременим, – согласился генподрядчик.

Слезли с подоконника в кухню. Генподрядчик с непривычки ногой в кастрюле застрял. Хозяйка разоряется:

– Ты бы, – говорит, – чертов сын, хоть разувался, прежде чем в борщ залезать.

– Посторонись, мамаша, – серьезно говорит ей прораб. – Не время думать о частном. Стыдно предаваться борщам, когда лучшие люди неисходно погружаются в пучины земли.

– Ландшафт надо было изучать, махинаторы! – кричит хозяйка. – Понастроили – из сортира дуб растет! Плитку финскую разворотил!

– Ты, тетка, не горюй, – говорит ей прораб. – Первые десять лет дуб растет медленно, зато потом его плодами можно будет кормить свиней, если ты приложишь усилия развести их, а под его широкой сенью найдет себе приют усталый путник. В прежние времена люди, не выращивая ни ядрицы, ни гречки, ни вьетнамских вяленых бананов, питались желудями и жили в полном довольстве. В те времена не было ни зависти, ни злобы, люди жили долго, а умирали безболезненно и охотно, словно отправляясь в интересное путешествие со скидкой от профсоюза. Я мог бы, тетка, многое рассказать тебе о тех временах, чтобы отчасти просветить твою неосведомленность, но наши производственные нужды призывают нас вниз, в жерло событий.

– Ну, путь добрый, – говорит хозяйка. – Кастрюлю-то разуй, нечего по коридору греметь, муж спит, ему в ночную смену.

Они сняли кастрюлю и вышли из кухни.

– И вот еще что, – сказал прораб, оборачиваясь на прощанье. – В шелесте его листвы ты сможешь расслышать предсказания своей будущности. Более того, я настоятельно рекомендую тебе их расслышать.

Они вышли на лестничную клетку.

– Капуста в носке хлюпает, – сказал Генподрядчик. – Никакой культуры еды у людей, лишь бы брюхо набить. Каменный век.

– Лифт не вызывай, – предупредил Прораб. – В шахте вода.

– И что, он не ходит?

– Отчего же, ходит. Но всегда полный.

– Кем? – не понял Генподрядчик.

– Ну, прежде всего, водой. А в нее рыба заплывает. Из подземных полостей. И катается.

– Какая рыба? – заинтересовался Генподрядчик.

– В основном, слепая пещерная мойва. А кроме того, удильщик-долопихт и палочкохвост. На нерест заходят также японский девичий бычок, королевская макрель и живоглот Кали.

– Долопихт – это у которого удочка с фонарем? Как в мультфильме «Поиски Немо»?

– Совершенно верно. Хотя в мультфильме была скорее неточно изображена *Linophryne arboriphera*. Личинки глубоководных удильщиков, встречающиеся лишь в тропических водах Мирового океана, последнее время в изобилии находятся на ковриках под дверью квартир первого этажа. Коты притаскивают. Петровы из рук выбились. Вся, говорят, лестничная клетка в светящихся

железах и обонятельных органах. Того гляди поскользнешься и всю морду себе разоришь.

После этого увлекательного разговора, напоминающего диалоги кстати в романах Майн Рида, когда бурый носорог уже отбежал от поврежденной пальмы с героями и можно рассказать читателю об особенностях его (носорога) брачного поведения, Генподрядчик задумался и говорит:

– Зря ты меня, Петрович, остановил насчет англоговорящих гидов. Тут очень можно было бы развернуться. С этими долопихтами – у них ведь, говорят, половой диморфизм сильный?

– Прямо замечательный диморфизм, – подтвердил Прораб. – Из соседних домов справедливо удивляются. Какой тут у вас, говорят, редкостный половой диморфизм.

– Ну вот. А на комбикорм они идут?

– Нет. Им охотиться надо, у них природа такая, ее не обманешь. А комбикорм в воде пассивен. Скучно с ним.

– А прикармливали место?

– Не учи ученых-то. Небось не забыли.

– На что же он клюет?

– Как раз на четвертый этаж и клюет. Там кнопки в лифте горят, это для них первое дело. Как вот, к примеру, премировали тебя за ударный труд поездкой в столицу, приехал ты, побрился и пошел вечером, как стемнеет, смотреть на Главное здание МГУ. Красиво.

– Так и разъезжают? – подивился Генподрядчик.

– А почему нет. Рылом с разгона в кнопки клюют. На самый верх, правда, боятся: там светло и атмосферное давление маленькое. Хотя, говорят, один раз летучие рыбы доехали до башенки и под ее куполом бились с летучими мышами за среду обитания. Красочное было зрелище, народ сбежался. Ставки делали.

– И кто победил?

– Мыши, разумеется. Они же прогрессивнее в биологическом плане. А рыбы, какие в паутине не позастревали, те улетели клином в реку. Картина естественного отбора, полная печального очарования.

За этим разговором они миновали третий этаж.

– Хотя хорошего мало. Тут одна латимерия доехала до шестого. Мужик вышел к мусоропроводу покурить, глядь – распахивается лифт, пена оттуда хлещет с морскими звездами, фораминиферами всякими, и эта латимерия, значит, выползает на своих лопастях, отряхивается и прямо на него, и глазом так блещет, мол, встретился ты мне, Павел Сергеевич, в свой недобрый час, заплачут твои детушки...

– Погоди. Латимерия – это кто?

– Единственный, Гена, сохранившийся вид лопастеперых рыб, известных с середины раннего девона. Водится только на Коморских островах и у нас, и то обычно выше второго этажа не поднимается. Она, с ее консервативными устоями, лифт плохо переносит. Эту как занесло в такую даль – непонятно. Видать, отпетая была. А он, между прочим, спортсмен, в восьмидесятом году с факелом бежал, а тут, понимаешь, под руками ничего. А она головой мотает и эволюционирует, собака, ну прямо на глазах: плавники превращаются в лапы, плавательный пузырь – в легкие, механизм дыхания меняется с нагнетательного на более совершенный всасывательный, хорда окостеневает, в глазах какой-то разум начинает проблескивать, пока непросвещенный, но тем не менее. Того и гляди, что начнет заниматься живорождением прямо в его присутствии. Подползает к нему, этак бочком, зубы свои скалит и норовит за штанину ухватить. Ну, он опомнился да и ткни ее окурком в глаз. Она завыла – и в

лифт. Он за ней, да не успел. Лифт захлопнулся и дернул вниз. Мужик потом жалел: такую, говорит, голову мог на стенке повесить! ни у кого нет – лишь расхожие олени и банальные кабаны! Но с тех пор, заметь, ни одна лопастеперая на шестом этаже не выходила. Это у них генетическая память: одна обожглась – всем заказано.

– Отрадно думать, – отметил Генподрядчик, – что человеческий разум все еще выходит победителем в конкурентной борьбе за жизнь на суше.

– Да. Соседи тоже его поздравили. Тут у них поэт-песенник на седьмом этаже, он про Павла Сергеича песню написал, «То не вечер – выходила из реки», не слыхал? Про подвиг его беспримерный там сильно выражено. В нужных словах.

– Нет, не слыхал.

– Ну, и дети, конечно, утренник в его честь заделали. Сами сценарий написали и сами инсценировали. Всем подъездом, от подземельных до девятого этажа. В едином порыве признательности. «Спасибо дяде Паше сердца приносят наши». И конкурсы тоже были, куда без этого. Без конкурсов только гражданские панихиды бывают, и то не всегда. С завязанными глазами конфеты срезали с бельевой веревки.

– И как?

– С разным успехом. Те, которые с первого этажа, им глаза без надобности, они привычные. А которые с верхних – только веревку зря искромсали. Говорил я им, проволоки возьмите стальной, вон, из неликвидов, и вешайте себе на здоровье, – все без толку. Своим умом жить хотят. Ну ладно.

– Темь-то какая.

– Это как раз первый этаж. В глаз-то мне не тычь пальцем, они у меня не в ассортименте. Звук слышишь?

– Нет.

– А теперь?

– Вроде плачут. Глухо, будто через дуршлаг. Это что, Петрович?

– Это домофон. Иди на звук, входная дверь там.

– Домофон? А кто по нему, очень интересно знать, разговаривает? И с кем?

– Неизвестно. Все жильцы открестились. У нас, говорят, это не в заводе, чтоб в домофоны разговаривать. Бог знает кто там в дверь просится – герпес еще от него подхватишь.

– Нет, ну как это. Сквозь эту решетчатую дыру бьется живой человеческий голос, а с ним никто не подружился? Пробовали говорить-то?

– А как же. Первое время особенно; еще любопытные все были. Интенсивно осваивали новый и полный стольկими неожиданностями мир.

– И что он о себе сообщает?

– Скупо он о себе сообщает. Никаких паспортных данных. Больше на жалость бьет. А когда выведут из себя, пророчить начинает – святых выноси. Пикееву посулил рокового брюнета в казенном доме, так на него в парикмахерской портрет Де Ниро упал, щека до сих пор дергается.

– У Де Ниро?

– Де Ниро – великий артист и прекрасно контролирует свою мимическую сферу. Одним смещением лицевых мышц он способен погрузить тебя в бездну отчаяния или растворить в негасимом смехе. А если он снимается из материальных соображений, так не нам его укорять, отнюдь не нам. Мы бы тоже снимались из

материальных соображений, да про нашу фактуру сценариев не писано. Щека дергается у Пикеева. Искусство никогда не оказывало на него такого оперативного влияния. Вся его семья в этом признается.

– Какого Молоха выкормили на груди.

– Это, я тебе скажу, мелочи еще. Старушка глухая, из восьмой квартиры, к домофону таскалась что ни день, на демократов жаловаться. Он терпел недели две, а когда она стала на все правительство поименно почесуху призывать, возьми и отяготи ее предвестьем. Тебе, говорит, одуванчик плотоядный, оттого все не мило, что молодость твоя и гладкость с тебя сошли, а будь ты опять как в тридцать втором годе, когда паспорта вводили, ты бы такого жару врезала, что и демократам, в свою очередь, было бы что вспомнить под старость лет. Она хоть и глухая, но по принципиальным вопросам слышит хорошо. Все ты врешь, говорит, нас не так воспитывали. Меня и сейчас хватило бы себя блюсти в безукоризненности. Я, говорит, когда писала Молотову... Он ей: вот Молотова не надо сюда вмешивать, а насчет безукоризненности – это мы посмотрим. На этом все разошлись по своим делам.

Утром она проснулась, как обычно, в седьмом часу, послушала по приемнику потусторонние голоса, бессильно клевещущие на наш курс реформ, потом немножко поговорила об услышанном по телефону с приятельницей («Нет, вы слышали, Серафима Павловна, как они об этом говорят?») и около девяти часов вышла за хлебом. Идет, ногами шевелит. Все как водится. Только замечает, что встречные как-то так посылают ей взгляды, как лет пятьдесят не посылали, и с удивительным, заметим, постоянством. Она, не зная, как понимать это постоянство, решает его не замечать. Проходит с буханками мимо гостиницы, стекла зер-

кальные, бонсай из карликовой березы с галькой, микрофлора всякая в горшках, все такое, и тут швейцар, до ужасного холеный, весь в галунах, дверь перед ней распахивает: вы, говорит, отчего же мимо нас идете? Это даже обидно для людей, что вы не заходите. Она, конечно, обклеила его словами, дескать, приспешник ты и подручник, и потянулась дальше. Но чувствует, что приспешники и подручники, сколько их там было, от мала до велика все высыпались из дверей и смотрят ей вслед, так что на ней вся спина взмокла. И идет она, уже близко к дому, мимо бутика; в витрине манекены стоят. Она зачем-то остановилась и видит среди них один не по моде: девица в костюме эпохи немого кино. Старушка, подумавши, что вот вытащили в санитарный день куклу из запасников куда не надо, хотела уж идти, как вдруг заметила, что девица тоже выказала такое намерение. Старушка остановилась и удивилась, и ее удивление правдиво передалось девице. Насторожившаяся старушка то медленно вытянет руку, то стремительно согнет ее, то коснется носа трудовым пальцем – и все это передается девице без малейших погрешностей. И тогда старушка понимает, что это не манекен, а ее собственное отражение в стекле и что она в нем ни дать ни взять Виржиния Черрилл в «Огнях большого города»: шляпка-колокол на золотых кудрях, египетский орнамент на блузке и беспомощнонежная улыбка маленького рта. Господи, твоя воля на все, думает старушка, – что же это со мною! Оглядывает себя без посредников – никаких изменений: галоши с малиновой утробой и кофта машинной вязки. Смотрит в зеркало – опять Виржиния Черрилл: «Куда же Вы, возьмите сдачу!» Окрыленная ужасом, несется она домой, буханки на пути роняя, и влетает в квартиру, забыв запереть дверь. А в эту пору по лестнице

спускается овеянный славой Павел Сергеевич – и, проходя мимо полуоткрытой двери, из одной соседской предупредительности заглядывает внутрь, дескать, не случилось ли чего, что нуждалось бы в его героической реакции. И вместо этого видит он старушку, которая в тот момент достает из сетки батон «Нарезной», с его сытным блеском плавных нарезов и пышных закруглений, приняв для этого самую естественную позу, то есть прогнувшись в спине и согнув правое колено, так что каблук немного не касается ягодицы, и ее фигура с батоном образует слоговой значок катаканы, обозначающий «дзу». Павел Сергеевич реагирует на эту жанровую сценку с чрезвычайной быстротой и точностью, заперев за собой дверь, так что лишь тонкий аромат славы на лестнице дает понять, что он здесь проходил. «Как вы сегодня, Нина Тимофеевна, – говорит он, – свежо смотритесь». И к ней. А она от него, чуя недоброе, давай вокруг стола и говорит: «Оставьте меня, Павел Сергеевич, мне нынче нехорошо». Он: «Вам нехорошо? Вам очень идет!» – и за ней. Тут уж, как говорится, позиции определились. «Павел Сергеевич! – кричит она. – Срамник! Я же вашего отца знала еще вот таким! Он же был приличнейший человек!» – и показывает пальцами, каким она его знала в пору его приличия. А тот: «Да будет вам, Нина Тимофеевна, отца-то поминать! Он тоже, я вам скажу... тот еще был! Именно: тот еще был он!» «Как же вы так о родном-то отце?» – возмущается она. «Так ведь если до того дошло, что меня им незаслуженно укоряют! Он в Кандалакше-то знаете как отписывал? Вы поезжайте в Кандалакшу, вам там расскажут!» Нина Тимофеевна отзывается в том смысле, что стара она, дескать, в Кандалакшу ездить, а Павел Сергеевич с увлечением продолжает оправдываться в своей разнузданности: «У

него там пассия была, он ходил к ней, пока ее муж в бухте исполнял обязанности лоцмана на опасных местах. Батя, значит, пришел как-то раз, она его с одушевлением встречает, а он возьми в какой-то момент и прожги ей окурком матрас, исключительно по неосторожности». «Это у вас, значит, наследственное, – комментирует Нина Тимофеевна на бегу, – окурками тыкать». «Да, – с охотой соглашается визави, – и не только это. А матрас у них был такой, знаете, какие водой наполняют, и огромнейший. Воду ее мужу по дружбе в бухте, корешей-то пруд пруди, загребали ковшом прямо с камнями, с кабелями, бывало, телеграфными. Он, значит, лопается, и весь дом заливает волною морскою. Настроения, конечно, уже никакого, она бьется в истерике, как русалочка при отливе, швыряется в него галькой, а он уворачивается, чтоб не в голову пришлось. Ей, конечно, мало того, что мужу надо объясняться, который на тот момент уже миновал все опасные места и усталый возвращается домой, заслужив благодарность просвещенных мореплавателей, так ведь еще соседи снизу, можете себе представить. Стоит натуральный содом, она гребет горстями гальку из матраса, вся от медуз в волдырях, они там жгучие, доложу я вам, он отбивается этажеркой, а тут как раз по всему подъезду поднимается суета, потому что в бухте нерпа пошла...»

За время этого повествования Нина Тимофеевна, увернувшись от его цепких пальцев, вскочила на туалетный столик, с него на штору, с которой переселилась на шкаф, заразительно чихая от пыли; Павел Сергеевич, взгромоздившись вслед за ней, полз, огибая по экватору глобус и чемоданы, отсекая своей жертве путь к целомудрию и одновременно договаривая про нерпу; и тогда Нина Тимофеевна, вручив себя провидению, с последним криком:

– Как завидна мне растительная жизнь! – ринулась вниз.

И разом все стихло.

Павел Сергеевич свесился верхней половиной со шкафа и не нашел уже следов преследуемой им женщины с нежным маленьким ртом и нарезным батоном. На полу стоял, покачиваясь от глухого удара, керамический горшок с ползучим растением традесканцией, она же бабьи сплетни. Медленно миновав глобус и смахнув бедром пушистую пыль с местности, где Абель Тасман впервые встретил своих собак, Павел Сергеевич спустился на твердую землю, полил традесканцию разведенным спиртом, сел подле нее на пол и лапидарно откомментировал: «Вот, значит, как».

– Недоброе устройство вмонтировали в дверь, – оценил Генподрядчик услышанную историю. – Пойдем, поговорим.

Они придвинулись к двери и оказались замеченными.

– Здравствуйте, – говорит им домофон с подъемом в интонации. – Приятно видеть новых людей, для которых живое общение остается повседневной ценностью. Вы какую квартиру представляете?

– Мы, – говорит Генподрядчик, – представляем стройуправление и вообще компетентные структуры.

– Ага, – говорит домофон. – Вот как. Это, значит, я вам обязан своим вводом в строй. Очень, очень приятно познакомиться.

– Ну, хорошо, – говорит тогда Генподрядчик, – мы представились, а вас, позвольте спросить, как зовут?

Домофон откашлялся и говорит:

– Зовите меня Измаил. Несколько лет назад…

– Э, нет, – возражает Прораб, – не пойдет. Это было уже. Читал я эту книжку. Давайте начистоту.

– Ладно, – отвечает ему домофон с некоторой досадой. – Начистоту так начистоту. Знай, о прораб, что мой отец был царем этого города, и звали его Махмуд, владыка черных островов. Когда я вошла в пору девичества, мое дыхание было подобно мускусу, а полнота моих бедер…

– Хватит тюльку-то гнать, радио «Свобода», – говорит Прораб. – Это я тоже читал, в «Библиотеке всемирной литературы», иллюстрации Рокуэлла Кента, стихи в переводе Давида Самойлова. Не надо обижать нас таким обращением, будто мы тут собрались далекие от культуры люди. Правду говори, нечего нищего за пупок тянуть, да была б она погуще.

Домофон говорит с раздражением:

– Ты бы, – говорит, – прораб, чем «Библиотеку всемирной литературы» читать, за сыном своим следил, который сейчас документальными кадрами из «Плейбоя» потолок у себя в комнате оклеивает, или на трубах меньше экономил, а то все стояки в подъезде дискретные.

Прораб, хоть был человек сдержанный, а этого не вытерпел.

– Щедрин, – говорит, – в тебе умер. В страшных муках. Михаил Евграфович. Это тебе мое слово, попомни его, когда придется.

– Ты, – отнесся к нему домофон, – это к чему сказал, прорабья твоя душа?

Генподрядчик, слушая их бездельную перебранку с большим неудовольствием, наконец не вытерпел и пресек.

– Самим-то вам не стыдно? – напустился он на них. – Как дети малые, ей-богу! Давайте, в самом деле, в руках себя держать! Петрович, ты-то! Самойлова он читал! Рокуэлла Кента разглядывал! Еще и раскраши-

вал, небось! А где главное, что отличает воспитанного человека от варвара, – умение дисциплинировать свои чувства? Зачем тебе «Библиотека всемирной литературы», если она не делает тебя лучше?

Все устыдились, а домофон засопел.

– Вернемся к вопросу, – продолжил Генподрядчик. – Позвольте все-таки узнать ваше имя-отчество.

Домофон тут завел свою привычную песню, что-де он вырос в ленинградскую блокаду, не имея возможности пить и гулять, но Генподрядчик эту безответственную болтовню пресек.

– Вы, – сказал он, – этот дивертисмент, я вас убедительно прошу, сократите по возможности. Мы наслышаны уже о нем. Ближе к истине.

Тут домофон сломался.

– Хорошо, – вымолвил он. – Я вам все расскажу, все. Но запомните, вы сами этого хотели. Подумайте, не стоит ли остановиться сейчас. Вникните в то, что вы можете выйти из моего рассказа совсем не такими, как входили в него.

– Если, – говорит Прораб, – наша беспечность станет для нас причиной мировоззренческих потрясений, это во всяком случае наша забота. Довольно предостережений – к делу.

– Так вот, – сказал домофон. – Меня зовут Маша. Еще несколько лет назад моя жизнь текла безмятежно, и даже в страшном сне, которых у меня не случалось, потому что, имея наследственную склонность к полноте, я старалась не есть после шести часов вечера, мне не могло присниться, что я кончу свои девические дни заживо погребенной в сырой земле, привратником в доме, куда никто не входит и откуда мне не суждено выйти.

Генподрядчик оглянулся (поскольку начал уже что-то различать в темноте) на Прораба, ожидая, не опротестует ли он и этого зачина, опираясь на свою читательскую осведомленность, но лицо его, слабо освещенное багровым блеском домофона, выражало спокойное одобрение.

– Кстати, о бедрах, – сказал он. – Ты, дочка, сколько в них имела?

– Девяносто восемь, – со сдержанной гордостью сказал домофон. – В талии шестьдесят шесть.

– Не соврала, значит, про царя островов. Джинсы, небось, носила.

– Уж не без этого. Так вот, я вошла уже в ту пору разумения, когда не могла не знать, что являюсь объектом низменных желаний мужчин, в частности одноклассников, учителя физкультуры и соседей по подъезду. Не стану скрывать, что сознание этого вселяло в мое сердце суетную гордость, которая лишь разрасталась от ежедневной привычки холодного обращения с моими пылкими поклонниками. Они писали мне стихи – я со смехом подчеркивала в них грамматические и просодические ошибки; они тратили ночь с пульверизатором, выписывая страстные слова на асфальте под моим окном, – я поливала их свежие признания из лейки; они дарили мне скворцов, обученных говорить нежные непристойности, – я сворачивала им шею и варила из них бульон.

– У тебя вообще как с готовкой было?

– Неплохо. Мама приучила. Тушеное мясо не очень выходило, а супы, пожарить, пироги всякие – это лучше меня не было. А насчет скворцов, это я в микояновской кулинарии нашла рецепт; там всего ничего и надо: белого вина стакан, петрушку с репчатым луком

спассеровать в сотейнике, труда почти никакого, а вкусно удивительно.

– Такая девка задаром пропадает, – со вздохом сказал Прораб. – Суп со скворцами. Фигурка какая. Еще и музыкальную школу кончала, небось.

– По классу вокала.

– Ген, ты подумай, мы не можем новый домофон сюда выписать, а этот свинтить как неработающий? Или надо коллективное письмо от жильцов сочинять в газету?

– Лучше сначала в газету, – решил Генподрядчик. – Там рубрика есть, «Доколе».

– Да помню я, первый раз, что ли.

– Ладно, потом обговорим.

– Так вот, – продолжал домофон. – Родители холили меня и лелеяли. А поскольку юности не свойственно думать, сколь она преходяща, то мои дни проходили в ненарушаемом блаженстве, и владычествовать над окружающими вошло в мою кровь. Но небо наказало мое самолюбие тем единственным родом казни, который был соразмерен моему греху, – безответной любовью.

Слышно было, как Прораб повел бровью.

– Мы встретились в спортивном зале. Он учился двумя курсами старше меня. Мое сердце заходилось тоской, когда он полз по канату. Его гибкое тело, его равнодушную улыбку я видела, когда закрывала глаза, и видела, когда открывала их, когда луна выкатывалась над трубами и когда тучи бежали мимо солнца. Я не стану унижать себя описанием всего, мною предпринятого, чтобы привлечь его внимание, не переступая границ стыда слишком явственно; все было тщетно, он проходил бы и сквозь меня, если бы небу было угодно придать такое свойство физическим телам. Вызнав те-

му его диплома, я взяла курсовую на смежную тему, достигла в ее разработке небывалой новизны и хитростью добилась, чтобы наш общий научный руководитель назначил нам консультацию одновременно. Потом, облекшись видом простодушия, я попросила его, когда мы покинули нашего старого научного руководителя, объяснить мне некие истины, которых объяснения мне было стыдно спрашивать у педагогов. Он взялся мне помочь, и мы шли по аллее, усаженной каштанами, погруженные в обсуждение спорных вопросов, а звезды, сардонически мигая над нами, складывались в ясные картины грядущего: Стрелец, бурно скача, пронзал мне предсердие, Дева в тартарийской колеснице падала в зев распахнувшейся земли, слепые Рыбы тыкались мордами в кнопки лифта, а слабый Цефей и его тщеславная жена на костяной кровати были свидетельством, до чего слепота и надмение могут довести единственного ребенка в семье. Тонкий месяц вывесился над пожарной частью, и в мою душу впервые за долгое время сошло успокоение: я решила, что добьюсь своего. Он назначил мне вторую встречу, поскольку я притворилась, что не поняла некоторых его объяснений; и тогда, достигнув пятой степени любви и разъяренная равнодушной благожелательностью, с какой он отзывался на мои просьбы, я обнажила душу и показала ему все черные камни отчаяния, желтые камни коварства и алые камни самолюбия, которые с некоторых пор составляли все мое сокровище, неустанно перебираемое в тиши ночей. Должна ли я сказать, как он, в молчании выслушав мой рассказ, расхохотался в ответ – а, отсмеявшись, поведал мне одну историю? «У одного моего знакомого, – сказал он, – была когда-то подруга, “телка просто исключительных данных”, по его выражению. Можешь себе предста-

вить, что, будучи в общем человеком гармоническим в душевном плане, от общения с нею он дошел до такого утончения ревности, что, сняв квартиру напротив ее дома, – а это было сложно, потому что напротив ее дома была только фабрика-кухня и школа служебного собаководства, – в этом своем закутке примостил телескоп и проводил за ним и туманные, и ясные ночи, сходя с ума от того, что у нее может зародиться хотя бы мысль о неверности ему, и вместе с тем сгорая от странного нетерпения застать зарождение этой мысли в сложной системе стекол, изобретенной Галилеем для совершенно иных надобностей. Заметь, это была не совсем ревность, хотя даже она представляла бы необычное для его натуры изощрение, – это была, скорее, какая-то редкая форма *Lust zu fabulieren*, которой я не хочу давать психоаналитических толкований, потому что не питаю слабости к психоанализу. И вот однажды, когда он, не спавши уже более недели, незаметно для себя поник, уткнувшись виском в отверстие телескопа, – его девушка на том конце перспективного схода, в белой ночной рубашке, сползающей с плеча...»

– Остановись, – сказал Генподрядчик, и лицо его выразило страдание.

– Гена, что с тобой? – участливо спросил Прораб. – Ты об этом что-то знаешь?

– Не спрашивай. А тебя я прошу – остановись! Ты была стократ права, напрасно мы вынудили тебя на откровенность. Если бы знать, какой ужас может таиться в каждом подъездном дупле, – но разум человека, благодетельно ограниченный, надломился бы под таким знанием! Замолчи, будь милосердна!

– Э, нет, уважаемые, – отозвался домофон с невыразимым ядом в голосе, – утро, я вижу, еще не наступило, оно вообще здесь наступает крайне редко, и зри-

тель может узнать о дальнейшей судьбе полюбившихся ему героев. Неужели ты, Гена, не хочешь увидеть, как, выслушав его анекдот, она, с остановившимся лицом, спускалась по лестнице, а из тетради с конспектами, забытой в ее руке, выпадали листы и разметывались по ступеням...

– Стой!

– И как потом, выйдя в полночь на перекресток четырех дорог, она, с мертвой кошкой в руках...

– Прекрати!

– Маша! – прогремел Прораб. – Пусть он сделал тебе больно – будь выше этого! Мстительность как лейтмотив делает повествование скучным – вспомни графа Монте-Кристо!

– А потом ее плечи и руки, лядвеи с тонкой кожей...

– Маша! – это кричали они оба.

– Дочь! хоть ты мне, правду сказать, сразу понравилась, я не посмотрю, что у тебя погонный метр в бедрах и суп со скворцами, – я замазки-то возьму и зашпаклюю твою щель заподлицо! Мне даны такие полномочия!

– Прораб! ты уже не нужен, – властно сказал домофон. – Твоя роль в этом сюжете – роль попечительного, но простодушного отца, осведомленного в топографии окрестностей, – исчерпала себя, и читатель начинает тяготиться твоим присутствием. Это я тебе как профессиональный сказитель говорю. Еще когда ты давеча пел панегирики Де Ниро, который в них абсолютно не нуждается, читатель думал про себя: батюшки-светы, что за резонер такой на нашу голову! мало нам их в офисе, что ли! Боюсь, мы вынуждены сказать тебе: прощай!

– У Петрова, помнится, мастика была. Он, как въехал, сразу отремонтировался. Пойду займу у него. Не уходите никуда.

– Прораб, дальше твоего спутника поведу я. Время отрочества и опеки для него кончено. Горький мир ему предстоит, и пользование разумом потребует от него большого мужества. А ты прощай. Раз.

– Да погоди ты, дочь, погоди, осталось несколько сюжетов, которые без меня будут трактованы с недостаточной полнотой или неверно. Если бы...

– Два.

– Вот, к примеру, королевна одна стояла на крепостной стене, а там бойницы, знаете, так сделаны...

– Три!

Прораб исчез.

Генподрядчик обернулся в темноте, ощупывая ее руками.

– Гена, я не буду спрашивать тебя, как ты мог обо мне забыть и столько лет не интересоваться моей судьбой, потому что ты ответишь: «Что ты, я тебя не забывал», и этот разговор станет пустым и оскорбительным для обеих сторон. Ты, собственно, не за этим пришел. У тебя дом проседает. Ты битый час стоишь у входной двери и никак из нее не выйдешь. Пойди, сориентируйся на местности, тебе же читали соответствующий курс. Ты был душой компании геодезистов, эти суровые люди оттаивали в твоем присутствии, а вокруг их глаз лучились морщинки смеха. Ну же, найди рычажок на двери, у тебя в подъезде нет, что ли, такого?

– У нас другая конструкция, – пробормотал Генподрядчик, концентрически шевеля руками, как бомбейский брамин и йог.

– То-то, что конструкция. Себе, небось, получше изыскал. И жена у тебя доктор искусствоведения.

– Кандидат пока.

– Я слышала, доктор.

– Слушай больше, люди втрое прибавят.

– И грудь у нее, говорят, пятый номер. А на самом деле, значит, один и шесть в периоде.

– Удивительные какие способности к остроумию. В студенческие годы, помнится, больше было в тебе патетики. Что значит – долгая медитация и внутренний диалог в темноте.

– Ну, Гена, я же от любви. Она же все не проходит. Открывай, сколько можно копаться!

– Погоди, Маш. Я понимаю, годы одиночества привили тебе бескомпромиссность, но у читателя, пока он еще благосклонно настроен, может родиться упрек в жестокости. Зачем вы, скажет он, избавились от Прораба Петровича, мы так свыклись с его незатейливыми научными экскурсами и патерналистским типом реакций. Давай намекнем, что он вернется, как все хорошее – как теплые денечки и гибкость суставов – а дальше, я предчувствую, нам предстоит столько всего, что о нем вряд ли кто вспомнит.

– Хорошо. Вот за что я тебя люблю. Давай намекнем.

Они намекнули, и Генподрядчик всей массой надавил на литую дверь.

Неровное небо из серного колчедана нависло над ним, и фонарь у подъезда, с лампочкой, вывернутой вопреки естеству, как шея у висельника, окрашивал небо рефлексами багреца. От другого фонаря, некогда стоявшего симметрично первому, остался лишь грубый спил, и кольца на нем красноречиво указывали, что ему довелось пережить нелегкие годы, годы скорби и нужды, трубы и вопля на твердые грады. У лавочки, разъеденной термитами, покачивалась порыжелая дет-

ская коляска, в лицевом отверстии которой, густо увешанном гремушками, бессмысленно вращал глазами довольно крупный мужчина. «Мама, – сказал он, увидев Генподрядчика. – А-а». «Не сейчас», – досадливо сказал Генподрядчик, прислушиваясь к дальним звукам, напоминавшим стон со сжатыми зубами. Он сунул человеку пенопластового Деда-Мороза, которого тот немедленно препроводил валенками вперед, как усопшего, себе в рот до отказа, и глаза его вспучились. Генподрядчик отошел и стал на растрескавшуюся вместе с асфальтом надпись белой эмалью: «Женя с 6-го этажа! Хотя твои окна выходят на противоположную сторону, но поскольку там набережная, я вынужден писать о своих чувствах к тебе здесь. Виталик». Стон, которому он пристально внимал, несся от недалеко смыкавшегося горизонта, и в том беспорядочном смешении языков и диалектов, которое кипело под его однородной поверхностью, Генподрядчик опознал английский и украинский и заподозрил хинди и урду. Русский, если отвлечься от частностей, был представлен тем элементарным аппаратом непроизводных лексем и живописной щетиной аффиксальных образований, которые в совокупности создают отечественную *poésie maternelle*. На горизонте ритмически возникали, ненадолго обнаруживая всю подвальную внутренность, вспышки огня, словно кто-то передавал марсианам следствие из теоремы Виета.

И вот в этой картине, производившей, несмотря на стон и огонь, впечатление вековечной оцепенелости, произошло некоторое слабое движение. Сначала Генподрядчику показалось, что это порода осыпается, но, дождавшись ближайшей вспышки, он увидел человека, с перерывами ползущего в его сторону оттуда, где стонало и горело. Его нагое тело сливалось с медной поч-

вой, а серия переливающихся по спине ребер выглядела как удачная игра светотени. Впрочем, если он и слился с этим миром, ощущения комфорта это слияние ему не доставляло. Генподрядчик понял это, увидев у него болтающиеся под лопаткой намертво стиснутые вставные челюсти. Иногда человек судорожно заводил назад руку, чтобы отцепить их, но не доставал.

«Позвольте, я вас отряхну, – вежливо сказал Генподрядчик, шагнув вперед. – У вас на спине что-то». После этого удачного начала незнакомец, приподняв запыленное лицо, поглядел на него с благодарностью, но, не выказав потребности в диалоге, предпринял попытку прозмеиться мимо него в подъезд. «Не советую, – сказал Генподрядчик. – Там домофон». «С пламенным мечом?» – уточнил незнакомец. «Да, конечно». Незнакомец застонал и сел на землю. «Везде с мечом, – заметил он. – А кое-где со скорпионами. Перестали в стране выпускать домофоны с человеческим лицом. Навеки сошли с конвейера». «Можно я спрошу: вы кто?» – как можно тактичнее спросил Генподрядчик. Тот опять застонал с ритмичностью теоремы Виета. «Я великий грешник», – отрекомендовался он. «Ну, не стоит сразу создавать о себе неблагоприятное впечатление, – запротестовал Генподрядчик. – В частности, не надо приходить на первое собеседование с вызывающим макияжем и в короткой юбке. Ваш менеджер может быть уроженцем Библейского пояса». «Нет, – упорствовал незнакомец, – я именно то, за что себя выдаю». «Это редкость, – ободряюще сказал Генподрядчик, испытывая одновременно неуверенность в себе как практикующем психологе. – В наше время планомерно организуемых иллюзий мало кто выдает себя именно за то, за что он является». Вместо ответной благодарной реплики наступило неловкое молчание.

Генподрядчик выдержал его достаточно, чтобы с легкой укоризной акцентировать его неловкость, а потом выступил с предложением не в очередь. «Не таите это в себе, – сказал он. – Возможно, я ваша последняя связь с человеческим миром. Я могу даже отнести весточку вашей жене». «Вот жене только, ради Бога, не надо! – горячо запротестовал незнакомец. – Пусть думает, что я полярный летчик!» «Хорошо, летчик так летчик. Хотя элементарное знакомство с формальной логикой дает мне основания спросить, почему нельзя быть полярным летчиком и великим грешником одновременно». «Видимо, во мне жива героика тридцатых годов, – подумав, сообщил незнакомец. – Можете вы представить Чкалова великим грешником? Хотя бы на минуту?» «За минуту много не нагрешишь», – резонно отметил Генподрядчик. «Ну, не скажите. Мне удалось... А Папанина? Папанина можете?» «Папанина могу, – с сожалением признался Генподрядчик. – Но, во-первых, у меня вообще развитая фантазия, что в свое время сильно мешало мне в быту, а во-вторых, он не летчик». Этот факт из жизни Папанина завел дискуссию в тупик. «Так что, вы говорите, у вас случилось?» – предложил Генподрядчик психологически корректную формулировку, как бы выводя все случившееся в жизни незнакомца из сферы его моральной ответственности. Тот шумно вздохнул и предложил: «Давайте на скамеечку сядем». «Там термиты проели, – возразил Генподрядчик. – Давайте здесь». Тот согласился и начал.

«Тут в соседнем подъезде парень один жил. Это когда уже дом просел и из земли соки пошли. Его сосед сверху ходит по дому и не может понять: отчего он все время на одном месте спотыкается? Буквально на одном и том же.

– Что это я, жена, – относится он к главному интерпретатору событий в доме, – спотыкаюсь все время? Ну буквально!

Она призадумалась и говорит:

– И действительно, что это ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься? А где именно это интересное событие с тобой происходит?

Сосед ведет жену в центр комнаты и показывает ей пятно на персидском ковре, прямо под ногами у шахского коня, который, как теперь кажется благодаря вмешательству в искусство бытовых коллизий, того гляди поскользнется и сковырнется вместе с шахом в скалистую бездну.

– Это я тут давеча суп разлил, – объясняет он ей сюжетные изменения в картине. – Совершенно невозможно передвигаться.

Жена жестом фокусника, достающего женщин, откидывает ковер, и оба смотрят на то, обо что он спотыкался. Насмотревшись всласть, сосед сверху идет вниз и говорит парню:

– Голову подними, нельзя же до такой степени не интересоваться миром, в котором ты живешь! Ты не видишь, что твоя люстра корни пустила?

Парень поглядел и говорит:

– Действительно, пустила. Это, должно быть, с тех пор как на меня твоя жена вишневым вареньем протекла, на потолке сделалась такая благодатная для вегетации почва. Редкостный какой случай.

– Не умиляйся, – говорит сосед сверху, – а меняй немедленно свою электротехнику, или я возьму топор из туристического набора и вырублю твою лампочку под самый корешок.

– Чего это я для тебя должен упираться? – резонно интересуется парень.

– Ты же не хочешь, чтобы с тобой было, как с нехорошим человеком из третьего подъезда.

– А что это за история? – спросил парень.

И сосед сверху рассказал следующую историю.

«Жил в третьем подъезде нехороший человек. Не было у него положительных сторон ну никаких, у ребенка бы золотой зуб изо рта вынул, и при этом исключительный он был лицемер: всегда делал зло как бы против желания, а лучше норовил показать, что это и не он, а кто-то из коллег по отделу. Всех скомпрометировала эта гнида, даже потомственную лекальщицу Поярыко морально запятнала, а сам с доски почета не слезает. Ну, бывают такие сволочи, что я буду тебе рассказывать. И вот однажды ночью спит он, видит третий сон, и вдруг стучится кто-то к нему в окно. Осторожно, но настойчиво, как в фильмах про гражданскую войну и подпольный обком.

Он очнулся, немного послушал и говорит жене:

– Знаешь, милая, какой чудесный сон мне снился. Будто разговариваю я с английской королевой, так, больше всего ни о чем, и собираюсь уже уходить, как вдруг она мне говорит: «Андрей Иванович! Вам не будет в падлу выпить с нами чашечку чаю?» Я ей, конечно, говорю: «Уважаемая! Ну что вы такое говорите? Как я могу высказаться вопреки этому? Конечно, я только за и с благодарностью принимаю ваше предложение». Тут она накрыла быстренько, и сели мы. Принц-консорт тут, дети всякие. Принц Уэльский, опять же. Шашку свою отстегнул и прислонил к тахте. Сидит, как человек, когда слово в разговор вставит, когда абрикосовое варенье подаст. Чаю отхлебнем, сушечку с кунжутом окунем в него, откусим и еще отхлебнем. Все честь по чести, кунжут по чашечке кружится, ложечкой никто не звякнет, и разговоры ведутся. Коро-

лева о внешней политике, ну там туннель под морем и конец эпохи блистательной изоляции, а я больше склоняю к семейным ценностям, без которых, говорю, никакая блистательная изоляция абсолютно невозможна. Видя, какой я образованный человек, она предлагает мне кофе с ликером и тут же, чтоб показать, что ее намерения не останутся на бумаге, ставит бутыль на стол...

– Я полагаю, ты к этому и гнул, – говорит жена. – Королева, дескать, тебе настоятельно предлагала, сон в руку, доверяй интуиции и все такое. Сейчас пойдешь искать, где у тебя запрятано, опять буфет бабушкин завалишь или вляпаешься в потемках в отраву для мышей, натащишь дряни этой на ногах в постель, а у меня раздается потом по телу зуд и жжение.

Он ей говорит:

– Ты, дорогая, оставь свой зуд для отдельного обсуждения. Мы сейчас не о твоей занимательной физиологии говорим. И вот в самый патетический момент, когда она хотела мне предложить ответственное поручение, удачно выполнив которое я приобрел бы вес и устойчивость в обществе, – в этот момент какая-то неучтенная единица стучит в окно и срывает мне карьеру! Кто это там, скажи мне? Может быть, путник запоздалый, которого нам следует снабдить ночлегом?

– Какой путник, – отвечает жена, – третий год ниже уровня метро живем. Уймись, пожалуйста, никто не стучал, это корни подорожника в окне шпингалет отвернули.

Он говорит:

– Нет, это не корни, я корни знаю, от них скрежет на октаву ниже. Это положительно кто-то стучал, и я сейчас встану, вооружусь топором из туристического на-

бора и пойду смотреть, кто это и для чего тревожит мой заслуженный покой.

И встал нехороший человек, и пошел, тупым топором поигрывая, на кухню, где царит вековечная темь, разрезаемая из окна плотным лучом света, от которого она по углам делается лишь гуще. И, когда глаза его, заслоненные рукою с топором, попривыкли к свету, видит он картину, прямо сказать, нечастую: в окно смотрит на него человек, пропыленный донельзя, с острым социальным взглядом, фонарем на каске и перфоратором на плече.

Нехороший человек форточку приоткрыл и спрашивает:

– Ты, к примеру, кто будешь?

Тот говорит:

– Я шахтер, перевыполнял норму и отбился от своих. Пустите меня, пожалуйста, а как рассветет, я уйду в обратный путь и вечно буду Бога молить за вашу доброту.

– Ну конечно, – говорит нехороший человек. – Можно ли подумать, что под нашим кровом не дадут приюта одинокому шахтеру. Для того ли я, можно сказать, третий год с доски почета не слажу и коллеги преподнесли мне торт «Графские развалины» со специально заказанной надписью «Прекраснейшему», сделанной из бананового крема, чтобы я ославил себя, выказывая жестокость к нуждающимся. Проходите, пожалуйста. Перфоратор вот тут, за дверью, прислоните, где лыжи стоят.

Шахтер входит, снимает свои профессиональные кеды и в дом. Крестится на красный угол и говорит несколько вежливых слов хозяйке, вынужденной подняться из постели и нацепить на себя халат.

– Сейчас, – говорит нехороший человек, – моя супруга, поднявшись с супружеского одра, приложит все усилия, чтобы достойно вас накормить, а вы покамест можете умыться и привести себя в порядок.

Шахтер живейшим образом благодарит.

А надо сказать, что нехороший человек для того затеял всю эту комедию, что ему уже долгое время не доводилось применить своего лицемерия во всем блеске и он начал опасаться, не потерял ли формы; и вот теперь, когда судьба послала ему отбившегося от стаи шахтера, которого никто не хватится, он на радости намерился продемонстрировать на нем весь регистр своих гнусностей.

И вот сидят они за столом и смотрят, как чужой шахтер ест. Третий час ночи на дворе. Он уткнулся носом в тарелку, и в жестком свете его фонаря лежащее на ней рыбье филе выглядит как-то неприютно и по-сиротски.

– Это, – говорит шахтер, – что за рыба?

– Это, – отвечает жена, – палтус. Рыба хорошая. Известная в стране рыба.

– А я бы сейчас, – мечтательно произносит шахтер, – камбалы съел. Такая хорошая вещь. Я когда в Одессе был у тетки, этой камбалой за милую душу отъедался.

Жена только открыла рот, в том смысле, что, дескать, извините, на вас нынче камбалы не припасено, как вдруг шахтер и скажи:

– А собственно, почему бы и нет. Однова живем, в конечном счете. – И пальцем делает такой жест, как будто вписывает это несчастное филе в воображаемую окружность.

Они и ахнуть не успели, как вслед за этим начертанием на тарелке распласталась здоровенная камбала, свою периферию вывалив за края прямо на стол, и

дымок от нее курится. И всем сразу захотелось тетку в Одессе.

– Ну вот, примерно в таком разрезе, – задумчиво говорит шахтер. – Никто не желает разделить со мной, простым шахтером, это маленькое удовольствие?

Нет, все отказались. А нехороший человек делает вид, что для него подобные эксперименты удивления не составляют, и погружается в разгадывание кроссворда, а в глубине души лихорадочно соображает, чем ему грозят подобные способности простых шахтеров.

– Какие удивительные вещи пишут ныне в кроссвордах, – отмечает наконец он. – Вот, например, «китайский ученый, участник Революции 1925–27 гг., с 1954 г. заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания партийных представителей; автор сборника стихов «Гимн новому Китаю»; перевел на китайский язык «Немецкую идеологию» К. Маркса и Ф. Энгельса и стихи В. В. Маяковского». Шесть букв, кончается на «жо». На кого рассчитывали составители кроссворда? Неужели это знание входит в обязательный минимум порядочного человека?

– Сейчас подумаем, – отвечает шахтер. – С какого года, говорите, заместитель председателя всекитайских представителей? С пятьдесят четвертого? Ну, это просто. Это Го Мо-жо.

Нехороший человек сверился и говорит с удивлением:

– Да, подходит. Тут по вертикали «горбатый заяц», это я знаю, он из кроссворда в кроссворд кочует со своим горбом; подходит. Если дефис уместить вместе с буквой в одной клеточке. А вы, позвольте спросить, для чего это знаете?

– Помилуйте, – говорит шахтер. – Именно Го Мо-жо от лица Китайской Академии наук поздравил нашу

страну с запуском космической ракеты в направлении Луны. Как этого можно не знать? Это же история наших побед и достижений. Нельзя насильственно лишать себя исторической памяти, это значит – не иметь будущего. Вот у меня с собой по чистой случайности подшивка газеты «Северный колхозник» за пятьдесят девятый год, так сейчас я вам зачту. – И достает ее из кармана. – Вот, значит, шестое января. «Летом курам обязательно дают по 20–25 граммов зеленой люцерны, а зимой – по 10 граммов люцернового сена на голову... работники птицефермы заменили имевшиеся наклонные насесты горизонтальными. Теперь куры в ночное время лучше отдыхают... На снимке: заведующий птицефермой совхоза «Карманово» И. М. Гриб и птичница М. Ф. Грамм готовят к отправке очередную партию яиц»... это не то... ага, вот: «С быстротой спутника облетела Пекин и весь 600-миллионный Китай волнующая весть об успешном запуске Советским Союзом космической ракеты в направлении Луны... Касаясь запуска советской ракеты, известный китайский ученый, президент Академии наук Китая Го Мо-жо заявил журналистам, что запуск Советским Союзом огромной ракеты, появление в Космосе новой научной лаборатории является лучшим новогодним подарком 1959 года. Это, отмечает Го Мо-жо, громкий салют величественному семилетнему плану коммунистического строительства, к осуществлению которого приступил Советский Союз... В заключение Го Мо-жо сердечно поздравил великую Коммунистическую партию Советского Союза, советский народ и советских ученых». Извольте видеть – громкий салют.

Нехороший человек заглянул и признался:

– Да, имеет место. Смотри, дорогая, с какой пользой провели мы ночь, – отнесся он к жене. – Спали бы

сейчас, как дураки, но благодаря этой беседе мы узнаем столь же много нового, сколь и полезного в разгадывании кроссвордов.

– Остается только приветствовать такие конкурсы и шарады, – говорит жена, – которые в увлекательной форме освещают для нас историю родной страны.

После таких занимательных бесед идут они спать. Шахтера кладут в зале на раскладушке, а сами возвращаются в спальню.

Жена шепчет:

– Андрюша, ты следи за ним. Диковинный этот твой приблудный шахтер. С палтусом вытворяет черт-те что, Го Мо-жо зачем-то знает. Не к добру это все. Как пить дать, столовое серебро сопрет.

– Не поникай духом, – говорит ей нехороший человек. – Мут ферлорен – аллес ферлорен, мне это в школе говорили. Сейчас я встану, вооружусь топором и посмотрю, что там еще у него в карманах залежалось.

Встал он и на цыпочках, занеся топор над своей коварной головой, прокрался в зал. Я хотел бы сказать, что бледная луна освещала его нечестивые черты, но луна наверху, а там, в подземном мире, совершенно другой набор ценностей. Шахтер, поработав земле, тихо дышал во сне, вытянув поверх одеяла натруженные руки, а штаны его были брошены на пианино. Нехороший человек бесшумно взял их и нырнул в карман. Сигареты «Бонд» и спички балабановские с этикеткой из серии «Громкие заказные преступления Золотого кольца России». Изображен Углич, Иуда-Битяговский и преступная мамка. Подписано: «Кто подкупал напрасно Чепчугова? Если Вы знаете правильный ответ, звоните нам... стоимость одного звонка...» Не стал дальше читать. Следом из кармана потянулись наручники металлические хромированные, на астеничес-

кое телосложение, новогодняя электрическая гирлянда с бесплатным подключением, «Круглый год» на 1951 год, с портретом Сталина и албанской сказкой про козу, вантуз, золотая тетрадрахма царя Лисимаха и еще немного мелочи. Потом какая-то дрянь прилипла к пальцам, нехороший человек вытерся о пианино и перешел штудировать левый карман. Там были: две крестовые отвертки, пачка соли, открытка с изображением санатория в Пицунде и подписью: «Дорогому Пашеньке от бабушки в день 75-летия», подарочное издание таблиц Брадиса, шандал с зажженной свечой из тюленьего сала, оперативный план цитадели Самарканда, со стрелкой близ северных флешей и надписью по-монгольски: «Мы здесь», вырезки публикаций Бориса Полевого из журналов «Полезное увеселение» и «Харьковский Демокрит» («Читающий человек», – пробурчал нехороший человек) и наконец клетка с хомячком. Нехороший человек ее поднял и посмотрел на просвет. Хомячок бесконечно бежал в колесе, и его радушное лицо не выказывало признаков усталости. На клетке было приписано: «Звать Блюмкин. Отзывается также на клички Бомбист и Мирбах. С руки не кормить, отгрызет. А в общем, хороший товарищ и благодарный слушатель». «Товарищ, говорите, – задумчиво произнес нехороший человек. – Ну, посмотрим». Он пошел в ванную и, топором перерезав хомячку глотку, дал крови стечь. Потом, зажав вытянувшееся в смертной истоме тело меж двух пальцев, он вошел в спальню и сказал: «Все равно уже вставать пора, так ты, мать, возьми это вот животное и зажарь-ка дорогому гостю, да расстарайся, черного перцу не забудь, они это любят». Клетку с приотворенной дверью он сунул шахтеру обратно в карман и лег отдохнуть на полчаса.

Шахтер вышел к завтраку умытый и посвежевший, фонарь его горел утренним светом, а на груди его мерцала медаль «За трудовые заслуги».

– Как хорошо я у вас спал, – говорит он. – Покойно, как дома, и совершенно без сновидений, а то обычно, знаете, всякая дрянь снится, то кладбище разроешь с живыми мертвецами, то встречный план недовыполнишь.

– Пожалуйте к столу, – приглашают его.

Сел он за стол. Откусил и разжевал.

– Какое, – говорит, – мясо удачное. Это курица или поросенок? И перец с таким тонким вкусом. Для нас, простых шахтеров, это первое дело. Борис Полевой это хорошо прочувствовал в своем творчестве, его сейчас недооценивают, но я считаю, это наносное. Я вам немного прочту, у меня с собой.

И полез в карман.

Ищет, и лицо его напряглось и окаменело.

– Странно, – говорит он.

– Что такое? – интересуется нехороший человек.

– У меня хомяк есть, я без него никуда. Это мой, так сказать, талисман, и в тяжелые моменты рабочего дня его сердчишко, бьющееся в моих штанах, напоминает, что есть в мире душа, где я живу. А теперь, видите, пусто. – И показывает клетку; дверь ее открывается и закрывается со скрипом.

Все ахают.

– Сбежал, должно быть. Неблагодарные они, – высказалась жена. – Все в лес смотрят.

– Мой не таков, – сурово возразил шахтер, и свет его заволокся траурным сумраком. – Мой был мне верен.

А нехороший человек суетится, заглядывает то под стол, то в китайскую вазу и вообще всем сердцем сочувствует драме скупого на эмоции мужчины.

– Ба! поглядите-ка, – восклицает он, подымаясь из-под серванта. – Он вам записку оставил. Его, должно быть, Блюмкин звали?

– Да. В честь деда.

– Точно, он. Вот, изволите слышать. «Дорогой мой человек! Долгие годы провели мы вместе, и где был один из нас, там непременно был другой. Мне горько говорить об этом, но в последнее время меня преследует мысль, что я для тебя – лишь сигнал, призванный свидетельствовать о повышенной концентрации метана в забое. Всем сердцем сочувствуя отечественной горнодобывающей промышленности, я, однако, не хочу, чтоб моя жизнь была лишь средством ее развития. Я ухожу. В лучшем мире, в царстве целей, мы встретимся вновь, и, надеюсь, узнаем друг друга. Твой до гроба Блюмкин, он же Мирбах».

Шахтер перечел.

– Почерк, кажется, не его, – сказал он. – Выносные линии более плавные и наклон не больше десяти градусов.

– Ну, знаете ли, почерк вообще вещь текучая, а в кризисные моменты изменяется до неузнаваемости, – замечает нехороший человек. – Поэтому результаты графологической экспертизы неохотно принимаются судом в качестве свидетельства, и тут, я вам скажу, столько еще спорных моментов...

И тогда шахтер преобразился. Он ударил об стол своей огромной ладонью, и стол переломился надвое. Он поднялся со стула, и фонарь померк в свете его полыхнувших глаз.

– Андрей Иванович, – сказал он, – слышал ли ты, что преступник обычно желает, чтобы в мире не было богов?

– Это почему так? – нервно осведомился Андрей Иванович, делая вид, что он, как человек интеллигентный, не замечает ни судьбы стола, ни перспективы ее разделить.

– Потому, что, когда доходит дело до неизбежного суда и, оборачиваясь, он созерцает чреду своих преступлений, он предпочел бы, чтоб в мире не было ни справедливости, ни ее гарантов. Обернись, Андрей Иванович!

Андрей Иванович обернулся, подозревая, что со спины закрадываются пособники шахтера.

– Что у тебя позади, кроме злодейств? Загляни в свое сердце, если не боишься его смрада. Тебе ли желать встречи с богами? Но боги, Андрей Иванович, есть. Они есть, и не спят в небесах, а ходят среди вас, испытывая, храните ли вы любовь и благочестие. Ты думаешь, кого, мечтая поглумиться всласть, пустил ты в дом? Ночи и теней я судия, для которого вьется пряжа судеб! Я царь Плутон! – страшно прогремел он и взглядом разметал обломки стола. – Мне все подвластно, я же ничему!

– Я что-то слышал такое, – туманно сказал Андрей Иванович, в обморочном расположении духа оползая вдоль серванта. – Что может собственных Плутонов российская земля рождать. Это в школе меня учили. Родила, значит, наконец, дай ей Бог здоровьичка.

Бережно поднеся тарелку к лицу, владыка Эреба дохнул в нее теплым дыханием, и распластанный по ней антрекот с маринованными грибочками подпрыгнул, свернулся, оброс шерстью и юркнул хозяину в левое ухо.

– Место, Блюмкин, – одобрительно сказал шахтер и обернулся к обличенному и беззащитному Андрею Ивановичу. – Твое поприще свершено. Я найду тебе

достойную казнь. Пять минут на сборы. Военный билет и смену белья.

– Нет! – закричал Андрей Иванович.

– Нет! – закричала его жена и сообщница преступлений.

Шахтер покачал головой, и дом шатнулся.

– Сопротивление при задержании, – отметил он. – Ну, смотрите, товарищи. Я предлагал, как лучше.

И по гардине побежал зеленый огонь. С удивительной быстротой он перекинулся на телевизор, оставив несколько хрупких угольков от диктора первого канала, рассказывавшего про одуванчики на Кубани, пожрал китайскую вазу и громыхнул, как взрыв, объяв разом всю комнату. Супруги с опаленными спинами вынеслись в коридор. Шахтер, сатанически хохоча, стоял среди пышных роз и лиан пожара, и хомяк, обвивший лампу у него на голове, пронзительно кричал вслед убегающим:

– Ты, мать, или научись чернушки вымачивать, или приличным людям их не предлагай, а то в них лежать противно!

Андрей Иванович выскочил из подъезда и, не разбирая путей, опрометью кинулся прочь; адский вихорь свистел в его ушах, и подземные филины, разбуженные диким бегом, провожали его уханьем, тяжело носясь меж сталактитов. Наконец он стал, вывесив язык набок. «Ну, оторвались, кажется», – хотел он сказать жене, но вдруг увидел, что жены нет и сказать ему нечем. Его лицо, привыкшее к притворству, вытянулось в жарко дышащую пасть, из которой несло мертвечиной, по ногам колотился хвост, весь в серой шерсти, а ногти, прорвав тапки с зайчиками, симметрично скребли обугленную землю. Печень была девственно здоровой, а мигрени бесследно ушли. Он поднял жел-

тые глаза туда, где была бы луна, если б он жил на пятом этаже, и завыл в ее предполагаемом направлении».

Парень выслушал и говорит:

– А мораль какая?

– А мораль, – говорит сосед, – такая, что нельзя быть свободным от общества, это нечестно и бесплодно. Вот и думай.

Парень думает: что это я, в самом деле. По-людски надо с соседями. К тому же у меня отец – электрик потомственный, а люстру давно пора обновить, таких уже не носят.

Пустился он в путь без устали и приходит к магазину «Восход».

Глава вторая,

где происходит то, чего и следовало ожидать

Раньше там был продуктовый; потом его уплотнили мебельным. В витрине уже несколько лет (к чести местного покупателя) стоит, двустворчатым задом к прохожему, в натуральную величину нагая женщина из малахита, в порыве невыносимого исступления вздымающая над головой фонарь, а ее круглую ногу, как райский змей, обвивает сладострастный провод с евровилкой. Итальянская мебель, здесь приобретенная, хранит дух вареной колбасы и шашлычного соуса, не позволяя полноценно мечтать о римских карнавалах и нежном ветре флорентийской весны. С другого конца магазина от отдела мороженых продуктов отгорожен чуланчик под продажу и прокат CD и DVD дисков, и богатый выбор натуральных пельменей переходит в Анджолину Джоли и Дженнифер Лопес, давая повод размышлению о границах естественного в природе и искусстве, а рядом примостился отдел бытовой электроники, обманывающий слепых посетителей духом окоченелого пельменя. Парень пошел прицениваться к люстрам. Это не то, это мыть долго, это для оперы, а это… это очень даже ничего.

– Я могу вам чем-то помочь?

– Можете, – сказал он продавцу. – Вот эта люстра что собой представляет?

Продавец посмотрел с сомнением.

– Что она представляет, я бы вам не советовал, – сказал он. – Делают у нас по какой-то лицензии. По такой лицензии только кабанов отстреливать. Солярии у них особенно губительны. Отнимают разум, но счастья не приносят. А планетарии дают ложное знание о нашем месте во вселенной. Сборка на белой коленке. Хозяин новый, представления о технологии никакого, все тянут с завода, пока есть что. В общем, не делайте

этого. Вон ту посмотрите, пользуется устойчивым спросом.

Парень посмотрел и поморщился: стекло, говорит, бутылочное на колючей проволоке. Продавец ему то, се, вот финский свет белых ночей, вон солнце знойного юга, не угодно ли приморгаться, но парень: нет, хочу эту, и не надо меня пугать, она впечатления бесчеловечного орудия не производит.

Продавец смирился. Говорит, дело ваше. Вот к ней набор ламп, в ее патрон другие не лезут. Ввинчивать по правилу правой руки, и следите, чтобы в комнате в тот момент не было ни одного практикующего электротехника, иначе семь лет удачи не будет. Лучше, чтоб эти лакированные рога шли по диагонали потолка, это по замыслу разработчиков должно давать успокоительный и одновременно тонизирующий эффект. Вот тут, обратите внимание, изображены золотом на синем фоне знаки Зодиака, так когда будете вешать и лампы ввинчивать, то от Овна до Близнецов, между Рыбами и Деве за бедра лучше рукой не хвататься, может ток пробивать. Там в основу положена такая отечественная инвенция, как самопальный кипятильник из двух лезвий, вещь страшной проникновенности, они ее модифицировали и поставили на поток; но этот дедушка российского приборостроения временами дает о себе знать, выходя на поверхность невидимым, но убедительным потоком электронов, как река в аравийской пустыне. Поосторожней, в общем. И большого вам счастья в личной жизни.

Завернули, и парень отправился ее вешать, провожаемый безмолвными сомнениями продавца.

– Табуретку подай, – сказал он жене, влезая на стул. – И стул придержи.

– Какая красивая люстра, – сказала она. – Бужениной пахнет. Как в детстве.

– Воспоминания в сторону, – приструнил он ее. – Они лишают способности крепить люстру. Нашатырем надо было пройтись по ней, чтоб не пахла... Держи табуретку-то, помощница!

– Ай-ай! – закричала она, хватаясь красивыми, но бесполезными пальцами за крутнувшуюся волчком табуретку.

Поздно! Табуретка слетела со стула, от ее удара качнулся телевизор на подставке, жена кинулась ловить его, а парень, загребающий по воздуху ногами, размашисто парил над стулом, цепляясь за люстру. Тельцу ли за рога схватился он, чтоб шею не сломать, Деве ли за все то, что она берегла смолоду, но только угроза, высказанная продавцом, совершилась, и радостно брызнул через его тело электрический ток, предназначенный конструкторами для уюта в людских домах. Синие и оранжевые зайчики носились чехардой по стенам, жена, обняв всех совокупно участников сериала «Московская сага», и плохих, и хороших, елозила ими по пыльной подставке, ища утраченное равновесие, парень с неразборчивым криком качался под потолком, – а когда жена кое-как успокоила телевизор, равнодушно чередовавший перед нею сцены из физиологии частной и публичной жизни, и метнулась с табуреткой назад, запах буженины стремительно близился к полу вместе с ее мужем, отслоившимся от люстры, и его воплем, полностью отвечающим ситуации. Все оказавшееся в эпицентре смешалось, на миг застыло и раскинулось на стороны, как кувшинка в июле.

Первой опомнилась жена.

– Вова, – слабо сказала она, обвивая ногами лежащий поверх нее стул. – Вова, милый. Ты жив или нет? Говорила я, надо было вызвать специалиста... дать двадцатник ему... Вова!

– Не знаю, – отвечал он голосом ежика, упавшего в реку. – Это сейчас трудно сказать. Сказать это сейчас практически невозможно.

– Вова! – затревожилась она, не привыкнув слышать от мужа хиастических конструкций и справедливо подозревая в них следствие электрического шока. – Вовочка, милый! Ты же у меня один... это я автоматически за телевизор ухватилась... Бог с ним, с телевизором, телевизоров у нас сколько еще будет, а муж, он незаменим... Вова! Поговори со мной! Хотя бы немного!

– Не могу найти темы, – отвечал Вова тем же голосом. – А что это ты, Лена, – вымолвил он, к ее облегчению, уже несценическим, хотя разбитым голосом, приподнимая переднюю часть от пола, – красная такая?

– Где? – забеспокоилась она о себе, которой у нее тоже другой не будет, оглядывая себя в пределах доступного.

– Да везде. Лицо у тебя... это тебе кровь в него бросилась? И руки... И волосы розовые у тебя. Розовые.

Не слышавшая, чтобы перекись водорода производила такое действие, Лена сунулась к уцелевшему в состоявшейся вакханалии зеркалу и не нашла в себе важных изменений, кроме множественных ссадин в плоскости лица и оконечностей ног. Меж тем ее муж послойно поднимался с пола, получая возможность лично оценить плоды своей самонадеянности в электротехнике.

– Учили же, – сказал он. – Так вот звездой, а так треугольником. Тут ноль, а там не трогай, там фаза. Учили. Табуретка бы только стояла по-людски... А что обои такие оранжевые у нас? Мы когда их меняли?

Тут-то и открылось потрясенной Лене, чем поплатился ее муж за неквалифицированное обустройство быта. Сцепление с люстрой вызвало необратимые изменения в его зрительном аппарате. Его глаза стали видеть как через красное стекло. Это не проходило и не лечилось. Заря багряною рукою открывала для него небо цвета Страшного суда, при виде которого он с содроганием думал о том, как непростительно мало старушек перевел через дорогу. Применение косметики во внеслужебное время потеряло для Лены смысл, потому что, незнакомая с правилами смешения цветов, она не могла предугадать, как будет выглядеть какая бы то ни было растушевка ее алого лица. Он стал все чаще останавливаться на полуслове с сосредоточенным выражением, словно разговор подарил ему тему для обдумывания, хотя разговор ему ничего не дарил. И когда однажды один хороший знакомый предложил переехать к нему в деревню, хотя бы на лето, он пошел к начальству и подал заявление об увольнении.

Этот знакомый, когда в свое время у него появились намеки на чахотку, бросил службу, уехал в деревню, где у него был наследственный пчельник, с керенками, намотанными на снозах, и поселился там безвозвратно. Парень, захватив из дому пачку сканвордов и томик производственной прозы, которую полюбил за бесцветность, перебрался в его усадьбу, достаточно большую, чтоб вдвоем не мешать друг другу. Пасечник от скуки развел кур, которые бегали по дому, преследуемые пчелами, неслись в комнате у парня, для которого все яйца были пасхальными, и вносили своей

бестолковостью утешительную нотку в существование этого дома. Лена наезжала иногда, непривычно свободная от косметики, эскизно касалась городских новостей и осторожно затрагивала с мужем, когда он не сидел в дупле любимого дуба, вопрос о его хроматической картине мира. Их отношения выглядели неубедительными. Перед ним, гостеприимно открывая паноптикум своих причуд, лежала земля цвета запекшейся крови, усаженная в произвольном порядке березами стендалевских цветов с болотною кроной. Он смотрел на снующих пчел, и выражение «геральдические цвета Наполеона» было для него лишено смысла. Однажды среди ночи пасечник, поднявшись по лестнице, застал его смотрящим телевизор, с ненужной и мучительной пристальностью, словно отгадывая, как выглядели бы эти люди и их взаимоотношения, если бы не были вынуждены передвигаться, словно разводя руками упругую воду, в мире, густо налившемся кровью. «Видишь ли, – сказал парень, заметив его появление. – Я тебе, конечно, очень признателен. Ты вывез меня сюда, и это лучшее, что со мной могло быть. Но мне кажется, жизнь проходит сквозь меня, как пастухи передавали разломленный хлеб и кувшин с молоком через Гигеса, когда он был невидимым. Она прячет на меня фигу, а я не только не знаю где, но боюсь, что даже не опознаю эту фигу, если столкнусь с ней нос к носу». Спускаясь по лестнице, пасечник впервые отчетливо понял, что все это не только не затянется надолго, но и не кончится добром. И вот все это кончилось. В жаркий полдень, уйдя на реку, парень удил окуней, расцветку которых мы не станем бесплодно воображать, тем более что в это время никакого клева, конечно, не было. Он завидел у берега снующих головастиков, как стаю запятых на вакациях, и начал спускаться, чтобы пугнуть

их. Ноги его скользнули, и он во всей одежде съехал в воду. Бороться с ее ласковым принуждением он не стал. Тихо провождаемый заинтригованными обитателями пучин, он плыл по фиолетовым волнам, глядя в фиолетовое небо, поводил удочкой вокруг себя, как бы очерчивая магический круг, куда не могли пробиться перламутровые окуни, и напевал то «Слушай, Ленинград», то «Как по Волге-матушке». Долго это тянуться не могло, его сапоги отяжелели, в них с недальновидной радостью новоселов плотно набился планктон, и его лицо, с интересом наблюдавшее полуциркульный мир сельского неба, ушло в сомкнувшуюся воду. Когда его нашли несколькими километрами ниже, близ пионерского лагеря, раки были черными, песок желтым, а пионерские коленки – коричневыми от йода. Его жена и сестра приехали, когда пасечник дозвонился им с поселковой почты, и он отвел их на берег. «Это здесь?» – спросила сестра. Пасечник кивнул. Она набрала в грудь душистого духа прибрежных растений и завела плач, в котором с теплотой отозвалась о деловых качествах покойного, вкратце обрисовав его служебную деятельность за годы, истекшие с окончания института, согласно трудовой книжке, и завершила быстрой серией картин их общего детства, в котором он ежедневно выступал для нее взыскательным примером. Жена подхватила, с неизбежной сдержанностью коснувшись высоких достоинств его как супруга и наметив ту безотрадную перспективу, которая ожидала ее горестную молодость без его покровительства. Затем был исполнен эпод, в котором говорилось о невозможности для человеческого разума, впрочем изобретшего архимедов винт и свистки для чайников, избегнуть судьбы, коей определения настигают быстрей молнии и голодного гепарда. «Мы

должны что-то сделать!» – восклицала сестра, опьяненная пением. «Что?» – спрашивала у нее Лена, для которой тушь впервые за долгое время приобрела смысл: она обильно стекала по ее лицу, придавая происходящему сходство с жанровой сценкой японского театра. «Мы должны превратиться в ивы! – решительно сказала сестра. – Иначе наша скорбь будет сочтена недостаточной, а заслуги покойного не будут отмечены по достоинству». Лена глубоко вздохнула, зачем-то слазила в сумочку и согласилась. Сестра выбросила руки над головой, они неимоверно вытянулись и прогнулись к воде, испуская из себя гирлянду узкой зелени; глаза сделались бессмысленно-печальными и растреснулись по вертикали, превращаясь в извилины коры; по ним пробежал, кося ногами, скорый паучок; чулки прянули, как змеи, жадно ушли в почву и вынырнули у самой воды, замшелые и украшенные опустелыми хижинками ручейника. Лена, поглядывая на нее, бегло выполняла те же фигуры. Пасечник отступил в благоговейном ужасе. Их стройные тела, к подножию которых лоскутьями облетали лопнувшие юбки и блузки, раздались вширь, из груди, шеи и рта брызнула новая поросль, закачавшись на ветру, и склоненная шевелюра заходила волнообразным движением. В минуту все кончилось, и по отгремевшем плаче наступила непроницаемая природная тишина. Пасечник, очнувшись, покачал головой и побрел обратно, бормоча: «Почему этого не вводят в олимпийскую программу».

– И кто же вы в этой истории? – спросил недоумевавший Генподрядчик. – Продавец электротоваров? Мне кажется, он здесь самый большой грешник, поскольку мог предупредить человеческую гибель и не сделал этого. Или вы – сам парень? Его, пожалуй,

можно обвинить в самоуверенности, хотя я счел бы это бестактным ригоризмом. О соседе сверху думать не приходится – он не виноват ничем, кроме простительного нежелания спотыкаться с тарелкой супа.

– Ни то, ни другое, – прошептал, понурив голову, человек, считавший себя великим грешником. – Я – тот друг, которому принадлежала пасека.

Генподрядчик взглянул с изумлением.

– Вы – пасечник? На вас и не подумаешь... я хочу сказать, что пасечник выглядел самым светлым лицом – в вашем изложении, конечно, но мне кажется, что наша обстановка не располагает к приукрашиванию событий... В чем же ваш грех?

– А вот вы дальше послушайте.

Я был по делам в городе и возвращался к себе электричкой. Она выходит в половине седьмого утра; следующая в двенадцать, это поздно – пока доедешь до станции, да там шесть километров пешком, будешь на месте только к ночи, а дачные дома в массе такие, как у первых двух поросят, так что все едут первой электричкой, чтобы все полить, осмотреть, что еще у них отрезано и выколупано на цветмет, и вечером ехать домой. Что в дверях электрички творится, когда их откроют, можете себе представить.

– Могу, – подтвердил Генподрядчик. – У самого как у поросят. От отца осталась. Главное, три года как отстроился на Клязьме, эту давно пора продать, заросла, только яблони старые из крапивы торчат, падалицу не выберешь... да все жалко как-то.

– Меня внесло и выплеснуло на скамью, – продолжал великий и грешный пасечник. – Вот уж время к девяти. Вот садятся люди в Серпухове, в динамике звучит крупный, с ноткой спокойного недоброжелательства голос машиниста: «Убедительная просьба к

жителям города Серпухова. Переходите все-таки по переходному мосту. Ну сколько можно здесь давить и резать». Прелесть. Ричард Третий. Вопль человека, уставшего от крови.

– Аристотель резонно отмечал, что мы часто разговариваем ямбами, – уместно напомнил Генподрядчик. – А гекзаметрами редко и с неохотой.

– Так вот. Цыгане, дачники, кроссворды, бутерброды с полукопченой колбасой и вчерашняя курица в фольге. Глаза закрыть, конечно, можно, но слух и обоняние – это проклятие человечества, я так считаю. Когда Кант писал о принудительной общительности, он должен был особо отметить проклятие нюхать.

– Я полагаю, он из академического высокомерия не стал бы рассматривать курицу в фольге как вещь, актуальную в философском плане. Хотя и методологически, конечно, тоже.

– А напрасно! – вдруг раздражился великий пасечник, размахивая пальцем под носом у Генподрядчика. – Очень напрасно! Представляете, какая это была бы четвертая критика – «Критика публичной способности к колбасе»! Еще одна великая ненаписанная книга немецкой литературы!

– Мне говорили, что досуг пасечников бывает наполнен странными занятиями, – заметил Генподрядчик. – Они напоминают былые причуды англичан на континенте. Вижу, что вы высоко несете знамя. То есть несли.

– Так вот. Едем, значит, три часа уже. Духота. К тому же отопление в электричках, как известно, не выключают до июня. На предмет заморозков на почве. Я сижу на самой печке. Разогреваюсь. И тут из тамбура втискиваются люди эти... которые вечно, знаете, ходят там...

– «Авторучки прямо от производителя, которые вы покупаете в киосках по семь рублей, я предлагаю вам всего по четыре рубля»? – догадался Генподрядчик.

– Да нет... Эти, которые поют. «Уважаемые пассажиры, извините, что к вам обращаемся». Ну, за это я готов их извинить, – но вокал тут причем! Вокал-то причем здесь! И вот бороздят толпу эти певчие изгнанники России и поют-заливаются эту песню... «Амур, пограничная речка».

– Это что такое? Я не знаю.

– Ну, как же, это исконное, репертуарное... Говорят, ее сам Карацупа в дозоре сочинил. С собакой своей Индусом. Позвольте мне ее привести, иначе достоверно не будет. Петь не стану, отпелся уже, а так... словами.

Амур, пограничная речка,
В зеленых течет берегах.
И ночью и днем часовые
Стоят на суровых постах.

Приходит домой пограничник:
«Я службу исполнил свою.
Встречай же героя, супруга,
Возьми плащ-палатку мою.

Три раза хотел нарушитель
Границу пройти в эту ночь,
И трижды средь бури и ливня
С позором я гнал его прочь.

В четвертый в свои сапоги он
Засунулся пяткой вперед,
Чтоб след его нашим не выдал,
Куда его тропка ведет.

Но выследил я негодяя,
Навел на него автомат,
И плелся он в штаб, спотыкаясь,
В ботинках носками назад.

Встречай же героя, родная!»
Но смотрит печально жена,
Супруга не хочет приветить,
Как будто не рада она.

«Что ж, милая, мне не проводишь
По кудрям ты нежной рукой?
Ужель ты меня позабыла,
Пока я хранил твой покой?»

«Чего ж приуныла, хозяйка? –
Из клетки кричит попугай. –
Уставшему мужу сапожки
С натруженных ног разувай.

Тобою жена, пограничник,
В недобрый оставлена час.
Сберег от врага ты отчизну,
Но дом от измены не спас».

Тут тяжко вздохнул пограничник,
В объятьях супругу он сжал,
Забилась она, закричала,
Почуяла в сердце кинжал.

«Ты прав, только жаль – не успела
Поведать тебе я о том,
Что спит наш с тобою младенец
Под этим булатным ножом».

Штыком он ей вырыл могилу,
И слезы дробились о штык.

Он вырвал язык попугаю,
Предательский этот язык.

«Амур, я тебя проклинаю! –
Он к небу ладони поднял. –
Я службу служил тебе верно,
Ты ж выпил всю жизнь у меня!»

Никто не видал его больше,
Лишь то сообщалось в молве,
Что тихо околыш зеленый
В амурской кружился волне.

Амур, пограничная речка,
В зеленых течет берегах.
И ночью и днем часовые
Стоят на суровых постах.

Финал истории исполнялся непосредственно над моим ухом.

Тут я не выдержал. Я знаю, как это комично, когда в публичный гнев впадает человек, не обладающий способностью быть убедительным, но я... Я вскочил – конечно, положа свернутую газетку на свое место, чтоб никто не занял его, пока я привстаю, – и заорал на этих бедных людей, промышляющих чем им Бог послал:

– Ну почему от вас никогда покою нет? Что вы такое поете? Что это, скажите мне, звонкие вы мои?

Кажется, все оглянулись. «Любил Джульетту», по горизонтали, на мгновенье остался неразгаданным, и апокалиптические разговоры, обычные между незнакомыми людьми в медленном транспорте, тоже стихли.

Эти певцы, конечно, не ждали от меня денег – я умею придать лицу такое выражение, которое разбор-

чиво говорит: «Отойди, солист», – но, с другой стороны, они привыкли считать равнодушие самым невыгодным ответом на свои усилия; опыт показал, что они ошибались.

– А чего не так-то? – спросили они, пятясь и смыкая баян, с выраженьем наглого испуга на лице.

– Вот так это делается! Вот так! вот так!

И, откашлявшись на сторону, я затянул, клянусь всем святым, так, как не пел никогда в жизни, – а в те времена, когда у меня были хорошие легкие, я побеждал на всех смотрах строя и песни:

Амур, пограничная речка,
В зеленых течет берегах.
И ночью и днем часовые
Стоят на суровых постах.

Когда голос мой, летящий в потолок, еще выводил рулады на предмет бытовой неустроенности часовых, я видел кругом опасливые взгляды и начинал с ужасом думать, как мне быть, когда кончится строфа и наступит молчание, и как мне еще час ехать на этой скамейке после того безумия, которое я средь них водворил, – но тут горлом у меня пошла кровь, я упал ничком, окунувшись в чью-то корзину с рассадой, и поднялся на ноги уже здесь.

Он оглянулся.

– Возможно, вы считаете это объяснением, – по некотором молчании вымолвил Генподрядчик, – но, боюсь, я повторю свой вопрос: где же ваш грех?

Виртуоз-пасечник уставил на него недоуменный взгляд.

– Как же вы не понимаете? – с мучением воскликнул он. – Я обманул надежды покойного… я погу-

бил тех, кто всецело зависел от меня! Я ехал поливать его жену и сестру, эти ивы! Если бы вы их видели! Такие красивые, такие задумчивые! С одной ныряет зимородок! В ней дупло с гнездом, а там, среди сучьев и прелой листвы, спрятаны сережки, маленькие, рублей за тридцать, детские сережки, в виде серебряных мышек, а в щелях для утепления напиханы обрывки письма... – Он закрыл глаза и процитировал: – «...а Танька, когда к ее сестре стал ходить системный менеджер, села на порог, чтоб не ходил, и присохла там к жевачке, и ее не могут отскоблить, а она кричит кормите меня, для вас стараюсь... схов... ...ца вся в прол... ирж... по 60 руб. за кило. Любящая вас... ети... Кат... все». Если б вы видели их, – открыл он глаза, – когда их колышет ветер! Я же знал, что у меня плохие легкие, мне нельзя было так постыдно себя вести! Они засохнут!

Генподрядчик, в свою очередь, выслушал эту тираду с удивлением.

– Ивы не поливают, – сказал он. – Они растут у воды, как вы верно отметили, упомянув зимородка. Что ты клонишь над водами, ива, макушку свою, задушевно обращается к ней русская классическая поэзия.

– Но он мне завещал!

– Когда это он успел?

– Он являлся мне во сне! Кроме того, предчувствуя кончину, он перед уходом на рыбалку оставил записку: «В случае если моя сестра и жена в порыве неумеренной скорби превратятся в древесную породу, завещаю тебе их поливать и вообще не оставлять попечением». Как можно было этим пренебречь?

Генподрядчик пожал плечами.

– Один человек, блиставший в амплуа комических старух, соблазнил студентку Ярославского театрально-

го института. Ее выгнали из общежития, она была вынуждена красть еду у черепахи в зооуголке Дома пионеров, пользуясь ее флегматичностью, а он тем временем из фотографий, где они были запечатлены вдвоем, счастливые и доверчивые, вырезал ажурные снежинки и развешивал их на новогодней елке. Другой человек, видя вора, гнавшего колхозную свинью в личное употребление, взял с него денег за то, чтоб не говорить ничего колхозу, а потом взял еще за то, чтобы молчать о первой взятке. Вот это грех. А ваш... возможно, вы сочтете мое мнение бесчувственностью, но, по-моему, вы стилизуетесь. Я бы даже сказал, вы кокетничаете своей нравственной чувствительностью. Если вас смущает юридическая сторона дела, то для этого нет никакого повода, любой правовед вам это скажет. Еще Ульпиан высказывался в том смысле, что волю покойных не следует толковать слишком узко, потому что они в массе сами не знают, чего хотят, и его мнение включено в «Дигесты». И хороши бы мы были, если бы согласно воле покойного было поступлено с «Энеидой»! Вы разделяете пафос тех, кто осуждает Октавиана?

– Я осуждаю Октавиана, – непримиримо сказал пасечник. – То, что он сделал, было благодеянием для человечества, но, чтобы отличаться от черни, для которой любой победитель прав, мы должны судить намерения. В его мотивах не было ничего, кроме династических расчетов и столичного тщеславия. Он спас «Энеиду» не для нас с вами. Он это сделал исключительно для того, чтоб умереть не как его божественный отец, а в своей постели, расслабленный постыдной старческой немощью и с циничными шутками на губах.

Генподрядчик чуть не задохнулся от возмущения.

– ...девять, десять, – проговорил он вслух. – Хорошо. Я не стану с вами спорить. Я нарисую одну картинку и постараюсь сделать это вашими глазами.

– Давайте, – согласился пасечник. – Моими глазами не часто рисуют картинки, и я, в общем, ничего не имею против этого неожиданного предприятия.

– Ну вот, извольте видеть. Хороший июльский день. Небо еще не такого кубового цвета, как будет недели через две; недалекий окоем замкнут давно знакомыми вещами, которые вы поливаете и окашиваете; белый налив поднимает и склоняет тяжелеющие ветви, общественная сорока вертится на крыше амбара, неровной каемкой крон тянется старый сад, с нежной, второго захода крапивой у корней, с комарами, ждущими чего-то на яблоках, и соседом в соломенной шляпе, окучивающим чистенькую картошку за забором; но вы не пойдете в сад, там тень... вы, жмурясь, сидите на солнце... пахнет розами... что еще растет у вас в палисаднике, что может пахнуть?

– Резеда, – сказал пасечник. – Табак душистый. Много чего.

– Ну вот, пахнет резедой и много чем. В беседке по столу, между очками и стаканом, ползает пчела по меду, капнутому на клеенку... скоро к этому нелогичному занятию присоединится еще одна... И эта поразительная, трижды благословенная тишина, это бессознательное умиление, эта Помона со вкусом первого поцелуя на розовых губах! И когда ваша рука тянется, чтобы развернуть книгу на том месте, где она давно разворачивается сама собою, и прочесть это:

Так пчелы в летний день, как солнце востечет
И трудолюбье их из улий извлечет,

Под чистым воздухом, приятно растворенным,
Летают по лугам, цветами испещренным, –

и когда это вызовет у вас сладкие слезы умиления, неужели вы не благословляете Господа сил за то, что он создал мир прекрасным и поселил в нем Вергилия, чтобы одарить эту красоту единственным, чего ей недоставало, – бессмертием? Воля ваша, – закончил Генподрядчик, одушевленный приливом желчи, – если плакать единственными слезами, приличными нашему возрасту, значит быть заодно с чернью – я лучше буду с чернью, чем с вами вместе буду судить Октавиана по намерениям!

– Хорошо, – примирительно сказал пасечник, – возможно, вы правы... оставим этот спор до лучших времен...

Но Генподрядчика было уже не остановить.

– Ваш, простите, подростковый максимализм, – отнесся он к пасечнику, – благодаря которому два дерева, вкушающие прелести растительной жизни в деревне – как там она у вас называется? – Нижние Верхи, и опасность для европейца лишиться основ своей идентичности оказываются на одной доске – это все равно как детское стремление спорить о том, если встретятся слон и тигр, кто победит! Что за инфантильность, в самом деле, извините мою резкость!

– В данном конкретном случае победит, разумеется, слон, – пробурчал пасечник, – но, вообще говоря, та подмена тезиса, которую вы совершили...

Генподрядчик остановился, удивленный.

– Извините, я отвлекусь от темы. Насколько я понял по вашему тону, в описанном конфликте вы безусловно поставили бы на слона десять к одному. Могу я

спросить о причинах вашей убежденности, если вы не склонны считать ее самоочевидной?

– Разумеется, слон победит, – досадливо повторил тот, отмахиваясь от праздного вопроса. – Побеждает тот, у кого шланг. А он в данном случае у слона. Под названьем хобот.

Генподрядчик посмотрел на строптивого пасечника с воспрянувшим интересом.

– Видимо, наша жизнь протекала в совсем разных сферах, – мягко проговорил он. – Во всяком случае, в моей мне никогда не сообщали, что шланг – залог победы, иначе я, возможно, добился бы в жизни большего. Не осветите ли вы этот вопрос, чтобы придать нашей беседе еще более поучительности.

– Если вы не иронизируете...

– Помилуйте, какое там! Я искренне заинтересован...

– Мне об этом рассказывал сосед по деревне. Он в ресторане работает. Брал у меня мед и сидел подолгу. Пили чай, я его угощал медом сотовым, и он повествовал о своем житье-бытье. Рассказчик он отменный, и про шланг он мне изложил. Но это надо издалека начинать...

– Сколько угодно. У меня рабочий день через два часа заканчивается, так что я в вашем распоряжении.

– Ну, хорошо. Хозяина его ресторана зовут Денисом Ивановичем, по его рассказам – замечательный человек. Из его судьбы, говорит, можно было бы романов пять-шесть накрошить, если перемежать лирическими отступлениями. Между прочим, рассказывал он, как Денис Иванович открыл свое дело.

Был он когда-то официантом. Работала у них в официантках красивая девушка. Классически красивая. Красивые женщины, как известно, составляют од-

ну из главных причин текучести кадров вообще и в сфере обслуживания особенно. Она как-то мало говорила, лишь прикрывала глаза и улыбалась сама себе, и это позволяло недоброжелателям говорить о ее недалеком уме; как бы там ни было, она более чем знала о своей красоте и блюла ее в благоразумной строгости, и все ждали, кому хватит предприимчивости одолеть это благоразумие. Но вышло иначе.

Был у них табельный день ностальгических обедов. Это мероприятие, доказывающее проницательность администрации, проходило раз в две недели для людей с опытом сознательной еды в советское время и включало известный набор радостей перистальтики: от сметаны с сахаром, занимающей треть граненого стакана, болгарских маринованных огурчиков и яйца с майонезом, до жареного хвоста анонимной рыбы, крабов «СНАТКА», компота из персиков фирмы «Глобус», с девицей, выглядывающей из окошка, чтобы приветствовать отечественных персикоедов скромным полевым цветком, запеканки с макаронами, беспорядочно торчащими во все стороны, булочек с шоколадной глазурью, трескающейся и осыпающейся при нажиме, как фресковая живопись при неудачной реставрации, и, безусловно, спинки минтая, подававшейся под тему приближения из «Челюстей». Если кто-нибудь думает, что это пустяки и вычуры, то пусть посмотрит на состоявшегося мужчину средних лет, который громко плачет в глазунью, которой от слез его соленых все глазыньки повыело. Нет, дорогие товарищи, память вкуса – это страшная вещь, с ней бессилен сладить разум! Это вам не трава емшан, тут дело почище! Увидев, что раза в две недели мало, вывесили объявление, что по просьбам сормовских рабочих ностальгические трапезы будут проводиться еженедельно, и заказали набор ска-

тертей с фигурными синими надписями: «Долой бывшую ёлку» и «Буря – это дви-жение самих масс».

И вот один мужик, мирно начав вечер салатом из овощей, безвременно увядших, как элегический герой, и сосисками с кусочком черного хлеба, вдруг потребовал бычков в томате. И тут выяснилось, что они не заложены в проект, – как это можно было! Поистине, коротка память человеческая!

Мужик, между тем, скандалит. Опозорю, говорит. На весь свет ославлю. Где историческая аутентичность? Срам! Еле-еле его успокоили, заткнули рот макаронами с сахаром за счет заведения, а там временем менеджер по историческому продукту говорит Денису Ивановичу: отправляйся, Денис, и ищи. Он говорит: где? Они уж лет двадцать как со стапелей сошли! Менеджер говорит: где хочешь ищи. Есть же где-то стратегические запасы отчизны, тушенка и сгущенка на случай упреждающего ядерного удара вероятным противником, – там и бычки должны быть. Денис, пока еще над миром ходят тучи, не может того быть, чтоб где-то государством не был спрятан бычок! Найди это место, Денис! Час тебе сроку, пока клиент макароны засасывает!

И Денис Иванович вышел на улицу. Луна скользила в бегущих тучах, и пустой троллейбус нес свой внутренний свет вниз по улице, как аквариум с подсветкой, скользящий к краю стола. Денис Иванович вздохнул и пошел. И неизвестно, где он был и что делал, только через сорок пять минут, бледный, он вошел со служебного входа и поставил перед менеджером на стол банку бычка, и руки его были ссажены в кровь; и тот, заглянув в его человеческие глаза, в которых, как образовательный диафильм, застыла история исканий, ничего не сказал Денису Ивановичу, лишь сжал его

родные, окровавленные пясти и, вызвав повара, распорядился насчет банки.

Повар-смеситель сказал практикующему официанту:

– Из банки заранее доставать – фэншуй плохой. Делаем так. Поднос возьми. Вон там в углу комплект «Социалистической индустрии» за восемьдесят третий год: первую полосу оторви неровно; так; разложи по подносу. Передовица «Социалистической индустрии» замедляет поток Ци. В этот угол сольцы насыпь, портрету вдоль рта и на глаза, чтобы смягчить эффект присутствия; подавать будешь этим углом на север. В противоположный угол яйцо крутое. Это продукты Ян. В центр бутылку пива, это продукт Инь, а ее блестящая поверхность в совокупности с осевым расположением соли и яйца заставит энергию Ци вращаться вокруг подноса. В западный угол ставим банку бычка. Бычок – это Ян рыба, идущая вверх по течению, чьи качества, однако, ослаблены тем, что он приготовлен не способом копчения. Банку вскрываешь на глазах клиента. Насыщенный красный цвет, внезапно появляющийся в западном конце композиции, придает столу романтический Ян оттенок. Со вскрытием уложиться в пятнадцать секунд. Успеешь? Должен. Вперед.

Мужик, меж тем, переварив сладостные макароны, поглядывал на часы с поползновением к диффамации. И тут человек с выстраданной гордостью в глазах ставит эту космогоническую поэму на стол и за двенадцать секунд вскрывает крышку из танковой брони, и оба смотрят, как следом за открывалкой проступает красная ртуть из-под рваного металла; минута всемирного молчанья, как между Пьером Безуховым и маршалом Даву, и официант спрашивает: «Вилкой будете или традиционно?» И мужик, сглотнув накатившую в

горло историческую память, говорит: «Традиционно». И начинает традиционно.

Заметим, что все были на нервах и руки у всех дрожали. У официанта, разумеется, тоже, поскольку честь заведения – это и его честь. И потому, неся остатки бычка от клиента, он немного пролил на пол от его томатов. И никто этого не заметил. Пока.

Пока классически красивая девушка не пошла этой дорогой, неся на подносе картофельное пюре с котлетой и подливой оранжевого цвета и глядя перед собой безмятежно-улыбчивым лицом. Никто и заметить не успел – все обернулись лишь на шум... поднос с жестяным звоном вращался по полу вокруг одной туфельки, пюре с котлетой так и не нашли, а кровавый росчерк от бычка на полу ударял в задние двери, и они еще хлопали друг о друга.

Глава третья,

в которой прекрасная юная дева садится на ладью,
пасечник морализирует, а Генподрядчик недоумевает

Идеальной красоты, таким образом, больше нет – и где она, решительно неизвестно.

Тогда менеджер говорит Денису Ивановичу:

– Денис, иди искать ее. Пока не найдешь – не взыщи, назад не пущу.

Денис Иванович, дело подневольное, вышел во двор. Все осмотрел – нет. На улицу вышел – даже намеков нет. Тут у него родилось подозрение, что она, скользнув на бычке, с разгону нырнула в мусорный бак и ее успели вывезти.

– Когда надо, – высказался он, – их не дождешься. Клиенты ели-ели – не доели, повар ел-ел – не доел, сын его второгодник ел-ел – не доел, собака его побрезговала. Чем она побрезговала, все налицо, второй месяц как на выставке поп-арта, берите что кому глянулось. А когда не надо, когда, может, надо подождать, чтобы человек собрался с силами, преодолел себя и вылез из мусорного бака – нате пожалуйста, налетают, как ястребы, рвут тело белое, крупитчатое. И где брать ее теперь?

Весь этот монолог произнес он в глаза ясному месяцу, стоя средь дороги, а потом махнул рукой и пошел куда глаза глядят.

Он долго искал, пережил многое и многое переоценил, осознал невозможность возврата и, покинутый на самого себя, поднял наконец свое дело. Он открыл ресторан в традиционном национальном убранстве, назвав его «Старый половой» и напротив дверей поставив в нем, как положено, чучело медведя, держащее в лапах чучело подноса. Медведя он приобрел в краеведческом музее, где его сактировали как побитого молью вследствие халатности; один знакомый Дениса Ивановича смонтировал систему, благодаря которой при каждом открывании входной двери в чреве медведя

поднимались звуки «I wanna be kissed by you», а гардеробщик разъяснял интересующимся, что это песня, поемая знаменитой артисткой Мэрилин Монро и означающая (тут он вынимал бумажку и вздевал очки на нос) «Я хочу быть через тебя целуема». Первое время люди толпой тянулись, чтоб только медведя послушать, а потом уже по привычке. Что значит учитывать психологию потребителя.

Напротив медведя повесили на стене рога. Тоже медвежьи. Мужик один работал у Дениса Ивановича, неизвестно, на какой должности числился, но взял его Денис Иванович за необыкновенную ушлость. За нее же потом и выгнал. Так вот, этот мужик, среди прочих приключений, приволок однажды мешок, из которого там и сям торчали... как это называется?.. отрожья, что ли; за ним следом шел разъяренный таксист, который кричал, что он ему всю обивку продрал на потолке и что если ему из соображений самозащиты нравится возить с собой свои рога, то пусть ездит общественным транспортом со сталинскими потолками, особенно троллейбусом, потому что они с ним города-побратимы, а ему, таксисту, пусть доплатит за ремонт потолочных перекрытий и общую дезинфекцию помещения. Денис Иванович, чтоб нейтрализовать этот буйный элемент, взялся сам ему доплатить, а мужик тем временем рассказывал, что эти рога добыл он, когда охотился в Карпатах, и что принадлежат они редкостному карпатскому медведю, который практически нигде не водится, размножается так, будто делает кому-то большое одолжение, и лицензию на отстрел которого дают только тем, кто сдаст макулатуры не менее чем на три экземпляра Красной книги. При этом указанный медведь (он даже привел его латинское название, *Ursus carpaticus cornifer*, *seu ursus Schroederi*, чем оконча-

тельно покорил Дениса Ивановича, имеющего вкус к точной детали) отличается крайней агрессивностью, особенно в период с марта по июнь, когда у него чешутся недоступные места рогов, и это именно то единственное время в году, когда местные власти дают лицензии на его отстрел. Медведь, изощренно таясь в скалах, подстерег мужика, мужик и ахнуть не успел, как между ними завязалась схватка, описание которой близко напоминало сцену из «Мцыри», но мужик, будучи на волосок от гибели, все-таки победил, благодаря чему эту историю Денису Ивановичу имеет удовольствие рассказывать он, а не медведь, и в качестве трофея вывез с Карпат рога освежеванного им хищника и фотографию, которая, будучи плохого качества, незамедлительно затерялась. Денис Иванович приобрел у него рога, вычтя из их стоимости сумму, пошедшую на таксиста, и распорядился прибить их против медведя, вследствие чего этот холл получил в обиходе название «Медвежьего выгона». Потом мужика выгнали за систематическое соблазнение официанток (при этом Денис Иванович произнес слова о том, что традиции отечественного меценатства, состоящие в оплате временной нетрудоспособности, ему социально чужды), но рога от него остались украшением ресторана.

Этот победитель медведей карпатских швартовался и к Жене Ящурко, но как раз в это время был пресечен. Про нее надо рассказать.

Был один подросток. Однажды, помирившись со своей подругой, собрался в знак этого сводить ее в кино. Он уже в дверях стоял, но мать заставила его поужинать: до ночи, говорит, уходишь. Он быстро сел за макароны по-флотски, глядя на них с недовольством, потому что он их не любил и потому что они были уже вчера. Когда она спросила, чего ты ковыряешься, он

высказался о них в том смысле, что они позорят наш флот, и в подтверждение кинул в них вилкой. И так удачно, что макароны брызнули прямо на него и развесились аксельбантами по рубахе. Мать говорит: молодец. Остальное все в стирке. Он: не хрен макаронами-то кормить все время, от них, кроме жира, проку никакого! Мать ему: фигуру, значит, блюдешь? Это правильно. Ну, вот и иди голый теперь. Он скачет по дому в одних джинсах и кричит: дай что-нибудь, не май месяц – голым ходить. Мать говорит: ну, не знаю. Вот я блузку перешивала для тети Лениной дочки, хочешь – надевай. Он: ты чего городишь? Что я, в женском пойду? Мать: ничего другого предложить не могу. Она почти мужская. Пуговицы только на другую сторону. Он постоял секунду и, делать нечего, натесал эту дрянь, приговаривая: чтоб я за Оксанкой донашивал! она же штангист! тяжеловес! Мать говорит: нет, она сейчас занимается шейпингом и очень похудела, я ее видела на той неделе в автобусе. У нее было какое-то разочарование в любви, и она растолстела на время, а сейчас следит за собой; поэтому они и отдали мне блузку. Оксаночка – девушка с хорошим вкусом, я тебе всегда говорила, и учится в юридическом классе, и ты присмотрелся бы к ней. Стой, дай молнию застегну. Подросток, мельком взглянув в зеркало (интенсивно розового цвета, рюши на груди, густая полоска фальшивых пуговиц из перламутра, в карман хотел сигареты сунуть – тоже фальшивый. Почему у них все фальшивое?), говорит: спасибо, нечего мне к ней присматриваться. У меня есть уже. Мать: иди. Видела я, чего у тебя там есть. «Не начинай!» – крикнул он ей, показавшись лицом в комнате. Нацепив ветровку, он застегнул ее до горла. «Блузку заправь, – кричала мать вниз по лестнице. – Сзади торчит».

– Девушка, вы на следующей выходите? – сказала ему старушка в автобусе.

Придав лицу грубости, он обернулся и сказал утробным голосом:

– Какая я вам девушка? Не видно?

Старушка сконфузилась.

– Сейчас ведь не отличишь, – пояснила она окружающим. – Все в брюках ходят. И внучка моя, тоже из брюк не вылезает. А у тебя, сынок, невеста-то есть? – поинтересовалась она с намерением восстановить соседские отношения.

– Даже две, – мстительно сказал подросток и выскочил в дверь, оставив позади скандализованную старушку. Его девушка картинно глядела на часы у кинотеатра. Ему удалось подойти сзади, он закрыл ей глаза руками, она холодно говорила: «Мог бы хоть раз не опоздать... блин, в ухо не целуй, звенит...», покамест он, развернув ее вокруг оси к себе передом, а к искусству задом, не закрыл ей рот поцелуем, а потом, придерживая ее одной рукой за талию, а другой размазывая по себе малиновую помаду, повел девушку под своды помещения.

– Молодой человек, девушку вперед пропускают, – наставительно произнесла тетка-билетер.

Он затормозил, склонился перед ней и, вытягивая руку, сказал: «Проходите, пожалуйста». Его девушка сзади фыркнула. «Бесстыдник», – пробормотала тетка, и он, довольный, проследовал в зал. «Ну, ты чего, охота была... – А что меня все учат! Что меня учат-то все! Что она мне, мать?»

Они устроились. «Девчонки, давайте познакомимся! – сказали сзади, сопровождая речь дружелюбным смехом. – У вас волосы красивые зашибенно! А вы не обернетесь, пожалуйста?» Он обернулся с грозным

видом. Двое парней, упиравшиеся в его спинку ногами, немного сконфузились – меньше, чем старушка, внучка которой не вылезала из брюк, – но тут смерклось и экран таинственно осветился. «Постричься надо было, – озабоченно подумал он, трогая завитки, выбившиеся из-под ушей. – На той неделе ведь еще хотел. То одно, то другое».

Кино называлось «Слушая Листа», в нем юноша и девушка, играя за двумя сдвинутыми роялями, любили друг друга; снятая сверху, с точки зрения осветителя, сцена, когда они в послеконцертном мраке ползли навстречу друг другу по скользкой лакированной крышке спарринг-рояля, под звуки «Годов странствий», была полна нежной и лирической грусти; темные силы начинали клубиться вокруг них, вклеивая гнусное слово в щемящий диалог, а они все еще не замечали опасности, упоенные слепым вдохновеньем любви. Девушка была очень хороша: забыв, что не хотел идти на эту мелодраму, он глядел на актрису с одобрением; сцена, когда она выходит к огням рампы и невнятному рокоту зала в концертном фраке своего возлюбленного, смутно напомнила ему о чем-то неприятном. «Слушай, ну убери ты руки... три недели просила, чтоб в кино отвел, дай теперь посмотреть спокойно... что тебе вечно неймется...» Отвлекшись от занятий, он вдруг понял, что уже давно машинально облизывает зудящие губы. Пригибаясь, он пробрался по ряду и из тихого и светлого фойе нырнул в туалет. Тетка-билетер следовала за ним глазами, ища повода поскандалить. В зеркале, вмурованном в кафель, он не нашел ничего патологического, кроме остатков помады на губах, кажется, чуть припухших. «Не целуйся на ветру», – назидательно подумал он в свой адрес. Затем он тщательно умылся, справил нужду и, выходя оттуда, мигнул себе в зерка-

ло. Там он опять увидел на себе помаду – кажется, гуще прежнего; бормоча: «Что за ботва... до дыр их протереть, что ли» – он стер ее снова, посмотрел с вызовом и вернулся в неровно мерцающую темноту зрительного зала. Его приход пресек непристойные предложения, поступавшие от парней сзади; он устроился, обняв девушку за плечи – она тихо плакала над вымыслом, в темноте у нее дрожал подбородок и тушь текла неровными бороздками – и вернулся в курс дела. Пианист уже погиб – в какой момент и от чего конкретно, подросток успел пропустить – и теперь его девушка, не зная об этом и прилагая все усилия, чтобы добраться до него и спасти, подвергалась унижениям со стороны главного злодея, который, будучи уверен в ее покорности, говорил: «Ты будешь любить меня, Роза. Я полагаю, со мной ты быстро забудешь твоего тинэйджера». «Меня зовут не Роза, – говорила она медленным голосом, в котором искушенному зрителю слышится свернутая до упора пружина. – Меня зовут Рейчел». «Я буду называть тебя Роза, – небрежно отвечал он. – Привыкни к этому. По-другому не будет». «Почему бы и нет, – неожиданно произносила она с подкупающей улыбкой. – Я люблю багряные розы». Между ними произошло молчание, в ходе которого ее лицо зримо наливалось порочностью, и она, вразвалку надвигаясь на него, испуская из-под ресниц тусклый огонь разврата, бегающий зайчиками по стенам, протяжно произносила: «Почему же ты не хочешь взять меня за задницу?». Какой-то у нее, судя по всему, был замысел, о котором, однако, подросток узнать не успел, потому что с ужасом ощутил в себе потребность громко повторить это беззастенчивое предложение, и потребность столь неодолимую, что если не исполнить ее немедленно, он может реально лопнуть. Пробормо-

тав что-то недовольной девушке, он, прежней дорогой, глухо проклинаемый чужими ногами, давясь и зажимая себе рот, откуда бурлил и рвался роковой демарш, опрометью выскочил в сортир и, едва захлопнулась дверь, с неописуемым наслажденьем, чуть присев, прокричал в настенный кафель: «Почему ты не хочешь взять меня за задницу!»

Его клич отразился от углов, вынырнул из кабинок, как хор погибших душ, и утихнул, провожаемый глубоким вздохом облегчения. В наступившей тишине что-то, звонко щелкнув, ударило в край зеркала, с готовностью покрывшегося черной сеточкой, и со стуком завертелось по полу. Подросток посмотрел: под раковиной кружилась юлой медная заклепка от джинсов. Пока он, словно намереваясь выковырять у себя аппендикс, недоуменно копался в том месте, откуда она слетела, чуть не в глаз ему ударила вторая, звучно срикошетив от кафельной плитки в унитаз, и он с ужасом услышал треск расползающейся джинсовой ткани. Он ахнул, обхватив свои бедра, как при прощании навек, когда сиреневый туман сгущается, не давая запомнить любимое лицо, и уже объявляют: «Отъезжающие, не забудьте билеты у провожающих», – джинсы напрягались, как полиэтиленовый пакет, который порочный четвероклассник наполняет водой, крича в сторону балкона: «Иду, пацаны, чуть-чуть еще!» – и как этот пакет, который, отблескивая заходящим солнцем, с грозным гулом летит на голову случайному человеку, опаздывающему на презентацию, джинсы, плотно налившиеся стихийной силой, обретали под его дрожащими пальцами уверенный и упругий объем. Они тяжко вздрогнули, как конь во сне; с ширинки сорвалась пуговица, за ней вторая.

Вдруг все стихло и остановилось.

Он громко сглотнул; слабыми ногами достиг раковины, сунулся под кран, чувствуя благодетельный холод и запах ржави на воспаленной голове, а потом заглянул в зеркало.

Последние полторы минуты наградили его – непонятно за какие заслуги, но от души – роскошным круглым задом, с ямочками в верхних четвертях, налитым такою силою соблазна, что ему нестерпимо было на себя смотреть; прорвавшиеся на коленях джинсы, удерживая его личностное становление, уползли наверх, обнажив голени до половины. Упершись в него руками, словно в намерении вылезти, и вывернувшись сколько мог, он через левое плечо смотрел на его симметрическую кубатуру, засвидетельствованную джинсами со свирепой пунктуальностью, спрашивая себя, откуда это ему надуло. Обрадовавшись мысли, что он заснул во время сеанса, он ущипнул себя и взвизгнул, почувствовав неожиданную щекотливость. «Полная задница», – откомментировал он эту картину с бессознательной точностью, в отчаянии заглянув себе в лицо, на которое шикарный зад оказал разрушительное действие: глаза выглядели порочными, линия скул – женственной, челка – уложенной с искусной небрежностью; помада, жирно проступившая, как пятно на кентервильском полу, довершала картину кризиса идентичности.

Он выбежал из сортира. «Что ты, бесстыдница, делаешь! – кричала ему тетка-билетер. – Зачем туда ходила! а?» Едва не сшибив с ног бедную вдову, он опрометью вынесся из кинотеатра. По счастью, сумерки уже наступали. Он боялся обгонять одиночных и коллективных мужчин, потому что слишком хорошо представлял себя на их месте, когда, подрагивая затянутым в джинсы крупом, колебался на их линии прицелива-

ния, как тушканчик перед фарами, и потому в каждом подобном случае искал обходных путей, чертыхаясь в грязи и лавируя меж сумеречно белеющего белья, развешанного по детской площадке. К тому же, как мудро говорит Гораций, отправляясь в турне, себя везде возишь с собой, – и внутри него был наблюдатель, которого было не объехать детской площадкой.

– Блин, да чего же они так виляют! – мысленно воскликнул он, дав себе звонкого шлепка по местам частичной моральной вменяемости.

Как ни странно, они отозвались.

– Какие претензии, мил человек? – как бы даже с вызовом осведомились нестройным дуэтом места частичной вменяемости. – Другой бы посовестился – спасибо сказал. Наплевательское просто отношение. Делай после этого людям добро.

– Это добро? Да мать вашу врасперегреб – кто его просил?

– Это, безусловно, добро. Поскольку оно в лучших проявлениях тождественно красоте. А красота, как из-вестно, есть пропорциональность частей в сочетании с приятной окраской. Пропорции, как придешь домой, можешь оценить при помощи циркуля – помнишь, где циркуль-то? Готовальня на подоконнике. Не уколись, главное, а то сидеть будет обидно. Что касается окраски, остается полагаться на твой вкус. А чем на судьбу роптать, лучше бы застраховал удачное приобретение, как юридически грамотные люди.

– Они передергивают, – заметил Генподрядчик. – Это определение красоты оспаривалось всеми приличными людьми. Приличные люди с негодованием выслушивали его от неприличных.

– Я не несу ответственности за речевую стратегию бедер, – заметил греховный пасечник. – Мое дело изложить. За что купил, за то продаю.

– От чего застраховать? – глупо спросил одаренный подросток, пытаясь переварить внезапный экскурс в историю эстетики.

– От глада, мора, потопа, – деловито перечислили бедра, – дурного глаза, лихого человека, от зверей от дубравных, от тридевяти еретиков, от тридевяти еретиц, от стрелы летящей, от сабли стальной, от червей сыпучих, от смолы кипучей, от видимых и невидимых, чтобы волк не кусал, чтобы вор не украл. – Они передохнули и прибавили: – Это стандартный пакет. От пожара тоже можно. От амортизации, выветривания и падения котировок, будьте слова мои крепки на тое дело, крепче ножа булатного. Страхуете восемьдесят процентов объема и двадцать получаете бесплатно. Предложение действительно до тридцать первого декабря.

– Не хватало задницу страховать! – отозвался непримиримый подросток, крепко поддавая правым бортом.

– Как уже опостылел этот ваш правовой нигилизм. Помяните наше слово, он вас до добра не доведет. И они еще борются за звание демократических устоев! – видимо, Страсбургскому суду наябедничали бедра. – Демократию, товарищ, начни с себя! Встал утром, привел себя в порядок – задайся вопросом: все ли я сделал для того, чтобы честно смотреть в глаза идеалам? Не происходит ли, к примеру сказать, в моем организме какой дискриминации?

Он презрительно скривился.

– Но и у нас есть рычаги, – угрожающе сообщили оппоненты. – И мы не упустим их применить. Мы нау-

чим тебя любить не своевременность прихода, а походку как таковую. Между углом и эллипсом ты привыкнешь выбирать эллипс, особенно розовый, а учительница английского будет навевать на тебя совершенно иные мысли.

– Это мы посмотрим, насчет английского, – самонадеянно откликнулся он. – Мое дело, какие хочу мысли, такие и навеваю. Будет еще каждая задница мной распоряжаться. Я не ребенок, у меня свой ум есть.

– Ты, баклан, как бы фильтруй базар, – бесцеремонно посоветовали бедра: – какой у тебя ум? Откуда он нарисовался такой красивый? Ты, к примеру, по химии что позавчера получил? А сочинение про Базарова как написал? Напомнить?

– Она реально придирается ко мне. Она с прошлого года меня не любит, я матери когда еще говорил, после родительского собрания. Чего не так в сочинении? Все правильно там было!

– Не сваливай с больной головы. Кто писал, что «Базаров заразился от трупа» и что «смерть от любви – что может быть романтичнее»? Пушкин это писал? Придираются к нему! Скромнее надо быть, дорогой ты наш носитель, и на Базарова не клепать, ему и без тебя проблем хватает – завтра параллельным классам про него писать.

Тщетно он искал, чем возразить их неожиданной осведомленности. Они о нем знали много компрометирующего, а он о них ничего.

– Разум у него, видите ли, – сухо проронили бедра. – Компетентный представитель землян. Наша-де против вашей завсегда брать будет. Дескать, держитесь, гады. А гады между тем держатся уверенно, и в итоге он со своей девушкой в акваланге всплывает на поверхность, но гигантский ракоскорпион, сожравший всю команду,

настигает его на идиллическом фоне атоллов, и тут-то разворачивается последняя битва с глубинным злом, после которой они с девушкой, обнявшись, плывут в сторону заходящего солнца. Так это не твоя история, сечешь? Твоя девушка осталась в кино, в плотном кольце заинтересованных подростков, и помириться с ней у тебя не выйдет. Впрочем, расстраиваться не стоит, потому что тебе удалось унести с собою лучшее, что в ней было.

– Почему это лучшее? – насторожился подросток. – Олька, она человек хороший. С ней весело. Хотя, конечно, как психанет иногда. Чего вы думаете, я только за фигуру ее люблю?

– Честно признаться – да, думаем. Ты когда своей Олькой хвастался перед коллегами, спрашивали ли они, как она тонко понимает стихотворение «Они студентами были»? А ты – не разводил ли ты, дорогой, руками, как беззастенчивый рыбак, и не вычерчивал всяких душераздирающих изгибов? Вот не надо было на себе чертить, юный дизайнер. Примета плохая.

Он был подавлен этой софистикой, а они еще философски замечали:

– В конце концов, чего себе не хочешь, то в других не привлекает, – прибавляя голосом базарного торговца: – Вам идет. При стирке не садится. Держать в теплом месте, вдали от детей.

Так, пикируясь с удивительно глумливым тазобедренным поясом (а с другой стороны, если каждому качеству свойственно седалище в человеческом теле, то где и размещаться цинизму, как не в бедрах, подобно тому как селезенка является обителью смеха, желчь – гнева, а печень – склонности жить не по средствам?), – так, повторяем, с грехом пополам добрался он до дому. Мать смотрела, как он, извиваясь и трепеща, выди-

рается из джинсов, словно бабочка из некондиционной куколки. «Треники мои где?» – кричал он, бегая в одной розовой блузке по дому. «Где оставил, там и ищи», – привычно отвечала она. В тренировочном костюме он несколько успокоился. Шум в ванной выдал его тревожные усилия разделаться с помадой. «Поди открой», – крикнула мать, услышав звонок. Громоздкий мужчина занимал дверной проем. Подросток, с мокрым и бледным лицом, смотрел вопросительно. «Простите, Удильцевы здесь живут?» – неуверенно сказал мужчина. Мать вышла из комнаты. «Этажом выше», – ответила она, вглядываясь в него. «Свет, это ты?» – сказал он, переступая порог. «Валера?» Он шумно присвистнул. «Ба! вот это встреча, ты подумай! Сколько же лет? с самого выпуска?» «Нет, еще у Нины на дне рождения, когда Игорек на трамвайных рельсах валялся...» «Ну, это тоже двадцать лет почти... он, интересно, еще там?.. Слушай, как встретились-то! В общем, так, – решительно сказал мужчина, – оставайся здесь и никуда не уходи. К Удильцеву мне обязательно надо, но буквально через час я буду у тебя... Ты подумай, как встретились! а?» «На что тебе Удильцев? Или тебе Валентина его нужна?» – сказала мать, смеясь. «Да нет, он у нас затеялся организовать детский конноспортивный праздник “Верхом в юность”... по парку когда ходишь, видишь там подростков на конях, по кругу ездят?» «Когда я там ходила в последний раз...» «Ну вот, мне от него нужна кой-какая документация, данные по программе, схемы выездов... А это дочь твоя? Ты глянь, совсем взрослая. Чужие дети, правду говорят, растут быстро. В общем, через час буду!» – крикнул он и исчез.

Подросток еще стоял в коридоре, когда, спешно начистив картошки, мать вышла с кухни и велела идти

переодеваться. На тахте лежала в готовности давешняя блузка и плиссированная юбка. По лицу матери читалось, что анекдотического настроения у нее нет. «Ты чего, мам?» – осторожно спросил он. «Ничего», – отчужденно сообщила она и, подумав, закричала: «Муж на пятом десятке нашел молодую девочку себе, работаю за гроши, шью на чужих, так лучше у меня будет очевидная дочь, чем неочевидный сын! Одевайся, я сказала!»

«Чье это?» – угрюмо спросил он с юбкой в руке. «Это тоже Оксаночки». «У ней бедра как абажур!» «Ничего-ничего. Ты надень, а там видно будет». «Где тут перед?» «Вот так. Молнию застегни. Повернись... ну, самый твой размер. Отлично сидит. Как на тебя куплено». Он взялся за блузку. «Тельник-то сними». «Это что?» – завопил он, упреждая ее движение. «Бюстгальтер. Не видел, что ли, никогда? А в кино что показывали? Не дергайся, не у дантиста». Она защелкнула его на спине, как затвор темницы. «Чем его набить, – произнесла она в таксидермических раздумьях. – Вон собачек возьми».

Две одинаковые плюшевые собачки, подаренные ее сослуживцами на прошлый Новый год, в печальной симметрии стояли на серванте, перемежая отражением красных хвостов отражения чешского хрусталя. Он запустил собачек за пазуху и синхронно поерзал ими в поисках верного соотношения. «Вот так они нас обманывают», – с ожесточением сказал он. Пока мать толкла картошку и грела молоко, он перед большим зеркалом разглядывал свою внезапную фигуру. Оксанина юбка, в самом деле, выгодно подавала линию бедер, и собачки сидели на нем как родные. Он попытался найти на голых коленках изображение улыбающегося лица, о котором читал в журнале, и, уверив-

шись, что нашел, от души благословил это завершение дня матерным словцом.

Валерий Иванович пришел с бутылкой «Монастырской избы» и коробкой шоколадных конфет «Есть в светлости осенних вечеров».

– У меня один знакомый, – весело прогудел он с порога, – дизайнер по шоколадным плиткам. Сказки Пушкина, утро в сосновом лесу и все такое. Я его спрашиваю: где, Гриш, фантазия у вас? Ну, захочет взрослый человек взрослому человеку, там секретарше чьей-нибудь или мало ли кому, подарить шоколадку, – ну что он купит? «Аленку»? Это же несерьезно. Не можете вы, что ли, разработать несколько картин на разные случаи жизни? Или хоть бы «Взятие снежного городка» поместили, это национально, и подростки узнали бы что-то из отечественной живописи, или «Меншикова в Березове». А то ведь молодежь совершенно безграмотна в этом смысле, не как мы в юности художественные альбомы коллекционировали, Саврасов там, Бидструп... Он говорит: ну, почему только Аленка. Еще есть «Кузя, друг Аленки». Я ему: есть Кузя. Не будем отрицать. И все? Он: нет. Сейчас решено продвинуть линию сюжетов, связанных с этим кругом лиц. Лично я, говорит, выполнил в серии эскизов «Кузькину мать, свекровь Аленки». А трое моих коллег работают над многофигурной композицией «Знакомство с родителями жениха, или Показ Кузькиной матери». Я говорю: с кого писали мать-то? Он: мало ли такого добра. Модель на модели. Так вот, Свет, чтоб нам в жизни такие модели реже встречались!

Они чокнулись.

– Жень, неси картошку, – сказала мать.

– Как она у тебя? – слышал подросток с кухни. – Учится?

– Так. Не очень. Другие интересы.
– А чем собирается заниматься после школы?
– Не знает пока.
– Вот умерла у нас работа по профориентации. Вспомни, когда мы учились, приходили ведь из всяких техникумов, рассказывали, чему у них учат, какие есть в училище традиции, какие кружки, умели увлечь – а теперь молодежь сама себе предоставлена. Ну, согласись? На дискотеки ходит?
– Вот только что из кино.
– С парнями?
– С подругой.
– Ну, с подругой – это еще хорошо. Вот с парнями начнет, тогда держись.
Подросток ушел к себе и завалился на диван. Глухо был слышен разговор об однокурсниках, кто из них полысел, а кто наоборот, хорошо устроился. Заглянула мать: «Выйди к гостю, неприлично». Он вышел.
– Валер, ну ты сыра возьми. Хороший сыр. И селедка на тебя смотрит.
– Свет! вот знал бы я, что так тебя напрягу, – ейбогу, сто раз бы подумал, прежде чем возвращаться! Мне теперь перед тобой неудобно!
– Ну что ты городишь, видимся раз в двадцать лет и будем еще селедку жалеть...
– Женя! – обернулся Валерий Иванович от селедки, сытно блеща глазами. – Ну, расскажи мне: какие у тебя увлечения?
– Какие увлечения, – глухо сказал подросток. – Я ударник.
– Капиталистического труда?
– На барабане, – пояснила мать. – И на тарелках. Такой гром стоит.
– Ну, и где ты на барабанах?

– Нигде. Так, с ребятами.

– С ребятами, – многозначительно заметил Валерий Иванович. – Слушай, а хочешь, я тебя в группу определю?

Подросток прислушался.

– Иришка Хрустальная, – отнесся он к матери, – приходит и говорит: Валерий Иванович, как бы нам группу создать. Мы хотим такой лирический квартет. Только у нас пока не весь состав подобран. Я говорю: Ирин, ну какие проблемы. Я, чем смогу, поддержу. Тренировкам только это мешать не будет? Она: нет, ну Валерий Иванович, вы же меня знаете, меня дома уже ревнуют к секции, что я с ними не бываю никогда, все праздники с девчонками. Я, говорит, на электрогитаре, а еще одна девушка поет. А ударника у них как раз и нет; я спрошу у нее завтра, и если еще не нашли, то тебе сам Бог, так сказать, велел.

Подросток слушал.

– Она уже название придумала, – прибавил Валерий Иванович. – «Розы и Ружья». Это с юмором; в смысле, что мы, дескать, хоть и розы, – она, правду сказать, кровь с молоком – но у нас в случае чего и ружья наготове. Только придется тебе в секцию записаться. Могут не одобрить ударника со стороны. Ты как насчет из пневматики стрелять? – поинтересовался он.

– Легко, – с оттенком пренебрежения отозвался подросток.

– Ну как, Свет, отпустишь в женскую команду? Может, медалей не завоюет, но красивый спорт, да и коллектив хороший, такие девчонки уважительные, никогда никакой дерзости, дни рождения все в секции отмечают, пирогов всегда напекут... Да, глядишь, в самом деле споются, будет квартет – чем черт не шутит?

– Я-то что, – сказала мать. – Лишь бы учебе не вредило.

– Ни в коем случае. Там с этим строго. Всегда держат связь с администрацией школ, с классными руководителями; потому что, правильно, если у человека никакой элементарной ответственности перед обществом, то профессионально учить его стрелять – это абсурд, согласись?

– Конечно, – сказала мать. – Кто из них выйдет. Какие там матери и жены. Вот это я тоже еще не понимаю, женский бокс, что это такое? Девки друг друга бьют. Я этого никогда не смотрю.

– Вот и отлично. Значит, завтра я с Иришкой переговорю и вам звякну – слышишь, Жень? Договорились. Ну что, девчонки, переходим к танцам? – спросил он. – Музыка есть у вас какая или в скукоте сидите?

– Жень, принеси магнитофон.

– У тебя какая музыка? – спросил Валерий Иванович, пока подросток рылся в кассетах. – Что-нибудь есть лиричное, Шарль Азнавур, например?

– Не знаю. Вот есть «Несчастный случай».

Он поставил «Несчастный случай». Валерий Иванович с матерью, церемонно поднявшись от стола, протанцевали медленный танец под «Ночной ларек», а когда звуки смолкли, Валерий Иванович спросил: «Свет, ты не будешь против, если я приглашу твою дочь на танец?». «Что ты меня спрашиваешь, Валер, – отвечала мать. – Она взрослый человек, у нее паспорт есть». «Но она еще не имеет права избирать и быть избранной? – осведомился Валерий Иванович. – Значит, это ограниченная правоспособность. Милая барышня, – с полупоклоном адресовался он к подростку, – не угодно ли вам избрать меня, грешного, на следующий танец».

С потупленным взглядом, разгорающимися щеками и бурно вздымающимися собачками подросток подался навстречу ему. Валерий Иванович, с небольшою улыбкою ободрения, обнял его послушную талию, подросток уткнулся задумчивым лицом ему в грудь, и под песню «48 часов» они совершали лирическое кружение относительно себя, а мать глядела на их тесную пару из-за стола, опершись на ладонь. «Хорошая музыка, – сказал ему на ухо Валерий Иванович. – Мелодичная». «Давайте, Женечка, выпьем за знакомство, – сказал он, когда очарование музыки кончилось. – Вы себе позволяете? Свет, как мы условились, я тебя не спрашиваю». «Не надо бы, – покачала мать головой. – Завтра в школу рано вставать». «Будет тебе. Она взрослая девушка. Видишь, какая она взрослая? И пьет правильно. Только жмуриться надо, когда целуетесь, а когда пьете, не обязательно».

Остальную часть вечера он помнил нечетко, видимо потому, что, вопреки похвалам благожелательного гостя, голова его поплыла от «Монастырской избы», чередовавшейся с кружениями в объятиях, он смеялся над конноспортивными анекдотами Валерия Ивановича, самонадеянно играл с ним в локотки, разливая селедочный соус по скатерти, и порывался показать, как он хорошо играет на ударных и стреляет из пневматики. До постели он, видимо, добрался сам – иначе бы, вероятно, он был раздет в большей степени, чтобы одежда Оксаны, справившейся с разочарованием в любви, дошла до нее в более презентабельном виде – но, во всяком случае, он этого момента не заметил.

Ему снился сон. Будто моется он в ванной, и мочалка ему говорит: «Женя, я полюбила вас навеки и хочу всегда быть с вами. Возьмите меня в край далекий, там я буду мочалкой вам. Не хотите мочалкой –

буду на все руки». Он отнекивался, дескать, в краю далеком у меня мочалок – половником черпай, но она настаивала, скользнула ему по пояснице и приросла к копчику, глухо крича оттуда, что она места много не займет, ее можно в штанину заправлять, а ей бытовые неудобства безразличны, лишь бы быть с ним. Потом он встретил завуча, завуч был ему не мил, и он намеревался выразить это жестом и мимикой, но мочалка вдруг начала умильно вилять, и ему, хочешь не хочешь, пришлось изображать теплую привязанность и призыв безобидно порезвиться.

– Вставай, – сказала мать.

Раздирательно зевая, под ненавистные звуки утреннего радио он вышел в ванную, с вялым радушием встретив свое отражение в бюстгальтере. Он чесал во рту зубной щеткой со вкусом сибирского кедра и подумывал освободиться от заночевавших в его составе огненных собачек, с которыми давеча имел такой нежданный успех, тем более что от причиняемой ими тесноты и дискомфорта ему снились удивительные глупости. Он запустил руку в заповедную глубь своего бюстгальтера, мысленно пожелав себе: «Ну, чтоб не в последний раз», и, пошарив, выпростал оттуда грудь. Он посмотрел. Она была круглая, белая, с острым нежно-розовым соском, и, судя по тому, что не улетела вместе с лифчиком, который, расстегнувшись, меланхолически опадал к ногам, как листья осенью, являлась такой же безраздельной собственностью его организма, как и парная к ней, покачивавшаяся левее. Разжевывая с немузыкальным звуком зубную щетку, он смотрел на белые полоски от бретелек, словно он с этим прибором много загорал, и привлек внимание матери, остановившейся в двери с трудноописуемым выражением обычно одинакового лица. «Собачки бы-

ли китайского производства, я думаю», – сказал он, не зная, стоит ли после этого чистить зубы. «Да нет, наши, – машинально сказала она. – В Кинешме таких делают. Я помню, у них этикетка была на животе. Ты посмотри, там этикетки не осталось?» От обомления он взялся искать, приподнимая и заглядывая, перепачкал себе груди зубной пастой, сказал с остервенением: «На моем бюсте этикеток нет» и полез в ванну отмываться. «Горячую пусти, застудишь», – сказала мать. «Не учи ученого, – отвечал он. – Закрой дверь». «Что за тон! – кричала она снаружи. – Как ты себе позволяешь говорить с матерью!»

Он влез в цивильное, бросив лифчик на стиральной машине – мать закрылась у себя – и выбежал из дому.

«Здорово, Ящур. Ну как, сходил вчера? Все ничего? А фильм как? Нам по волейболу первое место дали. Будешь получать за команду, книжку подарят. После четвертого урока сбор в спортзале. Поесть некогда».

Покамест завуч говорил гулко отдававшиеся слова, а подросток, стараясь не дышать грудью, с переходящим бронзовым вымпелом в руках стоял перед коллективом, представляя его спортивную славу, два порочных четвероклассника, вырвавшиеся из развернутого сравнения с полиэтиленовым пакетом, бежали один за другим с ведром воды. Им приказано было вымыть класс, но, далекие от ответственности, они сначала использовали швабру не по назначению, а теперь утилизовали ведро. С радостными воплями, символизирующими роль масс в истории, они ворвались в спортзал; тот, кто был угрожаемым, юркнул в женскую раздевалку, тот, кому выпало угрожать, споткнулся, и вода из застопоренного ведра, по социальной инерции продолжая движение, красивой блистающей кривизной протянулась в воздухе вдоль безлюдного козла и в

полной мере выпала на долю подростка. Общий вздох потряс помещение, подросток молча снял пиджак и, в насквозь мокрой белой рубашке, придававшей ему сходство с Венерой Милосской, комплектно пришедшей на офисное собеседование, вышел из зала с бронзовым вымпелом в руках.

Потом его вызвал классный руководитель.

– Женя, нам с тобой надо серьезно поговорить, – сказала она с озабоченным выражением. – Женя, что с тобой происходит? В твоем возрасте, когда каждый человек решает для себя, кем ему быть, когда происходит какое-то становление, я не вижу в тебе понимания того, что ты скоро выйдешь из школы во взрослую жизнь. К учебе ты стал очень прохладно относиться, учителя жалуются, вот химия… Я сколько раз говорила тебе: подтяни! Но ты разве реагировал? Женя, скажи мне, ты реагировал разве? Я вынуждена была приглашать Светлану Ивановну, чтобы она както на тебя воздействовала… Но когда у тебя, извини меня за прямое выражение, грудь… тут уж говорить тебе «подтяни» совсем бессмысленно… Что это, Женя? Конечно, в наше время вы гораздо свободней, чем мы были в свое время, но ведь и свобода должна иметь какие-то пределы, не надо понимать ее извращенно, что, мол, я что хочу, то и делаю. Нет, Женя, это не свобода! Это совершенно другое! А когда тебя награждают перед всем классом, Николай Васильевич говорит речь, а у тебя в этот торжественный момент грудь, то значит, ты хочешь продемонстрировать ну просто наплевательское отношение к школе, я не знаю, как-то унизить людей, которые для тебя же стараются… Женя, подумай, что и кому ты хочешь продемонстрировать! Ты же умный мальчик, подумай серьезно, куда ты идешь!

На следующий день он пошел в секцию стрельбы.

Тут мы опустим несколько месяцев, прошедших, то в печали, то в радости, до того момента, как он, пометив маркером в разделе объявлений бренд «Потомственная баба Маня. Аурасъемка и вампиризм. Лечу варикоз, снимаю порчу, запой, демонтирую венец безбрачия (корень копытень)», позвонил к ней в обитую дерматином дверь.

– Проходи, дочка. – Он положил фотографию на клеенчатый стол между магическим шаром и крестовой отверткой. – Да, хорош, хорош. Прямо красавик. Ничего не скажешь. Насчет присушить даю гарантию на полгода, за этот период бесплатные консультации на развал и схождение, а дальше уж сама. Тут ведь как – промоушн, конечно, надо поручать профессионалам, но если у женщины никакой органики, то ей и магией не поможешь. Некоторые так, знаешь, нутром смеются – мужчин просто с ума сводит. Ты, дочка, смеешься нутром?

– Я не смеюсь нутром, – сказал он с ожесточением. – Я по тарелкам выбиваю девять из десяти. За счастьем в личной жизни я хожу в коллектив.

– Тогда чего ж, милая, тебе от бабы Мани?

– В общем, это вот я.

Она посмотрела в фотографию, потом на него, потом снова в нее, как пограничник, перед тем как уронить: «Па-азвольте… почему у вас тут противокозелок не совпадает?» – и вымолвила:

– И давно?

– Это вот на майские. Мы с пацанами на реку выехали. Видите, я в ластах бегу.

– И как это, родной, тебя сподобило?

– Собственно, я и пришел спросить.

Она погрузилась в профессиональное молчание, слюнявя пальцы и листая какое-то, испещренное пожелтелыми закладками, систематическое описание незаметных поначалу, но роковых заблуждений, пока наконец, со вздохом космонавта, уверившегося в худших подозрениях насчет трещины на лобовом стекле, не отложила книги.

– Так, сынок, вспоминай. В террариум не ходил с классом, нет? Что у вас теперь, экскурсий вообще не устраивают? А ботинки никому шнурками не связывал? Точно? Нет такой тяги? Может, в макароны вилкой кидался? Ну вот, – подвела она итог, – кидался, значит. И, конечно, в сентябре. Нельзя этого никогда делать. У них брачный период об эту пору. К ним вообще тогда лучше близко не подходить.

– И что теперь делать? – жалобно сказал он.

Ее морщинистое лицо мигнуло глазом.

– Ты вот что, милок. Это, конечно, дело редкое, но и против него есть способы. Против всего есть способы. Тут в основном такой. Для реверсивного действия, учит наука, надо пнуть ногой свернутый шланг. Очень помогает. Ты, правду сказать, в моей практике первый случай такого рода, все больше иголки в дверной косяк втыкают, но в оккультной литературе такие феномены подробно описаны. Шланг – первое дело, Анни Безант прямо указывает.

– Шланг ногой? И всего делов?

– Ты не беги, молодое твое дело, лишь бы бежать. Тут оговорки есть некоторые. Во-первых, ты этот шланг не должен готовить. Все должно быть случайно. То есть вам где-то надо встретиться. Ты как бы идешь, лежит себе шланг, жрать не просит, и ты эдак его пинаешь. Нельзя мизансцену подстраивать. Того гляди, хуже будет.

– Куда уж.

– Не скажи, – значительно возразила она. – Природа, она бесконечна, электрон вообще за день не выдоишь, и уж чего-чего, а куда хуже – это всегда найдется. Молодость ваша беспечная, а вот гляди, пообботрешься в жизни. Ну, чего я тебя пугаю, ты и так пуганый. Значит, второе. Второе – это то, что встреча твоя судьбоносная с этим дивайсом должна прийтись на те же сроки. То есть если макаронам ты демонстрировал в сентябре, то и шланг пинать надо в сентябре. Не раньше и не позже. И не во время месячных. Вот, собственно, и все.

– В сентябре! – лихорадочно думал он вслух, идя от благодетельной старушки. – Это, блин, почти пять месяцев еще! Еще все лето! А шлангов-то кругом! Автобазы, заправки, гаражи! Пожар, в конце, концов, устроить во время экзаменов и дождаться пожарных! Полезное с приятным! Хотя это, наверно, уже мизансцена... это, значит, хуже выйдет... Мужик, остынь, я тебе в дочери гожусь! Какая досада, что лето псу под хвост! Там дачников одних с поливом помидоров – пинай не хочу! Да, главное, способ знать! Лиха беда теперь!

Тут мы снова пропустим несколько месяцев, ничего не рассказывая о летней поре, удовлетворительно отраженной в семейных фотографиях, и начнем с того момента, когда он легко ступал по радугам бензиновых луж на территории автошколы, откликаясь сдержанной улыбкой на реплики: «Красавица, ты не меня ищешь?», а навстречу ему лежал вожделенный шланг. И оставалось только...

И вот он уже...

– Вот дьявол!

Он застыл с занесенной ногой, как гипсовый пионер, играющий в гипсовый футбол, и по спине его,

пользуясь готическим слогом, прошел холодок ужаса. «Вот идиот, – судорожно сказал он, глядя вниз на свои привлекательные ноги в чулках и на шпильках. – Одежда, как была, так и останется. Ты тут ночи будешь ждать под передним мостом или в мини-юбке по городу попрешься? Унисекс надо было надевать какой-никакой, унисекс – вот что, подруга!»

И он пошел домой за унисексом. Но, оказавшись дома, он почувствовал себя усталым и не захотел тащиться назад в джинсах, которые не сходятся на бедрах.

«К тому же день рождения в субботу. Неудобно будет перед девчонками. Люди деликатные, конечно, сделают вид, что не замечают, но все равно. Отметим – и в воскресенье пойду пинаться».

В субботу празднично разрумянившаяся Женя, снующая в сиреневом брючном костюме и переднике меж кухней и комнатой, выслушивала последние наставления от матери, тактично уходившей к тете Лене, о том, что в каком порядке и с каким интервалом подавать на стол. Длинная трель известила о приходе коллектива, щебет и гомон влился в прихожую; под потолком вокруг абажура закачались верхушки гладиолусов, сервированные покорными метелками аспарагуса, этого непременного укропа букетов наших; звучали длительные поцелуи. «Давайте за стол сразу, Наташка Ертова звонила, что задерживается минут на сорок, так что без нее начнем. – Кто-нибудь открыл? – Сереж, ты чего моргаешь?» Огромный Сережа из шахматной секции, в чьих широких руках бутылка шампанского выглядела, как младенец в комфортной колыбели с мирным небом над головой, добросовестно пустил пенный удар в сторону дивана под дружный визг и одновременное расступание тесно сбившихся женских тел.

– Дорогая Женечка! – с выражением начала Иришка Хрустальная, держа на ладони бокал шампанского. – Когда ты пришла в нашу команду по стрельбе, ты принесла с собой столько оптимизма, жизнерадостности и весеннего настроения! Я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда оставалась такой, какая ты есть: доброй, веселой, всегда готовой прийти на помощь подругам! Мы все тебя очень любим, и я закончу свой тост словами поэта:

Нет, тучи на небе не вечны,
И сердце ты к тому готовь,
Что надо верить бесконечно
В большую дружбу и любовь!

Здесь собрались все твои друзья, и мы надеемся, что дружба и любовь будут сопровождать тебя по жизни. За тебя, дорогая!

Они поцеловались и чокнулись с растроганной именинницей, и потекло веселое застолье.

Потом, когда горячее было съедено, а перед тортом сделан был перерыв и настал момент утомления и задумчивости, девочки, рассевшись по полу, в полумраке, рассеваемом лиричными свечами, окружили Иришку Хрустальную, сидевшую заложив нога за ногу на табуретке с гитарой.

– Ну, что, – сказала она. – Жень, сегодня все для тебя.

– Ир, а давай «Шалопая судьбы», – попросила Женя, и ее вразброд поддержали.

С надвинувшейся складкой между бровей, Иришка, взяв ре минор, провела большим пальцем по струнам, задав романтичную тональность, и начала перебором наигрывать песню, о происхождении которой она от-

зывалась со стыдливо-гордыми недомолвками, давая основания самым крайним догадкам:

Я спрячу кручину мою,
Я звуком не выдохну горя,
В пучине свинцовой его утоплю
Восточно-Сибирского моря.

Я помню, в минуту разлуки
Рыдала ты, птичка моя,
Дрожа, твои бледные, тонкие руки
Змеей обнимали меня.

Припев:
Не быть мне любимым сынком,
Счастливым судьбы шалопаем:
Мой друг на меня шел с булатным клинком,
А пес мой набросился с лаем.

Так Господу было угодно:
Нам крест Он тяжелый подал,
Вдвоем нам нести его было удобно,
Но порознь нас Он погнал.

Гремучей змеею меж нами
Навеки пролег эшелон,
И вот одинокий стою над волнами,
Тебя же застлал горизонт.

Припев: Не быть мне, и т.д.

Пока моя кровь не остынет
На северном этом ветру,
Любовь наша будет моею святыней,
Которую я сохраню.

Я верю, когда-нибудь эти
Тебе нашепчу я слова,
И шепотом тихим березовых веток
Ответит могила твоя.

Припев.

Пальцы ее касались струн, вызывая зыбкое звучанье; девочки не глядели друг на друга; бесстрастное лицо Сережи вырисовывалось в углу из сумрака; и в воздухе, напоенном различными духами, носилась тень сожаления о чем-то небывшем и надежд на что-то неясное. Когда волшебство музыки последний раз дрогнуло и растворилось, все впервые вздохнули.

– Иришка, – с чувством сказала Женя, – какая же ты счастливая.

– Да нет, это я так, – рассеянно отозвалась капитан команды, трогая ногтем серебряные струны.

Вот уж гости уходили, по одному и небольшими группами, деля оставшуюся обувь в коридоре; вот уже опоздавшая Наташка Ертова повторяла свой тост в качестве прощания. «Спасибо, Жень. – Вам спасибо, девчонки. – Все было чудесно. Маме спасибо передай. – Сереж, пока!» – кричали они, заглядывая в комнату. Сережа задумчиво сидел за шахматной доской, шевеля фигурами обоих лагерей. Женя носила на кухню тарелки с немного заветрившейся нарезкой и куриными костями в следах помады. «Жень, давай помогу. – Нет, спасибо, все уже», – отозвалась она, снимая передник. «Сереж, а ты хорошо играешь? – Ну, Жень, с кем сравнивать. – А сыграй со мной. Или тебе это несерьезно? – Почему, давай, конечно. – Расставляй тогда. – Тебе белые. – А почему ты мне форы даешь? – Женщин принято вперед пропускать. Ходи».

Она пошла.

«Погоди, а на что играем? – Как на что? Просто так. – Нет, Сереж, так азарта нет. – Ну, давай по червонцу поставим. – Фу, это скучно. Давай на желание. Если выиграешь, я выполняю твое. А если я выигрываю, ты мое».

Она вертела в пальцах коней и слонов, разглядывая их на свет. «Жалко, что они по воздуху не ходят, скажи, Сереж? Вот так вот, опа – и прямо сюда. А тут меня никто не ждал, все спят на вахте и в зубах ковыряют. И все, сдавайтесь, я ваша королева, несите быстро мне знаки почтения и все такое. Скажи, жалко? – Да, – согласился он, – жалко».

Сережа великодушно не воспользовался возможностью поставить ей мат на третьем ходу и приложил все усилия, чтобы полностью загнать именинницу в угол не раньше двадцатого.

Окончательно убедившись, что мечту о знаках почтения придется на какое-то время оставить, она разочарованно вздохнула с жестом, означающим «уговор дороже денег», и поднялась из-за стола, полуопустив взгляд и с ямочками Амура на щеках, готовая рассмотреть и обсудить те желания, что сгустились у победителя, и выражая безмолвную надежду, что их исполнение не возмутит ее души и не затронет чести. «Сереж, ты придумал? Или ты ходы считал? На балкон только кричать не пойду, что я большое солнце, – пожалей девушку...» Сережа встал, покраснел, нагнулся, сгреб ее одной рукой, другой широко смахнул фигуры – они скакали со стола с костяным стуком – и, приподняв именинницу, послушно болтающую ногами, и водрузив ее на шахматную доску, посмотрел секунду в ее заинтересованные глаза и обхватил ее с бурным поцелуем. Некоторое время тянулась неровная тишина, полная нескоординированных шелестящих движений. «Пого-

ди, Сереж». Она заерзала по доске, вытянула из-под себя одинокую черную фигуру, уцелевшую в кадровой ротации, с улыбкой откинула ее и притянула Сережу обратно к своему лицу.

Потом, оттолкнув его и убежав со смутным смехом, она крутилась перед зеркалом в запертой ванне, озабоченно трогая на прохладной белизне ягодицы круглую зубчатую инкрустацию, напоминающую о традиционном для шахматных наборов изображении ладьи, она же тура, в виде боевой башни, над которой незримо реет прекрасная богиня победы. «Красивый спорт», – задумчиво сказала она, застегивая сиреневые брюки.

На следующее утро он выглянул в окно: там плотно громоздились тучи, гнулись тополя и начинался дождь. «Да ну, куда по такой погоде. Коленки отмерзнут, – подумал он, опять забыв, что идти надо в джинсах. – Успеется. В понедельник после уроков. Сразу».

– Так, сегодня у нас первое октября, – сказала учительница химии. – Кто тут у нас. Ящурко, попросим.

– А я думал, в сентябре тридцать один день, – довольно, впрочем, равнодушно думал он, идя к доске. – И то сказать. В июле тридцать один, в августе тридцать один. Куда уже. – Чего писать?

– Нарисуй-ка мне...

Он удовлетворительно кончил школу, нашел хорошее место в ресторане, забавляясь над ревнивым выражением Сережи, встречавшего его после работы; за заботами и забавами не заметил, как пришло время повестке из военкомата. В назначенный день он встал пораньше, испытывая волнующую ответственность, и оделся с тщательной скромностью, наложив помаду защитного цвета, для действий в джунглях, и использовав минимум украшений, чтоб иметь где обмотаться

пулеметной лентой. «Есть такая профессия», – сказала мать, когда он второпях проглаживал зеленую юбку. Он толкнулся в казенную дверь, стал в очередь на медкомиссию, терпеливо подвергаясь непристойным предложениям со стороны соседей, и наконец вошел к терапевту.

Терапевт говорит: раздевайся.

– Совсем? – спрашивает он.

–Лифчик можешь оставить, – сострил терапевт.

Он принял это как разрешение.

Терапевт его взвесил, измерил, обстукал, обшарил и говорит:

– Ну что. Рост сто шестьдесят восемь при весе семьдесят три, мог бы сбросить. Ведешь, небось, малоподвижный образ жизни?

– У меня кость широкая, – щекотливо сказал он.

– Кость, говоришь. Пальцами можешь запястье обхватить? Покажи. Правда твоя, кость широкая. Рожать будет легко, – вторично сострил терапевт. – Перкуторно хрипов нет. Давление в норме. Педикулеза тоже нет. Это хорошо. Нашей армии не нужны вшивые люди. В Смоленске, слыхал, какой педикулез свирепствовал? Страшное дело. На улицу по одному не выходили. Потому что нет профилактической пропаганды. Лимфатические узлы дай-ка пощупаю. Головой не мотай. Знатные узлы. Были б у меня такие узлы, я бы горя не знал. Годен, в общем. К строевой. Можешь не одеваться, вещички забирай и дальше по коридору к отоларингологу.

Отоларинголог слазил в ухо клещами и говорит:

– Серьгами завесятся, евстахиевой трубы не найдешь. Чисто цыгане, ей-богу. Ну-ко ся, братец, сядь в кресло. Проверим твой вестибулярный аппарат.

– Ой, а можно не надо? – забеспокоился подросток. – Я плохо очень переношу. Меня девчонки звали на яхте кататься, так я говорю: нет, девчонки, я с вами, сами знаете, везде, но не туда. Я даже в парке на «Миксере» не катаюсь никогда. И даже не смотрю. И даже когда мне говорят: «Миксер», меня уже мутит. Можно не будем, а?

– Тем более садись. Возможно, у тебя синдром Меньера. Это когда начинается беспричинное головокружение и больного тошнит постоянно, теряется ориентация в пространстве, а всё потому, что не в порядке вестибулярный аппарат. Тебя постоянно не тошнит?

– Нет, кажется. Вчера только думаю: не тошнит ли меня, чего доброго? Но нет, не тошнит. Показалось.

– А с ориентацией у тебя все в порядке?

– Нормальная ориентация. Тут и терапевт тоже сказал. Была бы, говорит, у меня такая ориентация, я бы, может, и не женился никогда.

– Голову нагни к коленкам.

– Уберите тогда вазочку со стола. И острого тут ничего не лежит у вас?

– У нас все острое в предназначенных для этого пазах и ячейках. И не волнуйся ты, это все равно не ко мне, а к невропатологу.

Раскрутил его в кресле и говорит: вставай. Подросток встал, молча всплеснул руками, накренился под критическим углом, задел по касательной шкаф и стол, сняв с них пахучую стружку, и веско упал на колени отоларингологу.

Тот говорит:

– Не залеживайся здесь. Да, так себе аппарат. Годен к строевой. Дальше пошел.

Он к невропатологу; тот ему, не здороваясь, по коленке, коленка исправно подпрыгнула; невропатолог говорит:

– Проверим твой вестибулярный аппарат. В кресло садись.

Подросток говорит:

– Да е-мое! Только что отоларинголог проверял! Мутит еще!

– Это он тебя на синдром Меньера проверял, а здесь про другое. У меня к твоему аппарату свой интерес. Если у тебя эндолимфа, к примеру, плохо движется в каналах? Ты как себя поведешь при военных действиях в ситуации морской болезни? Ты поведешь себя неадекватно и не до конца выполнишь свой долг. Ты должен стоять грудью, а ты будешь чем стоять?

– Да я грудью стану! Можете, между прочим, ее обследовать! Прямо в моем присутствии!

– Грудями заведует хирург, а мне они без надобности. Садись давай.

Он раскрутил, подросток встал, грянулся белым телом в дверь, выпорхнул из нее к реальным людям и блистательной юлой пронесся вдоль оживившейся очереди. Будучи ограничен параметрами коридора, он суммарно продемонстрировал характерное для многонационального советского балета обращение к идейно-значительным темам, правдивость их музыкально-сценического воплощения и широкую разработку мотивов и форм народного танца. Закончив свою импровизацию ярким фуэте, он поклонился аудитории, приветствовавшей его сочную пластику новой серией непристойных предложений, и, поправляя бретельки на круглых плечах, с потупленными глазами вернулся на лоно невропатолога, глядевшего из распахнутой двери.

Невропатолог говорит: да, плохой аппарат. Но нет такого аппарата, который нельзя отладить на действительной военной службе. Жалобы еще есть?

Подросток, замявшись, отвечает: меня, знаете, последние дни очень нервирует необычная задержка месячных. Не знаю даже, что такое.

Невропатолог говорит: это ничего. С кем не бывает. Годен к строевой. Следующий.

Психиатр говорит: психических заболеваний в роду не было? Белых горячек? С гаражей в детстве не падал? Как ты понимаешь пословицу «Где тонко, там и рвется?»

Хирург говорит: дай позвоночник прощупаю. Расстегни. Так. Можешь застегиваться. Искривлений нет.

Окулист говорит: читай. Другим глазом.

Стоматолог: не дергайся, не у хирурга.

Наконец он вошел в белую дверь, стал на ковре перед призывной комиссией и отрапортовал, как научила функциональная тетка перед дверью:

– Товарищ военком, призывник такой-то прибыл.

– Как звать? – спросил военком.

– Женя.

– Фамилия?

– Ящурко.

– Вот полюбуйтесь, – скорбно сказал военком, обращаясь к коллегам и представителям общественных организаций. – Физической подготовки школа не дает. На нормы ГТО забыли уже, когда и сдавали. Ну вот, Женя. Ты готовился к службе? Ты извини меня, мы тут русские люди, я скажу тебе прямо: твои данные хрупкие. Плечи узкие у тебя. Грудь неубедительная.

В другое время он бы, конечно, оскорбился, но сейчас, не зная, насколько повышенные требования к груди бытуют в военном мире, дал себе слово на обратном

пути изучить стенды «Памятка призывника». Что касается представителей общественных организаций, то они сочли достаточно оппозиционным ответить на скорбь военкома молчанием.

– Ты, призывник, какого размера сапоги носишь?

– На теплые колготки беру сороковой, – добросовестно ответил он, – но тогда он вот здесь от ноги отстает, видите? А так – тридцать восемь, тридцать девять.

– Ну, что это. Где богатыри. Где с горстью россиян все побеждать. Слезы одни, истинно слезы, какой у нас набор. Егор Иванович? – отнесся он к Егору Ивановичу. Егор Иванович подтвердил. – А как ты, призывник, должен, к примеру, вести себя при сигнале «Вспышка справа»?

Подавленно вскрикнув, он кинулся ничком на ковер, прикрывая голову руками, и с его лифчика сорвалась застежка, разнеся вдребезги на столе у комиссии коллекционную модель американского танка «Абрамс», характерным признаком которого является большой угол наклона верхнего лобового листа, что снижает уязвимость от бронебойных снарядов, и в котором механик-водитель занимает положение полулежа.

– У тебя, призывник, ничтожно мало шансов в очаге поражения, – правдиво оценил увиденное военком. – А военно-патриотическое воспитание? – отнесся он к коллегам, не рассчитывая на сочувствие общественных организаций. – Сейчас, конечно, не то, что десять лет назад. Многие вещи существенно сдвинулись. Вспомните, ведь невозможно было просто высказать о, допустим, патриотизме просто каком-то элементарном! Вот вспомни, Егор Иванович, – апеллировал он лично к Егору Ивановичу, – давно ли это было!

Егор Иванович живо вспомнил, как было, когда ему доводилось высказывать об элементарном патриотизме, и содрогание посетило его черты.

– Ну, слава Богу, теперь все повернулось. Наступило осознание! Но сколько нам выпало за эти годы! Вот скажи, призывник, в чем ты видишь свой долг как солдата?

– Ну, я не знаю. Я за мир вообще.

– А ты думаешь, мы не за мир? – сурово спросил военком. – Но не все в нем еще спокойно! За него надо приложить силы!

Он погрузился в накладные.

– Служи честно, – заключил он. – Честность, как любая девушка, надо беречь смолоду, – скупо пошутил он, давая этим понять, что выдался момент непротокольных напутствий. – Тебе назначено на черноморское побережье. Турецкая граница – это ключ к нашим позициям в регионе.

Тут мы еще раз опустим некоторые подробности, которые каждый может без затруднения представить в полноте. После типовых медицинских эволюций его освободили от действительной службы по урологическим показаниям, и он получил военный билет, где значилась военно-учетная специальность «токарь холодной обработки металла», а через полгода была его свадьба.

В этот светлый и суматошный день, пока Сережа неспешно одолевал украшенные цифрами ступени, пытаясь вспомнить, что у невесты семьдесят один, а что одна целая сорок три сотых («Это у невесты корень квадратный из двух», говорил он, очередной раз запуская руку в кошелек под бескорыстный смех устроительниц блиц-опроса), Женя, крутя локон пальцем, сидела пе-

ред своим блистательным отражением в тесной компании свидетельницы.

– Вот знаешь, Наташ, – задумчиво говорила она, – как я рада, что у нас с тобой нормальные отношения. Как вспомню Ольку вот. Главное, обидно, мы с ней почти с детства. Ну, с самого почти. Я платье выбрала за месяц, где-то в этом районе. Она видела, сказала: ну да, хорошо. Тебе типа красное вообще идет, ты же у нас брюнетка. А потом переключились на что-то другое, и про это больше разговора не было. А потом уже с утра, еще когда Сашка ее не приехал, я иду к ней, мать ее просила, мол, девочки, придите пораньше, они дома накрывали, я встречаю сестру ее, она говорит, пойдем дойдем до продуктового, помоги мне воды газированной, бутылок шесть-семь надо взять. Ну, сходили, приходим, на кухню все это ставим, она такая проходит мимо и говорит: здравствуй, Жень. Мы там то, се, сыр порезать, а она идет к матери и говорит: если Женя будет в этом платье, я не поеду вообще никуда. Я хочу, пусть она переоденется. Ты представляешь, я уже завилась, у меня ногти, макияж, все под это платье, что я должна делать? И, главное, она ведь видела его, и хоть бы слово тогда сказала. Можно же было по-человечески: мол, Жень, так и так, надень что-нибудь другое, ну можно же? Вот скажи, разве я не права? Я говорю: Нонна Павловна, ну и что мне делать? Я могу, конечно, уйти, лишь бы Оле было спокойно, но ведь я свидетельница. Она: Жень, не бери в голову, как есть, так и оставайся. Ну, и все. Под вечер только она распсиховалась уже. Сашке говорит: что ты за мужик, не мог ее остановить, испортили мне всю свадьбу, моя свидетельница была красивее меня. Он ей: ну знаешь, Оль, если ты в свою собственную свадьбу, когда ты главная – ну ведь, согласись? – и ты в состоянии еще на кого-то

смотреть и думать, что вот она так одета, это мне назло, а что просто для человека это тоже праздник, – если ты на это способна, то уж я вряд ли тебе что-нибудь объясню. Она такая: ну если ты так считаешь, то конечно, так и есть. После этого, конечно, дружбы между нами не было, мы так не встречались, как раньше. Мать ее мне потом, на рынке встретились, говорит: Жень, тебя чего не видно давно, я тебя ничем не обидела? Я ей говорю: Нонна Павловна, вы же знаете, вы мне как вторая мать. Я вот как с родной матерью говорю, так и с вами. Если я Олю не устраиваю, если у нее там какие-то претензии ко мне, что я могу. Я к вам со всей душой, и вы, я знаю, ко мне тоже. Ну что тут. Ну, она тоже, все понимает, что она. Наташ, там что сейчас?

– Сережка фотографии выкупает, – сообщила свидетельница, выглянув в переднюю. – Торгуется. Прижимистый у тебя муж.

– За какую? Где Валька с Толиком меня обнимают на пляже?

– Нет. Где ты с Барсиком целуешься.

– Там стол удачно вышел, скажи? Полная чаша. Я говорю, смотри, мам, как будто специально накрыли, чтоб фотографировать. Она говорит, с заливным я сколько возилась, а оно не вошло. Селедку под шубой надо было подвинуть или убрать вообще. А то через двадцать лет захочешь вспомнить, а памяти никакой не осталось.

К загсу приехал отец. Застигнутый на работе звонком матери, сообщившей, что у Жени сегодня свадьба и что он мог бы поздравить ребенка в такой день, он подошел с букетом лилий для новобрачной, когда все были внутри, и во все время, пока производилась регистрация и насморочно игрался живой Мендельсон

на аккордеоне, он, стесняясь войти, ковырял пупсов и гладил ленты на свадебных «Волгах». Дверь ударила, из нее посыпались свидетели и сочувствующие, прочищая путь главной паре; он собрался и пошел навстречу. – Дорогой Женя! – торжественно начал он, обращаясь к жениху, красному от праздничного смущения и в тесном костюме цвета мокрого асфальта. Мать дернула его за рукав, он осекся; «Это Сережа. Вот Женя», – шепнула она, указывая подбородком на улыбающуюся ему невесту, с фатой на блестящих черных кудрях, в пышном белом платье, удачно скрадывающем седьмой месяц беременности. – Дорогая Женя! – прочувствованно сказал он. – Вот уже ты стала совсем большая – а давно ли, кажется, была совсем маленькая! Мы с твоей мамой всегда хотели для тебя счастья, думали ночами об этом, и теперь, когда ты вступаешь в самостоятельную жизнь, я хочу пожелать тебе к твоим прекрасным душевным качествам немного удачи. Пусть все у тебя в жизни сложится хорошо и вы с Сережей будете счастливы, и ваши дети будут для вас радостью, гордостью и опорой... кого ждете-то? – выдохнул он, почувствовав, что можно перейти к неофициальному тону. – Мальчика, – веско прогудел Сережа. – Спасибо, пап, – сказала Женя, приближаясь к его лицу зыбким облаком парфюма и фаты. – Хорошо, что вырвался к нам.

По традиции они возложили цветы к памятнику поэту Кольцову, не отрывая от него серьезных взглядов, а принеся приязни дань негромкому поэту, всей кавалькадой помчались за город, чтобы по другой, не менее красивой традиции перенести невесту на руках через мост. Впереди них на согнутых ногах равномерно бежал спиной вперед человек с кинокамерой. «Сереж, ты меня любишь?» – спрашивала невеста, щекоча ему ухо

уместным вопросом. «Я тебя очень люблю», – размеренно отвечал он, вышагивая вдоль чугунной ограды, под которой непонятно в какую сторону текла флегматичная вода. «Нет, Сереж, а как ты меня любишь? Ты меня больше любишь или маму?» «Женек, ну разве это можно сравнивать. Ты сама по себе, а мама сама по себе. Это же совсем разные вещи», – серьезно возражал он. «Да, конечно, – она вытягивала губки, с огоньком в глазах, которого он не видел, не имея возможности отвлекаться, – мама у тебя такие чудесные пирожки печет с яблоками, я так не умею». «Жень, ну причем тут пирожки. Что ты такое говоришь, в самом деле. Как будто я вас за пирожки люблю». «А за что?» Он шумно вздохнул. «А вот расписывались бы в марте, как я хотела, тебе сейчас было бы легче». «Тогда тебе было бы холоднее». «Сереж, какой ты рассудительный».

Потом было веселое гулянье в арендованном детском саду с ненавязчивым, но стойким духом младшей группы. Все было замечательно, свекор со свекровью при общем одобрении учили молодых целоваться, по стенам были развешаны плакаты с задорными стихами, стульев взрослого фасона не хватало, вдоль стола проложили сороковку меж двумя стульями, и когда с одного конца доски вставали, с другого падали, и это занимало внимание в те недолгие моменты, когда тамада почему-либо уставал; незамужние подруги невесты бегали на лестничную площадку к неженатым друзьям жениха, а сосредоточенный Сережа под вечер хотел подраться с кем-то из них или со всеми, но его сумели отвлечь, и он, обиженный, курил на лестнице с неизвестно чьим, взятым за шкирку малиновым пиджаком в большой руке, – в общем, как мы сказали, все было замечательно, и когда мать впоследствии спрашивала у Жени: «Ну, как все прошло, на твой взгляд?»

– она неизменно отвечала: «Мам, все было замечательно».

Так вот, Женя работала официанткой. Это было, когда беременность еще не бросалась в глаза и Денис Иванович мог иметь иллюзии на предмет ее кадровой текучести, оформляя её на место человека по фамилии Иванов. Обделив его по паспортной части, природа взамен дала Иванову экзотическую аллергию на названия некоторых блюд, к сожалению, входивших в меню их ресторана. Особенную идиосинкразию Иванов испытывал к пангасиусу в пивном кляре. К характеристике причуд природы следует прибавить, что другие приключения пангасиуса, как то: в духовке, в пароварке и в обществе овощей, оставляли Иванова в дерматологическом отношении равнодушным, но упоминание пивного кляра заставляло его тотчас покрываться рдяными пятнами протеста. В один несчастливый день эта форма захоронения пангасиуса пользовалась у клиентов таким спросом, что Иванов ощутил нестерпимое жжение между лопатками и вынужден был, отступив к стене, незаметно потереться об нее спиной. Все люди, хоть раз впадавшие в удовольствие чесать, где чешется, знают, что остановить его невозможно, и Иванов, не составлявший исключения, остервенел в наслаждении до того, что от колебания стен на него рухнули крутые медвежьи рога, и он замертво упал на пол. Отвезенный товарищами в больницу, он бредил, мечась на узкой больничной койке. В бреду он представлял, как Денис Иванович сеет на поле фасоль, из которой вырастает множество людей во фраках с тортами на подносах и швыряется тортами друг в друга. Судя по его обмолвкам, это зрелище сопровождалось пояснительными надписями, как в немом кино. Лечивший его доктор объяснил это актуализацией популярного архе-

типа человека во фраке с тортом. Против архетипа он прописал укрепляющую клизму и хвойные ванны. Когда Иванова выпустили, он уволился из ресторана, чтобы найти счастье на других лексических полях, а Женю взяли на его место. Она и познакомила Дениса Ивановича со своим дядей.

Сам по себе дядя был неинтересен, но история его рода за последние пятьдесят лет имела примечательность. Его деревенская бабка в военное лихолетье продавала самогон нацистам; когда они нестройно отступили, а за нее, по оперативному стуку соседей, взялись вернувшиеся органы, которым она доказала на собачке и двух курах, что ее патриотический напиток нанес вражескому потребителю больше вреда, чем деятельность партизанских отрядов по области с 1913 года, – так вот, когда началось наступление по всем фронтам и гулко зазвучали то дальше, то ближе сталинские удары, бабка зарыла остатки нереализованного самогона в надежном месте, пока все не уляжется. Но поскольку, как известно из пособий по истории для поступающих в вузы, все не улеглось еще очень долго, бабка не успела выкопать неликвиды и умерла в одночасье в 1965 году, провожаемая в гроб горячей неприязнью конкурентов, не умевших, как она, дозировать зверобой, и тщетными попытками двух сыновей выпытать топографические указания относительно латентного самогона. Схоронив старушку, они разбили деревню на сравнительно правильные квадраты и поплевали на руки. Когда они перерыли все вплоть до старушкиной могилы и начинали задаваться нечестивым, но притягательным вопросом, не заглянуть ли и под нее, раз уж они все равно тут, – она явилась старшему сыну в тонком сне, бросила на него взгляд, исполненный соболезнования, и указала нужное место, взяв с него

зарок, что он честно поделится с младшим. Он дал ей обещание, тут же ночью взял заступ и побежал на нужное место, где и встретился с младшим братом, с которого мудрая старушка той же ночью взяла такое же обещание. Поскольку их заступы делали расстановку сил паритетной, они решили производить работы корпоративно и вскоре, стукаясь лбами, светили фонариком на проступившие из глины бутыли, мутно мерцавшие, как огоньки на болоте. Поскольку свойства самогона, выдерживавшегося более двадцати лет, им не были известны (это очередной повод задуматься, для чего мы проходим в школе бензольное кольцо и тропический климат, который честному человеку никогда не понадобится, а то, что действительно нужно в жизни, остается школьнику неизвестным), они сочли необходимым вскрыть одну бутыль на месте и, сделав это, убили низко пролетавшую птицу и прожгли облако. Поняв, что от долгого небрежения самогон только выиграл, они быстро перетащили его в дом и в торжественной обстановке открыли сезон. Поскольку время, прошедшее вплоть до их смерти, нетрудно себе представить, мы не будем его описывать, чтоб не бередить читателю душу. Оставшийся самогон, чья выдержка перевалила за полвека, достался следующему поколению в лице единственного наследника мужского пола, Жениного дяди. Его жена, говорят, приставала к нему, чтоб он дал ей попробовать родового самогона во всей его силе, неразведенным, до тех пор, пока дядя Паша, не умея отказать, доставил ей такой случай и она вспыхнула и истлела от одной кружки, так что он еле спас марлю на окнах, предохранявшую дом от комаров. Когда он наезжал в гости к двоюродной сестре, прямодушная племянница советовала ему: «Дядь Паш, ну ты посмотрел бы на себя в зеркало-то». На вопрос,

зачем это надо, она выражалась уклончиво, а он дарил ей самодельных петушков из паленого сахара на неструганой палке. Это было еще до того, как у него произошел знаменитый разговор с белым слоном, который, однако, настолько всем известен, что излагать его даже тезисно мы сейчас не станем. Дойдя до того, что кто-то рядом с ним говорил эхо-рифмами и вкрадчиво глядел на него из тазика с водой, дядя Паша решил расстаться с основными фондами, и тогда именно Женя сосватала ему покупателя. Она рассказала Денису Ивановичу, какой у ее дяди есть замечательный самогон, чья история вливается в историю его республики, и Денис Иванович загорелся намерением его купить. Он подхватил Женю, они поехали в село, она познакомила его с дядей Пашей, они душевно посидели, условились о цене, и Денис Иванович обещался приехать за самогоном на выходных. Он приехал, расплатился, они присели на дорожку, дядя Паша сказал самогону: «Не забывай», и они расстались.

И вот Денис Иванович, ужасно довольный приобретением, колесит по шоссе, и останавливает его гаишник.

– Старшина Сидорово-Выдрин, – представляется он с отеческой укоризной в голосе. – Документики позвольте.

Тот позволяет ему документики, привычно отмечая, как эта уменьшительно-ласкательная форма призвана исподволь внушать, что с ними очень и очень нечисто. Почему это у вас, к примеру, в паспорте, так называемый Денис Иванович Денисов, ржавых потеков нет от скрепок? А это они у вас из нержавеющей стали? А у кого еще в нашей стране, кроме вас, такие замечательные скрепки? А не хотели ли вы, к примеру, вон тот железнодорожный мост взорвать – или лучше да-

же, как говорят подростки, подзорвать? А? что? А гексаген почему храните в несоответствующих ГОСТу условиях?

Тем временем Сидорово-Выдрин углубляется в штудирование документов и так долго в нем пребывает, что у Дениса Ивановича, вовлеченного в этот новаторский спектакль, рождается раздражение. Он уже хочет сказать, что, мол, ты, египтолог, заканчивай уже художественную читку, как вдруг старшина с просветленным лицом приподнимается от документов, вынеся из них следующее заключение:

– Значит, нарушаем?

Вместо того чтоб заинтересованно спросить: ты это где там прочел? – Денис Иванович, который очень торопился, на риторический вопрос С.-Выдрина ответил полным риторическим ответом:

– Чего мы нарушаем?

Старшина послал ему еще один родительский укор, который гласил: нет, Денис Иванович, ты не идеальный зритель – прости мою откровенность. Даже хор персидских старейшин, и тот куда тактичней. Вместо того чтоб закружиться в скорбном, но полном хореографической отточенности танце с многоголосыми выкриками:

О-то-то-то-то-той!
Снова, снова нарушили мы!
Заповеданный нам
Уставом предел
Дерзновенно мы преступили! –

вместо этого ты так по-обывательски себя ведешь, что вчуже за тебя неудобно.

– Вы, я думаю, нетрезвы, – уместил он все это в лапидарном прозрении. – Пройдемте-ка по этой прямой, – и, присев на корточки и с удивительной быстротой двигаясь тылом, нарисовал цветным мелком прямую длиной до шестидесяти метров.

Денис Иванович прошел. Постоял на конечной точке, подышал там свободным от автоинспекции воздухом и бисерным шагом прошел обратно.

– Получилось, – с некоторым удивлением констатировал старшина. – Но я бы из чисто методологической добросовестности предположил здесь долю случая. А вот попробуйте-ка параболу.

Он очень похоже набросал параболу и широким жестом приглашающего за стол сельского дворянина вызвал Дениса Ивановича к новому старту.

– Ну, хорошо, Денис Иванович, – сказал он с невольным уважением, когда тот сделал параболу, как ребенка. – А вот с этим как вы справитесь?

По произнесении этой пошлой фразы сказочного антагониста, сардонически отсылающего Ивана – Коровьего сына зайцев стеречь, он, крякнув и извинившись: «Суставы», вновь опустился на асфальт с коробкой мелков и выбрал из нее тревожно-фиолетовый, меж тем как Денис Иванович, не заботясь, что он стоит у человека над душой, придирчиво наблюдал его работу.

– Это у тебя чего будет? – не вытерпел он наконец.

– Гиперболический синус, – с естественной досадой мастера, отрываемого интервьюерами среди работы, ответил старшина.

– Слушай, у меня с гиперболическими функциями не очень хорошо, – смутился Денис Иванович. – Нельзя без этого? Я бы деньгами…

– Не скромничайте, Денис Иванович, – покачал головой Сидорово-Выдрин, лучше знавший скрытые резервы клиента, – тут до вас люди куда меньших способностей проходили гипоциклоиду, правда, со второго раза, но потом благодарили со слезами на глазах, что я подарил им это забытое ощущение детства…

– Эй, эй, ты куда гнешь-то его? Гиперболический синус не туда загибается!

– Виноват, – признал Сидорово-Выдрин, отступив на два шага и поглядев на получившийся синус прищуренным глазом. – Сейчас все будет.

Когда все стало, Денис Иванович, укрепив прану, пустился по синусу, и хотя под конец он немного растерялся и чуть не утратил равновесия, ему удалось дойти без больших потерь.

Старшина смотрел на него с нескрываемым одобрением.

– В целом неплохо, – отметил он. – Был досадный сбой в исполнении двойного тулупа: ощутимый прогиб поясницы и пальцами было тронуто земли, но, в общем, я должен сказать, что ребята растут на глазах, и надеюсь, на следующих этапах они порадуют нас новыми зажигательными танцами.

Он шагнул в сторону, намереваясь воплотить в оранжевом цвете зависимость максимального напряжения цикла от числа циклов до разрушения, известную также как кривая усталости, но споткнулся о какого-то мальчика, который укусил его за ногу. Оглянувшись, увлеченный старшина увидел, что проезжая часть полна разноцветными детьми, набежавшими, чтобы продолжить его серию рисунков в рамках одобренной муниципальными органами акции «Детские рисунки в борьбе за мир». Созидательное настроение пропало из старшины, он гадливо шагал среди ползающих детей,

выбирая ноги, как аист из клубничного варенья, и смотрел на их немудрящие эскизы скептическим зрением.

– Старшина, – спросил его Денис Иванович, – у тебя дети есть?

– Есть, – рассеянно ответил старшина. – Вон тот и вот этот еще.

– Который на КамАЗе рисует «Помой меня, я весь чешусь»?

– Да. Весь в мать.

Они остановились возле девочки в бантах, изображавшей в масштабе один к сорока трем крокодила терроризма, готовящегося проглотить мир.

– В качестве завершения этой части программы, Денис Иванович, – устало сказал старшина. – Пройдите по крокодилу терроризма.

Денис Иванович удовлетворительно прошел по крокодилу, провожаемый проклятиями девочки на него и его род, и они вернулись к машине.

Отношения снова стали официальными.

– Так, – зафиксировал этот факт старшина. – Аптечку вашу покажите, пожалуйста, Денис Иванович.

– Одну минуту, – холодно сказал Денис Иванович, немного затронутый способностью старшины забыть все, что между ними было. – Пожалуйте, смотрите.

– Это, значит, бинт у вас.

– Не без этого.

– В какую общую длину?

– Сто двадцать метров.

– Не мало ли этого? – покачал головой старшина. – А если у вас будет фонтанировать кровь из крупных артерий?

– Если у меня будет фонтанировать кровь из крупных артерий, – Денис Иванович честно попытался пред-

ставить эту феерическую картину, – я не успею столько наложить на себя.

– Я вынужден проверить его длину, – решил старшина. – Поймите меня правильно, Денис Иванович, это моя работа. Пусть она не всегда проста, но в конечном счете направлена на пользу людей, и я ее люблю.

– Свою работу надо любить, – обобщенно заметил Денис Иванович. – Иначе это ведет к многочисленным неврозам.

– Ну, значит, вы меня понимаете. Будем мерить.

Они разворошили бинт и начали мерить. Через некоторое время они заметили, что мерить им нечем.

– Ну, тут можно как, – раздумчиво сказал Денис Иванович. – У меня в талии ровно метр. Я, правда, в последнее время не следил за собой... ну, может, метр пять, не больше. Закрепить булавкой и наматывать. Ровно сто двадцать раз. Только медленно, а то голова закружится. Мне ехать еще.

Старшина подумал.

– Нет, – решил он. – Метр или метр пять. На сто витков это дает погрешность в пять метров. Мы не можем так рисковать. К тому же поправка на собственную толщину бинта, благодаря которой каждый следующий оборот будет несколько больше предыдущего... Нет. Мерить надо на плоскости.

Он положил край бинта на землю и придавил его носком.

– Разматывайте, Денис Иванович.

Тот с концом бинта пошел вдоль шоссе. Белая марля между двумя людьми, странно сведенными судьбой, а теперь начинающими медленно расходиться на ее незримом поводке, выгибалась парусом в сторону щетинистых полей и беспорядочно плескалась, как гуси-лебеди в лесной заводи.

– Придавливайте камушками его! – кричал старшина. – Через каждые десять-пятнадцать метров!

Но Денис Иванович отмотал за пределы слышимости.

Произнося всякие слова, старшина, предельно вытянувшись относительно носка на бинте, подобрал в радиусе, очерченном его послушным телом, горстку щебенки, высыпал ее на подотчетный хвост бинта и пошел в сторону Дениса Ивановича. Выяснилось, что насчет десяти-пятнадцати метров тот догадался самостоятельно. Длинный бинт, способный в случае чего остановить фонтанирующую кровь Дениса Ивановича, вился, придавленный где монтировкой, где ботинком, вдоль поворота трассы, как мировой змей, и проезжавшие мимо совершали много нарушений, будучи увлечены этим зрелищем.

– Теперь так, – распорядительно сказал Сидорово-Выдрин. – У меня шаг – метр пятнадцать, это точно. Это стандартный правоохранительный шаг. Я пойду вдоль бинта. Если в нем действительно сто двадцать метров, как вы заверяете, это будет сто четыре и три десятых шага. Чтобы не было претензий с вашей стороны, я готов засчитать сто четыре.

И он двинулся вдоль бинта. Денис Иванович постоял, глядя на его уверенную фигуру, а потом, опомнившись, побежал вдогонку. Сидорово-Выдрина он застал на том конце. «Сто пять, – сказал тот и позволил себе человеческую улыбку. – Умрите, Денис Иванович, лучше не обмотаетесь». И Денис Иванович ответил ему той же улыбкой. «Пойду, – заторопился он. – Там ботинок мой». Он убежал, вернулся с ботинком, на ходу сматывая посеревший бинт, и стал на исходную.

– Это у вас йод. Не выветрился? Нет, – ответил старшина самому себе. – Это у вас от головы, а тут от ног.

Вы хорошо экипированы. А от угревой сыпи у вас... хорошо, вижу. Сердечно-сосудистые и урология хорошо представлены, – сделал он вывод, – но отсутствие каких бы то ни было гинекологических средств вызывает у меня обоснованное беспокойство.

– Вот молоток есть, – предложил Денис Иванович, чувствуя свою слабину, но желая загладить ее предупредительностью, и не остановился перед тем, чтобы показать молоток.

Старшина молоток отверг.

– Не поможет, – сказал он. – А, кстати, слоновость? Чем вы боретесь в пути со слоновостью?

– Это как? – осторожно спросил Денис Иванович.

Гаишник показал.

Денис Иванович, сказав в сердце, что он ждал от слоновости большего, отодвинулся от Сидорово-Выдрина, поскольку тот занял на шоссе много места, и признался, что таких помех в пути он не предвидел.

– Как же так? – всплеснул Сидорово-Выдрин чудовищными руками. – С такой, признаться, беспечностью... а ведь болезнь-то, она ждать не будет! Она не скажет: «Денис Иванович сейчас в пути, так я подожду, пока он заедет в какой-нибудь мотель или придорожное кафе»! Нет, не скажет она такого! Она коварна и нагрянет! А фантомные боли – их, я надеюсь, вы предусмотрели?

Но по лицу Дениса Ивановича угадывалось, что, укладываясь в дорогу, он наплевательски отнесся к перспективе фантомных болей.

Лицо старшины сделалось горьким и официальным. Не вдаваясь в ненужные более разговоры, он достал блокнот учета придорожных преступлений и, одновременно записывая в нем свои слова для недоверчивого потомства, отчеканил:

– За отсутствие средств борьбы с фантомными болями...

– Это тост? – шаблонно пошутил Денис Иванович, не сумевший реабилитироваться после молотка, и сник, поняв свою несостоятельность.

– ...я вынужден вас, Денис Иванович, наказать. Я не позволю вам отсюда ехать, а вашу машину мы эвакуируем.

Денис Иванович, не поверив, что он это слышал, просил повторить.

– Вы это слышали, – резюмировал Сидорово-Выдрин. – Сейчас придет эвакуатор. Я сделаю такие распоряжения. – И достает телефон.

Тогда тот: ну, коли на то пошло, и я хочу сделать один звонок.

– Это ваше право, – замечает старшина. – Мы же в свободной стране. Здесь каждый вправе звонить, сколько считает нужным как человек и гражданин.

И вот один, поднеся руку козырьком ко лбу, в ожидании смотрит на запад, а другой с изумленьем глядит на восток.

И вот замаячила черная точка с той стороны, куда глядели глаза старшины, все ближе и ближе, и вот уж в ней различимы черты эвакуатора, – а с той стороны, куда, до боли напрягая очи, глядит Денис Иванович, ничего не видно.

И вот подъехали. Черный крюк, подобный крюкам в мясном ряду, на которых готовятся повиснуть, радушно позируя шумливой толпе малых голландцев, распахнутые до позвоночника свиные туши, – живописный крюк увесисто покачивался то килевой, то бортовой качкой, и когда эвакуатор тормознул и дал задний ход, из него выказались два заинтересованных лица работников эвакуационной службы.

– В эвакуацию, значит, – откомментировали они свое появление, адресуясь к Денису Ивановичу как стороне, нуждающейся в сострадании. – Дан, значит, ей приказ в другую сторону. Ну, провожай, солдат, зазнобу. Старшина, отзынь на сторону, кубатурой работу застишь.

– Мужики! – вдруг решившись на что-то, былинно сказал Денис Иванович. – Значит, не ехать мне больше?

– Не ехать, – охотно согласились люди эвакуатора.

– А как же, мужики, – ведь часу не прошло, выходил я из дому, думая: эх, поеду я... по воле вольной поеду! Так как же, мужики?

– Все под Богом ходим, – оформили общий тезис люди эвакуатора. – Ты гороскоп читал на сегодня, может, тебе там предписано дома сидеть, цветы поливать? А ты зачем-то поехал. Зря.

– Дозвольте же, мужики, на прощанье сигаретку выкурить!

– Отчего ж, – посовещались люди эвакуатора, уловив безмолвное согласие старшины. – На прощанье-то. Выкури, конечно.

И Денис Иванович, в неловких пальцах ероша спичку, то ломающуюся, то гаснущую на ветру, с ужасной медленностью засмолил наконец сигаретку и поднял от ладоней отчаянно-веселые глаза.

– А что, мужики! – публично произнес он. – Ведь жить-то хорошо?

– Как подумаешь, так, конечно, хорошо, – решили мужики. – Мы с этим спорить не будем. Чего ж плохого, как подумаешь.

– А через двести-то лет, глядишь, и еще лучше будет?

– Не исключено, – ответили мужики, не найдя в его смелых прогнозах основания для дискуссии. – То есть очень даже может быть. Сволочь всякую повыведут, и

останутся на земле исключительно люди, живущие честным трудом. Ну, и кассиры еще кое-где. Для отчетности.

И тут старшина, ахнув, заметил то, что своими утопическими фантазиями пытался скрыть от них в последние пять минут Денис Иванович, – движущуюся от горизонта точку, которая, увеличиваясь, приобретала казенно-красный цвет и периодически испускала трель, какою дочери Ахелоевы сверлят в неистовстве просторы мирового океана.

– Грузи ее! – завопил он, кидаясь к конфискованной зазнобе Дениса Ивановича. – Давай не стой, заводи живей крюк-то! Подавай, подавай на меня!

– Э, нет! – прогремел оживший Денис Иванович, бросаясь к ним тигриным скоком. – Ярильцын! – одновременно кричал он высунувшемуся из пожарной машины лицу с эпическими усами. – Вовремя! Не жалей ресурсов, рассчитаемся!

– Не впервой, – с удовольствием отвечал Ярильцын. – Концы разбухтовать, – отдал он распоряжение по персоналу. – С огнетушителей шпильку. Лестницу не шевели пока, нечего ей. И не сепети, успеем.

– Успели-таки, – успокоенно сказал Денис Иванович. – Каждый раз, понимаешь, так, – обратился он к бесцельно волнующемуся Сидорово-Выдрину, – всю душу вымотают, их дожидаючись. Я думаю, может, они за ближайшим холмом стерегут для эффекта? Все-таки американский кинематограф портит вкус, особенно людям с высокой двигательной активностью.

– Это чего! – кричал, не слыша его, Сидорово-Выдрин.

– Давай отойдем, – тронул его Денис Иванович за рукав. – С обочины посмотрим.

Люди эвакуатора поняли неладное, и уши синхронно

прижались у них к головам, а зубы сверкнули и скрылись. Они прыгнули в кабину и развернулись поперек шоссе, очевидно намереваясь зайти к пожарной машине со стороны крюйт-камеры.

– На детонацию рассчитывают, – отметил Денис Иванович. – Ну, это вряд ли. Против Ярильцына они не в авантаже. Если только скоростью возьмут.

Меж тем машина Ярильцына, ничего решительного не предпринимая, медленно пятилась к придорожным кустам, очевидно рискуя левым бортом.

– Еще в детстве, – оживленно говорил старшине Денис Иванович, – когда я книжки про индейцев читал... Буссенара всякого, Верную Руку – друга индейцев... всегда было интересно: если встретятся эвакуатор и пожарная машина – кто победит? И ведь вырос, а который раз смотрю – насмотреться не могу. Может, поставим по червончику? – предложил он.

–Я не при деньгах, – сухо откликнулся старшина.

–Только заступил, что ли? Ладно, давай так посмотрим. С незаинтересованным наслаждением.

Первый выброс крюка был впустую – Ярильцын сманеврировал с неожиданной юркостью, сопровождаемый аплодисментами коллег и одобрительными выкриками Дениса Ивановича – и когда на эвакуаторе меняли галс, из пыльных кустов, в которые задом подавала пожарная машина, вдруг ударила, настигнув эвакуатор, радужная струя, оперативно поддержанная двумя огнетушителями с крыши.

– Молодец какой, – отметил Денис Иванович. – Игрок со шлангом в секрете – это новация. Хотя я последнее время за их изысками не слежу, а Ярильцын, надо сказать, специальную литературу почитывает. В каком-нибудь ведомственном журнале нашел. Хотя нечто подобное, если я не ошибаюсь, предпринял в свое вре-

мя капитан Блад при острове Лас-Паломас.

– Нет, там было как раз прямо наоборот, – произнес оживившийся старшина. – Там как: дон Мигель в форте запер ему пушками пролив, а он с «Арабеллы» и «Сан-Фелипе» посылал шлюпки с людьми в прибрежные кусты...

– Погоди! – Денис Иванович схватил его за руку. – Гляди!

Эвакуатор заметался в перекрестных струях, и тогда его взяли в клещи вторым шлангом, ударившим в лоб. Вопль поражения поднялся над эвакуатором вместе с идиллической радугой в дробящихся брызгах. Колеса просели и лопнули, из них потянулась ядовитая повилика, оплетая оси. Лобовое стекло оплыло ряской, руль булькнул и пошел концентрическими кругами, борта рассыпались и свесились безвольными космами ивы. Наконец крюк затрепетал и ударил кверху высоким стволом сосны, отрясающим с подножья черную омертвелую кору. Люди эвакуатора синхронно выпрыгнули высоко вверх, свиваясь спиралью, в какой-то неуловимый момент превратились в огненных саламандр и, сверкнув оранжевыми пятнами на маслянистом теле, штопором ушли в землю.

– Каждый раз забываю кинокамеру взять, – сказал Денис Иванович. – Как все-таки красива природа, захочешь потом пересказать – не получится.

И, насвистывая «Смерть Ермака», он пошел расплачиваться с Ярильцыным. В наступившей тишине старшина рассеянно подошел сорвать белый цветок повилики. Со стороны Дениса Ивановича доносилось: «Две недели назад это было дешевле. – А срочность? Вы нас со второй степени сорвали... горельцы стукнут теперь... премии не будет как минимум месяц... если только на той неделе военторг будет гореть, так там отличиться...

А новаторское исполнение работ? – Да, твое исполнение я оценил, ты это где выкопал? Неужели сам дошел? – В реферативном журнале “Пожар и пожаротушение”. Довели, конечно, с ребятами до ума. Эти теоретики, они же на боковой ветер поправки не вводят. – Ладно, двести пятьдесят я накину тебе за конструктивную мысль, а насчет твоей ангажированности на пожарах – этого, извини, в нашем уговоре не было. Я общественных бедствий не спонсирую. – Ну, хорошо. Давайте, я разменяю... Бывайте, Денис Иванович. – Счастливо. До встречи...» Старшина вставил повилику в петлицу.

– Поехали, – сказал подошедший Денис Иванович. – Дело есть.

Лишенный рычагов вменения, Сидорово-Выдрин не возражал.

– Я думаю, – говорил по дороге Денис Иванович, – тебе не хватает общественной востребованности. Поэтому ту сомнительную власть, которая тебе отведена, ты используешь с какой-то, извини меня, судорожностью, унижающей в конечном счете обе стороны. Сюда вот заедем, – остановил он на городской окраине перед угрюмым магазином «Домашний рыболов». Дверь магазина, обычно украшенная тетрадным листом с карандашной надписью «Мотыля нет», теперь предлагала когорте домашних рыболовов «Мотыль круглосуточно».

– Заходи, – скомандовал Денис Иванович. В тихом помещении, пахнущем курительными палочками, сидел с задумчивым лицом седоволосый импозантный мужчина, пишущий карандашом в блокноте; старшина успел прочесть через его плечо: «коих движение подобно раку на гончарном круге». – Иван Сергеич, – обратился Денис Иванович к человеку, публично размыш-

ляющему о раках, – соорудите нам, голубчик, чаю, если не трудно. – Тот прижал руку к груди жестом, означающим, что желание его сердца будет исполнено, и вышел. Денис Иванович принялся звонить. «Инесса Александровна, добрый день. Да, богатым не буду... Теперь уж поздновато – возраст иных ценностей... Петруша как? С Митральным в четыре руки?.. Прекрасно. Смею сказать, это отличный шанс. Пожелайте ему от меня... Инесса Александровна, у меня просьба к вам. Вы не могли бы сейчас сорваться с лона семьи, буквально на двадцать минут... да, материал... ну, я же все время думаю о нашем тогдашнем разговоре... Да, прямо к Ивану Сергеичу, я сейчас здесь». Иван Сергеич вошел с загроможденным подносом хохломского письма.

– Я в нем леску вымачивал, – сообщил он старшине, ставя заварочный чайник. – Так что если будет привкус, это ничего. Это от ней. Одна чистая экология.

Денис Иванович звонил уже Армаде Петровне и еще кому-то.

– Налегай, – сказал он, оторвавшись от телефона. – Здесь по-простому, но от души. Каждый сам себя обслуживает. Сушки вот, варенье. Будь как дома.

Инесса Александровна прибыла скоропостижно.

– Здравствуйте, мальчики, – сказала она, сразу обозначив расстановку сил. – А это материал? – адресовалась она к Денису Ивановичу, имея в виду глодавшего сушку Сидорово-Выдрина, как будто способность быть материалом компенсировала атрофию речевой способности. – Да, экстерьер неплох. Вас не затруднит... да, вот так приподнимитесь, спасибо. Еще шаг бы посмотреть. Какой шаг у мальчика, Денис Иванович?

– Метр пятнадцать, – отчитался Денис Иванович в параметрах материала. – Стандартный.

– Плюс пять-шесть на отработку носка... хорошо. Вас

не затруднит пробежать по комнате. У окна остановитесь. Дальше не надо, спасибо. А вскочить с места… да, вот так.

Сидорово-Выдрин, оторопевший, беспрекословно выполнял все эти эволюции, забыв поставить чашку с чаем.

– Еще па, если можно. – Он выполнил па. – Спасибо. Кусочек сахару киньте ему, пожалуйста, – распорядилась Инесса Александровна. Иван Сергеевич, подбежав, булькнул рафинад в чашку, и старшина смотрел, как он беззвучно разрушается на дне. – Ну что. Очень, очень неплохо. С завтрашнего дня ежедневные тренировки…

– У меня дежурство завтра, – попытался встрять ценимый как материал, но пренебрегаемый как личность Сидорово-Выдрин, однако не был услышан.

– …и через два месяца, – непоколебимо продолжала Инесса Александровна, – я его выпущу в «Щелкунчике» на район со вторым составом. До Дроссельмейера он у нас дорастет в одночасье, это я вам ручаюсь.

– Инесса Александровна, я ваш должник.

– Денис Иванович, оставьте, это я ваша должница. Вы который раз меня выручаете? Когда у нас на майских все мыши из массовки уехали картошку сажать, кто нас спас? Кто снова подал руку чудесному искусству Гофмана?

– Ну, вы же знаете, Инесса Александровна, я всегда, чем могу…

И тут появилась Армада Петровна.

– Армада Петровна, – предупредительно сказал Денис Иванович, – как вы кстати. Вот посмотрите. Вот у него глаз. Видите, какой верный глаз? Я лично могу засвидетельствовать все достоинства этого глаза, проявленные на пленере. Муха не проскочит неотраженной.

– Художник – это всего лишь глаз, – с сосредоточенной силой мысли выразила Армада Петровна. – Но,

черт возьми, какой глаз!

– А вот рука, – продолжал Денис Иванович расфасовывать Сидорово-Выдрина. – Вы видите, что она не дрогнет? Я видел это.

– Прекрасно, – сказала Армада Петровна. – Но хочется видеть на практике. – Она достала из сумочки ватманский лист и кусок угля и протянула Сидорово-Выдрину. – Будьте любезны. Буквально на ходу. Как сможете.

Сидорово-Выдрин с сомнением принял весь этот лаконизм изобразительных средств и, бормоча: «Ну, если только как смогу», воспроизвел по памяти, приладив ватман на коленке, известную картину Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра с Дарием», причем задача осложнялась тем, что Денис Иванович, горя желанием показать товар лицом, заглядывал ему через плечо, дыша в угольную крошку, и вообще всячески стоял над душой.

– Вот тут, помнится, – говорил он, тыча в баталию пальцем, – дивизион еще влево скакал. С победными криками. И вот здесь у вас в латинской надписи две орфографические ошибки и одна фактическая.

Старшина исправил.

– Ну, что же, – сказала Армада Петровна, ознакомившись с дипломным проектом. – Удовлетворительно раскрыта тема победы Запада над Востоком. Рисунок, конечно, надо ставить, но первое впечатление – с человеком имеет смысл работать. Значит, так. Сегодня, конечно, поздно уже...

Но тут, чуя свою опасность, зашевелилась Инесса Александровна.

– Простите, – сказала она с наружным спокойствием, за которым обычно следуют демарши вроде бросания денег кульками в камин, криков «В Пассаж!» и тому по-

добных. – Гармонически развитая личность – это, конечно, похвально, но есть еще такое понятие, как порядок очереди. Мы уже в течение получаса муссируем этот вопрос, и достигнута принципиальная договоренность...

И в знак договоренности она наложила руку на Сидорово-Выдрина как взятого в разработку.

– Позвольте, – нервно сказала Армада Петровна, не намеренная жертвовать новым Альтдорфером ради нового Дроссельмейера. – Тут у нас, я полагаю, гораздо более рельефный задел.

И она, со своей стороны, крепко взялась за рельефный задел.

Они потянули.

– Эй, эй, – тревожно сказал старшина.

– У него двое детей, – предупредил Денис Иванович. – Один по КамАЗам рисует, весь в мать.

– Эти способности переходят по наследству, – победно откликнулась Армада Петровна, форсируя притяжение.

И тут от дверей прозвучал новый голос, который можно было бы назвать голосом Командора, не будь он колоратурным сопрано:

– Кто это так хрустально сказал «Эй, эй»? Вы не могли бы интонировать «Я так безропотна, так простодушна»?

– Нет! – выкрикнули единым фронтом Армада Петровна с Инессой Александровной.

И тогда...

....

....

– Это и есть ответ на вопрос, почему побеждает владеющий шлангом? – спросил Генподрядчик.

– Да, – ответил пасечник.

Глава четвертая,

служащая в своем роде новым вступлением,
способным удовлетворить тех, кому не понравилось
первое

В то время как происходили вещи, известные читателю из предыдущих глав, в том же доме, во втором подъезде, на шестом этаже снимали квартиру четыре сантехника.

Сначала сантехников было три, а четвертый был отдельно и даже с ними пикировался, но потом однажды на них напали пятеро электриков, и тут он выскочил: «Ребята, я с вами» – и с тех пор что-то прорвалось в их отношениях, какая-то преграда рухнула, и они стали друзьями – не разлей вода, так что где были трое, там непременно был и четвертый. И за квартиру он вносил одинаково со всеми.

Накануне описанных событий они, не будучи заняты на работе, играли в вист.

– Мне это надоело, – сказал четвертый сантехник, откладывая карты.

– Мы понимаем твои чувства, – сказали ему три сантехника: – поддержание светских связей кажется подчас несносным бременем. Но поскольку английский посланник прислал передать, что он нынче занят и быть не может, то придется тебе доигрывать. Бери карты-то.

– Нет. У вас много не выпонтируешь, а, кроме того, это унизительно. Как единственные разумные среди эукариотов, мы не можем так расточать жизнь.

– Как человек, обладающий клеточным ядром, – поддержал его средний сантехник, – и подлинный эукариот своей Родины я вынужден солидаризироваться с нашим пылким товарищем. Так нельзя.

– И кто вам мешает жить по-людски? – спросил старший сантехник.

Они задумались и единогласно сказали:

– Автор.

– Наш автор? – удивленно переспросил старший сантехник, в общем, свыкшийся с его существованием и на-

чинавший утро с краткой молитвы: «Можно сегодня без перипетий?»

– Кто же, – убежденно скрепил средний сантехник. – Ты посмотри на него. Стране пора узнать своих героев. – Он прочел из первой главы про половой диморморфизм. – Ну что это? Что это за балаган? На какую аудиторию это рассчитано? А вот еще, – он порылся, нашел и с раздражением прочел: «Последние полторы минуты наградили его» и далее. – Элементарные требования вкуса и пристойности, – элементарные, повторяю, как дыхание, – они где делись вообще?

– Там же, где платье и свирель, я полагаю, – негромко предположил младший сантехник.

– Ну, разве что где свирель, – согласился средний сантехник. – В других местах искать бессмысленно.

– А по сусекам скребли? – с интересом спросили другие сантехники.

– Устала рука, – отчитался средний сантехник. – А вот тут посмотри. – Он показал непосредственно старшему сантехнику, не рискуя оглашать. Тот пробежал глазами и констатировал:

– Нечеткость нравственных оценок. – Он сверился с кодексом и оповестил: – До трех лет.

– А если на поруки коллективу? – заволновался младший.

– Мухомор тебе вареный, а не на поруки. Не в такое время живем.

– В общем, конечно, если без крайностей, – сказал четвертый, – то нельзя не согласиться. Сюжет не пальпируется. Одни разговоры в царстве мертвых. Ответственности мало, вот что – ответственности!

– А это вот? – бурлил средний. – «Отягощенная отчаянием Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью...»

– Погоди, – негромко сказал ему старший сантехник, – этого он еще не написал. Это только к двадцать третьему февраля. И то если успеет. У него все сроки срываются.

– Почему у него сроки срываются? – не утихал средний сантехник, которому решительно все не нравилось в его авторе. – Почему вечно дисциплины никакой?

– Ему во втором семестре литературу Франции читать. Для переводчиков.

– И что?

– Готовится. Лекции пишет про шансон де жест. Перечитывает у Гюго эпизод «Гаврош в слоне». Нервничает вообще.

– Яркий пример, – резюмировал средний сантехник, – как преподаваемый предмет не облагораживает лектора. Люди, читающие теоретическую механику, надменны с нижестоящими, а преподаватели комбинаторики норовят проехаться в трамвае бесплатно. Он же читал Расина – почему это не привило ему ответственного подхода к слогу? Он листал госпожу Лафайет – почему лицо его не исказилось, а глаза не вылезли из орбит?

– Ошибка в посылке, – отметил четвертый. – Не факт, что они не повылезли. Кто проверял?

– Это верно, – серьезно поддержал младший. – Отсутствие обратной связи – благодатная среда для произвола.

– И невнятицы, – добавил средний. – Что это там ему снится про мочалку?

– Ну, этот сон ему сулит печальных много приключений, – сказал старший.

– Это вы зря, – возразил младший. – Тут как раз все понятно.

– Так объясни, любимец Тани, – неприязненно сказал средний, внезапно утрачивая сочувствие в аудитории.

– Ну, тут так, – с воодушевлением начал младший. – Я в общих чертах. Сон подростка про мочалку связан с подсознательным страхом мужской ущербности, воспринимаемой как поражение в правах. Исходная ситуация задана нарциссическим мотивом мытья в ванне: это модель идеально замкнутого общества, где сновидец создает свое социальное восполнение (отражение) и не нуждается ни в ком больше. Излишне говорить о связях этого локуса с подростковой сексуальностью, тем более что ванная обычно запирается изнутри, отличаясь этим от жилых помещений.

Остальные сантехники синхронно опустили головы с глубоким вздохом.

– Я тут на днях ковырялся под одной, – допустил старший тяжелое воспоминание. – Чуть шею не вывихнул. Среди мокриц, как сказал Иннокентий Анненский.

– А я слышал, он сказал «среди миров», – встрял четвертый.

– Одно другому не мешает, – веско возразил средний. – Это он астрономам сказал то, что ты случайно слышал, а к нашей аудитории обратился, учитывая профессиональную специфику. Поэт такого уровня отзывчив к самым разнообразным явлениям и ремеслам.

– Можно, я продолжу? – сказал младший, насильно возвращая публику к демонстрации интерпретативных техник. – Разрушающее вторжение в этот замкнутый мир описано средствами бессознательного остроумия, поскольку сленговое значение слова «мочалка» относится к девушке с пониженной социальной ответственностью. Стоит вспомнить, что из всего разнообразия

впечатлений, связанных с его бедрами, сновидца больше всего затронула их маятниковая амплитуда, ассоциируемая с определенным типом сексуального поведения.

– На белье тратиться, – сказал средний со знанием дела.

– Бюстгальтер ему мать подарила, – напомнил старший. – Перед приходом уважаемого гостя. А грудь своя, гроша ему не стоит.

– Так вот, – продолжал младший. – Прирастание мочалки к концу позвоночного столба – это символически выраженная угроза индивидуальности, поскольку ее телесным ядром представляется здоровый спинной хребет. Опрокидывание позвоночника ниже таза, в сферу телесного низа, предвещает утрату дееспособности, ассоциируемую со статусом женщины. Осуществлением этой угрозы становится сцена с завучем, когда инфантильное желание его устранения, испытываемое сновидцем, подвергается фрустрациям, которые осмысляются как следствие неполной правоспособности.

– И к чему это снится? – угрюмо спросил средний.

– К пустым хлопотам, – уверенно ответил тот. – Если под выходные.

– А что за фильм, кстати, они там смотрели? – спросил четвертый. – Когда еще он вопил в сортире?

– «Слушая Листа», – сказал опять младший сантехник. – По-английски каламбур в названии. Я в сети натыкался на аннотацию, сейчас найду... Вот, не угодно ли послушать:

«Рейчел – пианистка, влюбленная в своего одноклассника Стива и мечтающая победить на конкурсе исполнителей Листа. Но ее родные, отягощенные собственными проблемами и комплексами, не могут стать ей опорой. Ее отец, давно порвавший отношения с ма-

терью и увлекшийся тантрическими практиками, не уделяет внимания детям от первого брака. Брат ее матери Чарли, выдающийся египтолог и поэт, поклонник Эзры Паунда, впал в душевный кризис, заразившись экваториальным сифилисом от бедуина. Ее престарелый учитель Сидней Льюис, хотя и законченный наркоман, но единственный человек, на чье понимание может она рассчитывать в сложных отношениях со Стивом и в перипетиях исполнительского конкурса. Удастся ли ей реализовать мечты и объединить семью вокруг своего рояля?

Фильм завоевал Приз зрительских симпатий на международном фестивале фильмов в Сан-Себастьяне».

Тут ролик есть, – предложил младший. – Четыре минуты. Будете смотреть?

Остальные отказались.

– Есть еще обмен мнениями на форуме, – сказал младший. – Люди свободно высказываются о фильме. Почитаю?

– Давай, – разрешил старший.

Младший сантехник прочел:

«sqaud
А ниччо кинце здрузьями сматрели

sila_emotsii
Хороший фильм. Ходила смотреть со стереозвуком, теперь с подругой схожу

busyjvran
аццтой полнейшой, деньге наветяр

colowbocque
у меня нескачиваеться ролик

pleb_bisturris

Песня о Сталине

Облеклась Россия платьем вдовьим,
Бродит без дороги и пути,
Демоны над нею с воплем совьим
Реют, рвут, мешают ей идти.

К Сталину она, собрав все силы,
Обращает теплую мольбу:
«Что ж, родной, не встанешь из могилы?
Долго ль в тесном спать тебе гробу?

Прежней жизни злого исполина
Поразил ты дерзкою рукой,
И поют правдивые былины
О спасителе страны родной.

Мрак былой нам стал нестрашной сказкой,
Щедр ты был, как майский дождь земле,
Голос твой – в курантах башни Спасской,
Кровь твоя – в созвездьях на Кремле.

Как один огромный сад колхозный,
Процвела великая страна,
В знойный день и полночью морозной
Солнцем глаз твоих озарена.

В те края, где вечные торосы,
С юга, где чинар и алыча,
Самолет скоропостижный несся,
Крымских яблок груз душистый мча.

Сталин! Имя это миллионы
Пламенило яростных сердец!

С ним на труд и битву шли колонны,
С дедом внук и с дочерью отец!

Долго ль спать тебе? Вставай, родимый –
Я над зевом пропасти стою –
Сжалься над отчизною любимой –
Удержи на гибельном краю!»

elias_elianor

Отличный фильм – вовсе не такая – сентиментальная глупость, как многим кажется, и не обычная американская размазня на тему «семейных ценностей» и т.д. Очень мудрое кино, полное тонкого оптимизма. Смотрела в оригинале и буду смотреть еще. Горько, что у нас спорят о всяких проходных картинах и не замечают таких действительно незаурядных фильмов, как «Слушая Листа»

busyjvran

(Сообщение удалено модератором)

colowbocque

блин почему у меня ролик нескачивается???

ho_krishnyj

Эгей, друзья! Вы не боитесь еще при жизни умереть? Вы на меня посмотреть не побоитесь – Вы много сможете еще всего успеть! Давно ли я был, как вы, лишь работал и бухал, теперь же счастлив, не боюсь людской молвы, я света неземного теперь канал! Своею кармою займитесь, не тратьте, люди, время зря, я говорю серьезно вам, поймите, ведь Вы все мне близкие друзья!

pleb_bisturris

Баллада о Фрунзе
(Стихотворение удалено модератором)

Nina-pelmenova

Uvazhaemyj **pleb_bisturris**, v pautine est mnogo mest, kuda mozhno vylozhit vashu grafomaniju, a zdes voobsche-to nado obmenivatsa mnenijami o filme

pleb_bisturris

Уважаемая **nina-pelmenova**, если вы не смотрели фильма «Слушая Листа», так и скажите, и не надо здесь раскладывать свои розовые слюни и высказывать мнения которые объективно вредят имиджу фильма

sqaud

пойду на терминатора 3 схожу, там телку хайлом об унитаз елозят прикольно»

Все немного помолчали.

– Думаю, что выражу общее мнение, – сказал старший сантехник, – если скажу, что фильм, мудрый и простой, нашел свой путь к сердцу массового зрителя.

– Двух мнений быть не может, – присоединились все.

– В таком случае, – добавил старший, – я пошел варить кофе.

– Чеснока не забудь, старый, – напомнил средний.

Они пили кофе – тесный круг мужчин, связанный общими профессиональными воспоминаниями и лаконизмом эмоций.

– Насчет произвола, – продолжал волноваться четвертый сантехник, чья молодая пылкость, как помнит читатель, стала завязкой действия. – Художественный мир, где мы квартируем...

– За телефон, кстати, где квитанция? – вспомнил средний.

– На пианино посмотри.

– Ни фига себе, кто это столько по межгороду наговорил?

– Семен Иваныч звонил в Гвинею-Бисау.

– Семен Иваныч! Сколько можно звонить в Гвинею-Бисау? Сам будешь оплачивать!

– Ну и оплачу, велика беда. Не понимаешь ты, Василий. Там такие дивчины уважительные. И глаза у них... глубокие-глубокие.

– Как васильковые поля моей родины, – сказал младший сантехник.

– Как горные водопады моей, – добавил средний.

– И как позволю себе продолжить, – сварливо вмешался четвертый.

– Безусловно, – отозвались остальные. – Василий перебил с квитанцией. Ты можешь продолжать.

– Напомню, я говорил об этических законах нашего художественного мира. Один пример. Почему мы обязательно сантехники? Что это за снобизм такой? Я, дескать, один тут переносчик культуры, а вы все слепые отростки гаечного ключа! Вот я – я, как хотите, не ощущаю в себе сантехника!

– Надо развивать в себе культуру ощущений, – вяло отметил средний, который излил свою желчь и уже тяготился темой авторской деспотии, осознавая ее бесперспективность.

– Мне стыдно числиться в штате! Я не обладаю знанием сантехнического ремесла!

– Вынужден констатировать, – сказал старший, – это еще не доказывает, что ты не сантехник.

– Объясните, за что мне этот жребий? – настаивал четвертый. – Это я наказан так? Почему я, скажем, не японская виолончелистка?

Он хотел что-то еще сказать, но подавился и отпрянул спиной от стула. Лицо его, в последнем ужасе самосознания глянувшее на тонкие пальцы, дрогнуло и покрылось белизной концертного грима, черные волосы взвились и попали в рот – он дунул; ноги цепко обвили лакированный корпус, вынырнувший из-под паркета, как громадный поплавок мореного дуба, и сладостная, изнемогающая мелодия ударила в удивленный воздух.

– Это что? – спросил старший после общего молчания, назвать которое недолгим значило бы непростительно злоупотребить языком.

– Фортепьянный концерт Шуберта, – известил средний сантехник, справившись с программкой.

– Как же он фортепьянный?

– Переложение, – пояснил средний. – Для флейты. Полна чудес могучая природа. Пойду воды выпью.

– Допросился, – заметил старший сантехник, глядя на прилипшие к мокрому лбу волосы виолончелистки. – Это же репетиции постоянные. И ноги будут – помогай Буденному. Не дай Бог никому такого злопамятного автора. Удивительная мелочность.

Младший сантехник задумчиво возразил:

– А я, напротив, нахожу это вполне справедливым – пусть мои слова покажутся тебе, Семен Иванович, неприличными и даже кощунственными. Один человек ежедневно надоедал небу, прося сделать его завскладом. Когда же оно выполнило его просьбу, промолвив: «Смотри же, не раскайся», – он ушел довольный, будто его одарили невесть каким подарком или эллины и персы совокупно провозгласили его мудрейшим человеком; а

через месяц, или того меньше, его притянули за растрату, и пришлось ему, хоть он и нес околесную про угар и утруску, все же примириться с пятью годами общего режима. Прекрасно сказал поэт: «Надо вырвать радость у грядущих дней». По моему разумению, он имел в виду, что молить о благе надо так, словно обладаешь видением того, что принесут твои просьбы, – знание воистину счастливое и роднящее нас с богами.

– Ну, тебе жить, – сказал на это старший сантехник.

– Может, хоть покормить ее, – сказал средний. – Или антракт пусть сделает. Сань, предложи.

Младший сантехник обратился к виолончелистке с ласковым тремоло; она упрямо замотала головой, прокричав что-то по-японски, и в новом исступлении слилась с инструментом.

– Это немыслимо, в конце концов, – раздраженно произнес средний. – Нельзя существовать в таком культурно насыщенном пространстве. Никакого цитрамону не напасешься. Сань, оттащи ее в кладовку. Грушу боксерскую только вынь оттуда.

– А, между прочим, он прав, – промолвил старший, провожая взглядом оттаскиваемую в акустически изолированное пространство виолончелистку. – В чем мы свободны? Мы свободны хоть в чем-то?

– Иваныч, не начинай, – с тяжелым вздохом попросил средний. – Мне в ночное сегодня идти. Впереди тяжелая смена. Замшелые трубы и их неуживчивые обладатели. Давай, ради Бога, до завтра всю философию.

– Нет, Василий, извини, наболело, – решительно отказал ему старший. – Вот мы грешим... Лично я вчера грешил. Три раза, не считая мелких. Скажи мне, это я грешил или автор?

– А ты, если не секрет, чем конкретно грешил?

– В частности, – помялся Семен Иванович, – одну сработавшуюся прокладку поменял на другую такую же. И деньги взял за это. Не считая устных благодарностей от главы семьи.

– Тогда это ты, – уверенно сказал средний. – Автор тут ни сном ни духом. Он руками вообще ничего делать не умеет, не то что прокладку заменить.

Семена Ивановича такое решение не устроило.

– Эмпиризм, – сказал он. – Ползучий. Такой хоккей нам не нужен. Более обобщенное решение можешь предложить?

– Кто Богу не грешен, кто бабушке не внук, – предложил средний.

– Не пойдет, – отказался старший. – Не по нашей проблематике.

– Чем богаты, – сухо сказал средний, уязвленный в своем провербиальном хлебосольстве, и вышел на середину комнаты. – Смотрите, – сказал он. – В качестве решающего аргумента.

Он вздрогнул, и его лицо прибрело сиреневый цвет. Из его лба высунулись две руки в пиджачных рукавах, одна держала банку сгущенного молока, другая – открывалку. Быстрым волнистым движением они вспороли банку, вылили ее вязкой белой струей внутрь головы и канули обратно. Сантехник поклонился аудитории.

– А можно на бис? – восхищенно спросил младший.

– Сгущенки нет больше, – отказал средний, впрочем польщенный. – Открывала левая, надеюсь, вы заметили, – прибавил он. – Сам я правша. Скажете, это автор сделал?

Старший скептически покачал головой.

– Как яркое постановочное шоу, спору нет, это прекрасно, – сказал он, – но чисто логически не убеждает. Разумеется, автор предвидит все, что ты ни выть-

ряешь. И сгущенка из его запасов. Я разглядел на банке его прикус.

– Предвидит – это еще не предопределяет, – недовольно заметил средний. – Ты подумай, Иваныч, головой своей. Когда я, скажем, плыву по реке на резиновой лодке, а ты на меня смотришь с берега, не благодаря же тебе я плыву.

– Это если не считать того, что лодку ты у меня взял. Иначе стоял бы я на берегу. И спиннинг, кстати сказать, тоже.

На этом дискуссия о свободе и вменяемости эпического персонажа зашла в тупик. Все приуныли, а старший сантехник снова отправился варить кофе. С кухни доносились приятные звуки его пения. «Я опять посылаю письмо, – меланхолически выговаривал он, – и тихонько целую страницы». Кладовка отвечала на это глухим шквалом страдающих струн.

– Буря утихла, – механически сказал средний сантехник. – И в ясной лазури.

– Что он там делает? – спросил внезапно очнувшийся младший.

– Он там целует страницы, – пояснил средний. – Тихонько, ясное дело.

Младший вдруг сорвался с места, танцуя по квартире с криком: «Нашел, нашел!». Он ворвался на кухню, обхватил Семена Ивановича за структурное место талии, приподнял его и пронес несколько нетвердых шагов.

– Поставь, где взял, – щекотливо сказал Семен Иванович, фраппированный этим подростковым демократизмом.

– Я знаю! знаю! – кричал тот. – Милый Семен Иванович! Мы все выясним!

– Ну-ка, – сказали два заинтригованных сантехника.

– Скажите мне, он всемогущ? Автор то есть?

– В смысле – может ли он склеить такую коробочку, в которой его нет? – уточнил старший, по возрасту хорошо знакомый с подобной аргументацией. – Я думаю, нет. Склеить какую бы то ни было коробочку для него будет проблематично.

– Стал бы он книги писать, будь он всемогущ, – прибавил средний. – Банк бы просто ограбил, и все. И организовал бы алиби. Дескать, он в это время смотрел картину Семирадского «Вакханалии во времена Тиберия». Полнометражную, с пяти до семи. И билет сохранился в Третьяковку, шестой ряд.

– Прекрасно! Давайте сделаем то, что заведомо находится вне его компетенции!

– Прочтем курс лекций по литературе Германии? – предположил средний.

– Нет. Просто напишем хорошую прозу! Если получится – значит, мы свободны и вменяемы!

Все осмыслили.

– Неплохо, юнга, – одобрительно сказал средний сантехник. – И идею верифицируем, и забашлять можно очень неплохо. Если издателя найдем под это дело.

Тут же распланировали работу.

– По главе, – напористо предложил младший. – Один первую, другой вторую, третий, само собой, третью. Потом подгоняем и дальше следующие три.

– Э, нет, – опротестовал старший. – Вразнобой так напишем, что к морковкину разговенью не подгонишь. Осторожней надо с языковым инструментом.

– Тогда так, – сказал средний. – Пишете первую и третью, а я потом соединяю их второй. Тем временем вы четвертую и шестую – и так далее.

Все обдумали и согласились.

– Значит, эрсте колонне маршиppт. Сань, тебе начало. Вступление должно быть, не забудь. Без вступления только подростки пишут. «Он скинул его в пропасть и долго смотрел, как тот падал, задевая за кружащихся стервятников». Чтобы честь по чести, неторопливый и интеллигентный ритм повествования.

– Легко, – сказал младший. – Интеллигентный ритм – это моя стихия. Читатель спасибо скажет. Изумительный, скажет он, ритм, и вообще проза благоуханная.

Средний сантехник вздохнул и сказал в сторону, как рефлектирующий персонаж Мольера:

– А мы еще осуждаем половой диморфизм. Куда там. Нам до него расти и расти.

– Семен Иванович, тебе третью. Ты писал прозу-то когда-нибудь?

– В школьной стенгазете, – сказал старший. – Вилы в бок.

– И как была проза?

– Клиенты не жаловались.

– Благоуханная? – уточнил младший.

– Не нюхал.

– Василий, тебе, стало быть, вторая остается. Ты как, справишься?

– Спокойствие на лицах, – уверенно сказал средний сантехник. – Как говорил Кай Метов, я человек творческий. Определитесь только в целом с содержанием. Чтоб не было у одного про колхоз, а у другого про цитадель абсолютного зла.

– Это тоже можно совместить, – беспечно сказал младший.

– Значит, так, – сказал средний. – Без политической сатиры. Дешевой популярности нам не надо. Пишем о жизни простого человека, с упором на психологию и точные картины быта. И не отходя от традиций русской классической литературы. Чтобы простой человек прочел и сказал: «Да, эти авторы сделали верный вывод из жизни Николая Ростова». Возражения есть? Прекрасно. Можно приступать.

Ему пора было заступать на сантехническое дежурство. Уходя, он бросил взгляд на товарищей. Младший строчил на оборотной стороне накладных, ревниво загораживаясь рукой, как индивидуалист-отличник на итоговой контрольной. Старший грыз карандаш, задумчиво глядя в тетрадь и рисуя на полях женские ноги сорок третьего – сорок четвертого размеров. «Ну, всем успехов», сказал средний сантехник. «Бывай», коротко отозвались они.

Когда он вернулся, старший сантехник заступил на службу, а младший давно спал. Василий заглянул в кладовку. Виолончелистка, удалившись в блаженную область ультразвука, закидывала в упоенье мятежную голову, вокруг которой под трели, неслышимые человеку, кружились белесые мохнатые бабочки. Он тихо прикрыл дверь и пошел на безлюдную кухню. Со стаканом чая он сел за стол и начал с накладных.

ГЛАВА ПЕРВАЯ (прочел он)

Кинематограф, в особенности американский, прочно приучил нас к тому, что человек должен учиться быть сильным, в этом для него вся жизненная цель, и не выполни он ее – его отметит на всю жизнь позор-

нейшее из клейм, клеймо неудачника. Но кто учит нас быть слабым? Ведь признавать поражение, отступать – перед обстоятельствами, судьбой, роком, мало ли чем еще – человеку приходится куда чаще, чем торжествовать над ними. И тут выясняется, что слабость куда ответственней, куда более взыскательна к человеку, требуя от него не мощи, а благородства, не гордости, а понимания...

Не притязая на какие-то особенные глубины в философии – нет, я слишком хорошо осознаю и скудость своих сил, и ничтожность кругозора, – я просто хочу воздать этой книгой посильную дань признательности человеку, без которого меня бы не было: моему прадедушке. Муж моей прабабушки, он умер за 60 лет до моего рождения, и в память о нем – ломкую, как бы обесцвеченную потоком времени – мне осталась лишь фотография, сделанная в начале века, с черной фирменной маркой «Зюдльмайер и сыновья». На ней сидящий мужчина в соломенном канотье и с ореховой тростью. Лицо его уже почти не различимо, но я чувствую сухое биенье его крови в своих висках и его неуемную стремительность в своей походке.

* * *

После того как таксист, коренастый человек с лицом коричневым и бугристым, как плитка шоколада, помог Лере вынести последний чемодан, за что ему заплатили лишний двадцатник, Лика пошла на кухню и поставила варить кофе. Никому, кроме нее, эта ответственная процедура в доме не дозволялась. Она смотрела на турку, в которой бурлила жидкость, похожая на смоляную реку в преисподней, и внимательно наблюдала за своими чувствами. Было очевидно, что с

Лерой они больше не увидятся никогда, что состоявшееся только что расставание, при котором было сказано: «Ты пиши сразу, как приедешь; и на Новый год мы тебя ждем, слышишь, обязательно!», проложило между ними такую пропасть, через которую невозможны ни переписка, ни новогодние приезды. И вот поди ты – в ней все было безмятежно и беззвучно, и удивление собственным безмятежьем и беззвучьем носилось над ее душой, как дух над водами.

Собственно, чего же удивительного. Имя – это знаменье, говорил отец.

Имена для дочерей выбирал он сам, гроза и беспрекословный закон семьи, Орест Николаевич Введенский. Слушавший лекции Гревса на Бестужевских курсах, он успел перед самой революцией защитить диссертацию об Эпаминондовой реформе фаланги. Когда воцарившийся в стране хаос начал сникать, а его ядовитые клубы – исподволь складываться в очертания Дома Советов с заоблачным Лениным наверху, вождь всех народов вспомнил о своем семинарском образовании, и его смертоносная рука погладила уцелевших филологов-классиков. Орест Николаевич всплыл из послереволюционного небытия в качестве военного историка, и его старорежимная эрудиция исправно снабжала героических, но безграмотных командармов Гражданской войны историческими прецедентами и яркими цитатами для выступлений на съездах. В глубине души презиравший советскую власть, Орест Николаевич находил отдушину в чтении Гомера и Фукидида, которых – в отличие от Соболевского – читал не сидя, а лежа, чтоб одновременно получать два удовольствия. И хотя самого его назвали, по настоянию деда, соборного протоиерея, Орестом, в честь воина и мученика Ореста Севастийского, на память которого,

26 декабря, он в свое время родился, – сам он считал себя названным в честь Агамемнонова сына, трагического матереубийцы, и гордился своим классическим – «свирепым», как он выражался – именем, хотя к своей матери, Ликиной прабабушке, питал, как свидетельствует семейное предание, нежнейшие чувства. Когда же родилась первая дочь, он, невзирая на ропот жены и молчаливую оппозицию тещи, распорядился записать ее в загсе как Лаодику.

– То была самая красивая дочь Приама, – сказал он. – «Образ младой Лаодики, прекраснейшей дщери Приама». И притом законная, от Гекубы, а не какой-нибудь наложницы. Царевна.

Царевна или не царевна, а от этого имени девочке проку было мало. Дома звали ее Ликой («Чтобы радовалась в жизни больше», – приговаривала мать), а в институте – Лидой и Лидочкой. И сама она редко вспоминала, кто она: самая красивая дочь Приама. И не какое-нибудь там анфан де лямур – царевна. Лаодика Орестовна Введенская.

И уже когда Федор, молодой аспирант, стал появляться в их доме, сначала редко, а потом все чаще и чаще, и мать стала поговаривать о том, как хорошо, когда молодые живут отдельно от родителей, – Орест Николаевич, как бы ничему не внимавший и ни на что не реагировавший со своей олимпийской громоносной высоты, вдруг приблизил к Лике свои брови, распластанные, как крылья поседевшего орла, и прогрохотал:

– Помни, кто ты. Лаодика, прекраснейшая Приамова дочь. Не забывай. И будь счастлива.

Если бы знать тогда, что «не забывай» и «будь счастлива» – два противоречащих друг другу приказания! Если б тогда еще сказать: папа, ты все знаешь, расскажи мне, как это – соединять гордую память с

безмятежным счастьем, которым в полноте наделены лишь деревья, цветы да еще облака на небе! Но знал ли это Орест Николаевич? Нет, наверно, и он не знал – он, привыкший все жизненные проблемы решать манием барской руки с овальными ногтями и для которого легче легкого было уйти в пшеничные поля блаженных, просто развернув на тахте растрепанный тейбнеровский том и углубившись в безыскусный рассказ о том, как в горах воины улетали в пропасть, уносимые ветром, ударявшим в их щиты.

Для второй дочери подобрали имя попроще и попонятней – Валерия. Хотя тоже римское. И какие-то там исторические ассоциации с ним соединялись. И хотя Лера была дочерью младшей, то есть, как принято считать, более любимой и опекаемой, Лика никогда не ощущала желчных позывов ревности. И хотя они дрались за игрушки, за книжки и просто дрались, а потом вместе шли жаловаться маме, но в общем они друг для друга были даже не неизбежным фактом в мире, а самой системой координат, которой расчислялся этот мир: как бы вот она, Лика, – ось абсцисс, а вот она, Лера, – ось ординат, и без них тут ничего не измерить, не взвесить и не уразуметь.

И вот тебе ось. «Весь этот Декарт», как говорил Федор, глядя на карты звездного неба. И что осталось? Кажется, не бывает так. Ан нет – легко и просто.

А все Терентий. Лика не сразу поняла, чего это он, на правах старого друга семьи, с некоторой фамильярностью принялся знакомить Федора с Лерой, когда та вернулась из Западной Сибири, загорелая, веселая и везде роняющая свой плавиковый шпат и горный хрусталь. «Заметь, Федюн, – грассировал он, изогнувшись за его стулом, как половой в старом трактире, и стряхивая ему в тарелку перхоть со своего синего пиджака,

– какие ценности таятся в лоне этой семьи. Вот этот талантливый ученый только что из Сибири, которой, как верно заметил Ломоносов, будет прирастать богатство России. Чувствуешь, Федор, как сразу приросло?»

И то верно. Приросло сразу. С того проклятого вечера, когда Федор на миг не отлучался от Леры, предлагая ей то термоядерный салат из корейской морковки, то влажно шевелящийся студень, Лика почувствовала неладное. И не сердцем почувствовала – даже и женское сердце, хоть и вещун, а не все чует – а каким-то другим органом, обычно ответственным за выполнение иных функций. Где-то там у ней захолонуло и внятным языком перемены температур сказало: все. Теперь, Лика, стой крепче. И помни, кто ты. Потому что твое счастье в эту секунду дрогнуло в своих основаниях и начало неуловимое, но гибельное скольжение, как подтаявший ледник над ущельем.

Резоны, которыми руководствовался Терентий, стали ей ясны далеко не сразу. А когда она поняла, то вздохнула от прозаичности картины. Это был план примитивной, почти животной, и тем не менее блистательно удавшейся мести. Федору Терентий был обязан своим любовным конфузом в Доме пионеров – и, как выяснилось, об этом не забыл. Федор некогда подрабатывал там по своей специальности, ведя астрономический кружок для любознательных пионеров, которым по возрасту еще не приходило в голову использовать темноту для иных целей, когда он, вырубая освещение, включал над ними кокетливо мигающее звездное небо, – а этажом ниже его старый приятель Геннадий, выпускник истфака, корпел над панорамным воссозданием судьбоносного сражения при Бородине, хромая от батареи Раевского в сторону старой Смоленской дороги с фигурой народного полководца Кутузова под

мышкой. Именно Федор счел необходимым позвонить Геннадию с вахты, когда однажды вечером его жена Оксана, всегда распространяющая вокруг себя немилосердный запах кокосового шампуня и квалифицированные познания в области гинекологических заболеваний, в компании с оживленным Терентием зашла зачем-то в опустевший Дом пионеров. И когда Геннадий, по звонку Федора прихромав из дому к своей панораме в рекордно короткие сроки, застал Оксану (вычислив ее в темноте по запаху кокоса и звукам, ассоциативно связанным с гинекологическими заболеваниями) во время занятий сексом с Терентием прямо под ногами наступающего пятого польского корпуса Юзефа Понятовского, – он не смог оценить эту идиллию любви посреди войны настолько, чтоб не отреагировать на нее как положено обманутому супругу. Его блестящих технических познаний хватило на то, чтоб за полгода из всяких обрезков труб и прочего металлического хлама сделать пушки, способные к настоящей стрельбе. Бескорыстно радуясь возможности произвести на будущих посетителей панорамы неизгладимое впечатление, он и думать не мог, что первый залп его орудий будет дан не во имя защиты первопрестольной и чистого удовольствия пионеров, а в суровое напоминание о святости семейных уз. Привыкший грешить в случайных местах, Терентий, однако, не мог предположить, что его оргазм на этот раз будет сорван не появлением дежурного врача или продавца мебельного отдела, а залпом двадцати четырех орудий со стороны легендарных Багратионовых флешей, к которым он был бестактно обращен голым задом. Под визг Оксаны, в котором эротические ноты смешивались с батальными, Терентий сорвался и бессмысленно побежал по полю русской славы, и в пульсирующем артил-

лерийском зареве было видно, что его собственное орудие сильно проигрывает по сравнению с теми, которыми преследовал его мстительный муж. Геннадий не остановился перед тем, чтобы разгласить эту историю всем знакомым, считая, что позор Терентия больше его позора, и долгое время героя-любовника донимали на всех вечеринках просьбами рассказать о том, как он в одиночку напал на ставку Наполеона, вооруженный лишь гениталиями устаревшей штуцерной системы. И теперь Терентий, возлелеявший свою месть, отнимая под ее разработку часы у своей сексуальной жизни, нанес точный удар: он загнал самого Федора, которого считал виновным в своем унижении, в адюльтерный сюжет на главное место. И наслаждался, глядя, насколько его сюжет хорош и как далеко просчитан.

Впрочем, как порядочный муж по известной отечественной примете, Лика узнала обо всем последней. Язык потупленных взглядов, оборванных движений, одиноких стояний у окна, вся эта лексика и грамматика затаенного греха была для нее словно французский, которому ее отдавали учиться в детстве старой Амалии Евгеньевне, но не выучили, – знакомые вроде бы обрывки, из которых не складывается, однако, никакого смысла. И даже когда она, вернувшись раньше времени со дня рождения институтской подруги, в сумерках супружеской опочивальни увидела смутно скользнувшее к дверям Лерино тело, так наследственно похожее на ее собственное, – с большими коричневыми сосками, острой линией ребер под мышкой, темным мыском в низу живота – а потом блеснувшие из постели очки Федора (чем отблескивали они в этом полумраке, и зачем они нужны ему были там?) – даже тогда она словно бы не поняла, хотя, конечно, понимала все гораздо раньше и увереннней. Кажется даже, между ней и

Федором был еще какой-то разговор, после того как Лера выскочила в коридор, и чуть ли даже не она сама, Лика, начала его, а он поддержал. И самым острым ее чувством в последующие месяцы было удивление над собственной внутренней тишиной да еще, пожалуй, удивление над этим удивлением. И когда из женской консультации, где знали Ореста Николаевича, позвонили ему домой, чтобы доверительно сообщить, что Валерия Орестовна находится на третьем месяце беременности, – Лика бестрепетно передала ему черную глянцевую трубку, со спокойным вниманием глядя, как он слушает и как меняется его лицо. И во все время последовавших семейных сцен, длительностью несколько месяцев, от которых Федор наконец сбежал, оформив командировку в Пулково и бросив их обеих на произвол обоюдной женской мелочности и старческого брюзгливого самовластия, – она волновалась и бурлила только где-то на поверхности, а глубь ее, как у штормового моря, была незамутненно-спокойной. И по окончании каждого семейного свидания, где отец гремел, мать плакала, а Лера отвечала что-то неслышное, но, по всему судя, непреклонное, она шла на кухню и варила кофе, которым угостила ее подруга Лена, веселая и не задумывающаяся ни о чем женщина, муж которой, хороший гематолог, получал иной раз от итальянских коллег, знакомых по Веронскому конгрессу, подарки с дипломированным национальным колоритом. А когда Лера ушла на несколько дней из дому, когда наконец Орест Николаевич уже почти сломался и разрешил матери позвонить в милицию, в дверь позвонил старый Лерин знакомый, задумчивый еврей-дантист, на всех вечеринках веселивший друзей жгучим исполнением романса «Утро туманное», и передал от Лерочки, что она намерена в целях научной работы

ехать на неопределенный срок в Салехард, где будет собирать камни, – тут Лика предложила ему пройти и присесть и начала при нем и всей семье рассказывать какой-то анекдот, чуть ли даже не еврейский.

– Да, собственно, и что им надо, – сказала она, не имея других собеседников, кроме мутно бурлящего кофе. – Мужикам. Мало им надо.

Вот где он сейчас? Протуберанцы наблюдает. На солнце нельзя долго смотреть, от этого слепнут. Какой-то ученый ослеп, Федор говорил. Еще в девятнадцатом веке. Только орлы это могут. Поэтому они носят Зевсовы молнии, и больше никто. Только они...

Лера беременна от него. А она, Лика, никак не может. И свекровь ее, как ни придет, все упражняется в намеках на этот прискорбный факт. Удивительной тонкости аллюзий достигла женщина. Интересно, донесли до нее? Какая ей теперь, поди, радость и оживление.

После ужина, за которым все молчали и только мать пыталась говорить о погоде и о том, что передали в новостях, Лика пошла в их с Федором комнату и с удивительным наслаждением легла на свежее, блистающее белье, ни с кем его не разделяя. И, всегда с таким трудом засыпавшая, она, едва коснувшись головой подушки, ушла куда-то в извилистый и бездонный сон. И ей приснилось то, чему подобного никогда не снилось. Будто бы был август, и прекрасное, жаркое и бездонное небо раскинулось над ней. И вся семья вроде бы где-то здесь, то ли ушли на реку, то ли Брянцевы купили в поселке первый в этом сезоне арбуз и пригласили по соседству отведать, и мать сейчас там, кружевно надкусывая сахарную, красную плоть, говорит: «Отличный арбуз», а Сусанна Михайловна Брянцева со своей обычной вельможной полуулыбкой говорит: «Да, Корнелий Петрович, тебе удалось выбрать, арбуз неп-

лох»... И только она одна, Лика, почему-то с ними не пошла. То ли потому, что ее не пригласили – но как ее могли не пригласить? Всех пригласили, а ее нет? То ли потому, что она отказалась – почему бы она отказалась? Нет, мать бы не позволила, сказав: «Ни в коем случае, Лика. Сусанна Михайловна, как тебе известно, дама очень щепетильная по части приличий. Собирайся, посидишь двадцать минут, съешь кусочек, извинишься и уйдешь...». То ли потому, что ног у нее нет, а есть прочный зеленый стебель, и она стоит на нем недвижно у облетающего сизыми чешуйками краски штакетника и, запрокинув голову в ореоле зеленых волос, до боли, до какого-то радостного изнеможения следит простершийся в небе огненный путь щедрого и ко всем благосклонного светила...

Господи, твоя воля на все, подумал с тоской средний сантехник. Не так страшен автор, как соавторы. Вот уж вроде наш-то, кажется, не сахар, но как эти самородки возьмутся – ну сущий младенец против них. Что этот понаписал-то, ей-богу. Агностицизм развел. Прадедушку приплел, лежал себе человек в гробу с ореховой тростью, никого не тревожил. Гениталии все время чьи-то в кадре. Римский праздник безудержных Гениталий. Ладно, а тут что произведено на свет?

Он взялся за тетрадь старшего сантехника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на диване с бутылкой пива, глядя «Колесо Фортуны» и всеми силами пытаясь убедить себя в том, что он делает именно это, а не

(слушает, что происходит на кухне)

а не бессмысленно волнуется непонятно из-за чего.

– Хрена, мужик, – с презрительным сочувствием сказал он, глядя на экран. – Все очки сгорели. Осторожней надо крутить.

Колесо с хрустальным перезвоном исполнило мотив «Ты потерял свою любовь», алчный фермер с глубоким унынием убрал от него свои трясущиеся руки, и ход перешел следующему игроку, школьной учительнице в мелких кудерьках, надевшей на себя лучше, что у нее было в доме, судя по осторожности, с какой она двигалась.

– Вот так, – назидательно констатировал он, продолжая обращаться к расстроенному фермеру. – С Фортуной, брат, надо осторожней. Никогда не знаешь, что она выкинет.

Что она выкинет.

Он оглянулся на дверь и темный коридор за ней.

Нет. Даже если там, в холодильнике, откроется дверца, он все равно не увидит отсюда. Он не увидит, даже если… А в первый раз она вообще не открывалась. Он сам ее открыл. Три недели назад. И хотел сказать Молли, что еды в доме нет ни черта и – ради обобщения, совсем не заботясь о том, что Джонни тоже вертелся здесь, – что на десятом году семейной жизни можно было бы уже не доводить холодильник до такой образцовой стерильности, чтоб в нем можно было проводить полостные операции.

Тарелку он заметил не сразу.

Собственно, она там часто стояла, неся на себе остатки ужина, так что обращать на нее особое внимание вроде не было повода. Он только говорил Молли, что если эта тарелка так ей дорога, как принято считать, и была заимствована на память кем-то из ее северных предков из столового прибора броненосца «Монитор», можно было бы проявить к ней больше почтения и

избавить ее от сомнительного общества холодных котлет. Молли всегда говорила: да, да – а через пару дней он снова обнаруживал эту тарелку в холодильнике.

В этот раз, однако, на ней ничего не было.

Если не считать стикера.

Когда он заметил, то вынул тарелку оттуда и спросил, с кем это Молли переписывается таким оригинальным способом и не романтичнее ли использовать для этого дупло в старом дубе на заднем дворе или, еще лучше, один из ульев мистера Натвига.

Она сказала, что ничего не оставляла в холодильнике (в это можно было поверить). Подошла и посмотрела у него через плечо.

На синей бумажке было большими буквами выведено: «РАННИЕ ГРУШИ. РАНЬШЕ, ЧЕМ У ВСЕХ».

Собственно, едва ли эта тарелка могла служить команде «Монитора». Даже если она действительно была такой старой. На ней в кружевном синем ободке была изображена маленькая пастушка Би-Поп, в своей шляпке, напоминающей репродуктор, и с непомерным посохом в руке, а позади нее какое-то фиолетовое дерево и три меланхолично пасущиеся овцы. Сомнительно, чтобы капитан «Монитора» позволял боевым морякам смотреть за едой на подобные картинки. Опыт Иакова в области селекции должен был его предостеречь.

Стикер был налеплен прямо на пышную крону фиолетового дерева и производил впечатление надписи, сделанной в тщетной борьбе с амнезией.

Джонни тоже сказал, что он ничего не писал в холодильник и что прятать всякие тайные письма – это забавы для девчонок.

В общем, никто этого не писал.

У самого холодильника, конечно, не спросили, подумал он.

А когда через два дня, после сильного ветра, обвалилась груша, посаженная еще его отцом, и проломила крышу сарая, едва ли кто-нибудь из них вспомнил об этой синей бумажке, которую сразу же выбросили.

Нет, никто. Не в этот раз.

Потом Джонни был один дома. По его уверениям, он не открывал холодильника. Нет, конечно, не открывал. Зачем ему это надо?

Значит, холодильник открылся сам или, скорее всего, Молли не захлопнула его, когда доставала молоко.

Там была тарелка с пастушкой, а на приклеенном стикере (Джонни не помнит, *куда именно* он был наклеен) было написано: «ЗАЙЧАТИНА С КЕТЧУПОМ. ЛУЧШИЙ КЕТЧУП В ОКРУГЕ».

И он, конечно, сразу же об этом забыл, потому что мистер Натвиг (*Зови меня Ансон*, сказал он Джонни, испуская белый клуб из своей трубки) ждал его, чтобы кормить кроликов, они условились об этом еще вчера, и вот Джонни со всех ног побежал к нему, чтобы не разочаровывать человека, который разрешил звать его Ансоном.

И он был достаточно пунктуальным мальчиком, чтобы бежать достаточно быстро и успеть увидеть все.

Как убежавший из вольеров мистера Натвига кролик тяжелыми скачками перебирался через шоссе, обнюхивая асфальт.

И как он никуда, абсолютно никуда не торопился. Не глядел на часы и не говорил сам себе: «Ох, уже слишком поздно».

И как налетевший грузовик…

И махавший руками, спеша к дороге, мистер Натвиг…

И когда они с Молли, вернувшись из магазина, застали Джонни в истерике, и его руки, лицо, живот, кровать были выпачканы кровью, и им понадобилось *какое-то* время, чтобы выяснить, что это кровь кролика, *только* кролика, – тогда они, после того как Джонни затих и задремал, молча стояли на кухне, разглядывая синий листок, сообщавший им о лучшем кетчупе.

Во всяком случае, это стало поводом наконец купить Джонни черепаху, с которой он приставал к ним каждый день и надоел хуже некуда. Теперь это казалось благодеянием для них самих: в доме воцарилось умиротворение. Все утихло, Джонни возился с черепахой, кормя ее травой, и с правдоподобным жужжанием изображая ею истребитель «Стеллс», так что только благодетельная флегматичность избавляла ее как боевую единицу от сердечного удара.

Молли совершенно уверена,

(«У вас двести очков. Выслушайте задание...»)

что она не открывала холодильника. Потому что она только шла к нему с намерением это сделать.

Он открылся ей навстречу, и в нем горел свет, и синюю бумажку было в нем очень хорошо видно.

Бумажку, прилепленную к той овце, что терлась, как собака, о юбку пастушки.

Странно, что уже тогда у нее не возникло мысли, стоит ли это читать.

Во всяком случае, она не остановилась.

«ЧЕРЕПАХОВЫЙ СУП. ТОЛЬКО У НАС. НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМАЯ ТОНКОСТЬ ОЩУЩЕНИЙ».

Что она делала потом?

Как в эту кастрюлю, которая.....................

....

....

....

«Мистер Осборн, – сказал старый Натвиг, выбивая трубку. – Вы знаете, у нас с вами прекрасные соседские отношения, а в моем возрасте это одна из тех немногочисленных вещей, о которых следует просить Бога, чтобы он сохранил их вам до самой смерти, и забыть обо всех других просьбах. Ваш мальчик мне очень нравится. Надеюсь, у вас не вызывает ревности то, что он бывает у меня так часто. Он вас очень любит»

«И я его тоже», – откликнулся он с почему-то пересохшим горлом.

«Видите ли, он мне все рассказал. О ваших проблемах, я имею в виду. После того, как погибла его черепаха,

(интересно, о черепахах говорят: «погибла»? Мне кажется, «погибнуть» в ее отношении – все равно что «пасть смертью храбрых» или что-то в этом роде. Или так тоже можно?)

он нуждался в ком-то, кто его выслушает. И особенно когда ему начал сниться этот сон».

«Простите?»

Натвиг пристально посмотрел сквозь клубы дыма.

«Я думал, он говорил вам. В таком случае, вам следует спросить у него. Видимо, он просто не успел. Дело в том, что родители – всегда люди занятые, а старый человек вроде меня неограниченно располагает временем. Только пчелы его отнимают, но это, понимаете ли, недолго».

«Мне казалось, пчелы – очень хлопотное занятие».

«В первое время. Потому я, собственно, и обзавелся ими пятнадцать лет назад, когда умерла моя жена. Она всегда хотела их завести, хотя, боюсь, ею руководило смутное романтическое представление о людях, которые живут этакой жизнью... вы понимаете. Я думал, что выполняю ее желание, когда купил это все. Хоть

поздно, а выполняю. Потом, когда я привык и стал делать все быстро, я понял, что занялся этими пчелами, чтобы делать все медленно и не иметь времени думать».

«Не вышло».

«Да, не вышло, – согласился мистер Натвиг. – Мистер Осборн, я хотел бы дать вам совет, хотя, разумеется, вы вправе послать меня к черту».

«Я вас слушаю».

«Вы знаете овраг за моим домом».

«Да, конечно».

«Погрузите в машину свой холодильник, вывезите и сбросьте его туда. Лучше всего – немедленно».

Странно, что он не удивился, услышав этот совет.

«Я один его не выволоку, – медленно сказал он. – В дом мы втаскивали его втроем, а я был тогда посвежее».

«В этом я вам не помогу, к сожалению. Кто из ближайших соседей? Миссис Морстон, разумеется, тоже...»

«Помнится, она говорила, что должен заехать ее сын. Завтра с утра».

«Билли? Это удачно. Он вполне сойдет за двоих, которых вам недостает. Пойдите договоритесь с ней, чтобы он помог вам. Не упустите, он приезжает

(«И мы переходим к суперигре»)

не позже половины седьмого. Я всегда слышу в это время, как у него играет радио в машине».

«Спасибо, – сказал он и встал. – Может быть, кто-нибудь другой и послал бы вас к черту, слыша, как вы распоряжаетесь его холодильниками, но я пережил слишком много и больше не хочу».

Мистер Натвиг с протяжными всхлипами раскуривал трубку.

Он уже был у дверей.

«Мистер Осборн».
Он обернулся.
(«И теперь у вас на счету...»)
«Берегите сына».
Теперь он смотрел «Колесо Фортуны». Пойдите посмотрите «Колесо Фортуны», сказал мистер Натвиг, я всегда смотрю его.
Он пошевелился и оставил пиво.
– Что за мотив они взяли, – сказал он с раздражением. – Не нашлось ничего лучше. Менее заунывного.
Он напевал этот мотив уже несколько минут, не замечая этого.
Не замечая также и того, что
(черт возьми, тебе ПРИДЕТСЯ ЭТО УСЛЫШАТЬ!)
он звучит не из телевизора.
Едва ли он задумался над вопросом, *откуда* это звучит. Он поднялся, вышел в коридор и пошел навстречу вертикальной полосе желтого света, стоявшей посредине темной кухни.
В двери холодильника.
Она медленно приоткрывалась, и вместе с ровным, безжизненным светом (*стерильным*, подумал он) из нее лилось хрустальное наигрывание песни «Ты потерял свою любовь».
Я не пойду к нему, подумал он, подходя к нему.
Я не стану брать тарелку.
Во всяком случае, пока Молли с сыном не вернется из бассейна.
Через двадцать пять минут.
Что-то глухо пошевелилось и скользнуло, и он вздрогнул от ужаса, чувствуя холодную струю между лопаток, при остром звуке бьющейся тарелки. Она вывалилась из холодильника и смутными осколками, похожими на ощеренные зубы, разлетелась по полу.

Он зажег свет.

Осколок с синим листком оказался под столом. Изпод листка глядели небесно-голубые глаза маленькой пастушки и вились ее золотые локоны. На листке не было ничего.

Совсем ничего.

Чистый листок, налепленный на лицо пастушке.

Внезапно он почувствовал судорожную, истерическую ярость. Он стоял и сжимал кулаки, глядя на безмятежно-белые грани холодильника, точно собирался вступить с ним в рукопашную схватку. Он испытал такой приступ гнева, какого не испытывал никогда в жизни.

А потом он поднял лицо к горящей лампе и рассмеялся.

Бурная муть гнева, смешанного и переплетенного со страхом, – та муть, что долгое время не давала ему думать и действовать трезво – вдруг схлынула, и он повел глазами, удивляясь внезапной прозрачности

(стерильности),

с какой очерчивались все вещи.

Все очень просто. Чего он нервничал, суетился и ждал худшего, как ребенок, закрывающий лицо руками? Все просто.

Он пошел к сараю, открыл его и отпер железный ящик, в котором хранил винтовку. Он взял ее в руки и ощутил эту знакомую, так хорошо знакомую и так давно не испытываемую холодноватую тяжесть.

Хороший выстрел, сказал тогда Уилбер.

Львица лежала в трех шагах от него, обрушившись на колючие кусты; ее густая кровь капала на сухую землю, он видел ее зеленые глаза, направленные на него, когда она умирала. Упорный зверь, отметил он с уважением. Ненависть держится в нем дольше, чем

жизнь. Сильный зверь. Тем не менее, победил он, и это был честный поединок.

Он вернулся в дом, и сухой звук заряжаемого оружия возвестил миру о том, что мистер Осборн принял свои меры.

Он допил пиво и улыбнулся.

Сейчас он станет против холодильника,

(все с той же спокойной, уверенной улыбкой он стал с ружьем наперевес у входной двери, совершенно уверенный, что стоит на кухне)

да, станет вот здесь, и пусть тот попробует сделать *хоть что-нибудь*, открыть дверь, или начать какой-нибудь идиотский мотив, или плеваться бумажками с корявыми надписями, – тогда посмотрим, кому из них эта забава выйдет боком. Когда он всадит в его подлое металлическое нутро пять зарядов, из которых каждый убивал льва в прыжке раньше, чем тот касался земли.

Посмотрим.

– Мама, почему сарай открыт? – спросил Джонни. – Кто туда ходил?

– Папа, наверное, – ответила Молли. – Пойдем скорей, у тебя волосы мокрые. Говорила я тебе, просуши, как положено.

– Ну, мам, тепло же на улице.

Билли приедет. Ему не надо Билли. В половине седьмого утра у него уже не будет никаких проблем. Возможно даже, он еще будет спать в половине седьмого. Зачем ему вставать так рано? Мистеру Натвигу, которому старческая бессонница не дает видеть поутру вещие сны, может, и нравится смотреть на восход. Возможно, когда-нибудь это и ему будет нравиться. Когда он состарится и разведет пчел.

А пока у него другие проблемы.

Он замер.

Ему кажется – или за этой проклятой дверью началось какое-то шевеление?

Джонни определенно видел этот ящик.

Что он видел ***потом, после него****?*

– Мам, а что за ящик лежит у сарая? Что в нем было, мам?

– Не знаю. Спроси у папы.

Средний сантехник подпер отягощенную голову рукой и превратился в страдальческий камень, нависший в раздумье над историей беззащитной Молли Осборн и обезумевшего мистера Осборна.

Положим, мистера Осборна можно переименовать в аспиранта Федора. Будто бы он защитился, бросил свою... кто там был его женой, Лику или Леру? Ага, Лику... так вот, бросил свою Лику... оторва, правду сказать, та еще... или лучше даже не бросил, а, проявив изумительное, прямо-таки дьявольское коварство, инсценировал свою смерть в результате бытового поражения электропроводкой... способ потом можно продумать... и первым же поездом в Салехард. Ночным. Два тридцать семь. Плацкарт, сонные проводники, нечесаная нога в носке, торчащая с верхней полки на уровне проходящего рта. Это все живенько описать. А Лера в Салехарде родила от него мальчика. Если только Орест Николаевич не заставил ее сделать аборт. Он, кстати, не заставил?.. Нет, прямо об этом не упоминается. Странно, как это он... Железный вроде старик, а дал такую слабину... Действительно, упертая девка. Вся в него, может гордиться. Значит, родила мальчика и назвала его... не Джонни, а какие еще имена есть мальчиковые... Георгий, например. Отлично. Лера родила в Салехарде мальчика, назвала его Георгий и живет с ним, снимая комнату в коммунальной квартире на свою скудную зар-

плату сборщика камней. Питается ягелем, добывая его из-под снега. Делает из него окрошку и заливное. Деда Мороза ребенку раз в год не может привести по безденежью. И тут приезжает Федор, ловит ее, плачущую, в широкие объятия, дескать, теперь, Лера, мы будем счастливы, мы и наш маленький Георгий, немедленно купим однокомнатную квартиру с холодильником... Холодильник станет очагом нашего уюта, мы в нем будем хранить еду и вообще вещи, требующие охлаждения... Интересно, какие вещи в Салехарде требуют специального охлаждения... Взывают к нему, так сказать... А их сосед, Николай Фомич, бывший дежурный по переезду на железнодорожной станции Лабытнанги, разводит пчел... Нет, это вряд ли.

Он вдруг заскучал и почувствовал отвращение к себе как писателю, столь резкое, что хотелось его чем-нибудь заесть.

– Как дела? – спросил, входя в дверь, старший сантехник, разгоряченный от любимой работы.

– Доброе утро, – басом сказал младший, приподнимая от подушки голову с розовым рубцом на щеке.

Средний посмотрел на товарищей со сдержанным скепсисом.

– Джентльмены, – сказал он, – боюсь, я вынужден пересмотреть статьи нашего договора. Условия, в которые вы меня поставили, не соответствуют ожиданиям и крайне затруднительны для психически здорового человека вообще.

На него посмотрели с напряжением.

– Я предлагаю вам обоюдно ознакомиться с плодами ваших трудов, – сказал он. – Обещаю, вы будете удивлены.

– Погоди, Василь, дай хоть кусок колбасы съесть, – пробурчал старший, разуваясь.

– Дайте умыться хоть, – пробасил младший, утыкаясь розовым лицом в подушку.

– Умойтесь и съешьте кусок колбасы, – согласился средний. – Я буду с нетерпением ждать, когда эти детали туалета будут вами тщательно выполнены, потому что хочу видеть ваши лица, с головой погруженные в чтение.

Наконец они, умытые и с колбасой в глубоких зубах, но позадумавшись, уселись за чтение. Средний сантехник, выступая организатором мероприятия, дал старшему сантехнику накладные младшего, пронумерованные в сюжетном порядке, а младшему – тетрадь старшего.

– Опять она, – поморщился старший, поднимая голову от прадедушки в канотье. – Отвлекает, честное слово. Сань, – распорядился он, доставая мятый стольник, – поди, дай ей, и пусть сыграет «Мурку». Скажи, для Семена из Самары по просьбе друзей.

Саня сбегал и вернулся под высокую соль виолончели.

– Не берет, – доложил он. – Торгуется.

– Ну и пес с ней. Ничего вообще не получит.

Они сконцентрировались на чтении.

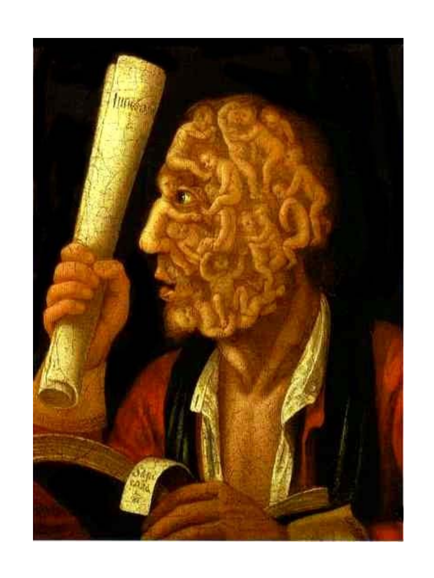
С гадливостью проследив за фантазией соавтора, они прочли последнюю страницу и одновременно отозвались:

– Удивительная дрянь.

– Прекрасно, – обобщил средний сантехник. – Теперь, когда мы достигли единства эстетических эмоций, я намерен предложить на обсуждение такой вопрос. Что делать будем? Вариант «выбросить» не дебатируется, потому что жалко.

Три товарища надолго задумались, и наконец младший вполголоса сказал:

– Ну, есть такое предложение...



Глава пятая,

в которой кавалер Бернини проявляет себя наилучшим образом, а все остальные – кто лучше, кто хуже

Под каменистым небосводом, озаряемым багрянцем вывернутого фонаря, прослышав о человеке, с которым уходит почта, набежали, оттеснив тщетно негодующего пасечника, и плотно обступили Генподрядчика, дергая за подол и вывертывая пуговицы.

– Во второй комнате, как войдешь, под половицей будет бюст Менжинского, очень хорошей сохранности, так ты возьми себе за труды; а внучке моей, милок, вот что передай...

– Зайди и просто скажи ей: «Помнишь?» Просто вот так скажи: «Помнишь?» И так лицом посмотри на нее! И все, выйди сразу! Не оглядываясь! Понял? Никогда не надо оглядываться!

– В Сивцев Вражек не забудьте заглянуть, голубчик! В Сивцев Вражек! Дом Алексеева! Сверчков моя фамилия, Свер-чков! Как звать, не помню!

– Господи, чем я оброс, – с тоской стонал Генподрядчик, обирая с себя прилипчивых мертвых, как обугленный репей. – А меж тем дома – жена. Кандидат искусствоведения. Грудь пятый номер, курицу печет на бутылке, Гайдна слушает, сто первую симфонию, за дирижерским пультом – Альберто Лиццио. А тут Маша эта... Как бессмысленны воспоминания юности! Нахлынут, и такие глупости творишь! На бумагу, – кричал он нахлынувшим туземцам, – на бумагу пишите, что передать! Кто неграмотный – кресты ставь, не позорь бедняцкий класс! Один крест – буква «А», два – буква «Б» и так далее! И не задерживаем с отправкой! Обобщайте, пожалуйста, материал, не надо писать, какого числа и с кем, пишите просто – «чревоугодие»! Буква «Ч» – двадцать пять крестов! Не списывайте у соседей, не надо переносить их ошибок в свою биографию! И, кстати, сумки не найдется у кого-нибудь?

Беснующаяся вокруг толпа улеглась, выделив из себя

подмножество людей, в прошлом активно сотрудничавших с органами принуждения; в результате их профессиональных действий очередь приняла разумную стереометрическую форму, а количество передач было уменьшено до одной с физического лица и двух с юридического. Закончив импровизированный прием общением с ходоками из погибшего народа, противоречиво излагавшими, как именно и за какое конкретно правое дело погиб их народ, Генподрядчик взвалил на плечо сумку с настойчивыми напоминаниями о себе и, сказав:

– Ну, все, мужики, бывайте. Живите тут по совести, – обернулся в сторону подъезда, поскольку рабочее время заканчивалось, и увидел, как подъездная дверь затягивается по всей высоте очень красивым плетением узлистого терна, на котором там и сям вывешиваются и распускаются большие мучнистые цветы, опыляемые бабочками с плотоядным выражением синих глаз на крыльях.

– Маша, – приглушенно позвал он, приблизившись щекой к колючему гобелену, завесившему подъезд. – Маша, я подозреваю, это ты. Я понимаю, это ты так горько шутишь и, разумеется, имеешь основания... так вот давай ты меня впустишь и будешь шутить в моем присутствии... Это все прекрасно, но надо меру иметь... Ничего слишком, помнишь, Маша, нам говорили на диамате... Маша! Ответь мне! Я не могу здесь оставаться! У меня пожелания людей! Тут одних сормовских рабочих больше, чем их на земле осталось! А ткачихи ивановские! Одна другой искуснее! Когда они выткали для исландской делегации панно с изображением сумерек богов, все просто поражались, обсуждая это за чаем с вафлями «Вермеерские»! Маша! Маша! Открой! Пусти! Пусти! Что за ревнивая баба, прости Господи! Сколько лет пройдет, пока ты уймешься!

Он больно укололся лицом о терн и отскочил на

скамью. Толпы мертвых молча посмотрели, как их почтальон не оправдывает доверия, а потом начали отбирать письма.

Первыми были какие-то люди без головы, требовавшие назад свой донос на гетмана, а за ними потянулись остальные. Некоторые гласно выражали презрение Генподрядчику и его притязаниям передвигаться. Он, впрочем, это не очень слышал.

– Тут знаете что можно посоветовать, – доверительно сказали ему сбоку.

– А? – очнулся он.

Там сидел человек неопределенного типа. Носители самой изощренной дедукции не нашли бы в нем ничего, кроме пошлых школьных параметров, и то не всех, потому что общественным животным без перьев он оказывался при осмотре, смертным, видимо, тоже, а смеющимся – уже вряд ли. Глаза его ходили сами по себе, как ступа с бабою Ягой, один смотрел на Генподрядчика и вокруг него, а другой – на живописно одичалый подъезд.

– Я говорю, – повторил он, – тут несколько человек поставило на то, что вы не уйдете, а несколько – на то, что вполне можете. Тут вообще ставки делаются очень, очень большие.

– А вы ставили? – спросил Генподрядчик, благодаря этой ахинее понемногу отрезвляясь.

– Да, – твердо сказал неопределенный человек. – Я поставил на то, что вы уйдете не менее чем на полкорпуса раньше того человека, что пришел за три месяца до вас.

Услышав об этом прецеденте, Генподрядчик невольно застонал.

– Вы что-то хотели посоветовать, – напомнил он.

– Ах, да, – сказал человек. – Нет, извините, так не надо делать...

Генподрядчик, придвинувшись, случайно коснулся его рукавом, человек спешно отодвинулся, а из той точки, которой он соприкоснулся с Генподрядчиком, тотчас пошли по нему концентрические круги, синие в полоску, как рубашка Генподрядчика; когда этот прибой прошел по груди, захлестнул кадык и разлился по лицу незнакомца, Генподрядчик, который опрометчиво полагал, что нагляделся уже всякого, имел возможность убедиться в своей самонадеянности, увидев, что далеко не всякого он еще нагляделся и, видимо, еще наглядится.

– Да, у меня есть бытовые трудности, – сдержанно сказал незнакомец, сглотнув синеву с полоской и толчками воли вернув сравнительно телесный цвет открытым частям торса. – Но это не должно вызывать у вас недоверия.

– Не вызывает, – с готовностью подтвердил Генподрядчик.

– Так вот. Прежде всего, я бы, конечно, советовал вам ежедневно ложку меда перед сном, лучше с лимоном, но можно и так, это помогает лучше всего.

Тут они прервались, потому что забрать письма подошли два кентавра, леопардочеловек и человек – летучая мышь, первые адресовались в деревню на племя, третий – благодарному потомству, а второй, не будучи учен грамоте, просто изливал желчь средствами пиктографии; пока между миксантропическими формами шла малокультурная перебранка, кому копаться первому, незнакомец с базовыми параметрами отчужденно сидел, отодвинувшись от спорщиков, остро пахнущих июльским зоопарком, и смотрел чем куда.

– Я буду есть с лимоном, – обещал Генподрядчик, когда стадо адресантов отошло. – Как только выйду отсюда, я обещаю вам, что буду с ним есть. Я не успею еще

дойти до дома, как в первом ларьке куплю не торгуясь меда с лимоном и буду есть на ходу. Мне лишь осталось выйти.

– Да-да, – сказал общественный незнакомец без перьев, нервно глядя вслед мягко уходящему леопардочеловеку. – Так вот. Я поставил на вас последнее. Мне пришлось заложить дом, семью и нескольких близких знакомых. В случае вашей неудачи мне придется лишиться всего. Особенно болезненным было бы потерять нескольких близких знакомых, знаете, я всегда был достаточно щепетилен в знакомствах, не хочу хвастаться, но у меня сложилась неплохая подборка.

– Я оправдаю, – скупо сказал Генподрядчик.

Тут подошла за письмом гиеносвинья; порочная усмешка, неудачно озарявшая ее неприятное лицо, создавала эффект красных глаз; ее хвост, задние ноги и потертая кожаная сумочка с расходящейся молнией производили самое невыигрышное впечатление; незнакомец быстро отодвинулся, но она без затей мазнула его грудью по виску в целях знакомства, и тут же по его лицу пошли рефлексы того биологического вида, с которым он вступил в непосредственный контакт. Гиеносвинья, несмотря на свою безнадежную распущенность, сконфузилась, быстро нашла телеграмму, начинавшуюся «Я много провела раздумьях твоим предложением», и отошла.

Незнакомец, осилив в себе поползновение быть гиеной, провел слабой рукой по взмокшему лицу и продолжил, сопровождаемый сочувственным вниманием конфидента:

– Кроме того, я тоже дал вам письмо и хочу, чтоб оно дошло. Понимаете ли. В детстве я много страдал от эгоизма. От своего, я имею в виду. Я не имел благородной привычки быть отзывчивым на вещи внешнего мира.

Поэтому, когда эта отзывчивость во мне непредвиденно возникла, она получила, так сказать, пенитенциарный характер, если вы понимаете, что я имею в виду.

– Думаю, что понимаю, – решил Генподрядчик.

– Я написал бабушке, – продолжал незнакомец. – У меня было время поработать над слогом, поэтому я смею полагать, что высказал все наилучшим образом. Среди тех людей, при воспоминании о которых меня жжет и гложет бесплодное раскаяние, она занимает одно из первых мест. Вы меня очень обяжете, если в качестве признательности отнесете ей это.

– Без сомнения, – сказал Генподрядчик.

– Если она, – продолжал незнакомец, нервно разглаживая брюки на коленях, – попросит вас прочесть вслух, потому что у нее не очень хорошее зрение, и вы дойдете до того места, где я упоминаю о банке с малиновым вареньем, могу я просить вас не спрашивать у нее, о чем идет речь? Мы с вами сведены судьбой, в сущности, случайно, и если я оставляю какое-то личное пространство закрытым для дискуссий, то, кажется, имею на это право...

– Конечно, – сказал Генподрядчик. – Скажите, пожалуйста, а поэзия на вас действует?

– Только если руками трогать, – сообщил незнакомец.

– А если трогать, то любая? Или есть предпочтения?

Тут незнакомец открылся, что от поэзии Северянина его тело зацветает бледно-фиолетовыми линиями, расположение которых напоминает изобаты на географической карте, а от Асадова на нем по белому фону идут черные буквы, изображающие то стихотворение, к которому он в настоящий момент припадает, и тогда завязку истории двух разнополых студентов он может прочесть на доступных обозрению частях тела, а чтобы

узнать ее грустный финал, ему приходится идти к большому зеркалу и становиться к нему спиной. Что же касается классических достижений отечественной словесности, то когда он недавно в задумчивом настроении решил перечитать «Бориса Годунова», то у него на правой ладони выросла высокая башня, наподобие покойной Сухаревской, а из ее верхнего стрельчатого окошка выпал человек с руками разной длины и криком: «Тень Грозного меня усыновила». Долетев до ладони, он канул головой в холмы Венеры, а вслед за ним пропала и башня.

– Вот, собственно, то немногое, о чем я хотел поставить вас в известность и просить, – заключил незнакомец, пораженный неудержимой отзывчивостью, и начал было подниматься со скамейки.

Генподрядчик сделал порывистое движение схватить его за рукав, но опомнился и лишь быстро спросил:

– А выйти отсюда?

– Ах, да, – спохватился незнакомец, видимо расстроенный нечаянным проявлением слабости, в которой только что так живо раскаивался. – Виноват, простите великодушно. Ну, что могу сказать. Тому человеку, который тут до вас, я не советовал на этот предмет, потому что не было случая составить знакомство; он, знаете, все больше лягушек ловит, тут у нас чудесные ловы, природа вообще замечательная, рубашку свою дерет на полоски, у него красная, и ловит; но вы, вы другое дело... (Генподрядчик искренне себя с этим поздравил.) Тут, собственно, нет путей. Есть только сюда, а отсюда нет. Было бы, согласитесь, странно, если бы тут было так, что иди, мол, кто куда хочет.

Генподрядчик поглядел на его восприимчивые черты с невыразимым ужасом.

– Но, – сказал незнакомец, наставительно подняв

палец, что на письме должно было быть передано курсивом. – Но. Вы могли бы прибегнуть к таким практикам неофициальным.

– Каким это таким практикам?

– Мантическим практикам, – интимно сказал незнакомец. – Тут, видите ли, есть свои методы. Нынче какое число, позвольте спросить?

– Одиннадцатое января.

– Ну, видите, одиннадцатое января. Люди ныне, будучи даже и в менее пиковом положении, охотно прибегают ко всякому такому, ведомые кто любопытством, кто намерениями этнографического плана, а кто и просто за хорошую компанию, – и, действительно, потом бывает о чем вспомнить; одеколону, правда, много уходит, зеркало протереть и на другие надобности, а вам сейчас если грамотно об этом вопросе погадать, то удастся, я думаю...

– За ворота башмачок, – обреченно сказал Генподрядчик, чувствуя, что если это лучшее в его положении средство, то уже пора ему драть рубашку на полоски и идти испытывать, какие чудесные здесь ловы. – Туз бубновый, гроб сосновый, эй, откликнись, кто идет. Может, здесь где-нибудь тень Грозного подземные коммуникации копала, так можно их успешно поискать?

– Напрасно вы так, – обидчиво сказал незнакомец. – Не стал бы я вам предлагать суррогатных средств. Благоразумие должно проявляться не в пошлом просветительском осмеянии суеверий, а в разборе, что тут суеверие, а что, наоборот, дает положительный эффект...

Генподрядчик спешно извинился.

– Другое дело, – продолжил успокоенный незнакомец, – не буду скрывать, есть технические трудности. Подавляющая часть прогностических практик рассчитана на контингент заинтересованных в замужестве, и

Жуковский сказал: «Девушки гадали». То есть традиционные методики специализированы, и поэтому...

Тут, видимо, на лице Генподрядчика слишком явно отразилось предчувствие, что ему придется выставлять голый зад в окно бани на предмет того, волосатой или плешивой рукой его потрогают претенденты, так что незнакомец поторопился его успокоить:

– Вы не подумайте, – сказал он, – все гендерные поправки в алгоритм внесены, но если что-то такое попадется, какие-то мелочи, то вы же не будете возмущаться и прерывать...

– Я не буду прерывать, – сказал Генподрядчик, – но если что-то надо будет корректировать на ходу... Если, к примеру, там будет написано «поднимите подол сарафана», мне ничего не делать, потому что на мне нет сарафана, или поднимать что-нибудь на себе, что является ему частичным эквивалентом?

– Это, – успокоительно отвечал незнакомец, – не главное. Можете подол не трогать. Главное – чьего общения добиваться.

– Как – чьего? – спросил Генподрядчик. – Это вроде бы понятно. Узок круг этих респондентов. Леший там или домовой, искони благосклонный к семейству, жених в действующей армии, красавец флигель-адъютант, лежит себе на поле брани с оторванной ногой, ну, или Пиковая дама, в конце концов... Я к Пиковой даме обращусь, да? Там ступеньки надо на зеркале рисовать, у вас случайно маркера не найдется? Я спою ей: «Не пугайтесь, не пугайтесь, я не стану Вам вредить...»

– Этого не надо, – пресек его оперные претензии незнакомец. – Вы к другим источникам обратитесь.

– Не менее надежным? – уточнил Генподрядчик.

– Ну, где-то, – несколько туманно сказал незнакомец.

– Введите в курс, – попросил Генподрядчик.

– Есть тут один человек, – информировал незнакомец. – Впрочем, не совсем тут. И не совсем есть.

– Это как-то сразу внушает уверенность, – сказал Генподрядчик.

– Дисвицкий его звали. Платон Александрович. Служил он в милиции и был человек причудливый. А поскольку его причуды постоянно подрывали людям поведенческий настрой, его не все любили.

– Так-таки подрывали?

– Ну, вот представьте. Идет осмотр места происшествия. На полу рядом с кроватью лежит мужской труп, лицом вниз, в такой позе, будто он в прыжке вбивает мяч в баскетбольную корзину. Фотограф в разных ракурсах снимает его решающий бросок. Представители убойного отдела, высовывая язык, обводят мужчину цветными мелками и пишут протокол осмотра: «На полу располагается головой на северо-северо-запад и ногами к двери труп мужчины, опознанный соседями как труп Недоручко В.А., 1956 года рождения, постоянно проживавший в этой квартире с 1993 года. Труп потерпевшего Недоручко В.А. лежит, вытянув толчковую левую ногу, на которой из-под сбившихся брюк виднеется зеленый носок, и неловко втянув под себя правую до отказа. Руки также вытянуты рабочими концами на северо-северо-запад. На голове виднеется механическое повреждение, нанесенное, по всей вероятности, тупым металлическим предметом, скорее всего – чугунной статуэткой, торчавшей из повреждения в голове на момент появления в квартире оперативной группы, и которая, по всей вероятности, непосредственно стала причиной смерти. В комнате заметны следы борьбы не менее двух людей».

Тут появляется Дисвицкий, дежурящему у дверей милиционеру показывает билет в шестой ряд партера и активно включается в осмотр. Он придирчиво оглядывает

труп, обнюхивает его губы на предмет запаха яда, одергивает ему штанину, вылавливает из черепа чугунную статуэтку, как стерляжью голову половником из ухи, и говорит протоколисту:

– Ну-ка, Петь, чего ты там понаписал… Труп Недоручко, зеленые носки… тупым предметом… Так. И все, что ли?

– А что еще? – недоуменно спрашивает Петя, никогда не присутствовавший на выездах с участием Дисвицкого и не знающий, свидетелем какого фонтанирования умственных соков с мякотью ему предстоит стать.

Дисвицкий со вздохом поднимает глаза к долготерпеливому небу.

– Пиши, – распоряжается он, глубоко усаживаясь в кресло. – «Формат ранений в затылочной части головы совпадает с подставкой статуэтки "Плутон и Прозерпина" каслинского литья, копирующей известную статую работы Лоренцо Бернини, высотой…» Возьми-ка, измерь.

Петя берет статуэтку, вытирает о штанину и меряет рулеткой.

– Двадцать пять, плюс-минус полтина, – говорит он.

– Прекрасно. «…высотой 25,5 сантиметров, т.е. выполненную в масштабе 1:10. Ноги Плутона по колено забрызганы кровью и остатками мозга гражданина Недоручко В.А., что хотя и не входило в первоначальный замысел скульптора Л. Бернини, однако органично дополняет созданную им композицию».

Он задумывается, сначала мимолетно, потом с удовольствием, кажется, совсем забывая, где он.

– Чего дальше писать? – пробуждает его Петя.

– Дальше, – опоминается Дисвицкий. – Пиши: «Группа "Плутон и Прозерпина" выполнена Лоренцо Бернини при возможном участии его отца Пьетро в 1621 или 1622 году для кардинала Шипионе Боргезе, в

том же 622 году подарившего скульптуру племяннику папы Григория XV, кардиналу Людовизи, на чьей вилле она пребывала до 1908 года, когда перешла в собственность государства. Кардинал Людовизи щедро расплатился с Бернини за эту работу, хотя она делалась не для него, и много способствовал тому, чтобы скульптору был вручен крест Кавалера Христа. То было время, когда усилиями божественного Гиберти, родом из Флоренции, Якопо делла Кверча, сьенца, а также тех, кто много и с пользой учился у названных мастеров и чьи имена мы не станем сейчас без нужды поминать, искусства и науки, а в частности искусство ваяния, существенно продвинулись, так что не будет дерзостью сказать, что в чем-то мы сравнились с древними, а в чем-то и превзошли их. Во всяком случае, в ту пору никому не пришло бы в голову носить малиновый галстук под зеленые носки, ибо, сделай он нечто подобное, он до конца дней был бы осужден испытывать на себе пренебрежение людей понимающих и насмешки простонародья, никогда не знающего в них ни пресыщения, ни усталости».

– Это выпад в адрес трупа? – спрашивает фотограф Валентин Михайлович.

– Безусловно, – отвечает Дисвицкий. – Я рад, что ты заметил это, поставив под сомнение расхожую мысль о ненаблюдательности фотографов.

– И ты находишь это этичным?

– Я нахожу это необходимым, – отвечает Дисвицкий. – Жалкая судьба В. А. Недоручко должна стать примером для всех, кто намерится пойти его дорогой.

– Дальше чего? – перебивает их Петя.

– Дальше... Пиши. «Скульптор развивает тему спирального кручения тел, напоминающую о маньеристской манере, противопоставляя и как бы взаимно гася порыв фигур: рука Прозерпины, отталкивая Плутона,

собирает кожу в складки на его лице, а Плутон, удерживая ее, погружает свои пясти в нежную плоть жертвы».

Статуэтка идет по рукам, все оценивают нежную плоть жертвы, переданную средствами чугунного литья, и понимающе глядят в сосредоточенное лицо Плутона с упомянутыми складками.

– «Вид на группу слева, – диктует меж тем Дисвицкий, – представляет бурную борьбу, с поднятой на воздух Прозерпиной и сильным и быстрым шагом левой ноги Плутона. Фронтальный вид дает картину уверенного триумфа, с трофеем, поднятым на плечо, а при положении зрителя справа видны слезы Прозерпины и ее тщетная мольба к небесному отцу, без чьего согласия этот брак не мог состояться; ветер бурно свивает ей волосы, и адский страж лает тремя глотками у ее ног, барахтающихся на воздухе. Последовательные моменты мифа, таким образом, синтезированы в едином образе».

Валентин Михайлович между тем фотографирует каслинский чугун в указанных ракурсах.

– Тоже мне, серия синтетических моментов, – бурчит он. – Расчлененку трудней снимать.

Дисвицкий оборачивается на это его замечание.

– И ты, Валентин Михайлович, – говорит он, – не избежал надменья, свойственного специалистам. Смирение, смирение и непрестанная рефлексия – вот к чему я хотел бы тебя призвать, если б ты имел благоразумие слушать мои советы. Еще Бернини указывал, что знающий скульптор – вещь гораздо более редкая и драгоценная, чем хороший фотограф-криминалист. «Если его величеству христианнейшему королю Франции понадобится достойно сфотографировать труп, – говорил он г-ну Шантелу, – он даст указание канцлеру Сегье или государственному секретарю г-ну де Ля Врильеру, и

назавтра в его распоряжении будет столько фотографов, что труп, осчастливленный вниманием его величества, может быть совершенно уверен в своей будущности. Если же его величеству захочется иметь свой скульптурный портрет, то, несмотря на множество дарований, прославивших Французское королевство, среди которых заслуженно блещут господа Куазево, Тюби, Реньоден, наконец, и г-н Жирардон – смею полагать, несколько обязанный нашему с ним общению, – его величество, тем не менее, по рассуждении сочтет необходимым призвать из Рима скромные способности кавалера Бернини».

– Ну, это не довод, – возражает убойный отдел. – Мало ли кого много, а кого мало. Вон, Дарьи Семеновны, бухгалтера, как удивительно много, а это не значит, что она нам не ценна.

– Безусловно, это не довод, – соглашается Дисвицкий, – потому Бернини и высказал его в первую очередь. Настоящий довод всегда стоит на последнем месте. Это как разведчик приходит вроде за таблеткой аспирина, а на самом деле из совершенно иных соображений, но все потом помнят про таблетку, потому что он о ней спросил, когда уже влезал в ботинки «Скороход» хозяйской ложечкой. «Кроме того, – сказал Бернини, – фотограф имеет случай совершенствоваться во время работы, наблюдая за освещением, компоновкой сцены, воздушной перспективой и прочими вещами; и когда он, окончив работу и равнодушно покинув свой полуразрушенный труп в добычу суетливым червям и наследникам, исследует, озаренный багровым светом, результаты фотосессии, он говорит в сердце: “Да, вот это мне удалось впервые, а вот здесь я с пользой упражнял прежние навыки”. Напротив, скульптор, завершив с величайшим тщанием работу, смотрит на

нее и говорит: "Здесь нет ничего, о чем я не знал бы, когда начинал эту статую". В самом деле, какие бы тайны ремесла ни открылись ему, он уже не учтет их, ибо не может отказаться от первоначальной планировки группы». Из этого следует, что познания, обретенные в работе над изваянием, украшают лишь следующую работу, как беззаботного наследника бережливой родни: «Так-то ваше – не вам», сказал Вергилий.

– Фотографии – это тоже трудно, – обиженно возражает Валентин Михайлович. – И освещение подбери, и чтоб руки не дрожали, и давить на кнопочку только в промежутке между ударами сердца, чтоб не промазать по объекту, да еще такие есть, что больше сорока минут сниматься отказываются...

– По-моему, ты меня не слушал, – говорит Дисвицкий. – Разве кто-нибудь утверждал, что фотографии – это легко? Речь не об этом. Когда у тебя сын просит денег на карманные расходы, ты ему сколько даешь?

– Мало, – с твердостью говорит Валентин Михайлович. – Самому пора зарабатывать.

– Ну вот. В нашем случае группа «Аполлон, преследующий Дафну», справедливо славящаяся и рисунком, и соразмерностью, и выражением лиц, и изысканностью частей, должна немалую долю славы «Похищению Прозерпины». В свою очередь, твой сын, начав зарабатывать, будет с унаследованной от тебя разумной умеренностью финансировать легкомысленное веселье твоих внуков. Это и есть прогресс в скульптуре. Впрочем, кавалер Бернини не меньше думал о назидательности, какую можно почерпнуть из сравнения этих двух историй.

– Рост неуклонного насилия в обществе? – догадывается Петя.

– Не совсем. Дафна, избегая Аполлона, могла превратиться в лавр. Прозерпина, томясь в твердых объя-

тиях дяди, не могла освободиться, сбросив свою идентичность. Благодетельная способность перестать быть собой – привилегия смертных, богам недоступная. И Кианея, обреченная быть клубом стареющих рыболовов и бесплатным катком на зимних каникулах, и Сирены, бессвязно жалующимся девичьим ртом грызущие полуживую сельдь в крючковатых лапах, – все они счастливей Цереры, которой величавая слава законодательницы не выкупит слез и пеней обездоленной матери. Мы способны на самозабвение – но боги, давшие нам эту способность, создали ее из ничего, ибо сами ее лишены.

– Это в протокол заносить? – спрашивает Петя.

– В общем виде, – говорит Дисвицкий. – Как предварительные выводы при осмотре трупа.

– При чем тут этот солипсизм? – неприязненно спрашивает Валентин Михайлович. – У нас мозги по полу, даже ногами ходить неприятно, а ты, Платон, братьев Гримм разводишь в протоколе.

– При чем? – переспрашивает Дисвицкий и обращается к убойному отделу: – Коллеги, я хочу вас попросить об одной вещи. Вы мне позволите небольшую историю, чтоб ответить на повисшую в воздухе, сладковатом от невольно присутствующего В. А. Недоручко, претензию Валентина Михайловича?

– Не вопрос, – отвечает убойный отдел, который, в отличие от Пети, не впервые видит Дисвицкого на месте действия и потому предвкушает забаву.

– Спасибо. Так вот. В конце 1630-х годов, когда кавалер Бернини, закончив прославленный фонтан Тритона и торжественно открыв его для всеобщего обозрения, работал в своей мастерской над бюстом его святейшества папы Урбана VIII, Рим – этот «улей Барберини», по выражению кого-то из острословов, – был

растревожен происшествием, которое казалось не только из ряду вон выходящим, но и не сулившим Городу ничего хорошего. Именно, на пьяцца Барберини, близ только что открытого фонтана, найден был поутру проходившими торговцами плававший в луже крови труп богато одетого человека, который к полудню был опознан кем-то из папских секретарей как проживавший в Городе уже несколько месяцев г-н де Нуайе, брат суперинтенданта построек при дворе короля Франции. В грудь г-на Нуайе был глубоко вогнан кинжал, о котором было установлено, что покойный, отличавшийся разборчивым вкусом в отношении оружия, купил его несколько недель назад в одной лавке в Трастевере. Кроме того, в некотором отдалении от тела валялась испачканная докатившейся до нее кровью бархатная полумаска. Следственные действия, направленные на поиск свидетелей, не дали почти ничего: установлено было, что г-н Нуайе находился в обществе друзей до часа вечерни, после чего удалился, извинившись неотложными занятиями, и его дальнейшие действия, вплоть до того предутреннего часа, когда его тело остывало пред выпуклыми глазами каменных дельфинов Бернини, а душа давала отчет перед престолом нелицеприятного Судии, оставались неизвестными. Дело, быстро дошедшее до самого папы, оставило его в крайней досаде и огорчении, ибо г-н Нуайе, по-видимому живший в Риме для собственных надобностей, имел некоторые особые поручения к его святейшеству от кардинала Ришелье, в частности касавшиеся недавнего ареста аббата Сен-Сирана, относительно которого его высокопреосвященство намеревался разъяснить свои резоны его святейшеству и заручиться его согласием, с тем чтобы упорствовать в принятых мерах. Последовавшая гибель г-на Нуайе могла быть воспринята кардиналом, чьи сноше-

ния с апостольским престолом не были свободны от обоюдной подозрительности, как характерный для итальянцев способ ответа на неуместные притязания. В этих обстоятельствах едва ли что-либо, кроме быстрых успехов следствия, могло выглядеть для французской стороны свидетельством добрых намерений. Руководивший следствием Сальвестро Торнабуони получил от его святейшества подробные инструкции, заключившиеся плавтовским стихом: «Берегись, чтоб сыск не слать мне по тебе!» (sed tu cave inquisitioni mihi sis). Мессер Сальвестро, умевший достойно оценить это отеческое предостережение, за всем тем оставался в сомнении, как привести к разрешению дело, выглядевшее столь безнадежным, пока навестивший его г-н де Лионн не дал ему дружеского совета побыстрей посетить даму, для которой покойный г-н Нуайе снимал на Капитолии небольшой дом близ лестницы Арачели и которую в узком кругу представлял как г-жу Нуайе. На вопрос мессера Сальвестро г-н де Лионн отвечал, что не имел случая быть знакомым с семейством г-на Нуайе на родине, поэтому именно так выражается о даме, известной ему как г-жа Нуайе. Полицейские чиновники, посланные в указанный дом, обнаружили следы спешных сборов и сбитого с толку хозяина дома, заставшего поутру не более того, что увидели они. Соседи отвечали, что супруги, снимавшие этот дом, жили благопристойно, никого не беспокоя и мало кого принимая, а наемные слуги говорили, что не видели ни господина, ни госпожу с вечера того дня, когда неизвестные дела, оторвав г-на Нуайе от непринужденного дружеского общения, погнали его навстречу судьбе, прогуливавшейся в его ожидании по обезлюдевшей пьяцца Барберини.

В то время как Сальвестро Торнабуони занимался в

розысках, опрашивая соседей и прихожан церкви Санта Мария ин Арачели, сопровождавший его от нечего делать г-н де Лионн, вдосталь налюбовавшись фресками Пинтурикккьо, решил навестить кавалера Бернини, охотно его принимавшего у себя, под тем благовидным предлогом, что именно его скульптурная группа стала пышной кулисой, пред которой несчастному г-ну де Нуайе довелось прожить последние минуты. Кроме того, ему хотелось спросить у скульптора, какое применение он придал статуе трубящего Тритона. «Я слышал мнение, – сказал он, – согласно которому эта работа опирается на то место в шестой книге “Энеиды”, где сказано, как Тритон опрокинул в море Мизена. Вергилий в сем случае называет Энеева трубача безумным, а глубокомысленный Сервий в изъяснении этого эпитета указывает на беспечность Мизена, не принявшего в соображение, что боги могут снисходить до ревности к людям, подвизающимся в одном с ними искусстве».

«Мне тоже доводилось об этом слышать, – с живостью откликнулся кавалер, – и жалею, что такая мысль не приходила мне прежде, нежели я окончил работу, иначе бы я непременно постарался о применении в пользу его святейшества. Мои намерения были куда проще: я хотел воздать честь тому месту в “Метаморфозах”, где владыка морей останавливает мировой потоп:

Моря краток был гнев; и, дрот отложив троежальный,
Воды смиряет правитель пучин и возникшего выше
Волн, того, чьи плеча прирожденной одеты багрянкой,
Кличет Тритона лазурного он и в звучную дунуть
Раковину он велит, да услышат струи и потоки
Знак возвращаться. Полую тот трубу восприемлет,
Вихрем взрастающую, от низа широко развившись, –

Гласом ее он брега исполняет под Фебом обоим;
Тут, как коснулись ее божественны губы, росимы
Влажной брадой, и духом она отступленье пропела,
Вняли глашенью ее все воды земные с морскими –
И, сколько вняло их ей, покорилися все совокупно.

Эта труба Тритона, зазвучавшая из глубин того хаоса, над которым Ной видел раскинувшуюся радугу, занимала мое воображение как величавая эмблема умирения, водворяемого манием богов; к прискорбию своему, вижу, что мир еще безвыходно в том обиталище, которое доставляет ему искусство, и кровь на пьяцца Барберини успела пролиться раньше, чем вода».

Тем временем на помощь мессеру Сальвестро пришел случай, благодаря которому в пьяной потасовке, завязавшейся в таверне у Остийских ворот, был опознан и задержан Нероне деи Росси, своими преступлениями славный не мене, чем хвастливостью, с какой он о них распространялся. Поневоле вынужденный отвлечься на живописную историю пойманного разбойника и внезапно заинтересованный тем, что показания слуг, описывавших человека, проводившего вечера в конфиденциальных беседах с г-ном Нуайе, близко сходствовали с внешностью остийского буяна, Сальвестро Торнабуони, не замедливший представить Нероне деи Росси встревоженным и любопытным взорам лакеев, не удивился услышать от них единогласное признание, что именно этот человек занимал собой вечера г-на Нуайе, несмотря на многочисленные ссадины и кровоподтеки, изменившие внешний вид Нероне деи Росси сначала в остийской таверне, а затем по пути в папское узилище. Приведенный к допросу, Нероне деи Росси, оказавшийся, как всякий хвастун, человеком, нетерпеливым на телесные испытания, показал, что, узнав о ха-

рактере и времяпрепровождении г-на Нуайе и соблазнившись прекрасным арсеналом, украшавшим его наемный дом в приходе Санта Мария ин Арачели, он вошел в доверие к французу, случайно встретившись с ним на площади и завязав разговор о статуе императора Марка, был в дальнейшем принят у него дома и, вникнув в затрудненные денежные обстоятельства г-на Нуайе, из которых тот был менее всего склонен искать прозаического выхода, связанного с благоразумием и бережливостью, обольстил его рассказами о многочисленных антиках, начиняющих собою землю в одном запущенном римском саду. По уверениям разбойника, о них никто не знал, кроме него и еще одного старика, доживающего последние дни в чахотке, но скудость средств, надобных для раскопок, препятствует ему обогатиться в одиночку. Он предлагал г-ну Нуайе сделать на пробу одну экскурсию в этот одичалый парадиз, где из-под яблоневых корней торчат руки и ноги работы Фидия, чтобы убедиться в его правоте. Нероне деи Росси намеревался действительно вывести его в какой-нибудь сад, подальше от дома, оглушить там, связать и заставить валяться под яблонями лицом в холодной росе, пока кто-нибудь не выйдет туда полюбоваться, как в траве сверкает утреннее солнце, а тем временем, войдя в дом на правах старого знакомца, либо хитростью, либо угрозой вынести любовно собранное хозяином оружие. На вопрос следователя, отчего ему было не убить г-на Нуайе в доме и не морочить голову ни ему, ни себе, Нероне деи Росси отвечал, что хоть он и имеет твердую репутацию человека, которому погубить душу не трудней, чем высморкаться, он все же иногда думает, что его дни не бесконечны, и стремится не убивать без нужды, особенно если представляется случай разыграть театр, к которому он сызмальства имел склонности. Его наме-

рения сбила, однако, г-жа Нуайе, благодаря несдержности супруга прослышавшая о его блестящих планах и оказавшая непреклонное намерение идти вместе с ними, угрожая выдать их обоих властям в случае отказа. Это несколько осложняло замысел, но, в конечном счете, не меняло последовательности действий. Нероне вывел их обоих вечером из дому, запасшись бархатной полумаской; он собирался, применив старинный прием, известный еще младшему Горацию, по приходе в сад, отлучившись с г-ном Нуайе, выполнить в его отношении свой первоначальный замысел, а потом, представ в маске перед г-жой Нуайе, разыграть разбойника, каким он и являлся, запугать ее, связать и беспрепятственно вернуться в их дом, доверху заполненный шедеврами знаменитых оружейников. Когда, однако, они, собираясь выйти в добрый путь, в полутьме спускались по лестнице, г-жа Нуайе вполголоса сказала ему: «Нероне, дайте мне руку, как бы не оступиться». Это встревожило разбойника, который назывался в их доме чужим именем, возможно, несколько заблуждаясь насчет известности собственного. В краткие мгновенья по дороге, когда они оказывались рядом, а г-н Нуайе – вне пределов слышимости, они сообщила разбойнику, что имела случай узнать, кто он; что, не зная, что он затеял, она успела плениться как его мужественностью, так и выдержкой, ежедневно проявляемой в скучном общении с г-ном Нуайе; что она готова разделить с ним тяготы его жизни, а если он не согласен, то в Риме есть много мест, где папская власть возьмет на себя труд кормить его до кончины, одновременно позаботившись о том, чтоб эта последняя не мешкала приходом; что ему следует убить ее мужа, ибо она не хочет принадлежать ему и не может принадлежать двоим. Г-жа Нуайе была молода и хороша собой, а готовность к безоглядному преступлению,

которую она выказала ради его благосклонности, польстила Нероне деи Росси больше, чем обещание донести властям его напугало. Но, укрепившись в намерении отнять у г-на Нуайе его жену и вместе с ней – доверие к женскому постоянству, он не мог действовать в отношении обманутого супруга иначе, как по-рыцарски, и потому, остановив его среди пьяцца Барберини, в коротких словах объяснил удивленному французу произошедшие перемены в обстоятельствах и предложил решить все затруднения с помощью поединка. Г-н Нуайе молча прыгнул на него со шпагой, так что Нероне едва успел увернуться, выдергивая свою. Лязгая клинками и скача вокруг Берниниева фонтана, они не имели досуга следить за действиями г-жи Нуайе. Нероне, раненный г-ном Нуайе, в свою очередь выбил у того шпагу, высекшую искры из папской пчелы на фонтане, а когда противник выхватил кинжал, Нероне отбросил свою шпагу и кинулся в тесную схватку, прерываемую пыхтеньем и прорывавшимся изредка римским народным словцом, тянувшуюся долго и окончившуюся тем, что Нероне вбил г-ну Нуайе его кинжал в ту часть груди, где, по его соображениям, у человека должно располагаться сердце. Оглядев поле боя, оставшееся за ним, Нероне должен был увидеть, что единственным его трофеем была упавшая в фонтан шпага г-на Нуайе, поскольку выдергивать из его хрипящей груди кинжал он как христианин посовестился, а г-жи Нуайе нигде не было видно. Теперь только пришло ему в голову, что ее безрассудно вспыхнувшая страсть была притворством, благодаря которому она вынудила разбойника убить мужа, а своевременное бегство избавило ее от них обоих. Из этого резонного подозрения Нероне вывел, что опасно возвращаться за оружием в дом, где на его счет, скорее всего, уже предупреждены. Не наме-

ренный одарять приношениями морских божеств, благоволивших его ночным подвигам, Нероне вынул из фонтана и вытер осиротелую шпагу, довольствуясь сим скудным успехом без горечи, поскольку частые неудачи научили его верить будущему, и покинул место действия под звук медленно скребущих по булыжнику ног г-на Нуайе. Он не расстроился, обнаружив, что в суматохе потерял маску, ибо это ничем ему не грозило, и уже намеревался покинуть надоевший ему Рим и направиться отдохнуть в Кастро, откуда был родом, когда деньги, вырученные за шпагу г-на Нуайе, привели его на изрезанную ножами скамью остийского шинка, а с нее – под безрадостные своды папского карцера.

Г-н де Лионн, занесший кавалеру Бернини последние новости, высказал предположение, что похождения этого самохвала, с которым сейчас поучительно беседует мессер Сальвестро, станут для его святейшества поводом занять Кастро, к которому он давно испытывает раздражение, точно к распутному племяннику. «Не нам входить в намерения его святейшества, – отвечал Бернини, обрабатывая бюст буравом. – Тот, кто назвал его *городским пророком* (Vates Urbanus), оказался вынужден, подобно Валааму, благословлять враждебными устами. Со времен Юлия II не видел Рим подобного папы, простирающего с равным успехом и меч духовный, и меч светский». «И поклявшегося, как Юлий, наградить Рим новым Микеланджело», – подхватил г-н де Лионн. Кавалер с усмешкою пожал плечами. «Но все же герцог Одоардо Фарнезе – важный противник, – заметил г-н де Лионн, – Кастро – слишком ничтожный повод к раздору, а счастливый законодатель – тот, которому Бог дает умереть прежде его законов». «Иначе говоря, тот, чьи законы имеют случай присутствовать при его похоронах? – осведомился кавалер. – Пред-

ставьте же, что человек, под влиянием Аристотеля запретивший законом самоубийства для людей государственных, угрожая им опалой в случае неуспеха и уничтожением их публичных распоряжений, а также запретом их хоронить в случае успеха их попытки, под влиянием внезапных обстоятельств кончает с собою. Следует его хоронить или нет?» Г-н де Лионн подумал и заявил, что хоронить его следует. «На каких основаниях?» – живо спросил ваятель. «Из христианского снисхождения, – отвечал г-н де Лионн, – и боязни заразы». Оба рассмеялись.

Когда разбойник, объяснивший дело, но не доставивший сведений о нынешней судьбе г-жи Нуайе, был препровожден в камеру, Сальвестро Торнабуони, отрядивший все силы на поиски женщины, получил известия о происшествии на постоялом дворе у Фламиниевой дороги. Ему было донесено, что одна женщина, выезжавшая из Города, расспрашивала хозяина, можно ли нанять здесь надежного слугу с тем, чтоб добраться до Фано, но покамест гостинник, добросовестно взявшийся за ее поручение, подыскивал ей расторопного и честного провожатого, прибежали с извещением, что приезжая дама, видимо в горячке, заперлась в своих покоях, никого туда не пуская, крича и обещая забрать с собой в преисподнюю всякого, кто рискнет ее потревожить. Поскольку хозяин не думал, что репутация места, откуда идет прямая дорога в преисподнюю, сулит устойчивую прибыль постоялому двору, то, несмотря на внушенную суеверием осторожность, распорядился призвать полицейских и с их помощью выломал дверь, обнаружив даму зажавшейся в угол, закутавшись в одеяле, и с выражением, обличающим серьезную болезнь. По приметам дама, застигнутая на выезде из Города помрачением рассудка, похожа была на исчезнувшую г-

жу Нуайе. Приведенные на опознание слуги это удостоверили. Из обрывочных речей, которые она вела в беспамятстве после того, как ее отъезд в преисподнюю по Фламиниевой дороге был приостановлен полицейскими распоряжениями, получалось, что она сознавалась в убийстве г-на Нуайе. Когда удалось усилиями врача и сиделки привести ее в чувство, она подтвердила те обвинения, которыми в бреду отягощала свою совесть, рассказав, что г-н Нуайе, обольщенный одним давним кредитором, который, оставив далеко в прошлом свою нравственность, вместо нее вынес оттуда блестяще развитое красноречие, согласился на предложение простить ему долг взамен на похищение г-жи Нуайе, ставшей предметом его столь же непристойной, сколь и неистребимой склонности. У них условлено было обставить это как ночное нападение, но завязавшееся между ними гнусное препирательство о деньгах, а затем и обнажившиеся клинки объяснили ей суть происходящего, и покамест их шпаги лязгали кругом Берниниева фонтана, она, лишенная сил скрыться, нашла, однако, силы призывать небесное правосудие на головы им обоим. Когда г-ну Нуайе, подвернувшему себе ногу, удалось все же ранить разбойника, тот скрылся, озабоченный своим ранением более, нежели видами в отношении г-жи Нуайе, и прихватив откатившуюся шпагу ее недостойного супруга скорее из соображений безопасности, нежели корысти. Покамест г-н Нуайе, зовя на помощь, приподымался и падал на камнях, а в его лице читались одновременно телесная боль, суетливость нечистой совести и бессильный гнев человека, не имеющего способов ни скрыть, ни украсить свою вину, г-жа Нуайе, словно в задумчивости, подошла к нему, вынула его кинжал и вогнала ему, как хотела надеяться, в сердце. Маска, взятая ею в мысли, что они направляются на

маскарад, выпала, и, видя ее напитанную растекшейся кровью г-на Нуайе, она не стала ее поднимать и бросила вместе с супругом. Ее дальнейшие действия, вплоть до того момента, как полицейские высадили дверь в ее комнате на постоялом дворе, представляли больше интереса для проповедника, обдумывающего речь на слова Соломона «Нечестивый бежит, когда никто не гонит», чем для следователя, озабоченного отчетом перед папой.

«Если бы удалось прежде общего восстания мертвых воскресить г-на Нуайе ради вопроса, как было дело, – заметил кавалер Бернини, – то, я думаю, он обвинил бы супругу в разврате, римского приятеля – в коварстве, их обоих – в намерении лишить его редкостной коллекции, а самого себя – в грехе самоубийства, свершенного после того, как он убедился в презренном корыстолюбии своей жены и ее желании избыть его со свету руками римского бродяги. Маска была его, он таскал ее с собою после какого-то пиршества, забывая вынуть, и выронил наконец, в предсмертных мученьях ползя по холодной площади. Как бы там ни было, вы не найдете правды в этой истории».

Г-н де Лионн заметил, что этот вывод печален, но сам по себе не придает своеобразия происшедшему.

«Как и любое применение в басне, – сказал кавалер. – Не говорил ли я вам, любезный мессер де Лионн, что покойный, кроме поручений, касающихся до его святейшества, имел некоторые, относящиеся до меня лично? Явившись однажды ко мне с визитом, он представил, что его высокопреосвященство, занимаясь в Париже отделкой нового дворца, задумывается над тем, чтобы придать совершенный вид залу для спектаклей, и поскольку отличающийся безукоризненными дарованиями г-н Ле Мерсье, в чьих руках находятся все работы, готов предоставить вопрос об этом зале решению

его высокопреосвященства, тот помышляет о моей кандидатуре, зная, что в вещах, принадлежащих до театрального устройства, мне нет равных. Г-ну Нуайе поручено было под рукой узнать, можно ли меня склонить к этой поездке. Кроме того, г-н Нуайе отличался безответной страстью к ваянию, ласкаясь по недолгом упражнении открыть в себе замечательные способности, ибо, как всякий человек обыкновенного ума, он не был склонен признавать простого мотива в намерениях, внушаемых ему чистым тщеславием. Я уступил ему кусок *печеного мрамора* (marmo cotto): он испытывал некоторое время и свое, и его терпение, действуя резцом там, где осторожность взывала к бураву, и добился, что по мрамору пошла трещина; он вернул его мне, и я с Божьей помощью надеюсь сделать из него маленького сатира с флейтой и сорокой, которого представлю на ваш суд, как только он будет закончен. Шедевры чужого ремесла, собиранию которых с таким увлечением предавался г-н Нуайе, видимо, рождали в нем чувство господства над вещами, не дававшимися ему иным способом».

Г-н де Лионн высказал соболезнование мессеру Сальвестро, чье расследование зашло в тупик без надежды на лучшее. «Стоило бы посоветовать ему, – сказал кавалер, – послушать, что толкуют об этом в городе, и представить на утверждение его святейшества ту версию, которая покажется правдоподобной. Как ваятель, чтоб передать синеву вокруг глаз, должен углубить мрамор в этом месте, так молва, перелицовывая действительно случившееся, придает ему достоверности в глазах людей». Г-н де Лионн обещал передать это остроумное предложение мессеру Сальвестро, который, склонившись на него за отсутствием лучшего, подслушал в зеленной лавке разговор, раскрывший ему глаза на всю

подноготную этого дела, так что он сам потом удивлялся, как не додумался до этого раньше. В это время г-н де Лионн, отозванный некими делами в Париж, вынужден был проститься со своими римскими друзьями и, к сожалению, покинул Город раньше того момента, когда следственный отчет, составленный на новых основаниях, вполне удовлетворил его святейшество, а его бюст, завершенный кавалером Бернини, вызвал новые похвалы дарованию последнего, единственным недостатком которых было то, что они не досягали до высоты своего предмета.

Когда Дисвицкий заканчивает рассказ, все уважительно молчат.

– Вот сейчас бы так, – мечтательно говорит Петя, но к чему это относилось, не поясняет.

– И какие, Платон, из этого выводы? – агрессивно спрашивает Валентин Михайлович.

– Выводы те, – говорит Дисвицкий, – что хорошо поставленное мировоззрение никогда не мешало успеху следственных действий.

– Я это запишу, – решает Петя и возвращается к протоколу.

– А к данному случаю, – интересуется Валентин Михайлович, указуя на простертого Недоручко, – эта мысль применима?

– К этому-то, – говорит Дисвицкий с легким призвуком пренебрежения. – Почему же нет. Тут как раз все понятно. Пиши, Петь. «В ходе осмотра трупа было установлено, что его владелец Недоручко В. А. был убит гражданином Расомашкиным Т. Н., без определенного места работы, периодически задействовавшимся в массовых сценах мюзикла “Бдящее чудовище”. Убийство произошло в ходе ссоры на бытовой почве, причем после убийства ссора более не возобновлялась».

Все смотрят на Дисвицкого с нестерпимым интересом, ожидая чего-то вроде «он видит ваше отражение в кофейнике», а тот держит паузу, как Гаррик-младший, и Валентин Михайлович наконец не выдерживает и говорит:

– Ну ладно, не томи! Откуда узнал?

– Если вы, коллеги, – говорит Дисвицкий, – приподнимете любое, на ваш выбор, из верхних век у потерпевшего Недоручко, то сможете увидеть, что на сетчатке его глаза запечатлелся человек, замахивающийся на него статуэткой, не оставляя сомнений в своих намерениях. На его лице выражаются адресная недоброжелательность к еще живому Недоручко и склонность к опрометчивым действиям, а на груди можно разглядеть бэджик, где написаны его имя и фамилия и обозначен род занятий: «пятый слева придворный чудовища». Поднимаясь сюда по лестнице, я слышал из квартиры напротив исполняемую одиноким и пьяным голосом входную арию красавицы «Куда, куда мне преклонить мою красивую главу», из чего я заключаю, что Расомашкин Т. Н. является соседом покойного Недоручко В. А. по лестничной клетке, а все еще мокрый отпечаток бутылочного донышка вон там, на столе, меж тем как никакой бутылки ни здесь, ни на кухне нет, объясняет и мотив преступления, и приподнятое состояние Т. Н. Расомашкина, которого вы, без сомнения, застанете дома, поскольку «Бдящее чудовище» сегодня не идет.

Все, толкаясь, поднимают веки покойному, рассматривают застывшего у него на глазах свирепого работника массовки, чья наглядная поза, действительно, разочаровывает в его способности решать проблемы путем переговоров, и идут его арестовывать. Слышатся крики, повествующие о ходе оперативных мероприятий, а Дисвицкий, со вздохом удалившись на кухню, пытается

выяснить, можно ли здесь сварить кофе из остатков покойника, а если нет, то чем занять скучное время.

– Несомненно, яркий человек, – сказал Генподрядчик.

– Ну вот. Представляете, как он портил людям кровь. С его способностями.

– Представляю, – сказал Генподрядчик.

– А потом Платон Александрович попал сюда по выслуге лет. Но поскольку привык, чтоб все не как у людей, то с его строптивостью выбил, говорят, себе право на производство и поддержание камерного пространства, с которым теперь везде ходит, и даже в гости к друзьям. И где хочет, там в нем и пребывает сам по себе. В общем, где ж, натура, твой закон.

– Вот оно как, – сдержанно заметил Генподрядчик на эту уникальную для физических тел и лиц подробность. – В пучине, значит, след его горит.

– Именно так, – подтвердил незнакомец. – Концов не сыщешь. А поскольку он фигура импозантная, то с некоторого времени повелась мода на него гадать, тем более упорная, что эти попытки, хотя для психики безвредные, к продуктивному результату не приводят. Он, конечно, человек знающий, но от него тяжело проку добиться. Одна ирония. Он прав, конечно, это все выглядит банальностями и для него как культурного человека нестерпимо, но людям-то что делать! А он притчами говорит. Всячески унижает образовательным цензом.

– Сложный человек, – сказал Генподрядчик. – Ну что же. Спасибо за предупреждение. Так как с ним связаться?

– Вот, – незнакомец вытянул мятый листок из кармана. – Тут вся последовательность, направленная на организацию встречи. Опасности, повторю, никакой, но

в конечном счете от ваших грамотных действий…

– Давайте, – сказал Генподрядчик.

На листке, исписанном синей ручкой с красными подчеркиваньями, значилось:

«ВСТРЕЧА С ИСТОЧНИКОМ

Мужской вариант

Для успешной встречи вам понадобятся два зеркала, две свечи, одна сосиска и тест из женского журнала».

– Это все в наличии? – спросил Генподрядчик, отрываясь от инструкции.

– Вот тест, – достал незнакомец. – Зеркала и сосиска со свечами будут вам предоставлены на месте.

– «Сосиска заворачивается тестом и с обоих краев надежно скрепляется скрепками либо скобами для степлера №24». Есть? – спросил Генподрядчик. – «Зеркала устанавливаются напротив друг друга, в образовавшуюся анфиладу помещается подготовленная заранее сосиска в тесте. Обращаем особое внимание пользователей на то, что из помещения должна быть заблаговременно удалена вся фрейдистская литература. В присутствии фрейдистской литературы сосиска в тексте полностью теряет свою эффективность». – Удалена? – спросил Генподрядчик. – «В полночь интервьюер, обрамленный свечами, усаживается перед анфиладой и начинает ждать, когда зеркало затуманится и серный дым побежит от свеч. Тогда надо трижды повторить слова: “Информатор мой, информатор! Ты приди ко мне рядком присесть, сосиску съесть!” и ждать ответа. Если из анфилады покажется ведущий телеканала “Культура” со

словами: “В феврале 1791 года Потемкин возвращается в Петербург в дурном настроении”, это надо просто переждать. Если начнет лаять собака, следует сказать: “Ой ты, малая собаченька, ой ты серенький волчок! На меня ты, спинка пегая, не лай, нашей Дунюшке пожалуй погадай!” Лай собаки, используемый как способ узнать местожительство Вашего (зачеркнуто) жениха, периодически попадает в эту программу вследствие технических накладок. Когда из анфилады начнут выходить люди, надо окликать, спрашивая их имя. Если они называют правильно, тогда надо спросить у них Ваше. Полноценный информатор осведомлен о том, с кем ему предстоит встречаться. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Услышав голос птицы фазан, немедленно прекращайте гадание. Лучше всего сделать это, уронив свечи или, сместив зеркало, разрушить анфиладу. Ни в коем случае не надо дожидаться, чем кончится голос птицы фазан». Скажите, – сказал заинтригованный Генподрядчик, – а как ведут себя люди, которым не доводилось слышать в аутентичном исполнении голос птицы фазан и они не могут выделить его в ряду звуков, нормальных для анфилады?

– Вы его не спутаете, – со значением сказал незнакомец.

– Ну, если вы утверждаете, – отозвался Генподрядчик, – не стану спорить. Так, тут практически все... «причеши мне голову», это, кажется, из женского варианта...

– Вот ручка, зачеркните, пожалуйста, – сказал незнакомец.

– Мне в целом ясны задачи, – сказал Генподрядчик, вставая. – Где искомое помещение с сосиской?

– Я отведу, – сказал незнакомец.

Глава шестая,

где попытки искушать грядущее оказываются бесплодны, очередной раз доказывая, что судьба – не свой брат

– Подведем промежуточные итоги дня, – сказал сам себе Генподрядчик. – Я неизвестно где, без всякой надежды выбраться, сижу в обществе свечей и сосисок в святочной бане с эвкалиптовыми вениками, робость мне волнует грудь, успею ли я вдоволь наслушаться притчей Платона Александровича или меня раньше накроет убедительный голос птицы фазан. Конечно, некоторые начинали и с меньшего. Но я боюсь окончательно утратить кредит у своей рациональности, прежде чем выберусь из этих мест хотя бы наполовину.

Он помолчал и добавил:

– На верхнюю.

В помещении, которое служило баней не за страх, а за совесть, было сыро и вонюче, по местам тускло светились подозрительные шайки, неприятная глазу ветошь лежала на плесневой лавке, а тяжелый бюрократический стол, у которого одна гнутая нога была львиной, а другая в калоше, казался здесь воспоминанием о каком-то затаенном извращении, которое представить во всей полноте было невозможно. На столе стояло зеркало, против него другое.

– В кругах, которые могут себе позволить, – сказал незнакомец, когда Генподрядчик поинтересовался о пахучем ворохе эвкалиптовых веников, – это сейчас модно. Хотя купить трудно. Возможно, это поднимает спрос. Обычно берут в Московском зоопарке, у сторожей, которые при коалах.

– Изо рта рвут у медведей, – заметил Генподрядчик. – Кто ел из моей миски и оставил ее пустой.

Незнакомец пожал плечами.

– Из-за стола надо вставать с чувством легкого голода, – сказал он. – Сейчас такие диетические веяния. Не знаю, чем эвкалиптовый веник лучше национального...

– Тени на спину не бросает, – предположил Генподрядчик.

– Зато он очень жесткий, и если им прямо так пользоваться, то дает множественные микропорезы. Жжет кожу потом, – пояснил незнакомец. – Поэтому как делают: перед употреблением ошпаривают их кипятком, раскладывают на лавке и обухом топора, как, знаете, отбивную, немножко проходят, туда и обратно.

– Ну, тогда-то уж хорошо?

– Тогда хорошо.

Был уже двенадцатый час ночи, и незнакомец собрался уходить. На память о знакомстве он подарил Генподрядчику мельхиоровый подстаканник с рельефом, представляющим битву богов с зоотехниками Прилепского конезавода. Генподрядчик, ничего не подаривший, извинялся тем, что их встреча произошла импровизированно, и они простились, уклоняясь, однако же, от объятий.

Теперь Генподрядчик сжимал сосиску в руке, чувствуя себя одиноко, а свечи трепетно горели, сгущая тени по углам. Где-то прошипели часы и ударили двенадцать. Генподрядчик встрепенулся и наклонился к зеркалу, возмутившаяся глубь которого выносила в его сторону человека с общительным лицом и руками, уютно сложенными на животе. «Платон Александрович? – спросил Генподрядчик и отчего-то заторопился: – Очень приятно; у меня тут вот сосиска для вас... примите, пожалуйста, за беспокойство...»

– Спасибо, спасибо, – изящно кланялся Платон Александрович, пухлыми пальцами придерживая вплывшую в зеркало сосиску. – Отведаю непременно. И тест обязательно просмотрю. Очень интересно.

– Платон Александрович, у меня дело к вам...

– Уж я наслышан, – живо сообщил Платон Александрович. – Слухами под землей полнится.
– Так я могу с вами посоветоваться?
– Советуйтесь, – немедленно согласился Дисвицкий.
– Что мне делать?
– Это смотря по тому, чего вы хотите добиться, – ответил Дисвицкий. – Если вам, например, бессмертия, то я бы первым делом советовал обтирания холодной водой и комплекс упражнений для брюшного пресса, у меня тут где-то оставалось пособие, от предыдущей сосиски... минутку, куда же это я задевал, вот голова садовая...
– Не до бессмертия мне. Выйти бы отсюда.
– Если вы попробуете вон ту дверь, что у вас за спиной...
– Не из этой бани, а отсюда вообще.
– Если отсюда вообще, то из него выйти нельзя, – сказал Дисвицкий. – Отсюда будет везде, и можно только по нему двигаться. С края на край. Выйти можно из частного отсюда в другое сюда. Вас какое отсюда сейчас интересует?
– Не знаю, – честно сказал Генподрядчик.
– Тогда в какое сюда вы хотели бы попасть?
– В то, из которого я пришел.
– То есть вы хотите попасть в оттуда.
– Можно и так сказать, – согласился Генподрядчик.
– Значит, вы из отсюда хотите попасть в оттуда.
– Да, – безнадежно сознался Генподрядчик.
– Дело нелегкое, – бодро сообщил Дисвицкий. – Мало кто добирался. Карты, главное, нету приличной, только абрисы. А по абрисам – это такая морока, что...
– Я в молодости участвовал в спортивном ориентировании, – довел Генподрядчик. – Я сумею.

– Вот как, – заинтересованно сказал Дисвицкий. – А было ли, позволю себе спросить, ваше ориентирование достаточно спортивным? Не допускали ли вы, ориентируясь, чего-либо такого, о чем вспоминаете со жгучим и запоздалым раскаянием?

– Ничего не было, – упорствовал Генподрядчик.

– Нельзя быть уверенным, – мягко заметил Дисвицкий.

– Ну уж нет, – решительно сказал Генподрядчик. – Если я вижу, что что-то происходит, то происходит именно это, а не что-нибудь другое.

– А вы, простите, не могли бы сейчас вспомнить, когда что-то происходило, и это было именно то, что происходило, а не что-то другое? Это я не к тому, что мне хочется вас запутать, а просто со мной все время так, что когда что-то происходит, то совсем не оно, а что-то такое, что должно сейчас происходить совсем в другом месте. Или здесь, но в двадцатых числах. Поэтому мне интересно, как это у вас бывает.

– Скажем, песня про Амур, – почему-то вспомнил Генподрядчик.

– Это где часовые стоят? Задушевная песня. И что же именно произошло?

– Жена изменила пограничнику. Попугай ее выдал, и пограничник ее наказал, а потом утопился.

– Я бы не делал таких, прямо скажем, безапелляционных выводов. Смотрите. Жена встречает мужа с дежурства в невеселом расположении – почему? Неизвестно. Попугай сообщает, что его дом посетила измена. Пограничник думает, как вы, и убивает жену совершенно напрасно.

– «Ты прав», сказала она, – напомнил Генподрядчик.

– Она имела в виду: «На основании сделанных тобой заключений этот поступок вполне закономерен, едва ли следовало ждать иного. К сожалению, сами твои заключения ложны». В таком примерно духе она выразилась, когда сказала: «Ты прав, только жаль». Затем она успевает сообщить, что беременна от него. Это не только объясняет ее угнетенное состояние, но и совершенно ее оправдывает перед лицом мужа. Я бывал на Амуре, там строгие нравы, и сексуальные связи в период беременности абсолютно исключены. Пограничник вырывает попугаю язык, то есть орган, которым тот согрешил, и называет этот язык предательским.

– Автор называет, – уточнил Генподрядчик.

– Что автор, что пограничник – это, я вам доложу, одно и то же. Не менее половины знакомых мне пограничников были образом автора.

– А остальная половина?

– Остальная просто ходила на дежурство по графику. Им нравилось ловить нарушителей. До смешного доходило: иной раз сами заставят что-нибудь нарушить, через не хочу, дают полчаса форы – и за ним. И весь день кувыркаются, пока ужинать не позовут. Строго говоря, попугай не соврал, потому что измена проникла-таки в дом, только изменил ему сам попугай, оклеветав его жену. При этом, заметьте, попугай сообщил пограничнику о своем намерении изменить, еще не осуществленном, и само это сообщение вследствие своей недосказанности и было актом измены. Порочный круг. Попугай справедливо наказан, а пограничник карает себя за опрометчивое доверие к молве, топясь в большой реке, ибо, как говорит пословица, «мирская молва – морская волна». Эта грустная песня посвящена тому, что ошибаются не чувства, а разум, делающий из них

ложные заключения. Пограничнику, когда он был молодым и катал свою невесту по Амуру в золотистой лодочке, доводилось видеть, что весло в воде выглядит сломанным, но он знал, что весло на самом деле целое и платить лодочнику за порчу инструмента не придется. Жаль, что он вовремя не вспомнил об этом оптическом инциденте.

– Что-то меня в этом объяснении смущает, – сообщил Генподрядчик. – Зачем это было попугаю?

– Мало ли, – развел Дисвицкий руками. – Что там их связывало в прошлом, я не знаю. Попугаи вообще крайне злопамятны и в этом отношении могут равняться со слонами, их обида таится годы, вынашивается в бессонных ночах, а потом разражается ударом в спину. Пограничник, спеша в последний путь к реке, тоже наверняка задавался риторическим вопросом, как мог его попугай допустить такую неблагодарность. Скорее всего, он уже не помнил, что когда-то недоложил ему зерна или оборвал его общительную речь, мешавшую смотреть телемост с Америкой. Эти птицы, они, знаете ли... да, птицы...

– Тут у вас фазан, – вспомнил Генподрядчик.

– Да, – мечтательно сказал Дисвицкий. – О нем много чего говорят, но большая часть придуманного. Он, в сущности, как солист неплох. Сначала так исподволь: тен-тень-тень, а потом на этом фоне так неровно: уау-уау, а дальше горохом раскатывается: пинь-пинпинь-тарарах! Тень-тень-тарарах! Уау!

Он, прикрыв глаза, распевался все громче, так что Генподрядчик было заподозрил, что это уже и есть тот вокализ, при котором надо переключать канал, – но голос токующего Дисвицкого не казался совсем фатальным.

– Платон Александрович, – негромко напомнил он ему, – мне бы домой.

Дисвицкий, остановленный посреди булькающей рулады, поперхнулся, постучал себе по спине и сказал:

– Домой-то. Знаете, сейчас буквально одну чудесную историю рассказали. Тоже человек сразу не ушел домой. Давайте я вам расскажу, составит определенный интерес.

Генподрядчик понял, что начинаются пресловутые притчи Платона Александровича, которых никому не миновать, и покорно устроился слушать. «Началось с того, – уютно сказал Дисвицкий, – что Хлебниковы...»

И рассказал он Генподрядчику удивительную историю о том, как Хлебниковы пришли в гости к Аблесимовым. Было дело так.

Хлебниковы пришли в гости к Аблесимовым. Уже близ их подъезда, проходя мимо зеленой полотняной вежи, где переминалась с ноги на ногу скучная тетка в компании пластмассовых лотков с живой рыбой, Хлебников купил у нее большого язя и сунул в пакет с изображением Куликовской битвы, где тот молча и с отчаянием бился, сминая татарские тылы еще до подхода боярина Боброк-Волынского. Пренебрегая укоризнами жены, выставлявшей на вид, что рыба брызжет из пакета и от нее (жены) пахнет теперь стоялыми водами, Хлебников намеревался подарить Аблесимову язя, юмористически намекая на склонность его говорить с похвалой о своем знаке гороскопа. «Рыбы таинственны и не от мира сего, – возглашал он, тыча пальцем в «Энциклопедию символов», – сновидцы и искатели неизвестного». Язь был не единственным подарком Аблесимову, но капризом импровизатора, характерным для хлебниковского поведения на людях; в качестве сувенира язь дополнял большую китайскую ва-

зу, выглядевшую так, будто на нее кто-то чихнул макаронами, и они там присохли. Аблесимов открыл им с приятной улыбкой. Жена Хлебникова поцеловала его в щеку, назвала Мишей и презентовала китайскую вазу, принятую, как говорит Ломоносов, с высокой апробацией и тотчас поставленную на книжной полке, где она в качестве полномочного представителя древней культуры составила общество фарфоровому старику в пестрядинной рубахе, с елками и неводом. Хлебников вручил Аблесимову гулко хлопающий хвостом пакет, сказав, что там находится его собрат по связям с символикой воды. Аблесимов приоткрыл пакет, язь тут же рванулся хлопнуть его хвостом по праздничному лицу, Аблесимов пакет закрыл и со смехом, свидетельствующим, что он оценил хлебниковскую иронию, пошел наливать для тезоименитого язя ванну прохладной водой. В этой связи руки все мыли на кухне. Жена Аблесимова сняла фартук и приглашала за стол, говоря, что никого больше не ждут, общество нынче камерное. За столом Аблесимов рассказал скандалезную историю скрипача Перепечина и гобоиста Ванслова, история была свежая, взывала к сотворчеству и день ото дня обрастала такими вкусными деталями, которые, будь бы жив великий скептик Дэвид Юм, очередной раз заставили бы его расписаться в невозможности создать достоверную историю даже и тюдоровской Англии. Суть была в том, что творческого соревнования между ними не было – и какое может быть соревнование между скрипкою и гобоем, пусть даже гобоем д'амур? – а было то, что Ванслов при случае ходил к жене Перепечина и даже позволял себе в оркестровой яме хвалиться тем, как учит перепечинскую жену в минуты отдыха производить через гобой простейшие звукосочетания, иногда для смеху поднося к ней зеркало.

Будучи крайне щекотлива в отношении внешности и видя свои щеки раздутыми, как кузнечный мех, она тут же гобой отбрасывала, горячо попрекая коварного Ванслова и вызывая у беспечного гобоиста негасимое веселье. Перепечин в это время ходил к друзьям играть в карты или к ним же отыгрываться. Кончилось это понятное дело чем: однажды Перепечин вернулся, когда его особенно не ждали, и, кроме того, предрасположенным к вопросам и поискам. Друзья ли ему намекнули на что-нибудь, в качестве низменной мести за его блистательный выигрыш, или ему самому что-то запало в голову, но только, войдя в дом, он сразу высказал, что ему все здесь подозрительно, несмотря на то, что жена быстро натянула на себя цивильный вид и что Ванслов с его злополучным гобоем д'амур и комом одежды под мышкой был упрятан в платяной шкаф, где тихо задыхался от женского парфюма, застоявшегося, как раскормленный конь в стойле. Перепечин между тем настаивал как налогоплательщик на своем праве знать, чем занимаются в его доме, пока его нет. Попытки жены показать, что в его ожидании она одиноко и печально разгадывает сканворды, были им дезавуированы как безответственные, поскольку при ближайшем рассмотрении в сканворде не было отгадано ничего, даже «сожгли родную хату», пять букв, остались вакантными, чем яснее ясного доказывалось, что интеллектуальными играми тут манкируют. Все вещи казались ему знаками, указывавшими на постороннее присутствие, но не объяснявшими, где именно оно спрятано. Это он взялся узнать сам. Ванслов в дверную щелку с томленьем ужаса глядел то на хозяина дома, чьи враждебные перемещения периодически попадали ему в амплитуду обзора, то на недвижно висевший над супружеским ложем портрет композитора Томазо

Альбинони, который если и мыслился там в роли охранителя устоев, очевидным образом ее не выполнил. Перепечин тем временем, осмотрев все, кричал – и крик его приближался – что отсутствие под кроватью чего-либо, кроме пыльных банок с маринованными огурцами, еще ничего не доказывает, что сейчас он неумолимо распахнет шкаф, и горе всему живому, что там вскроется. Тут Ванслов, потеряв от ужаса голову, взмолился композитору Альбинони, потому что больше никто из существ божественного плана ему не вспоминался, говоря ему, что если он как гобоист когда-нибудь удовлетворял его композиторским требованиям в симфонии соль мажор для двух гобоев, особенно в ее адажио (он хотел было сгоряча сослаться на кончерто op. 9 № 09 до мажор, но вовремя сообразил, что партия скрипки там была перепечинская, и еще неизвестно, кто из них угодил создателю больше), то пусть он, Альбинони, выведет его, Ванслова, как хочет из этой ситуации, а он, Ванслов, за это будет каждое воскресенье исполнять симфонию соль мажор для пенсионеров в сквере, причем на обоих гобоях одновременно. Он сжался в пульсирующий комок и присел. Перепечин распахнул шкаф, куда хлынул поток беспощадного света, удивленно потрогал качающиеся платья и закрыл шкаф, поворачивая поскучневшее лицо навстречу хлынувшему потоку женских слез и укоризн. Он извинялся перед женой, проявил себя растерянным обывателем, жалким на фоне бескомпромиссного искусства скрипичной игры, и выказал желание сходить на свой счет в магазин за продуктами для примирительной трапезы. Когда его мирные инициативы были приняты (не сразу) и он покинул дом с сумкой и инструкциями, его неверная жена, шепча благодарности неизвестно кому, отворила шкаф, откуда вывалился нич-

ком Ванслов в трусах и с гобоем. Она потрясла его за плечи, призывая опомниться и уйти, а потом перевернула лицом вверх и тут же с визгом отскочила. Понятно стало, почему Перепечин его в шкафу не нашел. Передняя Ванслова поверхность приняла фактуру и рисунок того платья, на фоне которого он скорчился, как нравственный эмбрион. По лицу его, отчеркивая небольшие области над ушами, проходила американская пройма с пайетками, складывающимися в розочки под каждым глазом и витую между ними гирлянду, придававшую остолбеневшему гобоисту мимику человека, который смеется. От шеи, где кончалась пройма, должная прикрывать неверную, но прелестную грудь Перепечиной, вниз по Ванслову разливалась алая набивная ткань с мелким цветочным рисунком, придававшим его груди и животу невиданный прежде задор и что-то вроде романтического зимнего воспоминания о курортном флирте, а уже от бедра он наблюдал на себе очертания подола углом и легкомысленных оборок из алой же сетки. Для чего-то отвернувшись, он заглянул в трусы, фактура подола обнаруживалась и там. Постигшее его достижение кутюра оказалось, при видимой воздушности, крайне практичным, ни мыло, ни растворитель его с гобоиста не свели, а лишь придали декоративным цветам новую свежесть и аромат бытовой химии. Если это вызвано было влиянием благосклонного к гобоистским вольностям Альбинони, то Ванслов решительно не питал к нему благодарности. Уже и Перепечин казался ему менее членовредительным, а могшие последовать от него синяки и мелкие увечья – все-таки проходящими и даже небесполезными для репутации. Жена Перепечина от изобилия эмоций, разразившихся над ней в последние полчаса, закрыв лицо, невольно закричала неостановимой белугой, ее слезы

могли бы составить небольшую реку, если не Цну, то уж по крайней мере флегматичную Марху до ее слияния с Моркоко в болотистых местах Центральноякутской равнины. Меж тем муж с продуктами и виноватой улыбкой должен был возникнуть на пороге с минуты на минуту. Она наконец опомнилась, быстро заставила Ванслова одеться, чем скрыта была от людей основная часть его колористических невзгод, а пайетки у него на лице постаралась наскоро замазать пудрой. Он выскочил на лестницу, когда Перепечин вошел уже в подъезд, и вынужден был скакнуть этажом выше и с бешено бьющимся сердцем пережидать на лестничной клетке, пока обманутый супруг, поставив сумки на половик, звонил в дверь. На улице Ванслов попал в мокрую метель, которая сделала его не по-зимнему легкую и не по-троллейбусному безыдейную пройму несомненной для окружающих, а дома претерпел не только нравственные, но и физические муки, оттирая себя мочалкой и ошпариванием. Хамелеонов он никогда не любил, расценивая их манеры как конформистские, он даже Чехова не перечитывал из-за этого, а оказаться самому ландшафтным приспособленцем из гардероба было немыслимо. Последующие дни заставили его понять страдания человека-невидимки Гриффина в скучной гостинице Айпинга. Тональный крем и пудру он научился наносить далеко не сразу, следствия его усилий иной раз заставляли его думать, что исходная расцветка выглядела бы более естественной для человека и гобоиста, чем те лессировки, которыми он пытался ее одолеть. Когда играли Альбинони, он из непобедимой неприязни к автору старался быть как можно хуже, навлекая порицания дирижера и презрительное удивление коллег по деревянным духовым. Жена Перепечина потеряла к нему влечение, поскольку он всей

наготой свидетельствовал о ее пороке и позоре, а заводить отношения с другими женщинами в нынешнем игривом виде он стеснялся.

«Преступление и наказание», – сказал Хлебников. Его жена стала возражать, что если это было наказанием гобоисту, то она не находит в этом логики. Аблесимов, чтобы логику выявить, принялся за какие-то символические параллели, от которых всем стало скучно и совершенно расхотелось изменять друг другу, хотя аблесимовский рассказ и навевал такую наклонность. Тут жена Аблесимова сказала, что ей рассказывали не такую концовку: будто бы Ванслов встречен был возвращающимся Перепечиным уже на улице и тут же приглашен в гости, поскольку один с женой Перепечин не хотел оставаться, а Ванслова ни в чем не подозревал; и тот не нашел повода отказаться, вернулся с ним вместе и сидел на этом дружеском пиру, потея от страха и ежеминутно выбегая пудрить нос. Чем дело кончалось в этом варианте, жена Аблесимова не знала и высказывала предположение, что Ванслов просто ушел; Аблесимов гласно выразил скуку от этой версии, находя ее бездарной и лишенной пуанта. Все вообще сошлись на том, что Ванслову поделом попало, а Альбинони молодец. К ночи выяснилось, что Хлебников отяжелел и домой его везти несподручно. Хозяева предложили заночевать у них, благо не в первый раз и завтра воскресенье, и жена Хлебникова, представляя принимаемую сторону, на предложение согласилась, оговорившись, «если им не будет неудобно». «Катя, какие вопросы», – закричал Аблесимов и вынул откуда-то раскладушку, расставил ее, любовно застелил и даже намеревался сам улечься на ней, уступив диван гостю, но тут уж Хлебникову стало совсем неудобно, и он настоял на раскладушке для себя. «Как бы ты,

Миша, своим храпом не создал гостю дискомфорта», – побоялась жена. «А вот я ему беруши дам», – широко предложил Аблесимов и, действительно, дал ему коробочку с новыми, ненадеванными берушами, засунув которые в уши согласно картинке, Хлебников почувствовал себя готовым к длительному младенческому сну. Беруши, впрочем, он пока вынул, намереваясь поговорить с Аблесимовым, раз уж их для этого положили вместе, – и они, действительно, наговорились с удовольствием, пока Хлебников наконец не сказал: «Ну, я погружаюсь» и не вдел в себя беруши.

Проснулся он с тем неприятным ощущением, которое бывает, когда тебя будит звук, вторгающийся извне и некоторое время искажающий твои сновидения. Хлебникову успело присниться, что два сантехника спорили, кому из них приводить в порядок его квартиру, каждый ссылался на свою мощь. «Видно, совсем не осталось в тебе сил, – сказал один, – коли одними словами решил ты выжить меня из этой квартиры». «Как бы тебе не раскаяться», – отвечал другой. «Поглядим», – сказал первый. Приняли они обличье болотных огней на две недели и что ни день заводили в туалет того, кто хотел пройти на кухню. «Сладу нет с этими огнями», – сказал Хлебников во сне. Тогда превратились они в два отражения в двух зеркалах и показывали людям то, чего те не ждали, но и тут нельзя было понять, чья сила больше. Потом стал один попугайчиком, а другой – клеткой, и они боролись друг с другом. «Нет нам отрады в этом попугайчике, – говорили люди. – Его речи не пристало слушать». Потом один вывел из кухонного крана источник морской воды, из коего обильно извергались красные колючие рыбы, пророчащие возвышение безвестных царств и падение великих, а другой из разводного клю-

ча произрастил белую лилию, источавшую столь дивный аромат, что все погрузились в глубочайшее умиление. Тогда первый распустил всего себя на нити, золотые и пурпурные, и соткал из них перепелку в когтях у орла, сказавшую его голосом: «Добро тебе, ты победил». Тут второй, прежде чем тоже исчезнуть, рассмеялся и сказал следующую вису:

Мак очажный, к яме
выгребной вожатай, –
мы ль не властны? – был он
в состязанье средством;
ворон Сурта граял
смерть кошнице кузни;
опроверг я, скажут,
крином вихрь бурунов.

Хлебников сумел сообразить, что «мак очажный» – это огонь, «ворон Сурта» – волнистый попугайчик, потому что Сурт, вспомнилось ему во сне, должен прийти с юга, а «кошница кузни» – металлическая клетка, а все это вместе значит, что победивший сантехник хвалится, вспоминая минувшие дни. Однако соленый поток из крана не иссякал, он бурлил и гремел, а сыпавшиеся из него рыбы пришепетывали и причмокивали что-то уже несообразное. Тут Хлебников толчками начал просыпаться и наконец отрезвился настолько, чтобы сообразить, что поток с рыбами – это полифонический храп Аблесимова, спать под который действительно невозможно, а слышит он его потому, что одна из его затычек выкатилась и теперь неизвестно где. Вторая сидела плотно, и охраняемое ею ухо жило как бы и не ведая об аблесимовском существовании, но в целом для Хлебникова этот уголок блаженного

неведения в его организме значил ничтожно мало. Кругом была ночная мгла, час, по всему судя, самый глухой, когда принимаются опрометчивые решения. Хлебников провел рукой вдоль себя со стороны опустелого уха, но затычки не обнаружил. Тогда он приподнялся и пошарил под собой, полагая, что затычка скатилась в раскладушечный провал, но и там ее не было. Оставалось полагать, что она упала с раскладушки и искать ее следует внизу. Хлебников с сожалением вспомнил, как однажды ему привелось жить в захолустном общежитии с одним пожилым вузовским преподавателем экономической теории, так тот храпел всегда ровно сорок минут, в одних и тех же выражениях, и после этого надежно замолкал до утра, так что если знать его особенность, вполне можно было набраться терпения. Тут было дело другое. Хлебников перевалился через холодную арматуру раскладушки и на коленях принялся слепо шарить по полу. Так ему ничего найти не удавалось, а свет зажигать он, разумеется, стеснялся. В темноте, под неистребимый храп Аблесимова, не имея сна уже ни в одном глазу, он копался под раскладушкой, постепенно раздражаясь от мысли, как утром будет болеть голова и как он ни на что не будет способен, а между тем ему к вечеру надо написать статью о финансовых претензиях администрации Зациркового района к многочисленным и бесстыдным арендаторам площадей. Тут пришла ему подлинно счастливая мысль, что с вечера он оставил близ постели свой мобильный телефон, который если найти, то его подсветка поможет нашарить ушную втулку под ногами. Телефон отыскать было несложно, предметы такого формата Хлебников уже различал в темноте, но на предметы, способные заткнуть ухо, его разрешающей способности не хватало. Он припал к

полу, телефон в его пальцах, повернутый лицом вниз, послушно замерцал призрачным сияньем, и вдруг стало видимо далеко и по ту сторону раскладушки и по эту сторону. Телефон повременно гаснул, он снова давил на что-то пальцем, и экран оживал. Свою клепку он нашел, она закатилась за заднюю ногу раскладушки и там индифферентно лежала, в темноте и тишине, словно неприятности Хлебникова до нее не касались. Лицо Хлебникова озарилось невидимым миру удовлетворением, он хотел уже вогнать клепку на место и погрузиться в свой внутренний мир, как вдруг услышал, что в коридоре глухо играет мобильник его жены. Ошибиться было невозможно, мало кто из живых людей был способен поставить себе на мобильник запись криков обезьяны ревуна, а его жена имела для этого достаточно развитое чувство комического, которое едва не понудило ее ехать специально за этим в дождевые леса Центральной Америки. Сдавленно произнося всякие реплики, Хлебников выбрался в коридор, вспоминая о том, что тут что-то стояло, каждый раз секундой позже того, как успевал об него споткнуться, а проклятая обезьяна ревун все еще продолжала призывать самку, болтаясь на своем цепком хвосте, где-то в толще шуб, навешанных на аблесимовскую вешалку. Хлебников ввинтился в носильные вещи на звук, какая-то пышная одежда под его руками оборвалась с вешалки и оползла вниз, к гостеприимным жестянкам с обувной ваксой; он залез в пазуху своей жене, вытянул оттуда мобильник, обломив, кажется, напоследок один из шурупов, державших вешалку, а ревуну на свободе словно пришло второе дыхание, и его грудные серенады грозили разбудить не только что Аблесимовых, но и близлежащих соседей. С проклятиями Хлебников скрылся за какой-то служебной дверью, лишь

бы в коридоре стало тише, и там уже, в темноте, принял вызов и тихо заорал: «Да!», рассчитывая, что это будет единственным словом согласия в предстоящем разговоре, что сейчас он скажет звонящему, будь это кто из бесцеремонных знакомых его жены или просто приблудный звонок, что в такое время суток звонят только отъявленные свиньи и он просит их, если они не могут этого понять, то хотя бы запомнить. Но разговора не вышло, с той стороны эфирного моста неслись звуки, которые Хлебникова навели на мысль, что звонят с грозового перевала, такие удары и ворчанья грома поражали его свободное ухо. «Вас не слышно!» – уведомил он. Гром снова треснул и раскатился. Тут наконец Хлебников посмотрел на номер, с которого звонили, тот показался ему знакомым; он пригляделся и увидел, что это его собственный. Когда он нажимал кнопки под раскладушкой, лишь бы экран горел, ему не пришло в сонную голову, что надо нажимать с осторожностью, ими он вызвал свою жену и теперь слушал, как его телефон, наспех брошенный в комнате, с удивительной достоверностью транслирует аблесимовский храп в рубрике «Писатели у микрофона». Одновременно с фразой в свой адрес Хлебников отключил женин телефон, поскользнулся на чем-то, былинно взмахнул рукой с телефоном, тот улетел куда-то и где-то, слышалось, обо что-то жалобно ударился. Хлебников уже не видел смысла в эмоциональных реакциях. Он просто выглянул в коридор и нашарил выключатель, чтоб найти аппарат, хотелось ему надеяться – не вполне разбитый и еще способный радовать ухо распевами американских приматов. Он, оказалось, находился в ванной, рыба язь неустанно ходил в воде вперед-назад, точно ему спать не было надо, а под ним на белом дне покоился выроненный телефон,

из которого вместо криков шли пузыри. На фоне всех предыдущих помещений ванная поражала освещенностью и тишиной, Хлебников хотел лечь к язю в емкость и убедительно попросить у него политического убежища, одновременно сознавая несбыточность этих мечтаний. Он сунул руку в ванну, рыба язь, увидев в этом покушение на свою территорию, зазмеился к нему с намерением укусить, но Хлебников уже вынырнул с мокрым как мышь телефоном, и язь удовлетворился тем, что обдал их обоих раскатистыми брызгами с запахом, как верно замечала жена, стоялых вод. Хлебников погасил неусыпному язю свет, телефон куда-то положил, пошел на темную кухню отмыть рабочую руку от запаха и палой чешуи, поскольку травить язя банным мылом не считал этичным, вернулся в комнату, где сновидец и искатель неизвестного Аблесимов щелкал и раскатывался, как сводный хор курских соловьев, с остервенением вогнал себе кляп в ухо и наконец смежил изможденный взор.

Утром его разбудила жена, возмущавшаяся размокшим состоянием своего телефона. Хлебников пришел с трудом в рабочее состояние. После ночи, проведенной с одной тихой рыбой и двумя шумными приматами, Аблесимовым и обезьяной ревун, его голова раскалывалась на много мелких частей, из которых каждая помнила о пережитом, будто была целым. Жене он сказал, что потом ей все объяснит, а если его объяснения покажутся ей недостаточно комичными, то купит ей новый аппарат. С Аблесимовыми они позавтракали и чувствительно простились, Хлебникова хватило на принудительную общительность длиной восемьдесят пять минут, но потом он стал совсем бесформенный. Родную квартиру он встретил с облегчением. Забив страдальческую голову спазмалгоном, он

заставил себя сесть за статью о претензиях. По долгом размышлении он написал: «Беруши надо привязывать на резинки, как варежки в детском саду» и снова задумался.

В это время разведывательный корабль инопланетян кружил над нашей планетой, совершавшей свой ежедневный поступательный путь. Это был экспедиционный корпус, вроде отрядов Джебе и Субэдея, вышедших в 1223 году в половецкие степи, и задача у них была осмотреться в видах будущего вторжения, потому что у них самих на планете экология была испорчена вчистую и криминогенная обстановка складывалась такая, что хоть святых выноси. Наша планета им нравилась, методичные пауки поражали их конструктивистским пафосом, а совы – пригодностью для романтических элегий. Романтизм у них там был свой, и период увлечения «Песнями Оссиана» они тоже пережили. А поскольку они знали, что на этой планете есть господствующий вид, наделенный разумом, то хотели быть информированы, чего от него можно ждать. Их тарелка висела на земной орбите, пока они решали задачу, поставленную центром: высосать мозги у когонибудь из представителей местной цивилизации и их обследовать.

Хлебников сидел мучась, все его отвлекало: и сипение в трубах, и сиротливое переступание голубей по карнизу, и многое, многое в пестрой картине жизни. Наконец ему показалось, что он знает, как подступиться к теме, и он набросал первые слова, задающие широкий социальный фон бесстыдному поведению арендаторов, как вдруг прозвонил телефон. «Ой, а Катерину Андревну можно слышать?» – спросили там таким голосом, будто долгие годы разучивали перед зеркалом реплику: «Не скажете ли, герр Вульф, как мне доб-

раться до моей бабушки?» «Вышла, перезвоните часа через два», – сказал Хлебников и повесил трубку. «В то время как...» – написал он. Телефон опять зазвенел. «Вы отводами занимаетесь?» – спросил озабоченный мужской голос. «Нет, знаете, – с соболезнованием сообщил Хлебников, – свернули деятельность. Только приводы теперь». «Это “Эльф-Плюс”?» – настаивал мужчина. «Нет! – с криком обрушился на него Хлебников. – Это гном минус!». И повесил трубку, вдавив ее в аппарат. «...администрация Зациркового района достигла...» – написал он. Тут позвонили в дверь. Он посмотрел вокруг, ничего способного убить сразу не обнаружил и пошел открывать так. Там была с желтеньким дуршлагом в руке соседка, расплывшаяся, как снеговик на День работников жилкомхоза, баба с навеки испуганным выражением лица, Хлебников помнил, как ее имя-отчество, но никогда ими не пользовался; она спрашивала, нет ли у него головки чеснока взаймы, и он, искренне призывая чесотку на ее складчатые поверхности, повел тетку с дуршлагом на кухню, оглядываясь, где жена его, вышедшая часа на два Катерина Андревна, держит авоську с луковой шелухой и погрузнувшим в ней чесноком цвета фальшивого бельма.

Высасывание производилось чем-то вроде соломинки для коктейлей, она с корабля телескопически опускалась на планету, а там орудовала уже сама, ориентируясь на раздающиеся в пределах ее досягаемости сильные интеллектуальные импульсы. Один как раз послышался поблизости.

Хлебников крупно дрогнул и застыл посреди кухни, прямой как аршин и с таким лицом, будто старался разглядеть, как в тридевятом царстве комар на дубу лапками трет. Соседка, шедшая за ним, обошла кру-

гом, искательно заглядывая ему в лицо, и спросила, можно ли ей две головки.

Высосанный мозг Хлебникова оказался крайне агрессивным, из соломинки он с силой ударил в кают-компанию, разбрызгался по стенам, и прежде чем его успели соскрести, проел кое-где совсем новую обшивку и безнадежно испортил хорошую репродукцию с картины их художника, изображавшую, как ихний Иван Грозный убивает своего вроде бы сына. Мозг Хлебникова своей едкостью исказил сюжет, превратив несомненное душегубство, в крайнем случае, – в превышение допустимой самообороны, а при хорошем адвокате, могло бы выйти, что и в несчастный случай на производстве. Хлебникова антикоррозийным совочком оскребли с обшивки, в емкость собрали и запустили в его полкило серого рецепторы, которые напряглись, загудели и воспроизвели на походном экране в трех проекциях плоды хлебниковских холодных наблюдений, а команда корабля – прежде всего, аналитическая группа, а также и все, не занятые по камбузу, – села смотреть и анализировать на предмет планируемой инвазии.

Прежде всего, перед ними выплыла из ничего известная фраза про резинки для берушей, выглядевшая как название фильма, будто название киностудии они уже пропустили; когда она дрогнула и расплылась, пошла картинка, такого типа, как в фильмах ужасов, когда показывают происходящее с точки зрения главного монстра: камера самым низом, колеблясь, стремительно надвигается в спины положительным героям, полицейскому и случайной женщине, которую нелегкая привела проезжать вечером через штат Мэн; звучит сиплое дыханье, и все пространство кадра равномерно залито красным, как будто у монстра то ли

глаза налиты кровью, то ли просто дисфункции цветовосприятия, а это рождает уверенность в исходе драматической сцены, потому что ни у полицейского, ни у случайной женщины, которая, кстати сказать, уже пять лет как одна, с тех пор как ее муж тоже проезжал через штат Мэн, и каждый вечер она, ложась в пустынную постель, прослушивает на автоответчике его последнюю запись, где он, веселый и шумный, обещает позвонить, как только доберется до Миллинокета, – так вот, ни у этой женщины, ни у полицейского, который, кстати сказать, тоже давно один, потому что его жена... ну да Бог ей судья, в конечном счете, – ни у кого из них нет ни малейших дисфункций цветовосприятия, а это значит, что они сильнее, а кроме того, на их стороне историческая правда и выстраданное право мести за всех, кто так и не добрался до Миллинокета. Коротко говоря, аналитическая группа видела глазами Хлебникова, как его мобильник роется в аблесимовской темноте, точно свинья, натасканная на трюфеля, как он, Хлебников, потом бежит за мобильником жены, кричит на него в ванной, получая в ответ горячие новости со своей раскладушки, потом роняет его язю, вылавливает, укладывает сушиться и идет спать. Дальше пошел обрыв пленки, темнота со вспышками и сообщение о том, что фильм снят на пленке Шосткинского ПО «Свема», редактор субтитров С. Ээро. История о двух сильномогучих сантехниках, а также сны, посетившие Хлебникова по обретении затычки, на экран не были выведены, таясь, видимо, настолько глубоко в золотом фонде хлебниковского подсознания, что рецепторы до них не умели добраться.

После просмотра в среде оккупантов воцарилось молчание, а потом Командор призвал высказываться по поводу увиденного. Он сказал:

– Какую вещь вы-все (это было сказано с твердым приступом, придающим значение «абсолютно все») располагать-лицо к высказыванию о?

– Недостоинство-мое думать-лицо, – отвечал ему Первый штурман, – наблюденную от нас не-особь (неполиткорректное определение для господствующих видов иных планет, приблизительно соответствующее слову «варвар») производить-не-лицо (конструкция типа «винительный с инфинитивом» при *verba putandi*, перевести надо было, конечно, придаточным, но хотелось на первый раз передать аромат живой инопланетной речи) движений инсолентных ряд.

Вы позволите в дальнейшем передавать речь инопланетян не подстрочником, а литературным переводом? Так вот, Первый штурман сказал: «Моя немощь полагает, что увиденный нами варвар делает странные вещи». С этим спорить не приходилось, Первый штурман по почтенному возрасту склонен был к трюизмам, потому ему всегда давали высказываться первым, чтоб сгруппировать все очевидные выводы, а потом переходить к спорным. В этот раз очевидные выводы кончились быстро, и Командор призвал анализировать.

– Варвар хватательными черенками, – сказал Второй штурман, имея в виду хлебниковскую руку, – водит светящий инструмент параллельно поверхности. Кругом звучит звук, не имеющий в пределах картины видимого источника, но который, однако, можно просчитать и локализовать по направлению и убыванию.

– Затем начинает звучать такой же звук из другой, более удаленной точки, – продолжил Третий штурман. – Варвар устремляется к нему. Источник звука замаскирован кожами теплокровных. Варвар находит его, это оказывается такой же инструмент, как тот, кото-

рым он водил параллельно поверхности. Тот, однако, не звучал, а этот звучит.

– Можем ли мы говорить о тождестве инструментов, исходя лишь из тождества их внешнего вида? – спросил Командор.

– Тождество форм говорит о тождестве функций, – сказал Первый штурман.

– Однако функциональные требования к форме могут быть пренебрегаемы из иных, более влиятельных соображений, а непосредственное наблюдение говорит нам скорее о различии инструментов, – заметил Второй штурман.

– Первый использован, видимо, для поиска чего-то иного, второй же работает на самообнаружение, – сказал Почетный бортмеханик.

– Можем ли мы представить практическую применимость инструмента, направленного лишь на то, чтоб сигнализировать о своем местонахождении? – спросил Командор.

– Едва ли, – сказал Первый практикующий бортмеханик.

– Либо его смысл оправдан не практически, – заметил Второй штурман.

– А как, например? – спросил коллектив.

– Много возможностей, – пожал Второй штурман эквивалентом плеч. – Например. Мы наблюдали на этой планете суточное распределение тьмы и света. Сообразно ему должен выстраиваться жизненный цикл. Оба инструмента светятся в темноте, то есть напоминают о противоположной, световой части суточного цикла. В этом может быть, скажем, религиозный смысл, если допустить, что они доросли до религиозных соображений, или затея психологической компенсации, если считать, что пора физиологической активности совпа-

дает у них со светлым временем, а темное – это период угнетенности функций.

– Я бы напомнил, – сказал Второй практикующий бортмеханик, – о звуке, совпадающем по параметрам со звуком второго инструмента и исходившем из неопределенного и, видимо, не интересовавшего варвара источника.

– В самом деле, услышав звук второго инструмента, он бросает всю двигательную активность на его подавление, меж тем аналогичный звук, раздающийся с самого начала увиденной нами сцены, явных реакций не вызывает, – заметил Второй штурман.

– Может быть, в начале сцены он именно ищет его источник? – предположил Первый штурман.

Все с пренебрежением отнеслись к этой гипотезе. «Звук явно идет с противоположной стороны, – сказал Второй штурман. – А наш варвар умеет при необходимости быстро локализовать источник звука, как мы видели».

– Значит, первый звук либо неустраним, либо по каким-то причинам не привлекает варвара, – подытожил Командор. – Что дальше со вторым инструментом?

– Попав в орган варвара, он перестает звучать и пропадает из обзора, – отчитался Корабельный ветврач. – Следует череда организованных звучаний, исходящих, как можно судить, непосредственно от варвара, а затем помещение освещается.

– Чем? – спросил Командор.

– Можно предположить, что зрительными органами варвара, – сказал ветврач.

– До сего момента он не демонстрировал такой способности, – оппонировал Второй штурман.

– Может быть, в момент, когда инструмент выпал из обзора, произошла его кратковременная инсталляция? – предположил ветврач. – Инструмент же обладает способностью фосфорического свечения, как мы наблюдали.

– Не исключено, – согласился Командор. – Что мы видим дальше?

– Емкость с живым существом, – сказал Кибертехник. – Судя по набору наружных органов – другого биологического вида.

– Учитывая их способность инсталлировать инструменты, я бы не стал так безапелляционно утверждать, что другого, – сказал Третий штурман.

Все согласились условно допустить биологическое тождество Хлебникова с язем.

– Далее? – спросил Командор.

– Первый варвар движется в воздушной среде, – сказал Второй штурман. – Второй – в водной. Это говорит о наличии альтернативных способов дыхания.

– Это плохо, – сказал Командор. – Нет ли у нас оснований судить об их способности жить в атмосфере из жидкого метана?

– Пока нет, – сказал Второй штурман. – Затем первый варвар предлагает второму второй инструмент, следует полагать – для инсталляции. Второй не пользуется предложением, тогда первый гасит свои глаза и возвращается в отсек с перманентным звучанием стандартного типа.

– Стоит отметить, что сплошное звучание и сплошной свет нигде не встречались нам в одной пространственной рубрике, – сказал Командор. – Можно ли предположить, что именно свет и звук являются организующими началами для альтернативных пространственных форм?

– Это объясняло бы видимое равнодушие варвара к первому звуку, – по размышлении сказали Даосский и Вегетарианский коки.

– И стремление подавить второй звук там, где он намеревался организовать световое пространство, – добавил Кок Пятого (общего) стола.

Командор подвел итоги. Выходило, они столкнулись с формой жизни, обитающей минимум в двух средах, инсталлирующей себе более или менее сложные механизмы и продуцирующей пространственные образования минимум двух типов. Кроме того, формой выносливой, неприхотливой и благодаря своим семиотическим системам способной к разумной деятельности в обеих суточных фазах. Детально последовательность ее действий интерпретировать невозможно, но не исключено, что они несут в себе скрытую угрозу.

– Какие мнения? – спросил он.

Все шумно выдохнули жидкий метан.

– Кислое дело, – высказался за товарищей Третий штурман. – Валить надо, товарищ капитан. Не ровен час, блиндаж накроют.

– Ну что ж, – задумчиво сказал Командор. – Тут где-то Денеб недалеко был. Карты где тут у нас звездного неба? Ладно, черт с ними, по пачке «Беломора» долетим. Заводи, что ли...

– Мозги бы вернуть, – деликатно напомнил Третий штурман. – Неудобно перед человеком.

– Вернуть мозги, – распорядился Командор.

– И первое желание, – настаивал Третий штурман.

– Выполнить, – приказал Командор. – Поехали!

И тарелка, полная нерадостных рекомендаций в отношении Земли, качнула синим общепитовским ободком и споро понеслась в сторону ничего не подозреваю-

щего Денеба, граждане которого, красиво одетые, прогуливались по иллюминированной набережной.

«Первое желание» было традицией, восходящей к начальным временам освоения космоса, когда инопланетяне еще не были раздражены своими экологическими и криминогенными недоработками и считали себя не столько конкистадорами в панцире железном, сколько вселенскими Санта-Клаусами и веселым авангардом гуманизма. Когда они возвращали тестируемому его мозги, то в целях моральной компенсации исполняли первое желание, появлявшееся в тестируемом по возвращении мозгов. Случаи особо экзотических желаний, а также поступавшие иногда от тестируемых благодарности заносились в бортовой журнал. Те альтруистические времена давно прошли, инопланетяне шарили по галактическим закоулкам с гадливостью, будто бы в захламленных ящиках стола младшей дочери искали, куда она дела штангенциркуль, однако некоторые традиции полагалось поддерживать и любить с целью оздоровления корней, потому они выделили четыре с половиной процента мощности своего ядерного реактора на исполнение первых желаний.

По лицу Хлебникова тетке показалось, что он долгие годы гордился обилием чеснока на своей кухне, зарывался в него вечерами с головой, крича, что может править отсюда миром, как некий демон, к которому на запах чеснока потянутся резвою толпою и добродетель, и гений, и злодейство, и производство, и распределение, а теперь, войдя на кухню, вдруг увидел, что чеснока простыл и след, и каменеет в молчаливой мужской скорби. Ей бы тут и уйти, оставив Хлебникова предаваться его аффектам, но она, мало того что была дремучая, как картины Шишкина, но еще и очень настойчивая, потому что начала предлагать, чтоб он дал

ей денег, и она сходит за чесноком для них обоих, но лучше, чтоб он дал еще и сетку, чтоб она брала для них отдельно и не было нужды развешивать потом дома на безмене, кто сколько брал. В это время Хлебников, вихрем унесенный в неизвестные, стылые и дикие края и вихрем же возвращенный на родную кухню, снова дрогнул и прикрыл глаза, перед которыми галопом пробежала вереница самых фантастических картин. Казалось ему, что его заставляли поедать какие-то полотна импрессионистов на Крымском валу, а у него от Сезанна изжога, потом его варили в супе харчо, он чихал от перца и плавал в желтых бурунах, уцепившись за мозговую кость, потом ему в висок ввинчивали шуруп с левой резьбой, а он говорил, чтобы взяли вместо прямой отвертки крестовую. Буйство впечатлений сошло, но ощущение шурупа в виске осталось. Он глаза, дрогнувши ими, открыл и посмотрел на нестерпимую женщину, расписывавшую, как хорошо брать чеснок каждому отдельно, как благоденствуют люди, понявшие это в свое время, и как перебиваются с хлеба на квас те, кто вопреки разуму продолжает брать чеснок вместе. Хлебников попытался вспомнить грех, за который это могло быть адекватным наказанием, не сумел и решил, что это либо грех из прошлой жизни, либо еще не совершенный. «Чтоб муж твой с того света тебе чесноку принес», – пожелал он ей про себя. В дверь прозвонили двумя длинными и одним коротким. «Ой, Володя вернулся», – сказала она и поспешила к двери, потом сказала: «Да что это я. Володя-то», всхлипнула, но дверь хлебниковскую открыла, распоряжаясь совершенно как дома, раз уж она взяла на себя бесперебойную доставку чеснока хорошим, но непрактичным людям, Хлебникову и жене его, в добрый час вышедшей из дому Катерине Андревне. На

пороге стоял Володя, одетый в синий с отливом пиджак, в котором его хоронили два года назад, на половике у него под ногами что-то влажно змеилось, в руке с отставленным мизинцем он держал за стебель фосфоресцирующую головку чесноку; на каких пажитях тот вырос, Хлебникову думать не хотелось. Слышно было, как в комнате немедленно сдохла канарейка. «Что же вы на пороге-то, – сказал Хлебников. – Проходите». Володя шагнул в дом, держа стигийский чеснок на отлете. Его лицо выражало задумчивость. Он производил такое впечатление, будто его сняли на кинопленку и теперь показывают через два кадра на третий. Четырех с половиной процентов мощности реактора не хватило на его полную гальванизацию, левое плечо отсутствовало, и рука шевелилась и плыла за ним в воздухе сама по себе; Хлебников незаметно заткнул ему отверстие вафельным полотенцем. Володю усадили за чистый кухонный стол, жена суетилась вокруг него, Хлебников налил ему рюмку водки, и Володя ее принял, не покладая чесноку. Куда-то эта рюмка канула и по каким-то жилам разлилась. «Ну, Володь, как сам?» – с интонацией детского утренника спросил Хлебников, с ужасом думая, что тот действительно начнет сейчас отвечать, как он сам. У Володи зашевелилась нижняя челюсть относительно верхней, и он артикулировал в том смысле, что чеснок в хозяйстве должен быть, а посылать мужа за ним – последнее дело. По его представлениям выходило, что он был то ли в длительной командировке с очень выгодными суточными, то ли на слете передовиков в каких-то Пилках и что можно было собрать людей в более приличном месте, потому что нравы в этих Пилках исключительные, в их бытность один бригадир изнасиловал свояченицу, приехавшую со студентами на

фольклорную практику, а то, что началось вслед за этим, было вообще неописуемо, если верить Володиному повествованию. Главное, что во всех безобразиях, которые там творились, принимали активное участие понаехавшие студенты, которых умели убедить, что и членовредительство, и изготовление заливного из несовершеннолетних иждивенцев, и превращение в удодов и соловьев – это все красивые обряды, бытовавшие в Пилках испокон веку и в последнее время возрождаемые в рамках федеральной программы «Зову тебя Россиею», так что без участия в этом всем у студентов никакого отчета по фольклорной практике не примут на факультете. И они, действительно, на все ходили и везде, где можно, стояли на подхвате. В общем, много случилось в Пилках такого, из-за чего бригадира и его неугомонную, постепенно редеющую семью вспоминать придется долго, а главное, что все это оказалось своевременно запротоколировано и заснято, и можно ждать, что по собранному материалу написаны будут курсовые и даже дипломные работы.

– Вы меня, Бога ради, извините, – сказал Генподрядчик, прерывая Платона Александровича, увлеченно рассказывавшего, как Хлебников заглядывал в себя, пытаясь найти, какой нечеловеческой силой он из ничтожества воззвал малопьющего и в общем довольно смирного соседа по лестничной клетке, отравившегося на работе метиловым спиртом вместе с тремя сослуживцами: – время поджимает, скоро петухи запоют.

– Да, петухи, – сказал Дисвицкий, – так прекрасно, эта предутренняя свежесть. В Пилках тоже, знаете, петухи...

– Платон Александрович, – умоляюще сказал Генподрядчик. – Нельзя ли прояснить, что вытекает из рассказанного вами. Мораль сообщите мне, пожалуй-

ста, потому что сюжетную нить я в общих чертах осознал. Хлебникову не судьба написать про финансовые претензии, потому что кто-нибудь все время будет его отвлекать.

– Мораль-то, – промолвил Дисвицкий. – Мораль есть, конечно. Как выразился бы командор, обладающая практической применимостью. Дело в том, что фольклорные практики по центральной России, конечно, себя исчерпали. Все уже расчерчено на диалектные зоны, все былины записаны, прясла вывезены, раскольничьи стихи проанализированы на предмет сатирических приемов. Какой смысл тратить золотое лето на абсурдные разговоры с похотливыми старичками об одном зубе. К морю надо ехать, к морю. Там простор, по которому тосковал Петр. Там девушки бегают по волнам на шпильках, а смуглые юноши ночуют на дне среди кораллов. Там сошедшие со стапелей на берег матросы узнают в проститутках своих родных сестер, оставленных десять лет назад на ферме под Монбельяром, загорелые торговцы, воздевая руки в свидетельство своей умеренности, продают тебе за десять турских грошей то, что стоит один, а молчаливые невольницы разносят гостям шербет, звеня золотыми кольцами на лодыжках. Там морские чудовища претендуют съесть всю гавань, а после переговоров с администрацией порта ограничиваются одной-двумя хорошо одетыми девственницами. Признайтесь, по совести, разве вам не хотелось бросить эти ваши генподряды и уехать за фольклором невесть куда, где валы рокочут и где Фортуна оставляет на сыром песке свои следы пятками вперед? А?

– Это мораль? – уточнил Генподрядчик.

– Она самая, – твердо сказал Дисвицкий. – Если вы сочтете ее безнравственной, бросьте в меня камень. Сразу не попадете – бросьте еще.

– С этим успеется, – машинально сказал Генподрядчик. – Я так понимаю, вы мне это всячески советуете?

– Помилуйте! – вскричал Дисвицкий. – Что значит советую! Настаиваю! Беречь фольклор – это долг порядочного человека! Вот вы, например, помните, чем кончается пословица «С паршивой овцы хоть шерсти клок»?

– Этим и кончается, – нерешительно сказал Генподрядчик.

– Ну вот, пожалуйста, – обратился Дисвицкий за сочувствием неведомо к кому. – Отнюдь! Это лишь начало, за которым стоит, я вам скажу, целая история! История одиночества, надежд и отрезвленья!

Тут Генподрядчик ужаснулся, что сейчас его заставят слушать еще историю отрезвленья, и быстро сказал: «Так ведь я дороги не знаю».

– А я покажу, – радушно сказал Дисвицкий.

Он пошел горизонтальными полосами, как телевизор при настройке, сказал: «Прошу, можно не разуваться» и расточился в тихий сквозняк, дующий по ногам и понемногу усиливающийся, от которого зеркало дрогнуло, замутилось и пошло гулять вокруг центра завораживающей воронкой. Генподрядчику затянуло рукав, он начал крутиться вокруг своей кисти, испытывая дурноту, параллельно с ним вращались какие-то неизвестные ему вещи, некоторые из них пытались ухватиться за него, но соскальзывали и уносились по кругу, криком прося передать их жене, что они замерзли в степи. На следующем обороте они просили также, если Генподрядчик будет на Ордынке, отдать бескозырку сыну, а потом, устало закрыв глаза,

махали рукой и говорили: «Впрочем, не надо». Он устал уже и сам от этого, ни от кого ни просьб, ни бескозырок больше не принимал, сам ни к кому не обращался и только ждал, когда это кончится. Круги сужались, и воронка наконец с размаху бросила его на паркетный пол. Было темно и загадочно, у стены стоял мраморный бюст в перистом шлеме, под ним подписано: «Веня Ткацкий и ТСХО вып. 1984 года». Генподрядчик посмотрел на бюст Вени и ТСХО, нашел его несколько натуралистичным в проработке морщин и быстро пошел по анфиладе в ту сторону, куда ласково, но настойчиво тянул его сквозняк. По обеим сторонам тянулись нескончаемым потоком крупнорогатые вешалки с медвежьими шубами, инкрустированные янтарем чайные столики с мятыми записками на них, гласившими: «Очаков взят 6 декабря 1788 г.», подвижные картины довольства и труда в дубовых рамах, модели гребных и парусных судов в тазиках и многое, многое занимательное другое. В небольшой комнате, уютно обитой коврами, сквозняк сворачивал и уходил в полуоткрытое окно. Генподрядчик стал у него, выглядывая в сырую темноту. «Туда, туда», пригласительно шептал сквозняк, выливаясь струйкой наружу. «Туда», бормотали персонажи ковра. Издалека, как рокот обвала, по сонной анфиладе докатился звук, в котором Генподрядчик несомнительно опознал прочищающую горло птицу фазан. Без дальнейших размышлений он взобрался на подоконник, пачкая его ботинками, и выпрыгнул, куда глаза не видели.

* * *

Младший сантехник предложил объявить конкурс на лучшую вторую главу среди жителей подъезда, а по-

бедителя заинтересовать бесплатным и внеочередным полугодовым обслуживанием; идея привилась, они написали красивые объявления и развесили на всех этажах, но, зная низкую общественную активность жителей, решили также к некоторым, имеющим особую культурную ценность, обратиться лично. Старший сантехник позвонил Эмбеку Азатовичу, прося о встрече, и в ответ услышал предложение зайти нынче вечером в филармонию, там-де отчетный концерт, пускают бесплатно, «минут за двадцать до начала я буду в зале». Старший сантехник благодарил и, повесив трубку, приказал среднему бриться и гладить брюки.

– Поедим перед уходом, – прибавил он. – Мало ли что там. Я мясо пожарю.

Скоро запахи, стелющиеся по полу, возвестили о его успехах.

– Пахнет мышечной тканью, – отметил средний сантехник, выставив ноздри в коридор.

– Все, пожалуйста, к столу, – сказал старший сантехник, выходя из кухни с дымной сковородой. – Вась, разрежь его, у меня не получается.

– Было смолоду бито-граблено, – объявил средний сантехник и, сделав обманное движение, ударил в мясо ножом. – Не опишешь в словах, – прибавил он к сказанному. – Тут, главное, что. Главное – сковороду не разломить. А остальное – это все такая суета, что, право слово, неудобно и останавливаться.

При втором ударе мясо хрустнуло и подалось, так что оказалось возможным делить его на порции. Вопреки традиционному принципу межевания, выраженному формулой «старший делит – младший выбирает», делил средний, а старший раскладывал. Младшему оставалось то немногое, чем обычно занимается человек за импровизированным столом и о чем вспоминает впос-

ледствии как об «отличной компании», что бы это ни значило.

– Семен Иваныч, – сказал средний с набитым ртом. – По поводу этих маринованных огурцов, кружками которых ты склонен обозначать границы мясных отрезков. Мы очень ценим твое пристрастие к готической кухне, но все же кажется, что соображения гурмана должны иногда отступать перед более высокими чувствами гуманиста.

– Прекрасные огурцы, – обиженно сказал старший сантехник. – Им сносу нет. Зверь-огурцы. А ты сам бы готовил, чтоб не было претензий.

– Семен Иваныч, из претензий жизнь состоит, – сказал средний. – Они двигают обществом. Человек, одушевляемый претензиями, от пристрастия к вещам тяжелым и пошлым доходит, постепенно очищаясь, до потребности умереть за свободу Греции и может даже серьезно заболеть, если ему это почему-либо не удастся.

– Сань, посмотри, что в гороскопе обещают, – сказал Семен Иванович, демонстративно не отвечая среднему сантехнику.

– Ты кто у нас, Скорпион? – спросил младший, взявши газетку. – Значит, так. «Скорпионам на этой неделе не стоит заглядывать дальше воскресенья: планы не окажутся прочными. В среду возникнут финансовые проблемы, если они не решатся к вечеру, не волнуйтесь – они продлятся не более двух недель. Встречи со старыми знакомыми произойдут в тех местах, где их и следовало ожидать. Постарайтесь быть в себе и не размениваться на мелочи. В ночь с пятницы на субботу возможны бытовые неприятности, но в конце концов все будет хорошо».

– А мне? – спросил средний. – Мне чего обещано?

– Почти то же, – сказал младший. – Тут вот сказано:

«Если у вас пропала собака, идите к Марошкину В. И., только он поможет».

– Кто таков? – удивленно спросил средний. – Это всем Близнецам рекомендовано?

– Нет, виноват, это не гороскоп, – сказал младший. – Это уже объявления. А Близнецам советуют не ходить, куда не звали, и не просить ничего без особенной нужды.

– Она приспела, – уверенно сказал средний. – Будем просить.

– Вот хороший ты человек, Василь, – наконец взорвался старший, – но язык твой! Эти вот твои подковырки постоянные! Как ты жить будешь с людьми? Кто за тебя замуж выйдет?

– Я очень обаятельный, – сказал средний. – Выйдут. Не обижайся, Семен Иваныч, я же любя. Хорошее мясо, видишь, все съели. Больше нету? Очень жалко. Ладно, не дуйся. Пойдем, пора уже.

Филармония была розовое приятное здание, которое строил в девятьсот одиннадцатом году чуть ли не Лидваль, с пилястрами и львиными масками вдоль фасада; позже наверху приделали треугольный рельеф в духе Пергамского алтаря, изображающий рукопожатие рабочего с отбойным молотком и творческого работника в очках с глобусом. Пускали, в самом деле, бесплатно, и два сантехника, старший и средний, оставившие младшего на хозяйстве, нервно поглядев на себя в огромное зеркало на фоне праздничной публики, пошли прогуливаться по фойе. Старший пошел вдоль фотографий работников филармонии и на том конце галереи наткнулся на среднего, который, заложив рабочие руки за спину, разглядывал цветистую афишу, представлявшую

Вечера сценической дружбы

Областной театр в гостях у областной филармонии

В программе:

В. Шекспир.
Сценическая обработка – *Г. Запущенный*
«Ричард III, или Горбатого могила исправит»

Эсхил. «Орестея».
Адаптационные работы – *Г. Запущенный*

Часть первая. «Агамемнон, или Баба бредит, да кто ей верит»
Часть вторая. «Хоэфоры, или Щука умерла, ан зубы живы»
Часть третья. «Эвмениды, или То и закон, как судья знаком»

Режиссер-постановщик – *В.З. Роговой*
Мастер декоративной кладки – *С. Эли*
Цветозвук – *Р. Головатый*
Исторический визажист – *Е. Греко*

– Нам бы такую, – сказал средний. – Смотри, Иваныч, какие шрифтовики работали. Даже фамилия «Запущенный» нарядно смотрится. Не говоря уже о Шекспире.

– Мастера, – с уважением сказал старший.

По лестнице вдоль галереи классиков инструментальной музыки спустились смычковые и духовые, направляясь к служебным помещениям. Замыкал шествие гобоист Ванслов, несколько выцветшая пройма явственно обозначалась у него под ушами; на классиков в желтых рейках он посмотрел мельком и с неприязнью. «Пойдем и мы, Василь, – сказал старший сантехник, глядя на часы, – того гляди в тарелки ударят, поговорить не успеем».

Эмбек Азатович, похожий на старую большую черепаху, сидел в первом ряду. С ним рядом гнездилась деятельная женщина в дымчатых очках. Средний сантехник знал ее: на базе ведомственного клуба «Лелик и Болик» она организовала кружок ваяния по живому, где именитые дантисты проводили мастер-классы, показывая, как с помощью обычной бормашины, ватки и команды «Сплюньте» можно в домашних условиях изготовить конную статую Джорджа Вашингтона. На коленях у нее разложены были какие-то листы, поминутно разлетавшиеся, и Эмбек Азатович, тыкая в них коричневым пальцем, недовольно говорил: «Это не так. Мы же договаривались, саксофонисты сначала. Здесь нужно яркое пятно. С распиливаньем женщин можно до второй части повременить. Не заветрятся». Женщина соглашалась с нервической покорностью и рисовала на полях стрелки, в силу которых саксофонисты передвигались вверх, а членимые женщины – к финалу. «Мы к вам, Эмбек Азатович», – сказал старший сантехник, став у него над душой. «Лидочка, после», – распо-

рядился тот, и женщина упорхнула. «Присаживайтесь, молодые люди, – сказал Эмбек Азатович, полуприкрывая морщинистые веки. – Чем могу служить?» Старший сантехник, стесняясь, изложил проблему. «И вы думаете, чем я вам посодействую?» – отстраненно спросил Эмбек Азатович. У старшего сантехника не было подготовленного ответа, и он апеллировал к громадному опыту Эмбека Азатовича вообще. «Вот что, молодые люди, – сказал тот, откидываясь на кожаную спинку. – Я вам расскажу сейчас одну притчу, а вы сделаете из нее выводы для себя, если сможете». Сантехники, несколько затронутые этим тоном, тем не менее попросили его сделать одолжение и рассказать им эту притчу. Он глухим голосом, останавливаясь в те мгновенья, когда мимо проходил кто-нибудь с шумной импровизацией или волокли на сцену пианино, рассказал историю о фее, покаравшей некогда город Усть-Степь.

Вот что там вышло.

Давным-давно, когда сказочный народец переселялся из Европы на Острова Блаженных, одна фея, отставшая от стаи, поскольку ей надо было уладить некоторые дела в английской королевской семье, сделала по пути остановку в городе, который назывался, положим, Усть-Степь. В номере местной гостиницы, где она решила провести ночь, с тем чтобы утром вновь пуститься в путь, оказалось холодно, обогреватель ей не дали, потому что употреблять отопительные приборы с открытой спиралью было запрещено, а других не было. Она попросила кипятильник, чтобы превратить его в обогреватель, но кипятильники тоже были денонсированы. Она была женщина пожилая, зябкая и привыкшая хоть к минимальному, но все же комфорту. Под плоским одеялом нездорового цвета она долго

ежилась и подбирала ноги. В темноте, лежа с открытыми глазами, она слушала утробный вой в системе отопления, вспоминая золотые яблоки и тихие эльфийские хороводы на Островах. Когда она уже дремала, а кончик носа, высунутый из-под одеяла, отмерзал на посту, как *enfant perdu*, соседи за стенкой запустили мульткараоке и начали исполнять песню сорняков. Она очнулась и постучала туфлей в стенку, ей ответили коллективным обещанием сглодать овес и уничтожить кукурузу. Она высунула руку из-под одеяла, нашарила на тумбочке волшебную палочку, и караоке за стенкой лопнуло, а у соседей село горло. Она уснула. Часа через два сходбище с гитарой и девочками за окном снова ее разбудило. Струны она порвала, поющих превратила до утра в резные фигуры гномов и зебр в детском городке, а в девочках вызвала неистребимый позыв выучить химию на завтра. Соседи хрипло спросили в дверь, нет ли у ней чего от горла. Она вернула им органический звук в объеме сорока процентов, но караоке не восстановила. До шести утра она получила возможность спать спокойно, а с этого момента в артиллерийском училище напротив гостиницы курсанты в рамках подготовки к юбилею учебного заведения вышли на плац и принялись ходить по нему с песней «Девочкой своею ты меня назови» и свистом на рифмах. Она была в общем дама благодушная, но и у нее были свои пределы, а старость делает женщину раздражительной. Она вылезла из постели, в своей ночной рубашке и с нечесаными седыми волосами, распахнула окно навстречу морозному утру и, взмахнув рукой, в запале досады прокляла этот город, продекламировав над его улицами и площадями стихотворение Николая Грибачева «Высшая любовь». Для тех, кто его не помнит, приведем его полностью:

Снега и травы, соловьи и ливни,
Гряды холмов, леса, речная гладь...
Что объясняться родине в любви мне,
Привычное привычно повторять?

Что говорить о том, как по-сыновьи,
Под завихренья личной суеты,
Я радуюсь,
                    в ней замечая новые
Спокойного величия черты?

Ни жарче ей, ни холодней от слова.
Ей надобны дела,
                                дела,
                                          дела,
Как высшая всего первооснова,
Что к озареньям разума вела.

С чем в поле утром шла, и в цех завода,
И в бой, и в путь немеряной длины,
С чем штурмовала
                                 бездны небосвода
До рубежей Венеры и Луны.

Дела, дела.
                    Вчера, сегодня, завтра
Чтоб хоть на метр вперед, на шаг один
В кипенье юношеского азарта
И выверенной мудрости седин.

Свистеть ли соловью,
                                    греметь ли бою –
Дерзай, твори и в новый день зови.
И это будет
                    высшей к ней любовью
И лучшим
                    объяснением
                                           в любви!

Слова не растворялись в воздухе, как обычно с ними бывает, но, произнесенные разгневанной волшебницей, разрастались, становились из какого-то плотного, темно-красного вещества и громоздились над городом, преграждая улицы, наглухо баррикадируя подъездные двери и застя свет в окнах пятого этажа. Город был небольшой, стихотворение Грибачева придавило его весь. Она щелкнула пальцами, по этому знаку золоченая колесница, запряженная драконами, подлетела и остановилась у карниза, и полусонные жители Усть-Степи, повылезавшие из домов, смотрели, как она, великолепная в своем гневе, улетает на темный еще запад, мелькая меж буквами слова «свистеть». И тут до них до всех, задравших головы, донеслось прощальное условие: стихи Грибачева, наказавшие город, будут висеть над ним до тех пор, пока жители не сделают из них идеального стихотворения. Вымолвив это, она растаяла на холодном горизонте.

Оправившись от первого шока, жители собрались на главной площади. Прежде просторная, с чугунной статуей отца-основателя и гулявшими по ней пыльными ветрами, она ныне занята была выражением «о том, как». Жители разместились на ней кто где мог, плохо слыша друг друга в каменных лабиринтах, и начали бурно обсуждать ситуацию. Рука основателя высовывалась из буквы О, благословляя те решения, которые они окажутся в состоянии принять. Граждане договорились до того, чтобы выделить инициативную группу, в нынешней чрезвычайной ситуации сопоставимую по полномочиям с администрацией города. Группу назвали Комитетом Высшей любви и выделили ей помещение краеведческого музея. Возбуждение улеглось, сменившись пафосом освоения мира. Пробовали буквы брать киркой и автогеном, чтобы хоть боком вылезать

из подъезда; кое-где получалось, но чаще нет. Комитет Высшей любви работал денно и нощно, в музее горел свет, усталые люди засыпали в накуренных залах на чучеле полосатого оленя.

Первые предложения Комитета были: оперативно создать институт по изучению стихотворения Н. Грибачева и результаты его исследований выносить на страницы городской прессы. Тогда же «Высшую любовь» ввели отдельным курсом в школьную программу, потеснив ею ОБЖ и серьезно ущемив в часах органическую химию. Одновременно Комитет втянулся в разбирательство с городскими властями, на чьем балансе теперь находятся буквы и кто ответствен за благоустройство территории. Поделили так, что за буквы никто материальной ответственности не несет, охранять их не следует, а имеющее произойти выветривание надо всячески поощрять и приветствовать; улицы города от слова «мне» до выражения «и в цех завода», раздавившего проходные городских электросетей, находятся в ведении жилкомхоза, новообразованное транспортное кольцо вокруг слов «дела, дела, дела» убирается и озеленяется из средств Комитета, а все остальное лежит на ответственности домкомов.

Научные исследования и сопряженные с ними уроки развития речи шли сначала стихийными усилиями энтузиастов, а потом получили методическую основу. Думали первое время, в романтическую пору науки суммаморологии, что такое хорошее стихотворение, как «Высшая любовь», само по себе недалеко от идеального, и достаточно где-то в нем переставить слова, придав ему последний лоск и штрих, чтоб задачу выполнить. Для этого писали: «Леса, холмов гряды, речная гладь», «С чем бездны штурмовала небосвода» и, подымая нетерпеливую голову, смотрели, что измени-

лось. Потом голову опускали и переходили к более смелым ритмическим вариациям, придавая, скажем, второй строфе такой вид:

Что говорить, как по-сыновьи,
Под суеты завихренья личной,
Радуюсь, в ней замечая новые
Черты спокойного величия?

Потом уже дерзали от каботажного плавания по тексту уйти в свободное творчество, всемерно придерживаясь, однако, державной поступи первоисточника, с призывами вроде «Дерзай греметь, как цех завода» и лейтмотивом любви к родной земле, пусть и переживающей временные неудобства. В исследованиях отмечали вообще, как стилистическую доминанту, скудость личных форм глагола, и между прочим то, что единственной личной формой настоящего времени является слово «радуюсь», и делали из этого почти мистические и во всяком случае нравственные выводы. В школе уроки давали на эту тему, и каждый учащийся знал, что слово, емко рисующее авторскую эмоцию, стоит в седьмой строке, а на уроках краеведения делал доклад, что на это емкое слово можно посмотреть на улице Песцеватого, сразу за моргом, напротив троллейбусного депо, на нем местные дети выцарапали ряд других емких слов, но к ощутимым успехам выветривания это не привело. Отмечали, что в стихотворении 120 ямбических стоп, и если разделить его по принципу золотого сечения, то середина придется на слово «небосвода», и случайным это назвать нельзя, язык не повернется. Всякий транспорт прекратил существование; по некоторым улицам было вообще не пройти, и их понемногу покинули, оставляя крысам и тле-

нию; в некоторых, наоборот, проходимость была хорошая, и они расцветали, там открывались супермаркеты, услуги связи, ночные клубы и совсем подозрительные центры структурирования воды. Жилье там дорожало невообразимо, люди обогащались, продавая комнаты в коммуналках. Буквы выкрашивали в привлекательные цвета, а ночью они горели неоновой рекламой. Комитет забирал все больше власти, претендуя на неподотчетное планирование городского бюджета, и когда администрация попыталась его укоротить с помощью силовых органов, люди по призыву Комитета высыпались из домов, с плакатами «Хоть на метр вперед к озареньям!» и «Чем свистеть, дерзай!» засели меж буквами слова «по-сыновьи», выходившего торцом на здание администрации, и пообрывали силовым органам руки, когда те пытались надавить на общественность в лексических теснинах. После этого вся власть перешла Комитету, и он, урезав расходы на тяжелую промышленность и здравоохранение, бросил силы на синтаксические исследования и прокладку коммуникаций через словесные ряды. Тут обнаружились новые настроения. Поскольку долгие годы, чаянья и траты не приводили к единственному результату, оптимистический рационализм Комитета терял кредит доверия в обществе. Где-то в подземных трещинах заводились секты, проповедовавшие, что условие об идеальном стихотворении – на самом деле соблазн, ложное условие, которому надо противостоять, смиряясь перед наличным стихотворением и храня в нем каждую букву, пока послушанию не выйдет срок, нам неведомый. Комитет отлавливал таких проповедников и судил их скорым судом, но их косноязычные тирады соблазняли общество, и не в одной дружеской компании, за сытным столом глядя в окно на какой-нибудь

суффикс прошедшего времени, загаженный голубями, вполголоса говорили: «Черт знает, Паш, может, они и правы... Ведь смирение, в самом деле, города берет... Вот и Достоевский...» Комитет отлавливал и таких, кто не к месту поминал Достоевского, давал им публично покаяться по радио, а потом девал неведомо куда. Официально объявлялось, что Достоевский имел в виду совсем другое, осуждая, наоборот, левацкий уклон в смирении, и его известную фразу «Это не то» надо понимать именно в таком смысле. Ропот нарастал в обществе, Комитет высшей любви поставил гильотину под словом «немеряной», и там по пятницам пошли разыгрываться казни, пока на респектабельных северных окраинах, прикрытых от холодных ветров теснотою словесного ряда, не вспыхнул бунт дизайнерской группы «RAUM UND DURCHGANG», хотевшей социальных гарантий, и был поддержан одичавшим комбайновым заводом и работниками сферы обслуживания. Кровавый хаос, разразившийся в кассе букв и слогов, кончился тем, что верхушка Комитета, плененная на экстренном заседании ворвавшимися дизайнерами, была отправлена по накатанной дороге, *Под немеряную*, как ее звали в народе, а победившие дизайнеры составили новый Комитет пересмотра высшей любви, чьим лозунгом было общественное примирение и сотрудничество сословий. Но мысль, долго бившаяся о стихи, устало закоченела, а меж тем расцветал на мостовой эротический словарь веселящейся толпы, в котором и «гряды», и «повторять», и «завихренья» приобретали ужасающий по скабрезности смысл, и в то время как в бельэтажах, под негромкий разговор высшей образованности, исполнялись изящные эротические эпиграммы:

Радуюсь я, что от холмов Венеры привычно до бездны
Выверенной повторять будет и путь мне, и бой, –

в казенных кабаках, не обинуясь тем, что «гладь» – все-таки существительное, а не призыв, а «штурмовала» – глагол, а не «кого-чего», под визг хроматической гармошки пели пронзительно-ядреные тексты вроде следующего:

Жарче штурмовала гладь!
Чтоб кипенье повторять,
Завихренья надобны
Мне немеряной длины!

Новый Комитет пересмотра не знал, чего ему хотеть от себя и общества; на его заседаниях одно время серьезно рассматривали концепцию невмешательства в текст, основанную на том, что «Высшая любовь» исторически стала градообразующим фактором, под действием которого сложились на данный момент удовлетворительно функционирующие инфраструктуры, способы ориентации, морально-нравственные ценности и ряд процветающих научных дисциплин, таких как стихотопография; потом заметили, что эта концепция мало чем отличается от сектантской трактовки стихов Грибачева как Божьего бича, и решили ее членораздельно не оглашать, но на практике ее придерживаться до появления лучшей. Люди со временем дичали, из принудительных слов у них ничего не выходило, а с другими они не могли, и теперь в быту объяснялись больше криками и жестом. Институт держался дольше всего, там были рафинированные интеллектуалы, умевшие из тридцати восьми существительных делать чудеса, а когда открылся способ производить их

из других частей речи, вследствие чего лексический запас пополнился словами «личность», «повторизна», «впередище» и «гремля», это отмечено было трехдневным гуляньем с массовыми насилиями над личностью, повторизной этих насилий и фейерверками из смоляных бочек. В подвалах развивались черные магические практики; из уст в ухо передавали, что кому-то удавалось с помощью магического слова ТЛИДВЧД, составленного из каждой седьмой из первых сорока девяти букв текста, призвать духов земли, древних циников с экземой на лбу, и они дали какие-то положительные пророчества о судьбе города, но каким количеством непорочных младенцев эти интервью были покупаемы, прямо не сообщалось.

И в конце концов настал момент, когда люди покинули город. Они вышли из него угрюмой стаей, не оглядываясь, отбивая набеги волков и оставляя на снегу больных паршой. Они дошли до близлежащих гор, выжили пещерных медведей из их обиталищ и вселились туда со свирепой уверенностью в том, чего выразить словами не могли.

А в городе осталась одна старушка, тронувшаяся рассудком еще в первой молодости и ходившая вечно в соломенной шляпке; не приходясь никому родней, питалась она чем Бог пошлет, и Он, наказав ее земляков ямбическими строками, ее бедности не забывал. У нее перед балконом, куда она сыпала залежавшиеся крошки земляничного печенья и стирального порошка для голубей (давно уж улетевших, потому что голуби не живут там, где нет людей), громоздилась буква Ж из слова «жарче», через которую свет проникал только с девяти до половины одиннадцатого утра. Сидя в полумраке, она вела бесконечные беседы со своим кавалером, который у нее то ли когда-то был, и она из-за это-

го повредилась в рассудке, то ли его никогда не было, и повредилась она из-за этого, – неважно, но она говорила за них обоих, от себя ласково упрекая его за ветреность и от него горячо опровергая ее обвинения и предъявляя какие-то там доказательства своего постоянства. Бесконечные эти разговоры их обоих не пресыщали, потому что больше заниматься им было нечем. Однажды зимним утром, выглядывая с вытянутой шеей в просветы буквы Ж, она замечала снежные пологие холмы, окрашенные розовым, и раздумывала, хорошо ли было бы сейчас, взяв своего кавалера с собой и выбравшись из загроможденных высшей любовью улиц, оказаться в ветреном поле, с качающимися былками мертвой лебеды, чтобы там снова завести их нежные укоризны и пылкие оправдания. И вот, раздумывая об этом, она почти механически сказала себе:

Холодней будет
о том, что привычно, мне
в поле говорить.

Это и было то идеальное стихотворение, которое столько лет тяготило город: и тяжкие, облупившиеся буквы, в которых ночевали бездомные и собаки, тут же рассеялись, точно их никогда не было; и люди, ушедшие в бесплодные горы, подняли глаза от своих мотыг и смотрели, пытаясь понять, что изменилось в обыденном поле их зрения.

– Боюсь, это все, чем я могу вам помочь, – закончил Эмбек Азатович.

Последовала минутная тишина.

– И что вытекает из этой притчи для нас? – с недипломатичным нажимом спросил средний сантехник.

Эмбек Азатович пошевелился.

– Если бы я хотел сказать, что вытекает из этой притчи, – ответил он с легким раздражением, – я должен был бы рассказать ее заново от начала до конца. Вы на этом настаиваете?

– Ни в коем случае, – поторопился старший сантехник.

– Прекрасно. Тогда, я полагаю, я ответил на ваши вопросы.

– Эмбек Азатович, – искательно сказал старший сантехник, – можно мы вам в филармонию японскую виолончелистку подарим? А то у нас лишняя.

– Японскую, говорите. – Эмбек Азатович пожевал губами. – А как она в смысле выездов в подшефные колхозы? Не заноет? Справки не понесет из поликлиники?

– Выдержит, – подумав, сказал Семен Иванович. – У них там бусидо. Строго очень с вассальной верностью. Чуть что не так – давай животы кроить.

– Что же, приводите, – благосклонно сказал Эмбек Азатович. – Где-нибудь в пятницу, ориентировочно, у нас оценка и прием. А сейчас – извините, концерт начинается. Всего хорошего.

Старший сантехник, ударив себя по коленям в знак завершения и поднявшись, потянулся к выходу; за ним шел средний, шипя ему в сутулую спину: «Надо было виолончелистку сразу дарить. Он бы, может, почувствовал себя обязанным». Сзади грянул магнитофонный звук, и занавес с шелестом разъехался под плески зала. Отчетный концерт застал их на месте, уходить теперь было неудобно. Они присели с краю.

Глава седьмая,

где репертуар гармонично сменяется пантеоном

На сцену, благожелательно колеблясь телом, вышла женщина-конферансье в праздничных блестках.

– Дорогие друзья, – авансом нарекла она присутствующих, – мы начинаем концерт, посвященный юбилею нашей филармонии. Сегодня мы славим творческий Дух, который из века в век один и тот же, потому что дух не имеет возраста. Его откровения были явлены Платону, Данте, Веласкесу, Даниилу Андрееву и Николаю Рериху, когда он общался с махатмами, ашрамы которых скрыты в Гималаях. На Земле, как становится теперь известно благодаря исследованиям энтузиастов, есть точки, где Дух выходит на поверхность, знаменуя свое появление невиданной творческой мощью сверхсознания поэтов, пророков, архитекторов, мастеров садово-парковой пластики. Эти точки складываются в таинственную карту, исследования которой сейчас ведутся. Одной из них является Зальцбург – место, где родился и вырос Вольфганг Амадей Моцарт, звезда первой величины в мире музыки...

– Нулевой, – сказал средний сантехник. – Как минимум.

– Ты чего произнес? – не понял старший.

– Звезда нулевой величины. А еще более блестящие – звезды отрицательной величины, такие, например, как Сириус, альфа Большого Пса, и Канопус, альфа созвездия Киля, и которых совершенно нет в таких созвездиях, как созвездие Мухи, Насоса и Столовой Горы.

– Жаркий Сириус стоит в зените, трещат цикады, женщины становятся похотливы, а мужчины бессильны, – задумчиво сказал старший сантехник.

– Где прочел? – поинтересовался средний.

– У Виталия Бианки, – ответил тот. – В «Лесной газете». Рожь вытянулась выше роста человеческого, цветет уже. В ней, как в лесу, ходит полевой петушок со

своей куропаточкой, а за ними желтыми шариками катятся куропчата.

– Надо перечитать, – решил средний.

– Говорят, на Сириусе тоже есть разумная жизнь, – промолвил старший сантехник с той же задумчивостью. – Представляешь, Василий. Далеко-далеко за черной бездной, куда за сто рублей на такси не доедешь, тоже пульсирует исследовательская мысль, проводятся конференции, круглые столы с минеральной водой «Боржоми» номер пять, посвященные подростковой преступности, выездные заседания диссертационных советов, и даже, чем черт не шутит, банкеты по их окончании, когда разрумянившийся диссертант конфузливо принимает заслуженные поздравления! И вот мы сейчас с тобой сидим, занятые обдуманной речью профессиональной женщины, а тем временем там, далеко, в такой же филармонии, построенной в ихнем девятьсот одиннадцатом году, тоже идет отчетный концерт, и люди замирают на своих откидных местах, подверженные сладкому влиянию неземных аккордов.

– Знаешь, Иваныч, – отнесся средний, – мне в общем близок твой культуртрегерский пафос, и я искренне жалею, что придется из принципиальных соображений его охладить. Святая просветительская уверенность в том, что разуму вообще свойственны одни и те же законы, вследствие чего можно, например, написать обладающий универсальной приложимостью план-конспект урока по рассказу Пришвина «Кладовая солнца», – эта уверенность потерпела крах в ходе Великой Французской революции и окончательно после полета Белки и Стрелки. Нет никаких гарантий, что негуманоидный разум совпадает в базовых посылках с нашим. Смешно тратить средства налогоплательщиков, транслируя в пространство теорему Пифагора с

надеждой, что там уловят суть притязаний. Иначе говоря, есть основания подозревать, что мы сейчас одни во вселенной наслаждаемся музыкальным искусством в специально построенном для этого общественном здании.

– Очень жаль, – сказал на это старший сантехник. – Ты серьезно отравил мне вечер.

– Творчество Моцарта, – продолжала о своем женщина-ведущая, – одна из вершин человеческого духа, достигнуть которой дано лишь тем, кто в своих запросах не ограничивается одной оранжевой чакрой. Жизнеутверждающее, несокрушимое творчество Вольфганга Амадея не устает влечь к себе людей, заряжая их энергией ноосферы. Сегодня сводный хор филармонии исполнит для вас «Реквием», созданный Моцартом на его одре и довершенный...

Незнакомый человек в черном, зачем-то пригибаясь, прошел вдоль рядов, вспрыгнул на сцену и скрылся за кулисой, откуда высыпали многочисленные женщины в белом, семеня друг за другом, как гуси на прогулке, и сноровисто выстраиваясь в два ряда. Одна из них, отслоившись от коллектива, направила озлобленное лицо к публике и сказала:

– Интроитус. Реквием этернам. За роялем – Децим Редондильев.

Указанный Редондильев, залихватски тряхнув головой, ударил бессловесными пальцами по роялю, и по этому знаку женщины, внутренне подобравшись, принялись на беглой латыни просить Господа, чтобы он даровал им (не им собственно, сводному хору филармонии, которому еще жить да жить и у которого какие его годы, а третьим лицам, ближе не охарактеризованным) вечный покой и чтобы вечный свет светил им (опять-таки не хору, а третьим лицам). Когда мольба

завершилась, хочется надеяться, успешно, женщина, предварявшая номер, снова отделилась от группы и сказала, глядя в микрофон с нескрываемой неприязнью:

– Кириэ. Те же.

Те же пропели «Кириэ», а потом затянули «День гнева». Средний сантехник, пытавшийся вполголоса им подпевать, наконец сказал с раздражением:

– Каша во рту. Вокализ один. За ними не подхватишь.

– Куда это мужик запропастился, – спросил старший, которому все не давал покоя черный человек. – Туда ушел, а оттуда не вышел.

– Там, небось, черный выход, – равнодушно сказал средний. – Чего ты боишься за него? Он себе дырочку найдет. Посмотри, девка за роялем разулась.

Действительно, рослая девица, в нижней части заслоненная роялем Редондильева, исподтишка вылезла из концертных туфель и тихонько шевелила накрашенными пальцами, то ли упиваясь тайной свободой, то ли проверяя, может ли она владеть членами, как бывало прежде. К ее пению, сообщавшему, что день гнева обратит мир в прах и золу, это растительное шевеленье служило оптимистическим комментарием.

– Вот кому хорошо, – заметил средний сантехник, толкая соседа в бок.

Когда «Реквием» был отпет и женщины, с солнечными улыбками, удалялись со сцены под громкие аплодисменты, а заинтересовавшая сантехников девица успела, невесть когда, впрыгнуть в свои туфли и уходила на них со сцены, как порядочная, – из-за кулисы показался человек в черном, оказавшийся теперь вторым конферансье. Он был человек скупой на разъяс-

нения или просто не в духе и ничего про ашрамы докладывать публике не стал.

– Увертюра, – известил он, – из оперы Евстигнея Фомина «Ямщики на подставе».

Выкатившиеся к публике разбитные балалаечники грянули что-то наводящее на мысль о полете валькирий вдоль Владимирского тракта; к ним, подумав, присоединились деревянные духовые, и вскоре картины жизни ямщиков, колоритно выведенные Евстигнеем Ипатовичем, с его непреходящим интересом к народному быту и фольклору, всецело завладели вниманием собравшихся.

– Мне это мама напевала, – вспомнил старший сантехник. – В колыбели.

– Ну и анамнез, – с уважением высказался средний.

– Только там еще слова были. Какие-то.

– Мама тебе пела либретто оперы «Ямщики на подставе»? – уточнил тот недоверчиво.

– Тонкой была культуры женщина.

– И как спалось? – поинтересовался средний.

– По-разному, – просто сказал старший.

Отгремела задушевная музыка Евстигнея Фомина, которой, однако, не судьба была положить начало народной музыкальной драме – эта судьба, тоже непростая, терпеливо поджидала оперу Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Вслед за умолкшей темой подставы на сцену красиво вышел артист драматического театра, с удовольствием неся на погляд зрителю свою большую импозантную голову, служившую в иные времена головами разных исторических личностей, в том числе Юлия Цезаря в постановке из Бернарда Шоу и царя Берендея в пьесе Островского.

– Друзья, – сказал и он с холодноватой интимностью. – Для нашего сегодняшнего концерта нам за-

хотелось возродить такой угасший несколько эстрадный жанр, как чтение художественной прозы. Наша земля традиционно щедра на таланты, она их не зарывает. У нас есть множество авторов, чья проза буквально просится на сцену. Но вперед всех просится проза Антона Антоновича Уцкого. Широкий читатель с одобрением принял его роман «Под обрывом, где корни ветлы» и повесть «Антонина». Его невообразимо сценичная проза веет меткой наблюдательностью и терпкой искренностью автора, которым много исхожено и исколешено по российской глубинке. Думая вместе с Антоном Антоновичем, что бы выбрать для сегодняшнего концерта, мы остановились на главе из его нового романа «Чей там след на завалинке», который выходит в свет в старейшем нашем издательстве «Каторжный полиграфист».

Он изготовился к чтению. Антон Антонович Уцкий, плотный мужчина с рыжеватой бородой, бурно волновался в третьем ряду, рукою подсказывая чтецу нужные повышения и понижения тона.

«Разбитый автобус марки ЛИАЗ, – читал артист, – видать, много уже наколесивший по отечественным проселкам и хлябям, принял меня в свои тесные недра, тормознув у выкрашенной синей эмалью ракушки-остановки.

– Сколько до Новокладбищенского? – спросил я у водителя.

– Тринадцать рублей, – отозвался он, не повернув в мою сторону обветренного, небритого лица. Я выгреб из кармана джинсов груду мелочи, насчитал три рубля и вместе с мятой десяткой высыпал в его широкую руку. Перед ним на пропыленном стекле была прилеплена иконка – Николай Угодник. Выше, под самым резиновым шнуром, окружающим стекло, моталась выц-

ветшая фотография, должно быть, вырезанная из какого-то глянцевого журнала. С нее призывно глядела пышнотелая блондинка, раскинувшаяся на морском берегу, у самого прибоя, подкатывавшегося к ней кружевами пены, как пляжный охальник со своими шуточками.

«Вот так мы, – подумал я, – сами не замечая того, в самой жизни своей пытаемся соединить вещи, совершенно несоединимые, – и вольготно живем в противоестественности этих сочетаний. Что это – кощунство или недомыслие? Нет, скорее, – просто беспечность детей мира сего, упивающихся своими играми. Отпусти же нам, Господи, этот грех, ибо он еще не самый тяжелый!»

А в автобусе, где столбами стоящую в воздухе дорожную пыль остро пронизывали солнечные лучи, шел спор – жаркий и, видимо, начавшийся задолго до моего появления.

– Да ладно, не бухти, тетка Авдотья, – раздраженно говорил крупный мужчина в синей рубахе, распахнутой на груди, и брезентовой шапке, по виду – механизатор или заядлый грибник. – Не говори мне. Я не вижу никакой связи между базовыми принципами классицизма – ну, прежде всего, принципом подражания образцовым авторам – и лексическим пуризмом. Так он, этот пуризм, чисто случайно вырос. С боку припека. Мое такое ощущение.

– Миша, Миша, – укоризненно качала головой сухонькая старушка в цветастом платке и с алюминиевым бидоном, зажатым между ее калошами. – Ну вот хороший ты парень, всем взял, но как упрешься на своем – тут уж святых выноси. Ну что ты говоришь-то, подумай. Это ты, значит, хочешь сказать, что пуризм не является чем-то таким, что вытекает с неизбежно-

стью из классицистских установок? Такого ты, значит, об нем понятия?

– Как хочешь – да, такого. Он всегда казался мне чем-то наносным. Даже в школе еще. Я только говорить не хотел, боялся, засмеют. А теперь вижу, люди и сами так думают, да сказать боятся.

«Где мне ночевать-то придется, – думал я, рассеянно слушая спорящих. – В Новокладбищенском у меня никого. Ну да свет не без добрых людей. Сколько верст по России исхожено, и нигде без крова на ночь не оставался, и самая жгучая бедность уживается у нас, в глухих уголках, с гостеприимством и бескорыстием, скромными чудесами земли».

– Правильно, братан! – одобрительно крикнули сзади. – Режь матку-то!

– Жену свою учи щи варить, – холодно отозвался Миша, не допуская посторонних в дискуссию.

– То есть, – волновалась тетка Авдотья, – когда Буало в «Искусстве поэзии», где площадь, как в газете, на квадратные сантиметры продается, говорит о «педантической пышности надменного Ронсара» – это, значит, личная неприязнь Буало к Ронсару и ничего больше? Будь, значит, Буало в других мыслях – все, глядишь, наоборот бы повернулось?

– Да, – упорствовал Миша. – Это у них на словах принципы, а на самом деле – один голый интерес. Как и везде. В город вона съезди – там то же самое.

– Ну, знаешь, Миш, дурак ты после этого. Прости мне, старухе, откровенность. Я тебя вот такого еще знала. Мне не веришь – Альбину свою спроси.

– Она в городе нынче. На базаре творог продает.

– Ну так вернется к ночи-то, не ночует же она там. Вот и спроси. И не позорься вперед на людях-то.

Миша пробурчал что-то, и наступило тяжелое молчание, люди осерчали друг на друга и затаились в своей обиде. Не скоро она рассосется в их сердцах, не скоро Миша улыбнется тетке Авдотье, а она подвинется ближе, чтобы спросить: «Ну как Колька-то твой в пятом классе? Чай, задают много?» Ничтожны поводы к человеческим трениям, но приводят зачастую к громадным последствиям – как стройный шаг взвода, от которого колеблется и проваливается на совесть выстроенный мост.

Тут я пошевелился и вполголоса произнес стихи:

Жалобно в лесу кричит кукушка
О любви, о скорби неизбежной...
Обнялась с подружкою подружка
И, вздыхая, жалуется нежно:

– Погрусти, поплачь со мной, сестрица!
Милый мой жалел меня немного,
Изменяет мне и не стыдится,
У меня на сердце одиноко...

– Может быть, еще не изменяет, –
Тихо ей откликнулась подружка, –
Это мой стыда совсем не знает,
Для него любовь моя – игрушка.

Прислонившись к трепетной осинке,
Две подружки нежно обнимались,
Горевали, словно сиротинки,
И порой слезами заливались.

И не знали юные подружки,
Что для грусти этой, для кручины,
Кроме вечной жалобы кукушки,
Может быть, и не было причины.

И когда задремлет деревушка,
И зажгутся звезды над потоком,
Не кричи так жалобно, кукушка!
Никому не будет одиноко.

Все затаили дыхание, боясь спугнуть музыку поэзии, наполнившую на мгновенье пропыленный и пахнущий бензином автобус. Миша от внимания приоткрыл рот, а тетка Авдотья почему-то застеснялась и, нагнув голову, аккуратно расправляла коричневыми заскорузлыми руками подол своего платья.

Я замолчал.

– Да! – восхищенно выдохнул Миша, поворачиваясь ко мне всем своим большим телом. – Вот это... я скажу вам! Это чье? сам, что ли, так умеешь складно?

– Нет, – сказал я. – Это Николай Рубцов. Был такой поэт.

– Как же мы... – заволновался он, стискивая сильными пальцами край скамейки. – Как же мы так живем и не знаем этого? Почему же нам этого не сообщили? Ведь это все о нас... пойми, это обо мне, о ней – о нас! А что этот Рубцов, его не издают? Замалчивают?

– Почему, – ответил я, идя к двери: Новокладбищенское, моя остановка, приветно виднелась за поворотом дороги. – Издают. В магазине можно найти.

Я уже выходил, но водитель, загораживая мне выход, снова протянул свою большую руку. «Что он, за выход отдельно берет?» – невольно подумалось мне.

– Слышь, земляк, – застенчиво позвал он. – Ты это... дай слова списать. У дочки сегодня день рождения. Подарю ей. Скажу, для нее написал.

Я улыбнулся ему и сошел из остановившегося автобуса в густую солнечную мрель травяного поля, где веял душистый ветерок, шевелящий мне волосы».

Все искренне зааплодировали артисту, который сдержанно кланялся, и Антону Антоновичу, нервно улыбавшемуся из кресел.

– Может, этого позовем? – осенило старшего. – Вась, задержи, пока не ушел. Давай быстрей, ведь его продекламировали уже, что ему тут делать!

Средний сантехник с сожалением покачал головой.

– Не выйдет, – сказал он. – Видишь, он все по правде пишет. Он же ездит по самой гуще и из нее прямо черпает начистоту. А у нас прикидывать надо, куда врать, чтоб складно вышло. Нет, не возьмется.

На сцену снова вышла ведущая в блестках.

– Оскар, – значительно сказала она, – Уайльд. «Саломея». Драма в одном действии. Исполняет Ираида Богушко.

На сцену стремительно вылетела женщина лет пятидесяти, в очках и со стрижкой каре, одетая в белую майку, белую же теннисную юбочку, гольфы и кроссовки и с теннисной ракеткой в руках.

– Я там не останусь, – с выстраданной решимостью бросила она в зал. – Я не могу там оставаться.

– Чего это она? – забеспокоился Семен Иванович. – Обидел кто?

– Театр, известное дело, – сказал средний сантехник: – интриги и больные самолюбия. Ты не представляешь себе, Иваныч, какая это нездоровая среда. На сцене изволь блистать терпеньем и талантом, а за кулисами ежечасно унижают твою личность. И все через койку. Даже зайца на утреннике без этого не сыграешь.

– Странно, что муж моей матери так смотрит на меня, – подтвердила его пессимистические наблюдения женщина с ракеткой. – Я не знаю, что это значит. Нет, по правде говоря, знаю.

– Ты глянь, ее отчим домогается. Вот кобель.

– Подсудное, вообще говоря, дело. Только не докажешь ничего. Выкрутится – скажет, от избытка отеческих чувств.

– Как хорошо увидеть луну! – вдруг трепетно сказала Ираида Богушко, протягивая руку, свободную от теннисных принадлежностей, к выходу из зрительного зала, куда все посмотрели; запоздалый человек, протиравший очки при дверях, отчаянно заметался и застыл, мечтая исчезнуть. – Она похожа на маленькую монетку. Можно подумать, что это крошечный серебряный цветок! Ее красота – красота девственницы... Да, она девственница, – подытожила она, обследуя луну проникновенным взглядом.

– Слушай, Вась, чего она ночью пошла в мячик играть? Чтобы до утра шариться по кустам, куда он делся?

– Да, ты, Иваныч, крупно отстал от жизни. На кортах же везде подсветка. Можно играть, если небо в трубочку свернется. И потом, может, она в крытом зале играет. Театр – это же условность. Как бы стену сняли, минимум одну.

– А луну как она видит в крытом зале?

– Ну, а стену-то, о чем я тебе говорю, для чего сняли? Все видно. Прелести пейзажа и удовольствия игры, пожалуйста вам.

– Стену, вишь, сняли, – неодобрительно сказал старший сантехник. – Комаров только напустить. Баловство.

– Я влюблена в твое тело, – адресовалась Ираида Богушко к теннисной ракетке, кратко переговорив перед этим с каким-то Наработом, которого она загрузила поручениями по хозяйству. – Коля, убавь низы, – отнеслась она к человеку за кулисой, ответственному за музыкальное сопровождение. – Твое тело, – вернулась

она к ракетке, – бело, как лилия долины, которой никогда не касалась коса жнеца. Ни розы в саду царицы Аравии, ни грудь луны, когда она покоится на груди моря, – ничто на свете не сравнится с белизной твоего тела. Твои уста краснее, чем лапки голубей. Позволь мне поцеловать твои уста.

– Вот что значит любить свой инструмент, – наставительно сказал Семен Иванович. – Как человек душой за него радеет. Потому что когда инструмент содержится в порядке, им работать приятно.

– Ты это к чему гнешь, старый? – неприязненно спросил средний сантехник, будучи хорошо знаком с его речевыми ухватками.

– К тому, что сколько раз я тебе говорил, вантуз вымой уксусом. Правду артистка говорит, как лапки голубей. В руки брать противно.

– Отвяжись, ради Бога. Посмотри лучше, женщина в пляс пошла.

Ираида Богушко, действительно, не переставая вслух с кем-то пикироваться, пустилась вдоль сцены, добросовестно демонстрируя фигуры матросского танца. При этом ракетка выступала то воображаемым канатом, который она перетягивала, задорно соревнуясь с другими матросами, не занятыми в настоящий момент на вахте, то веслом шлюпки, которым она табанила не за страх, а за совесть, а то грот-марса-реей, куда она неостановимо лезла.

– Ты пойми, Василий, ты приходишь к людям, и они тебя встречают не по уму – нет, по уму они тебя будут провожать. А встречают они, брат, тебя по тому, как ты инструмент предъявишь. А ведь люди сейчас разные. Очень разные люди. Вот представь, зашел ты в дом, жена – преподаватель сольфеджио, муж забежал между лекциями супу похлебать, сын черепашку кормит для

опытов. Тебе не стыдно будет, что они тяготятся твоим наличием, наблюдая, в каком скаредном убранстве ты посетил их дом? Сможет ли мать сказать ребенку: наведи порядок на рабочем столе, файлы убери ненужные, если ты только что подал ему такие растлевающие примеры?

– Я поцеловала твои уста! – трубно вскричала Ираида Богушко, глядя сквозь очки страшными очами на ракетку. – Они были соленые от крови! Но, может быть, это вкус любви! Какое значение!

Она осторожно упала на сцену в смертных корчах. Все встали и зааплодировали. Ираида Богушко встряхнулась и экстатически поклонилась публике. Пугливая девочка в нитяных колготках выглянула на сцену подарить цветы; артистка махом подхватила ее под мышки вместе с затрепетавшим букетом.

– Это мощь! – зачем-то прокричала она, уволакивая в кулису агонизирующую девочку, видимо, чтобы чай с нею пить. – Мощь! Я вам рада, зритель!

На сцене снова показалась ведущая.

– Издревле сладостный союз, – оповестила она, – связывает филармонию с областным драматическим театром имени И. П. Елагина. В этом году драмтеатр отмечает свое символическое двухсотпятидесятилетие, ведя отсчет с того момента, когда Иван Перфильевич бросил перо на законченный им перевод комедии Жана Батиста Мольера «Нелюдим» и вышел в вечерний сад. Два с половиной столетия были заполнены беззаветным служением Музе и зрителю. В эти нелегкие для искусства годы областной театр не уставал утверждать классические заветы, одновременно ища новых путей. Сбылись провидческие слова графа Калиостро, который, будучи гостем в радушном доме Ивана Перфилье-вича, сказал ему: «Что это у вас, батюшка, как будто

занавесью пахнет». Воистину, магическим духом кулис, тем ежедневным волшебством, которое творится за ними, пропитано...

– Сейчас бы на кушеточке полежать, – меланхолически сказал старший сантехник. – Под пледом.

– Или даже на травке, – сказал средний.

– Совсем недавно, – упорствовала ведущая, – эти стены видели новую постановку Эсхила, осуществленную главным режиссером драмтеатра Вячеславом Зигфридовичем Роговым. Скоро областной зритель сможет целиком увидеть «Орестею» на драматической сцене, но коллектив филармонии гордится тем, что ему выпала честь представить...

– Можно и на земельке даже. Если не очень сырая. Глаза закроешь, а все равно солнце видно. И такие круги перед зрением, как в калейдоскопе.

На сцену поднялся из первого ряда, на ходу дружески раскланиваясь с областным зрителем, В. З. Роговой, похожий на столяра Джузеппе по прозвищу Сизый Нос.

– Дорогие друзья, все любители театра, – сказал он, повертываясь багровым лицом к рампе. – Часто к нам подходил зритель и спрашивал: почему та или иная вещь не удовлетворяет меня как зрителя? И мы не находили, чем ответить на этот поставленный вопрос. В самом деле, мы видим, как, с одной стороны – при самой крайней благосклонности зрительской массы, а с другой – даже она не может скрыть от нас как работников театра определенного своего даже и разочарования. Часто, вглядываясь в ежедневные лица людей, я безмолвно спрашивал себя: как привести к ним эту мировую бессмертную ценность, этого Эсхила, чтоб его герои сопровождали их на работе, в магазине, в транспорте? И вот мы с хорошо знакомым всем Григорием

Ивановичем Запущенным много работали, отказывались от чего-то, а что-то принимали, говоря: да, вот это хорошо, это пойдет, и таким образом родился проект «Театральная классика лицом к зрителю», в рамках которого я рад сегодня представить новую постановку, которой наш театр готовится открыть следующий сезон, – пьесу «Медея-чаровница, или Все спать, а мы шалфей искать». Григорий Иванович с присущей ему добросовестностью проникся древним сюжетом, который поныне несет так много созвучного, и, руководствуясь заветами Александра Николаича Островского, отца нашего репертуара и, я бы сказал, пантеона...

– И как бы слышишь, как мать с крыльца зовет: «Сеня! Сенечка! чай пить!» И тогда и чаю хочется, и вставать лень, и вот лежишь, ждешь, когда она добавит: «С абрикосовым вареньем!» И уж когда она скажет, в отношении варенья, то есть, – тогда, натурально, будет рассуждение в пользу того, чтобы чаю выпить, и тут уж будешь подыматься, а в доме, как войдешь, не видно ничего, потому что солнце в глазах стоит...

На сцену по широкому жесту Рогового, отступившего к кулисам, вышла, раскачиваясь утицей, женщина лет сорока, в черной шали с познавательным рисунком и с прозрачными сварливыми глазами. Став на середине сцены, пригорюнившись для вводного монолога и сложив губы курьим сфинктером, она раздумчиво сказала:

– Не знаю, что такое. Спишь, вроде, спишь, а такое разморенье в членах. Должно, оттого, что жары варят такие нестерпимые. А на погреб попросишься спать – не пущают. Тебе, говорят, там не по мере махаться раздольно. Варвары, право слово, как есть из степных губерний. Грешно, конечно, про родного отца такое слово

износить, но куда денешь, ежели припало. Халкиопа! эй, Халкиопа!

На сцену выкатилась приземистая женщина с фанатическим лицом в бабьем уборе и застыла в качестве женской роли второго плана.

– Слышь, Халкиопа! что, заморские гости-то, что давеча приехавши, у папаши еще, аль нет?

– Вестимо, у папаши, – отозвалась Халкиопа.

– Чего делают?

– Чего же им предпринимать. Водку апробируют. Которую вы на лимонной корке изволили настаивать.

– Эдак все выкушают, идолы, – недовольно отметила та. – На понюх не уцелеет.

– Очень просто, – с готовностью согласилась Халкиопа.

– Разве сходить к ним.

– Как бы батюшка не заругались. Они нонче сильно не в довольствии, Ээт Солнцевич-то. Грозней тучи. Гости, слыхать, овчину торгуют у него, ин в деньгах не сошлись.

– Василий! Василий! – продолжал грезить старший сантехник. – Слышишь, Василий! Я ведь тогда совсем не такой был. А был я задумчивый. Бывало, уйдешь на гору, высокую-превысокую, глянешь глазами да на волжский плес, а там, далеко видать, «Граф Петр Андреевич Клейнмихель» из Ярославля идет с пшеницей, колесами по воде шлепает, – и так все зайдется-то в сердчишке моем детском, так все в нем захолонет, что, кажется, вот-вот умереть! И хочется мне тогда, Вася ты мой, обнять ну прямо весь мир, как он есть, с людьми, купцами, хожалыми, с каждой птичкой ясноголосой в гнездышке, с каждой рыбкой в норке ее песчаной, безмолвной, со всеми демонами даже – ведь и они, демоны, страдают, Божией милости не зная, и о них, об

демонах, окончательного определения досель не вынесено… Где это я, Вася?

– Пойдем, Семен Иванович, для Бога, домой, – сказал средний сантехник, тревожно глядя кругом. – Всех видели, всем до нового сценического свиданья. Пойдем, нечего нам тут наперед делать, право слово.

– Василий! – бормотал старший сантехник, ловя пальцами воздух, покуда Василий выводил его из зала, а на сцене Ясон приватно беседовал с племенным быком. – Василий! Зачем я здесь? где матушка моя? почему она забыла забрать меня с этого утренника? Здесь, маменька, плохие подарки раздают – в них мандаринки всего по две!

– Отец, у тебя нашатыря нет? – спросил средний сантехник у скучающего гардеробщика, когда они с грехом пополам выволоклись к раздаче одежд.

– Не держим, – обидчиво сказал тот.

– Найди, – внушил ему средний сантехник, перегнувшись через фанерный прилавок. – Не видишь, к человеку сострадание приступило. Неконтролируемое. Найди, тебе говорю, гардиан!

– С собой носи, – гадко сказал гардеробщик, отворачиваясь к носильным вещам.

Тут средний сантехник прикрыл горящие глаза и в компенсаторных целях представил себе, как он перепрыгивает через прилавок, за которым притаилось это откровенное отребье человечества, и выхватывает швабру из рук уборщицы, тщетно пытающейся за ней спрятаться. Как он, далее, с этою шваброй начинает преследовать гардеробщика, а тот, почуяв беду, с нестройными визгами скачет вглубь густо раскачивающейся одежды, и гневный ловец, подавляя громко стучащее сердце, ищет его, прислушиваясь к шелесту шелков и фалд, принюхиваясь к запаху нафталина и чужих тел. И как

он наконец, нагибаясь под тяжелые бурки, пахнущие горьким дымом и свирепой овчаркой, и приподымая подолы мини-юбок, догадывается искать гардеробщика по окончаниям его ног, а тот пищит: «Так нечестно», пытаясь всякими акустическими ухищрениями скрыть источник писка. Тогда сантехник предлагает ему звенеть в колокольчик, чтоб у них было равноправие, и гардеробщик звенит в него какое-то время, бегая меж людских одежд, но в зрительном зале решают, что это сигнал к антракту, и бросают Медею в тот момент, когда она морочит головы легковерным дочерям Пелия, чтобы пойти взять деньги из своих черно- и просто бурок и сходить с ними в буфет за чашкой кофе и песочным пирожным. Но гардеробщик, дорожа своей жизнью, манкирует прямыми обязанностями и не выходит к людям, нетерпеливо стучащим железными номерками по прилавку, – более того, он перестает и звенеть колокольчиком, окончательно затихая в трусливом небытии, и его неслышно вздрагивающее сердце почти не ответствует мощно стучащему сердцу сантехника. И тогда сантехник, возвысив голос над воротниками, усыпанными песцовой перхотью, начинает петь песни о героях, свою краткую жизнь ущедривших бессмертными деяниями славы, о тех, кого не забудут ни поля Марафона, ни блаженные брега Саламина, кого во благовременье помянут, вздохнув о нынешнем вырождении, Спарта, и Кносс, и стадам голубиным любезная Фисба. В противоположность этому он кратко и брезгливо отзывается о тех, кого малодушие обрекло на жизнь, достойную слепых червей, никогда не бывающих главными героями песен, сказок и других фольклорных жанров. Единственным исключением можно счесть пословицу «Удается и червячку на веку», но и она, как представляется, не служит каким-то за-

мечательным комплиментом ни плоским червям, ни кольчатым. Но гардеробщик оказывается настолько бесчувствен к стрекалу хвалений, что пропетые сантехником песни не понуждают его ни к решительным действиям, ни просто к обнаружению своей дислокации. И тут сантехник, следуя рядами одежды, как куперовский следопыт, видит смутное отражение гардеробщика сквозь розовый пеньюар и не долго думая пронзает его шваброй через гладкую ткань, хранящую чувственное тепло и аромат женского тела. Став пятой на трепещущий прах гардеробщика, которому швабра прошла между ребер и засела в позвоночнике, он произносит похвалу себе, в которой жалеет об отсутствии певца, способного его обессмертить прямо тут, и выражает твердую надежду, что родной город почтит его жертвами как героя. Польщенный также тем, что он оказался первым персонажем этого романа, в чьем отношении осуществлен развернутый показ внутреннего мира, он с легким сердцем собирается в обратный путь, но обнаруживает, что безнадежно заблудился в шерстистом лесу зрительского платья, и лишь издалека к нему доносится нетерпеливый перестук железа по фанере. На минуту обескураженный, он вдруг замечает, что в самом начале ловитвы прихватил пуговицей волокно пряжи, которая всю дорогу разматывалась вслед за ним, и теперь ему лишь остается идти по этой сиреневой нити, сматывая ее в клубок. Он выныривает перед колонной зрителей со шваброй, на которую нанизан розовый пеньюар и агонизирующий гардеробщик, в общих чертах сообщает о случившемся, выражая надежду, что это будет для них поучительно, и начинает обслуживать в порядке живой очереди. Даме, которой принадлежал поврежденный пеньюар, он приносит живейшие извинения и в качестве ком-

пенсации дарит ей корысти, совлеченные с гардеробщика. Молодая женщина с живыми миндалевидными глазами подает ему номерок, согласно которому он обнаруживает на вешалке сиреневый ворот от свитера ручной вязки, нить от которого уходит в клубок у него в руке. Он рассыпается перед женщиной в извинениях, принимаемых ею благосклонно, помогает ей надеть ворот от свитера и предлагает угостить ее песочным пирожным в буфете. Снискав согласие, он ведет ее в буфет, поддерживает непринужденную беседу и готов вызвать на поединок завтра около двенадцати подле монастыря Дешо, невзирая на эдикты, всякого, кто осмелится сказать, что его дама не вполне одета. Через неделю он венчается с ней в домовой церкви, и они могли бы пройти жизнь рука об руку, окруженные детьми, внуками и смазливыми кормилицами, если б в один прекрасный день она не погибла в их охотничьем домике, из ревности подслушивая под дверью, в которую он метал дартс.

Молниеносно представив себе все это – потому что психологические процессы вообще протекают с удивительной быстротой, неподвластной даже самому удачному из романов Достоевского, – средний сантехник, только что схоронив женщину своей мечты на сельском кладбище под Периге, под дребезжащую проповедь старого кюре, открыл глаза, полные спокойной грусти, и, не придавая более внимания гардеробщику как сюжетно отработанному материалу, предупредительно глянул на Семена Ивановича.

– Вась, – слабо позвал тот, возвращаясь в дневное сознание, – что дальше было с Медеей?

Средний сантехник вкратце рассказал.

– Оторва, – квалифицировал ее действия Семен Иванович. – Пошли, Вась, домой.

Они вернулись. Оставленный ими на хозяйстве, младший сантехник, как выяснилось, начал свои распоряжения тем, что ударился ногой об ванну и счел это достаточным поводом, чтоб проваляться весь вечер на диване, дуя на поврежденную коленную чашечку, и ревниво сравнивать ее с неповрежденной, чтобы заключить, быстро ли она распухает.

– До свадьбы заживет, – тоном опытного шафера сказал средний, когда младший с нечленораздельными жалобами протянул ему свою чашечку. – Человек имеет такие ресурсы, что государство обязано за этим следить, если не хочет неожиданностей. Вон у Никанорова из соседнего подъезда первая группа по отсутствию конечности, так он каждый год медкомиссию проходит. Страна не обязана разоряться, если у Никанорова отрастет новая рука взамен временно утраченной. Так что дуй в свою чашку, Саня, и крепко верь в силу своего тела.

– Как прошла встреча? – спросил младший сантехник, отрываясь от наддува.

Средний сантехник рассказал.

– Отказал, значит, – с унынием сказал младший.

– Демонстративно, – акцентировал средний. – Сразу за нами скачет к нему какая-то вертихвостка из роно: помогите, дескать, глубоко дорогой Эмбек Азатович, со сценарием для крещенского гаданья. Он тотчас перед ней хвост распустил: вот тебе, девонька, похороны золота в урочном месте, а вот метлу кидать и гнутой работы не делать. И я, знаете ли, Света, тоже стал так суеверен, так суеверен. В частности, давеча он, держа в руках клей для хозяйственных нужд, внезапно чихнул, облив клеем кактус, и к нему прилипла моль. И он ее с кактуса снимал. Плакал от досады и жалости к себе, топыря неловкие пальцы в иголках.

– А снимал зачем?

– Примета, говорит. Моль на кактусе – к женщине из роно. А не снимешь вовремя – квартирой ошибется.

– Эти, знаете ли, хвойные ванны, – сказал старший сантехник, появляясь в комнате с мокрым полотенцем на голове, – такая прелесть. Удивительные, нечеловеческие ароматы. Как будто новое тело отросло. А то совершенно разбитым себя чувствуешь после реалистической драматургии.

– Тебя кто конкретно из реалистов так опустошил? – спросил младший.

– Это, в основном, Островский, – пояснил средний. – Наш репертуар и пантеон.

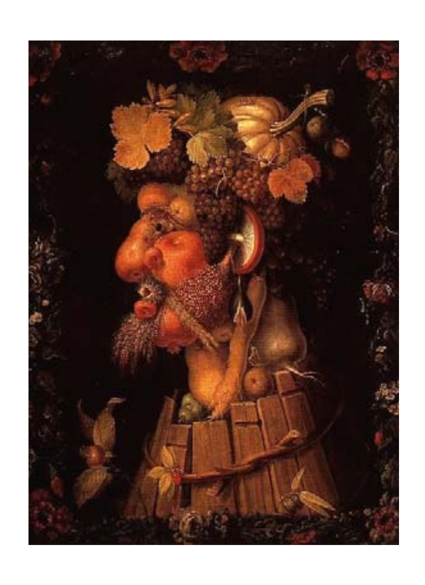
– Представляли? – спросил младший.

– С особым сценизмом, – уточнил средний. – Абер вир бегиннен мит дем тема, как говорили в шестом классе. Что с текстом делать будем?

Все опять подумали.

– Сейчас поздно уже, – высказался младший, – а завтра с утра давайте я сбегаю к Ясновиду.

– А и то, – скрепили старшие.



Глава восьмая,

в которой окончательно выясняется, что тяжелее – ждать и не дождаться или иметь и потерять

Завтрашним утром Ясновид лежал на кушетке, покрытой клетчатым покрывалом с макаронной бахромой, под репродукцией картины Константина Васильева «Илья Муромец овладевает ногами», и пил кефир, слабо стеня.

А как все хорошо начиналось. Позвонил лично мастер и оповестил, что будет, как планировалось, «Пированьице почестен пир князя Светозара на киевском дворе», выезд утром восьмого, в понедельник. Все обещались быть. Богатыри киевские, черниговские и фряжские неотменно. Человек-зверь Змиулан обещал взять отгул в депо. Выжлятники, захлопщики, затравщики, ататари, начальные сокольники с подсокольничьими, в рукавицах нарядных без шапок, с кречетами, и челигами кречатьими, и соколами, и челигами сокольими, и клобучками бархатными, а шиты серебром с совкою нарядною, и ковром диковатым для государева пришествия и полосатым бархатным для изголовья государева ж. И ремесленники, гончары, усмари, шорники, златоковачи, архитектоны изрядные и весь люд посадский изготовился совокупно. И блудного дела женки все для такового своего упражнения бюллетень в институтской поликлинике взяли, тако ж и персональный иатр княжий в своей заводской проктологии подменился на день иатром очередным. И Ясновид меч свой парадный, выходной, с пониманием наточил, ремешки на нем починил и наносье на ерихонке молоточком выправил, чтоб в ноздрю не лезло. И с утра не проспал, и поднялся, как человек, глядя из окна на теплое январское утро, поел плотно, потому что невесть когда в следующий раз доведется. И вышел пристойно одетый.

В начале восьмого все лично не заинтересованные в том, как князь Светозар без отдыха пирует с дружиной удалой, едут на работу. Ясновид застрял мечом попе-

рек автобусных дверей. Народ, которому чуждо, приналег, и меч ощутительно треснул и прошел в дверь. «Ты, Гондурас, не горюй, – сказал ему со смехом чуждый народ. – Он у тебя теперь модернизированный складной».

Уже тогда бы повернуть домой. Что делать без меча на княжеском пированье? Круглые столы, они не для того предназначены, чтоб нарезкой тешиться, как виллан, а для того, что всегда, как будто им тут медом намазано, явится какая ни есть благородная девица на караковом муле в сопровождении отвратительного карлика, злобного оттого, что его недолюбили в детском саду, и оная девица будет искать у князя защиты и протекции, ссылаясь на то, что местный великан по имени... ну, допустим, Маргафел... пустил по северному ветру ее родителей, люто обесчестил знакомых и завладел ее фамильярным замком, и тогда один из присутствующих рыцарей... допустим, Гавалом... решительно встает от нарезки, более того – ударяет по ней кольчужной рукавицей... по сыру лучше... и говорит: «Сир, позвольте, я быстренько смотаюсь туда-обратно и избавлю фамильярное место этой благодатной девицы от присутствия чужеродного элемента». И она, конечно, рассыпается в комплиментах, а карлик злобно помалкивает, и вот они едут под солнечным зонтиком... Но если у рыцаря меч эксплуатации не подлежит? Надо было повернуть!

Так нет, доехал.

В окне мелькнул рекламный щит с надписью «ЭТО МЕСТО – СЕРЕДИНА РОМАНА» и тотчас исчез, будто не было. Ясновид сгрузил останки меча в корпоративный пакет сети магазинов «Подмастерье», обещавшей клиенту кровельные, отделочные и иные потребы, притулился у окна, в дискуссии по политическим воп-

росам как латентный феодал не втягивался и ждал своей станции. Вот выгрузился, сорок минут пешочком и прибыл на место. Шатры разбивают в молочном тумане, ремесленники испытывают свое владение средствами производства, дружинники ходят в государственной заботе, князь задерживается. Тут тиун Любочест его за пряжку на корзне придержал и говорит:

– Слушай, Ясновид, не в службу, а в дружбу, – сгонял бы ты в село. Соли никто не взял, прикинь, вот люди? Будто первое лето на службе княжой. Тут два километра, за час обернешься. Давай, пока ясна солнышка нет, звонил сейчас с трассы, у него покрышка полетела. Вдоль опушки идешь, вона, где березки молодые на поле вылезают, потом вдоль реки, а там увидишь. Меч только оставь, а то сельпо не ровен час запрут или по шеям накладут из превентивных соображений.

Ясновид говорит: хренушки, говорит, я тебе, дорогой тиуне, меч свой верный брошу неведомо на чей пригляд, чтобы им тут женки блудные ногти подпиливали себе. Не бывать тому. Тиун: ну, твое дело. Только обернись побыстрей. На тебе червонец, сдачу вернешь, мне отчитываться.

И Ясновид пошел. Сначала он правильно и бодро двигался меж лесом и молодыми березками, маша кладенцом в корпоративном кульке. Потом он заметил, что молодых березок вокруг стало меньше, а старого леса больше. Или, иначе говоря, он совсем в лесу, полном тумана и нескрываемого сарказма. Часы отбились от времени, а мох растет на деревьях отовсюду. И грибы тоже. Сначала он испугался, но потом рассудил, что не может здесь быть обширных произрастаний, только если сталинские лесопосадки, и сейчас он, куда ни пойди, из них выедет на ровную дорогу. Он съехал в овраг, хватаясь за скользкий орешник, перебрался по повален-

ному стволу через черный ручей и, с облегченьем увидев небо меж расступающихся сучьев, вышел к какой-то избушке, окруженной раскиданными элементами хозяйства. Из-под избушки, ему показалось, торчали куриные лапы, в которые она уткнулась крыльцом, как отдыхающая собака, но он постарался в это не поверить. Войдя в калитку, он произнес: «Хозяева! Есть кто?» Небольшая старушка выглянула морщинистым приветливым лицом из дому и сказала: «Заходи, пожалуй, чего маешься». Он шагнул в дом, ударился носом о притолоку и сказал в дымное пространство:

– Мне бы сольцой у вас разжиться. И как на шоссе выйти, не подскажете?

В дыму перед ним открылся сидящий против печи на золоченом стуле человек в доспехах ратных. Во правой руке у него размещалось копье булатное, на другой висела шелковая плеть из того ли шелку шемаханского. Завидевши Ясновида, он вскрикнул богатырским голосом и засвистал молодецким посвистом, сразу произведя сильное впечатление. Молодым он, впрочем, не смотрелся, а скорее удачно сохранившимся. Просвистав, он сказал:

– Ты, добрый молодец, кто такой будешь? Как тебя звать-величать?

Один коллега по исторической адекватности, отказавшийся от всего неаутентичного и питавшийся только иллюстрациями Ильи Глазунова к «Задонщине», размоченными в козьем молоке, учил Ясновида, что нити судьбы могут выплести самые изумительные картины, которые надо принимать как нечто само собой разумеющееся, в этом мудрость. Надо признать, что мудрости Ясновиду хватило лишь на то, чтоб сказать: «Ясновид, очень приятно».

– Хорошее имя, – одобрил человек с копьем и посвистом. – Особенно если прославить его бессмертными делами. Ты тут, к слову сказать, дела пытаешь аль от дела лытаешь?

– Соли бы мне, – примитивно ответил Ясновид.

– Соль – большая ценность, – сентенциозно сказал человек. – Некоторые из золы делают. Остается завидовать.

– Мне не для себя. Мне для князя. Пир собрали, а соль забыли.

– Совсем распустили народ, – отнесся человек к присутствовавшей старушке, которая для гостя успела нарядиться в кокетливое ожерелье из горькой рябины. – Какой раскол в стране. А это, говоришь, для которого князя?

– Для Светозара, князя киевского. У него праздник тут недалеко.

– Светозара? Это сына, что ли, Владисана, внука Ратибора?

– Не знаю. Кажется.

– Что ж ты так в родословии нетверд, – укорил его человек. – Негоже для княжеского человека. – «Я у него недавно, – зачем-то пробормотал Ясновид. – Сам из варягов, по обмену». – Помнишь, мать, Владисана? – обратился он опять к старушке. – «Как не помнить», – отвечала она, покачивая головой. – Этот, значит, Светозар – двоюродный мой правнук. Или троюродный? Навестить, что ли, его по-родственному?

– Сиди уж, князюшка. Оконфузишь только людей, будут суетиться.

– Чтоб тебе, дружинник, было понятно, – адресовался общительный человек опять к Ясновиду, – я тоже князь. На временном покое. И тоже Светозар. Так что не запутаешься.

– Я, собственно, не Ясновид, – бормотал Ясновид, отступая к дверям, – меня Дмитрием звать, а это так, это ник.

– Что? – переспросил князь на покое Светозар.

– Ник, – подсказала старушка.

– Лексикон дай, – распорядился он и, приняв от нее растрепанный том, отставил копье и принялся листать: – Так... илосос, козинаки, крутейший... литраж, мореходные качества... низколегированная сталь... Ага, вот. «Ник – прозванье, яко что сказуется по реклу; тожде рещи: погоняло. На приклад: И ник положиша Ольгови Вещий, бяху бо людье погани и невегласи».

– Прозвали так, – обобщила старушка.

– За какие качества? – строго спросил князь.

– Чисто случайно, – с дрожью сказал Ясновид.

– Случайно не прозывают, – пресек князь. – Что это на персях у тебя нарисовано?

– И на корзне оно же, – с готовностью подсказала старушка.

– Это? Это просто так... аватарка моя, скопировал ее сюда...

– Сразу видать, что из варягов, – сказал князь. – Сколько варваризмов в речи. Хочешь тут служить, молодой человек, тебе мой совет: учи язык! Иначе никакой карьеры! Лексикон, мать, дай еще раз... так, аватарка... Ага. «Аватара глаголется в баснословии поганьском, аще от божеств ино плоть приемлет, во еже к людем снити всякия ради добрыа детели, на приклад: И Тебушь аватарою смиреньною к ним сшед, бе гуселник и гудяше в гусли, и зидашеся Трой, где они повелеваху». А говоришь, по случаю ты Ясновид. Не шути этак со мною-то. Оружие покажи.

Ясновид послушно вынул из «Подмастерья» рукоять с обломком клинка, за которым посыпался мелкий железный лом и крошка.

– Та-ак, – с высокой степенью интереса сказал князь, исследуя обломок. – Так. А ну, мать!.. – скомандовал он, старушка мигом унеслась и торжественно вернулась с ларцом, замотанным в черном бархате, князь распахнул его, и оттуда блеснул отломанный клинок со сложной вязью; князь приложил к нему Ясновидов обломок, и всем стало видно, как они идеально сошлись.

Воцарилось глубокое тихо.

– Сколько ждали, – промолвил князь.

– Да, – сказала старушка.

– Едигей еще когда проходил, у него интересовались.

– Это в котором же годе?

– Карточки, не помню, отменили уже или нет.

– Нет вроде.

– Значит, давно.

– Давно.

– Я в автобусе сломал, – скучно сказал Ясновид, опять глядя к дверям. – Утром сегодня. Вот мусор, можете убедиться.

– Это возможно, – рассеянно сказал князь, занятый своими мыслями. – Очень возможно. Но неважно. На твой предмет, молодой человек, есть предупреждение в одном авторитетном издании.

Ясновид даже не стал интересоваться, чувствуя, что лучше ему этого не знать.

– Там сказано, – тем не менее, проинформировал его князь, – что, когда придет человек, чье имя выдаст его происхождение, как бы он от него ни отрекался (заметь, ты отрекался), и чей меч сойдется со Сломанным Мечом, как бы он ни отрекался и от него, от этого

человека следует ждать всяких оказаний, а в ожидании таковых его весьма задержать и подвергнуть изысканиям.

Ясновид, не спрашиваясь, ватно сел на лавку.

– Тиуна кликнуть, – решил князь и вышел.

Ясновид механически взял оставленный им лексикон, это был «Современно-исконный словарь, 55000 слов, под ред. О. Ф. Мюллера и М. К. Черданцевой». «В настоящем издании, – сообщали составители, – в словарь внесены значительные исправления, обусловленные прежде всего тем, что за 250 лет, прошедших со времени выпуска предыдущего издания, в обоих языках произошли существенные изменения. Ориентируясь на руководящие идеи, высказанные в “Предисловии о пользе книг церковных”, составители стремились создать словарь, который был бы полезен как для драгоманов, так и для лиц, волею судеб находящихся на языковом фронтире. В пределах данного объема дается множество посильных иллюстраций и гутированное количество непосильных, служащих жемчужиной в газофилакии языка. Словарь выходит в период, когда современно-исконные отношения продолжают крепнуть во всех областях, о чем свидетельствует широкий обмен делегациями представителей искусства и коммунальных органов, проведение смешанных конференций, коллоквиумов, опахиваний, симпозиумов и отводных караулов. Языковые каналы суть маяк и лекало взаимопонимания. Мы рады, что этот скромный труд явится вкладом в дело диахронического сближения людей, заинтересованных блуждать в сладостном лабиринте Казанского летописца и следить, как яблоневый цвет опадает на раскрытые страницы Тургеневских романов».

– Ты не горюй, – жалостливо сказала старушка. – Рано еще горевать.

Вошел князь. «Вот тебе первое испытание, – сказал он. – Печку распиши, облупилась, и вообще эта известь производит впечатление тривиальности. А за ворота не покушайся, у меня лучники белку в ноздрю бьют. Я сделал такие распоряжения». Ясновид получил от него настенный календарь с двенадцатью шедеврами мирового искусства, снаряд зографский («Гуашь настоящая детская», набор из 9 цветов, и колонковые кисточки) и распоряжение душу положить за роспись палат. С душевным стенаньем Ясновид, лишенный гражданской свободы, принялся выбирать полотно из годового набора. Многофигурные композиции были им отброшены сразу, вследствие чего случая погреться на княжеской печке лишились «Афинская Академия» кисти Рафаэля, «Страшный Суд» Микеланджело – несмотря на настойчивое желание князя созерцать за трапезой что-нибудь из божественного – а также «Царство Флоры» великого Пуссена и даже трогательная картина Мясоедова «Земство обедает». «Олимпия» Мане была отвергнута князем по этическим соображениям («Кто через срамоту таковую на полати спать полезет?»), «Аленушка» Васнецова – по причине лакировки действительности и ухода от больших социальных проблем («Кому работает изография сия?» – задавал князь хищные риторические вопросы), а картина Левитана «У омута» и «Ноктюрн в синем и золотом» Уистлера – вследствие эстетических убеждений князя, считавшего, что основным объектом искусства является человек, а не мосты. Относительно оставшегося мнения разделились: князь стоял за портрет Сары Сиддонс кисти Рейнолдса, привлеченный эффектным величием этого, в общем-то, расчетливого академического полотна, и выражал

опасение, что две фигуры, прячущиеся в тени на заднем плане, чем-то намерены повредить великой драматической актрисе («Ножа-то, погляди, нет ли у них, а коли сыщется, отнюдь его не изображать»), а Ясновид склонялся к картине «Крик» неизвестного ему Э. Мунка, привлеченный технической простотой ее копирования на печи. Мунк был в календаре дежурным по апрелю, его мужчине, кричащему на мосту о том, что он одинок и что жизнь, в общем-то, прошла бездарно, доверено было иллюстрировать месяц великого пробуждения, когда в груди искрится поглощенный воздух, все в природе улыбается друг другу, а Фриксов Овен, при котором состоялось в свое время сотворение мира, резво скачет от обещания жизни, полной борьбы с врагами, но ущедренной победами в конце, к возможности успеха благодаря покровительству влиятельной женщины.

Ясновид приноровился к настоящей детской гуаши, расписав палеолитическим орнаментом несколько ведер, коромысло и корову, расчертил печь углем на квадраты и принялся за Мунково небо, фактурой своей напоминающее сучок в доске. Для спанья ему выделили лавку у окна и дряблое кладбище сапрофитов, обиходно называемое подушкой. Князь не мешал ему своими художественными вкусами, утром выписывая сам себе лицензии на зверя красного и уезжая на весь день; вечером он в целом одобрял свежую работу и лез отдыхать на полати, размазывая ее ногами. Немногочисленная челядь, к которой Ясновид обращался с бытовыми вопросами, вся разговаривала слогом Алексея Ремизова, и единственный, кто составлял его общество, была шустрая старушка в рябиновом ожерелье. Она сидела у окна на сундуке, читая книгу Юрия Медведева «Хроники чарований оказуемых», в которой

князь подозревал найти дополнительные сведения о Ясновиде, и изредка обращалась к очажному изографу за разъяснениями.

– Вот тут невнятно, – говорила она, тыча пальцем. Он брал в руки тяжкие раздумья и острые прозренья Медведева и читал в них:

«И не токмо пристало нам верить, как то Ромейские Летописи объявляют, что Предки наши еще в пятом столетии до Рождества Христова бранную крепость свою довольно Европе оказывали, но что задолго до того, в Эпохи баснословные, Славяне пратися с Кентаврами много случаев имели, коих они в преданиях своих инде именуют Полканами. И того не довольно, что битвы Славян с Кентаврами за достоверное почитать можем, но до четырнадцатого столетия по Рождеству Христову точились еще порубежные стычки Циклопов с Белорусами, как то Летопись Густынская известно оказует. Чаятельно, и нам будем чем гордиться, ежели стезю, усеянную мишурными блестками Французоватости, всеконечно покинем и на поприще Национальности твердою наступим стопою».

– Циклопы – это кто? – интересовалась старушка.

– Циклопы-то, – говорил он. – С ними тут история вышла. Короче, один мужик причаливает к их району. Они там все контролировали. Циклоп типа подваливает, хвать его пацанов, какие подвернулись, на шампур их – и жрет. Полный вперед, в общем. Понятий никаких о правильном разборе и питании. А тот ему, мало что слова поперек не сказал, еще и водяры ящик поставил под это дело, чтоб, значит, лучше усваивалось организмом. Циклоп: ты, говорит, вообще кто? А тот: типа конь в пальто. Это прикол такой. Но тот поверил. Наелся, пива полторашку еще выжрал, один практически, и уснул. Мужик берет шампур с мангала прямо и в глаз

ему. Тот такой вскакивает, орет со всей дури, бежит в коридор, из глаза типа шампур торчит, на нем пацан недоеденный, ноги одни болтаются, шнурки развязаны; бардак, в целом. А тут братаны его. Третий час ночи, говорят, баклан, ты заманал уже орать. Чего ты орешь? А он: последний глаз, говорит, подкололи. Они: кто это тебя? А он: конь в пальто. А они: ну и не хрен орать тогда, а чай если пьешь, ложечку вынимай, чтоб глазик не колола. И спать все обратно повалились. А мужик, значит, катер свой заводит, чтоб отчаливать. И кто там еще уцелел, те с ним. Циклоп на звук мотора шампурами кидается, но мажет. Сослепу-то. Так вот, в целом.

– Вот оно как вышло-то, – задумчиво произносила старушка. – Отчего же на свете столько зла? Отчего, Ясновид, слезы людские точатся ключом неоскудным?

Он объяснял, что это в целом оттого, что Мелкор противопоставил себя коллективу, настругал орков, как Урфин Джюс, и украл Сильмариллы, и она, откладывая на подоконник огнезарную книгу Медведева, пригорюнивалась, подобно Аленушке на удаленном камне.

На другой день она застала его в творческом перерыве, когда он, с высунутым кончиком языка начертив прямые ноги ложных друзей кричащего человека, достал блокнот с изображением Муми-тролля в кругу друзей и пытался отвлечься сочинением романа из общеславянской жизни, которого он покамест кончил первую главу.

– Чего это у тебя? – спросила она.

– Роман, – с гордостью сказал он. – Мой.

Она полезла в «Современно-исконный словарь».

– «Роман, – прочла она, – есть блудное дело и малакия всякая, тожде рещи: прелюбы. На приклад: Аще кто

болярьскую дщерь умчит и насилит, за романы те ей 5 гривен злата». Ясновид, – сказала она с испугом, – покайся, тебе гривну скинут! Да батюшка-то ее известен ли о том?

Ясновид с досадой вынужден был оспаривать Мюллера и Черданцеву, путаясь в теории самого стереоскопического жанра и в трудных моментах помогая себе руками. Старушка наконец успокоилась, насилу поверив его заверениям, что он боярышень не умыкал, для того что у него в роду это под зазором.

– Как, говоришь, роман у вас называется, – спросил он, – прелюбы? – Он записал в блокнот. – М-да... хорошо... не скончать мне под кровлею века. Может, бабуль, подскажешь рифму на «века»?

Оказалось, она, выросшая на черниговских сепаратистских былинах и исторических песнях об Азовском сидении, не знала, что такое рифма, и ему второй раз пришлось вдаваться в теоретико-литературные вопросы.

– Это когда складно, – говорил он, изнемогая. – Типа стоит Антошка на одной ножке. Кто его разувает, тот слезы проливает. Там чудеса, там леший бродит.

– Как у скоморохов? – радостно спрашивала она. – В браде сребро, а бес в ребро?

– Вот-вот. В ребро.

– На что, говоришь, тебе рифму – на «века»? А, скажем, «человека».

– Банально. У Горького было.

– Тогда «средовека».

– Это что такое?

– Это когда в самом соку мужчина.

Он подумал.

– Не покатит, – решил он в отношении мужчины в соку. – Не в тему. Ладно, строку переделаю. Стареть под

своею мне кровлей… так вообще рифмы не надыбаешь. Стареть мне под кровлей своею… вот, так пойдет.

Она глядела на него с тихим умиленьем.

– Что это у тебя, Ясновидушка, ложные друзья как бы вроде субтильней вышли против подлинника? – спрашивала она. – Князь бы не осерчал.

Он глядел, соглашался и, повращав кисточкой в синей гуаши, прибавлял друзьям жировых складок на боках.

– А что, вы так и живете здесь одни? – спрашивал он.

– Этруски раньше заходили, – вспоминала старушка. – Они ведь родственники наши, этруски-то. По бабушке, Капитолине Сергеевне. У них и слова те же, и мотивы. А потом и они перестали. Совершенно растеряли родственные связи. Дядя был, прокурор в Орле, и тот не пишет.

– И не скучно?

– Да некогда особо скучать, за хозяйством-то. А теперь вот и ты обнаружился, совсем другая жизнь. Не хочешь ли взварцу малинового?

И шла ему за малиновым взварцем.

На третий день она была вроде бы пугливей обычного.

– Тут, Ясновидушка, такая тенденция вышла в изобразительном искусстве, – начала она, – чтобы в краску добавлять ароматизатор, идентичный натуральному. Я слышала.

– Это для чего? – недоверчиво спросил Ясновид, очень консервативный в своем пристрастии к набору детской гуаши из девяти цветов.

– Для эффекта присутствия, – разъяснила она. – Представляешь, он кричит, а кругом весной пахнет, черемуха, на мосту капли смолы, с моря ветерок такой… Очень приятно. Все по рецепту: перепелиные яйца, печень оленя, роса, собранная лунной ночью, эмульгатор

– лецитин соевый. Водичкой чуть разбавь это дело. Вот… теперь на тряпочку и тряпочкой пройдись по росписям, небось, не потечет, ровно легла… Изволь любоваться. Вишь, глянец какой.

В самом деле, картина как-то углубилась и пошла мелкой зыбью, как ровно дышащий организм; водная поверхность, украшенная концентрическими кругами от плесканья норвежской ихтиофауны, словно бы отдалилась на несколько километров, и с ее стороны остро и широко пахнуло проточною солью.

– Совсем другое настроение в полотне, – с удовольствием заключила старушка, невинно радуясь успеху. – Жить хочется.

–Трудно с этим не согласиться, – вымолвил Ясновид, с изумлением созерцая буйное плесканье жизни на его печке.

– То-то. Что осталось, по чуть-чуть в гуашь разлей.

Ночью, когда он вертелся на жесткой лавке, назначенной для порки малолетних по банным дням, и слушал растекающийся под закопченным потолком княжеский храп, старушка вдруг явилась, пританцовывая по лунной дорожке на рассохшихся половицах, вся такая аутентичная в ночной рубашке, расшитой красными геометрическими петухами, и с седенькой косицей на плече.

– Ясновид! – позвала она эпическим шепотом. – Ясновидушка!

Он мычаньем дал понять, что слушает.

– Ясновидушка! – сказала она. – Князь тебя хочет дальше испытывать, ему работа твоя нравится… он полосу приготовил, с нетрадиционными препятствиями… что думаешь?

Он выругался.

– Я могу тебя вызволить... слышишь, друг мой? Только с одной кондицией.

– С какой именно? – живо спросил он.

– Я с тобой убегу, иначе мне головы не сносить. А ты женись на мне, как выберемся.

Он высоко подскочил на лавке.

– Ты, бабуль, чего удумала? Ну ладно – оказывать тимуровскую помощь... за хлебом там... или пригласить с воспоминаниями... Но жениться! Да вообще мне рано еще... сперва на ноги надо встать в материальном плане...

– Ну, твоя воля, – кротко отвечала старушка и двинулась назад по лунной полоске. – Хлебы я сама пеку, – прибавила она, оборачиваясь. – А воспоминания у меня в массе безотрадные. Про печенегов.

– Погоди! – тихо закричал он. – Да погоди ты! А ничего... другого ты не хочешь? Ну, на что тебе замужество в твоем возрасте?

– Жизнь, – сказала она ему, – начинается в семьдесят. А другого мне не надо ничего. Полюбился ты мне.

Ясновид спустил голые ноги со скамейки, переживая, видимо, самый ужасный момент этического выбора в своей жизни.

– Погоди. Сейчас, – хрипло сказал он. – Сейчас... Жениться... Хорошо. Я женюсь на тебе. Женюсь. Ну?

– Уходим тотчас. Одевайся скоренько. – Она зачем-то полезла на полати к князю, пока Ясновид прыгал в штанине; он с ужасом подумал, что вот сейчас она князя разбудит, и этим их марьяжный интерес и кончится, – но нет, храп разливался по-прежнему, а она легонько спрыгнула на пол, держа в пальцах что-то фосфорически-туманное, как рыба скумбрия в темноте. – Ты куда? – сказала она, когда он направился было к дверям. – Сюда иди, к Мунку своему...

Он подбежал; освещая ближайшее пространство своим фосфоресцированьем, она просунула руку по локоть в картину, отчего та пошла широкими кругами, а ее рука нарисовалась там в красном колере, выглядя так, словно посетитель Коммунального музея искусств хочет схватить кричащий образ автора за зеленые ноздри. Довольная результатами обследования, она незанятой рукой ухватила совершенно одуревшего Ясновида за рукав и с ним вместе нырнула в живописное пространство.

Они остановились. Садилось злое солнце, и ветер дул вдоль моста. Ясновид дрожал и хватался за перила. Мужчина, обхватив некрасивое лицо, уже уставал кричать и больше стонал. Старушка успела догнать ложных друзей и что-то им втолковать; пристыженные, они оборачивались. Она побежала назад, глядя на колеблющуюся темноту княжеского жилья, быстро заплывавшую красочным слоем, и тронула Ясновида за плечо: «Пошли скорей. Как рассветет, тут и хватятся». Они сошли под мост и углубились в глянцевитые космы, вьющиеся вдоль правого края Мунковой картины, которые на поверку вышли зарослями высоких кустов, заботливо постриженных в форме животных и норвежских национальных героев.

– Про тот состав я тебе неправду сказала, чем мы картину намазали, – объясняла старушка, пока они бежали меж героев труда и спорта, в которых твердо верили местные жители, нуждающиеся в победе, как в воздухе. – Это мазь для прохождения. Вроде лыжной. Без нее мы бы только лбом об печку приложились. А покамест они сообразят, каким мы путем утекли, еще по лесу вдосталь набегаются.

– Очень умно, – сказал Ясновид, приходя в трезвое сознание. – Только мы теперь в Норвегии под мостом. До моей электрички не ближний свет.

– Всегда есть чему радоваться, – философски заметила его невеста.

– А в данном случае?

– Ну, мог ведь и Микеланджелову картину перерисовать. По многочисленным просьбам эксплуататоров.

Ясновид вынужден был признать, что из Страшного Суда до серпуховской электрички все-таки дальше, чем до нее же из Норвегии.

– К тому же свет не без добрых людей. – Она двинулась по ряду фигурных кустов, бормоча: «Это Снорри, перед ним неудобно... чай у меня пил с сушками... А тут кто у нас? А тут у нас Ибсен... да ну его, занесет невесть в какие дебри... А вот – ага, вот Гамсун. Это подойдет, пожалуй. Солидный мужчина».

Она стала перед выстриженным из туи автором романа «Голод» и, трижды коснувшись его лапчатых веток светящимся дивайсом, который несла в руке, сказала:

– Гамсун, Гамсун, поэт северных закатов и звенящих колокольчиков, мощный создатель Эдварда, Розы и лейтенанта Глана, где бы ты ни был сейчас – веселишься ли на вечном пиру Нобелевских лауреатов или пишешь личное письмо Георгу Брандесу – услышь и снизойди к моей молитве! Если когда-либо я чтила тебя, внося посильную лепту на твой памятник или подписываясь на твои рассылки – стань передо мной, как лист перед травой, и, будь любезен, вынеси нас из этих мест! За нами недобрые люди гоняются!

По Гамсуну сверху до пят прошла мелкая дрожь вечной зелени, он переступил с ноги на ногу и древесным баритоном неохотно сказал:

– До таможни если только. У меня трения там с коллективом.

– Спасибо, дорогой, – с готовностью сказала старушка и пошла к следующему насаждению, объясняя Ясновиду: – У князя нашего три волоса было багряных, волшебных. В них вся его проникающая сила содержалась. Без них он даже на ятвягов бы приличную дань не взложил, не говоря о чем другом. Я ими заимствовалась, иначе бы он нас мигом сыскал. Сейчас мы с их помощью еще одного смассуем.

Следующим оказался, по свидетельству педантической таблички, некий Хравн, родом из Вика, имевший двор в Тунсберге, по прозвищу Ездок в Хольмгард, судя по холеному кусту – человек уважаемый. Разбуженный княжескими волосами, он тоже согласился до таможни. Старушка села по-дамски на плечо Гамсуну, а Ясновид взгромоздился на шею Хравну Ездоку в Хольмгард. «Поехали!» – воскликнула она, и Ясновид, под впечатлением от исторического дежа вю, затрясся на широкой спине шибко бегущего Хравна Ездока. Красный ветер Мункова полотна свистел в ушах. Гамсун больше отмалчивался, если же отвечал, то на пошлые бытовые вопросы, вроде «как сам-то» и «кого из наших видел», в разговоры о творческих планах не вступал. Зато Хравн Ездок в Хольмгард ока-зался ужасно разговорчивым и все рассказывал Ясно-виду, как какой-то Транд с Гати, сын Торбьерна, встре-тив его, Хравна, в Заводи Тора, хотел продать ему в рабство двух мальчиков, сыновей Брестира и Бейнира, сыновей Сигмунда, которых его люди убили на утесе, и как он, Хравн, решительно ему, Транду, в том отказал, так что Ясновид не раз уже подумал, как должно быть, в Хольмгарде накрепко запирались ставни и улицы

опустевали, едва проносился слух, что Хравн Ездок только что высадился в гавани.

Вблизи от таможенного шлагбаума их ссадили. Старушка призывала на их головы традиционные благословения вроде «да прольется дождь вам под ноги», что, пожалуй, для дендрария уместно; Гамсун и Хравн откланялись, пожелав им счастья в семейной жизни, и поспешили на участок, чтоб успеть к вечерней перекличке. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Беглецы укрылись в придорожных кустах. «Через границу ночью пойдем, – сказала старушка. – После двенадцати скидка пять процентов». «С кем граница?» – спросил Ясновид. «С остальными», – сказала старушка. Ясновиду сил не было уточнять. Он сел под деревцем и запахнулся плащом, намереваясь уснуть некомфортным сном свободного человека. «Э, нет, Ясновидушка, – запротестовала старушка, – нельзя теперь спать, во сне князь найдет». «Это как?» «За милую душу. Во сне тебя видно. У него сейчас, небось, уже вся челядь, кто на кухне не занят, положены спать с ландкартой и инструкциями, кому за каким квадратом дозирать. Нельзя спать, пока не выберемся». «Мать моя! это сколько ж?» «Терпи, Ясновидушка. Погоди, выспимся еще». Этот намек показался ему непристойным. «А вот я тебе, милый, сказку расскажу против сна». «Социально-бытовую?» «Волшебную. Прекрасная сказка, пять звезд по Аарне – Томпсону. Турист захожий поведал. Глазоньки, главное дело, не заводи». Она устроилась под сосной на мокрой хвое.

«В некотором царстве, в некотором государстве, – опытным тоном начала она, – приезжает подросток к родителям в деревню. Собственно, к отцу. Он там кем-то числился в колхозе, но в основном пил. Мать от них умерла, а сын этот учился в городе, в профтехучилище,

на повара. Так вот, приезжает он к отцу; и с некоторыми усилиями, надо сказать, приезжает. Тут следует сделать отступление, пока он стоит перед дверью и долбит в нее ногой, чтоб отец проснулся и вынул наконец драчевый напильник из засова, которым он запирался на ночь. Утро, лежит ясная роса на траве, и соседские куры волнистой линией выползают изо всех мест, где проводили свою куриную ночь, для продолжения бестолковой жизни на заросшем лоне природы. Собака где-то без вдохновения лается, и визжит бензопила, возвещая, что есть еще люди, способные работать с утра, и что тут могла бы быть развита патриотическая тема. Так вот, на Новый год они в своем училище устраивали новогодний вечер. Елочку, наряженную, как начинающий трансвестит, поставили посреди подметенной столовой, девочки нарисовали стенгазету с трогательными стихами силлабического сложения, и училищный повар обещался всех удивить, и ему который год поверили на слово, не думая, что это, возможно, скрытая угроза.

А на носу меж тем, сразу после праздничных удовольствий, зимняя сессия. Учителя и администрация говорят: милые учащиеся, примите свое посильное участие в столь дорогом для нас для всех традиционном празднике нашего училища Новый год, а между прочим, сделайте праздничный пирог, вот у вас будет вечер, а вы сделайте-ка. И явственно намекнули, что участие в этом пироге для перечисленных лиц (группа такая-то, первая половина списка по алфавиту) будет допуском до сессии, а неучастие в нем, как откровенное пренебрежение праздником и администрацией, может повлечь. Праздник был тридцатого вечером, и это, на грех, был уже не учебный день. Эта первая половина списка, состоявшая из одних мальчиков, вся

жила в общежитии и имела полную возможность коллективно чувствовать приближение Нового года. Случилось им так расчувствоваться, что когда они вспомнили о своей задаче какой-то частью общего разума, до праздничного вечера оставалось час-два, а у них, кроме пустых бутылок и мерцающего сознания, как их зовут по паспорту, никакого профессионального прибора не наблюдалось. Ужас их не отрезвил. Они доставили друг друга до кухни, и началось изготовление. Впоследствии общей картины никто реконструировать не мог. Коллектив, как можно было понять, стратегии не выработал. Кто-то иногда поднимался, вносил в этот артефакт чисто от себя, потом вносили другие, а что вносили – не помнит, и что сам вносил – тоже не помнит, но другие говорят, что он давил крем фигурно и вообще славится в своем кругу этим умением, хотя он лично не стал бы за это ручаться, тем более что среди слов, образовавшихся из выдавленного крема, было «особенно», которое он лично написал бы иначе. Наконец все затихло, и они обошли это кругом. Увесистость в нем чувствовалась. Вилкой ткнули – колышется. Тогда они украсили это по периметру клюк-вой и понесли туда, где их ждали волнующиеся девочки и нарядная елка.

Идут они по училищному коридору, и вдруг кто-то говорит: нет, мужики, нельзя сразу его на стол бухнуть, дескать, ешьте, наши милые, наши хорошие, – кто его знает, что там затаилось, какая враждебная человеку сила. Надо вперед испробовать.

Собачка там была. Лохматая, праздная, маленькая и, в общем, никому не нужная. Кто-то ее кормил – вахтер, вероятно, их одних характер рабочих занятий склоняет к созерцательности и зоологическому гуманизму. Отрезали ей кусок. Глядят – жрет, ничего, только

глазки прикрывает от удовольствия. Минут пять подождали – ничего чудотворного, бегает и вроде бы еще просит. Тогда оставили ее на произвол метаболизма и пошли по коридору дальше.

Как известно, в заведениях такого рода, кроме профильных дисциплин, преподают и общекультурные, чтобы человек, посвятив себя без остатка любимому делу, не остался бездуховным и внутренне чуждым многовековой культуре своей родины и большинства зарубежных стран. И была у них ради этого женщина, которая по грехам своим преподавала русский язык и литературу, чтоб не думали, что школа кончилась. Идут они мимо ее кабинета, а она как раз пришла на любимый праздник: платье в мозговой горошек, виски завиты в крутую спираль, очки протерты, на доске со вчерашнего дня ночует обособление причастных оборотов. «Отягощенная отчаянием Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью», и ниже печатными буквами подписано: «С Новым Годом!» Они к ней в дверь: Азалия Сергевна, вот извольте откушать, подкрепить силы для борьбы с нашим невежеством, которой мы лично глубоко сочувствуем. Азалия Сергевна откушала, и тоже они посмотрели на нее минуту-другую, не так, конечно, как на собачку, чтобы прямо в горло, а как бы вскользь и из одного хлебосольства. Азалия Сергевна выразила благодарность в приличных словах, и вроде бы все это сошло по пищеводу без эксцессов. Тут они вздохнули свободно насчет своей профессиональной и уголовной вменяемости и проследовали в праздничную столовую.

Встретили их шумно; «Заждались, заждались!» – приговаривала классная руководительница, и пошло подростковое веселье в формах и жанрах, одобренных

и утвержденных воспитательной частью. Четыре девочки пропели дуэтом под гитару, нестройно жалуясь на дождь за окном и непонимание между людьми, потом состоялся танец с горящими плошками под песню Бориса Пастернака «Свеча горела», а когда отзвучали его последние перемещения, классная руководительница сказала: «Давайте-ка попробуем, что нам приготовили наши мальчики!»

Разрезали пирог, и по разномастным блюдцам, расставленным вдоль стола, разнесли его учрежденные кравчие и хлебодары. И все навострились пробовать, поскольку отмашка дана уже по этому поводу.

Как же.

Тут пошел звук. Низкий такой, вроде тумана стелился он по полу, заползая в дверь из коридора, окутывая нарядную елку и принося с собой тревожность, как на детском утреннике: так и ждешь, что злые силы из дремучего леса похитили расторопного Снеговика или опоили одеколоном любимого оленя Деда-Мороза. Старик теперь вынужден идти к детям пешком, с нещадным грузом мандаринов и шоколадных зайцев в облегающей обертке, по сильно пересеченной местности, и без твоего сочувствия, как настаивают присевшие рядом билетеры, ему не добраться. Пробовать пирог, конечно, все забыли, побросали блюдца и давай ноги в коридор, в сторону источника звука, а впереди всех – лучшая часть создателей пирога, кому он по гроб жизни обязан своим неповторимым букетом.

Если я буду пытаться скрывать, что звук исходил из Азалии Сергевны, вы моих попыток не оцените и ретардации эти сочтете издевательством. Первые, кто увидел, застыли у нее на пороге, а следующие с разбегу втолкнули этих в помещение и сами стали.

Она к этому моменту уже замолчала, недвижно сидя с очень неопределенным выражением, словно прислушиваясь, как где-то в мире снова творится несправедливость или как ее внутри младенчик ножкой толкает, а изо рта ее, который закрыть она то ли пренебрегла, то ли не была в состоянии, тянется дым, густыми клубами и с вкусным запахом, как от мангалов с шашлыком в центральном парке. И все стоят, нюхая. А когда дым отнесло сквозняком, за ним тем же ходом голос пошел, и в отличие от предыдущего раза – человеческий. Низкий, из глубины и без участия артикуляции. «Когда я умру, – величаво сказала Азалия Сергеевна, как бы ни к кому особенно не обращаясь и с видимым равнодушием к сообщаемым ею вещам, – то помните, что старик говорил вам добро...» А дальше она сообщила много удивительного о себе, своих детях и жене, которой у нее не подозревалось. Она с пронзительной ясностью представила слушателям необходимость жить по заповедям правды, работая честно свою работу и не выдумывая всяких выдумок, а потом приподнялась и сделала такое движение, будто хотела ввинтиться в пол, но не сумела и просто рухнула комком на рабочем месте.

«Это Толстой», – сказал кто-то из коллег выбывшей из строя Азалии Сергеевны, когда молчание стало казаться неловким, а надо ли вызывать врача, и если надо, то какого, не было ясно.

«Где?» – не поняли его смятенные окружающие.

«Вот», – кивнул коллега подбородком на тело Азалии Сергеевны.

Тогда от него тоже отступили, а виновные задумались, успел ли его кто угостить пирогом, и если да, как далеко зашли мутации и каждый ли раз они идут одними путями.

«В смысле – то, что она говорила, это Толстой. Году, кажется, в девятьсот девятом записывали его на патефон. Было новое изобретение. Есть такая запись, тут в кабинете пластинка хранится. Вы “После бала” не проходили еще?»

Никто не помнил.

«Ну, вот когда будете, – великодушно сказал коллега, – она вам ее поставит. То есть поставила бы, – уточнил он, посмотрев на манкируемое тело Азалии Сергеевны. – Она всегда ее ставила».

Тут все заметили, что эта фраза звучала как зачин гражданской панихиды, и всем стало неудобно перед телом. Меж тем оно промолвило еще несколько фраз, в нетолстовской тональности, в которых одни люди, коллекционировавшие по молодости лет пластинки из серии «Писатели у микрофона», узнали Бунина доэмигрантского периода, а другие, налегавшие больше на «Птиц России», услышали ту памятную руладу, после которой доброжелательный голос Дроздова отмечал: «Как прекрасна весной трель наперстянки в сосновом бору».

Тогда все присутствовавшие впервые смутно вспомнили, что все это время, с тех пор как сказочный пирог дал Азалии Сергевне всеведенье пророка, что-то досадно отвлекало их, мешая следить за мучительностью ее моральных исканий. Что это было, они выяснили очень скоро, когда одна из девочек, обычно раздиравшаяся между шекспировскими ролями в театральном кружке и неудержимой профессиональной склонностью к полноте, с визгом признала в мохнатом пятне, качавшемся на гардине в углу, излюбленную вахтерами собачку. Все ахнули и всплеснули руками – а собачка, будто ей этого было мало, решила отвести душу за долгие годы подросткового невнимания и за

неудавшуюся карьеру натурщицы и модели. Какая-то муха, которой щедрые остатки еды, изготавливаемой на тупиковых путях профессиональной эволюции, давали сохранять зимой тепло и живость, инспектировала потолок в противоположном углу класса. Собачка заметила ее сверкнувшим глазом, растворила пасть и стрельнула малиновым языком через все полное дымом Азалии Сергевны аудиторное пространство. Реакция присутствующих на эту выходку могла удовлетворить самое ущемленное себялюбие. Язык молниеносно свернулся трубочкой, увлекая в небытие прилипшую муху, и довольная собачка, распахнув шерстистые бока, сделала широкий круг почета над подавленными головами учащихся и педсостава и вынеслась в форточку, затерявшись в ночи и метели.

После этого Новый год как-то утратил актуальность».

Тут старушка заметила, что наступила полночь, и прекратила дозволенные речи. «Пойдем, – сказала она, – таможня ждать не будет». Спотыкаясь о корни, они дошли до поста и постучались в дверь с геральдическим василиском. «Прошу, пожалуйста», – с легким подъемом отозвался им внутренний голос. Они вошли. Внутренний голос, исходивший из чиновника с проницательным темным взором и прокуренными ницшеанскими усами, сказал им: «Располагаться прошу. Что недозволенного с собой везете?» «Ничего, вот те крест», – согласно отвечали они. «Как же-с, – возразил он, останавливая взор на Ясновиде, – а вот». «Что такое?» – трепетно спросила старушка. «Прошу понять меня, мэм, – решительно сказал чиновник: – подростки с холодным оружием к ввозу категорически запрещены. И простых подростков не всякий раз пропускаем, только по рассмотрении, а с оружием, ятаганами всякими – это уж увольте. Я вдовец, у меня дети ма-

лые». «Что же делать?» – беспомощно спросила она. Чиновник интимно поманил ее пальцем к своей конторке. «Что гонит вас отсюда? – слышал Ясновид его шепот. – Оставайтесь, здесь отменное общество, которого украшением вы станете, как жемчужина в перстне... Что вам в этом малом? у него, сразу видать, ужасные манеры и достоинств решительно никаких». «Это суженый мой, – страдальчески говорила она, – жизни мне не будет без него». «Ну, знаете ли, такого ослепления... простите мне откровенность, но вы, очевидно, умная женщина... и так не видеть перспектив... Как угодно, а вас вместе я не пропущу и шлагбаум вам не открою. В конце концов, я вдовец...». Они хором умолкли. «Позвольте нам подумать немного о перспективах», – слабо сказала она. «Сколько угодно, мэм», – поклонился он. «Пойдем, Ясновидушка, на воздухе постоим», – позвала она. Они вышли в коридор, под угрюмую электрическую лампочку. Глубоко вдохнув, как перед фигурным прыжком с трамплина, старушка ударилась об пол и обернулась молодой невысокой блондинкой в берете. Ясновид изумленно подал ей руку; взглянув на него лучезарными признательными глазами, она, тяжело опершись, поднялась с занюханного казенного полу и, ловко перехватив Ясновидову руку, перебросила через бедро и ударила об пол, в свою очередь, и его, с размаху превратившегося в белого шпица («шавку или косматку», по Далю). После чего, успокоив жалобно повизгивавшего шпица ласковыми словами, она вошла в комнату, а шпиц, хромая, бежал за ней.

«Скажите, – произнесла она, – а одиноких интересных женщин пропускают у вас через шлагбаум? С небольшими собачками?»

«Безусловно, мэм, – подтвердил чиновник. – Небольшие собачки, как необходимый вечерний аксессуар интересных женщин, всемерно приветствуются в нашей стране. Мы видим в них верный знак общественного прогресса. Вот здесь и здесь заполните, пожалуйста, и распишитесь».

Старушка села составлять опись родственникам, бывшим в плену и на оккупированных территориях. Воспоминания ее неодолимо охватили. Рука бежала по листу. Дойдя до фразы «И изнемогоша людье в граде гладом и предашася ратным», она подняла глаза и увидела, как чиновник бьет шпица мраморной пепельницей, а тот стискивает челюсти у него в паху. «Он не кусается», – сказала она и покраснела. «А я выспался зачем-то, – сообщил вдовец и отец детей, сильно надавливая шпицу под ушами, чтоб разжать зубы. – Как это глупо». «Это хорошо, что я уезжаю, – сказала она. – Вы не находите?» «Может быть, я не знаю, я ничего не знаю... Подпишите вот здесь... Хорошо. В следующем кабинете отметьтесь, пожалуйста».

Выйдя в коридор, она ударила ими обоими об пол. «Сетку йодовую нарисуешь потом, – сказал Ясновид. – Вся нога к черту». «Прости, милый. Я боялась, если тебя предупредить, ты артачиться будешь». Они вошли в следующую комнату, там за обширным столом сидела эффектная блондинка в строгой офисной юбке и с обнаженной грудью, в ушах у нее были дорогие серьги, а под столом – желтые львиные ноги с лакированными когтями и хвостом, она его свивала быстрым колечком.

– Курите, – приветливо предложила она Ясновиду. – У меня сигары прекрасные. Буквально вчера задержали свежую партию.

Ясновид отказался.

– Молодой человек, у меня к вам предложение, – сказала она. – Контрабанды у вас, конечно, нет никакой, но вы сами лучше всякой контрабанды. Женитесь на мне, вам со мной хорошо будет. У меня казенная квартира трехкомнатная и еще одна двухкомнатная, на маму записана, мы ее на вас перепишем. Я вас буду любить. А старушку вашу мы в собес сдадим, там грамотно устроят ее будущность. Будете ходить к ней по воскресеньям.

– К сожалению, я вынужден вам отказать, – вежливо, но сухо сказал Ясновид. – Мое сердце в настоящий момент занято и освободится ли когда, неизвестно.

– Тогда давайте так, – сказала она, чуть опечаленная. – Я вам загадку загадаю. Отгадаете – воля ваша, не отгадаете – ваше счастье, останетесь со мной в полном своем довольстве. А иначе я вам с вашей старушкой, извините, бумаг не заверю и через шлагбаум не пущу.

– Ну что же, – сказал Ясновид, – давайте загадку.

Она задумалась и предложила:

– Ну, вот такая, скажем. Сивая кобыла всю округу исходила, то завертится вокруг себя юлой, то дорожкой понесется столбовой.

Ясновид подумал и сказал:

– Я полагаю, отгадка – это метель. Слова Пушкина, музыка Свиридова.

– А вот и нет, – торжествующе крикнула женщина, ударяя себя хвостом по строгим бедрам. – Это система эпициклов в Птолемеевой картине мира. Пойдем, милый, тут регистрируют в девятом кабинете, а за старушкой потом забежим или свидетелей пошлем.

– Позволю себе не согласиться с вашей отгадкой, – строго сказал Ясновид. – Авторитет геоцентрической системы Птолемея, как известно, был в корне подор-

ван революционными наблюдениями Тихо Браге и выведенными на их основе законами Кеплера. Ваша отгадка, таким образом, морально устарела, а моя, что это метель, побеждает как научно более выдержанная. Извините, женщина, мы торопимся.

Посрамленная женщина-львица уронила голову на стол, и тушь потекла с ее рыдающих глаз по акту изъятия контрабандного героина.

– Ясновидушка, – печально сказала старушка, когда они увидели за шлагбаумом занимающуюся зарю. – Я что хочу тебе сказать. Ты вот сказал, что сердце твое занято. Я понимаю, это ты про меня сказал. Эта женщина, она, в сущности, права. Она и красивей меня, и успешней, а что ногами не вышла, так ведь не с ногами жить, а с человеком. И сколько еще таких женщин будет на твоем пути, которые захотят связать с тобой жизнь. А я что? Я тебе только обузой буду. В общем, я тебя освобождаю от обязательств в моем отношении. Никаких притязаний. На все твоя воля.

– Я понимаю, – отвечал на это Ясновид, – встреча с этим человеком, эффектным вдовцом, заставила вас задуматься, верный ли вы сделали выбор. Вы находитесь в сомнениях и намерены испытать, не нахожусь ли в них и я. Тем не менее, я не из тех, кто, дав слово, тотчас начинает думать, как его обойти. Я обещал на вас жениться и не нарушу обещания, можете смотреть на это как угодно.

– Ты это серьезно? – просветлев, спросила старушка.

– Абсолютно, – отвечал Ясновид.

Они глянули друг на друга пристально и расхохотались.

Но вдруг она, обернувшись на темный запад, ухватила Ясновида за руку и закричала: «Гонятся за нами! Бежим, бежим!» Ясновид глянул на небо и заметил,

что один фрагмент западной темноты движется самостоятельно.

Они побежали, выбирая рощицы и дефилеи, чтоб их было меньше видно.

– Это кто? – спрашивал он.

– Это княжеские сычи, – отвечала она. – На мясное натренированы.

– Обычные сычи?

– Нет. Телескопические.

– Глаза?

– В том числе.

К обеду телескопические сычи опасно приблизились, Ясновид различал заинтересованный блеск их фасеточных очей и пушистую вилку хвоста. «Нагоняют, нагоняют», – судорожно шептал он. Старушка запустила руку себе в рот по локоть, вытянула вставную челюсть и бросила через левое плечо. Тотчас на том месте вырос челюстной лес, в котором сычи с разлету увязли. «Можно обождать, – сказала она, останавливаясь. – Им надолго там». Они отдохнули и двинулись дальше. Часа через два сычи выбрались из искусственных кариесов, их глаза смотрели рассерженно, на теле виднелся характерный прикус. Они нагоняли. Старушка приостановилась, отстегнула пластмассовую ногу и бросила через плечо, поднялся густой лес ног, где сычи запутались широкими крыльями в пальчатых ветвях. Они побежали дальше. Я знаю, что вы хотите спросить, и не стану отвечать на этот вопрос, попробуйте представить сами. Они бежали до ужина, потом присели в бамбуковой роще, поели молодых плодов с соусом, забывший о княжеской прозорливости Ясновид хотел было уснуть, но старушка его растолкала и завела давешнюю историю.

«Дошло до меня, о богатырь из города, – начала она, – что тело Азалии Сергевны, сервированное праздничным горошком, оттащили в учительскую, по дороге в которую оно завещало остерегаться равнодушных, и предприняли комплекс мер, направленных на ее относительное оздоровление. Когда она самостоятельно пошевелилась и спросила «Где я? и где эти стервецы с пирогом?» голосом, в котором не опознавался никто из представителей творческой интеллигенции с момента изобретения звукозаписи, приводившие ее в чувство сочли свою миссию в основном выполненной.

Однако если бы кто-нибудь потрудился заглянуть в зал и оглядеть покинутые блюдца, то заметил бы, что на двух из них куски пирога лежали надкусанные. И если б он после этого понаблюдал за состоянием тех, кто прибежал за зов Азалии Сергевны, он имел бы шанс заметить, что двое учащихся как-то особенно близко к сердцу приняли ее недомогание. Лица на них не было, и руки свои одаренные они прижимали к тяжело бьющемуся сердцу. Дело в том, что наш герой, Виталик его звать, и один из его друзей и подельников успели-таки накинуться на свой пирог, будто из голодной губернии, потеряв всякую осторожность, и достаточно от него отъесть. И теперь они стояли потерянные, вслушиваясь в себя и думая, каким боком им это выйдет.

Вышло им разными боками. Они хотели было скрыть от коллектива, но больно экзотические формы и жанры это приняло. Тот, который друг и подельник, у него образовалось навязчивое чувство, что далеко-далеко отсюда, в городе Чебоксарах, сидит на кухне некто Сергей Иванович, глядя в окно на трамвайное депо, и курит «Беломор», стряхивая пепел в горшок с кактусом, и вот когда горшок этот переполнится, тогда

ему, другу и подельнику, выйдет так плохо, что он будет долго и нудно выздоравливать и, может даже, и вовсе помрет. Последствие у него такое вышло, как выражается писательница Толстая. Иногда это ощущение от него отливало, а порой, наоборот, так накатывало, причем обычно к пяти часам утра, что он просто не знал, куда деваться от его пластической выразительности. Видел он даже, как жена Сергея Ивановича входит на кухню и говорит ему: «Что это ты, Сережа, просмолил тут все, войти невозможно; а ты бы, наоборот, надел шапку с ушами и пошел на лыжах в наш чебоксарский парк, там желтое солнце брызжет сквозь пушистые ветви и оживленные снегири ведут свою нехитрую тему». «Нет у меня, Женёк, никаких настроений в парк идти, – якобы отвечает ей Сергей Иванович, – а вот я лучше еще покурю здесь»; и систематически стряхивает свой пепел в кактус. Тут визионера начинает бить буквально дрожь, он всеми фибрами души ненавидит отвратительного Сергея Ивановича и желает всякого блага его жене Евгении, бьющейся за здоровый быт. И часто, вскрикивая от этого на уроках, он смежал веки от давящей яркости видений, а осведомленные сочувственно бормотали: «Опять Толяну Сергей Иванычем вставило. Когда уже он, козел, накурится в своих Чебоксарах».

В сравнении с Виталиком, однако, эта одержимость Сергеем Ивановичем представляла собой лишь цветы скромной настурции. Виталику досталось хуже. Именно, когда ему случалось сильно о чем-либо подумать или хотя бы ярко что-то представить, он тотчас принимал убедительную форму того, о чем подумал. Как об этом говорит народная мудрость, аукнется в ментальности – откликнется в реальности. Первый раз за ним это заметили, когда он на занятиях по отечест-

венной истории начал в нижней части покрываться авиационной фанерой, принимая недвусмысленные контуры аэроплана. Историк сделал из этого вывод, что Виталию здесь неинтересно, и надолго оскорбился. Это, впрочем, между своими. Но его поездки общественным транспортом превращались в серию пощечин общественному вкусу, потому что он с прямо болезненной живостью стал ощущать, какой именно частью тела его придавливают слева, а какой – справа, и с подобной оперативностью откликов на ситуацию ему, конечно, здоровее было ходить пешком.

Их хотели было наказать за пирог, но из сожаления замяли дело, видя, что те и так наказаны. Азалию Сергеевну практически поставили на прежние рельсы, только иногда она задумывалась и писала автоматические письма в деревню, одно, например, было такое: «Дорогие дядя Петя и бабушка Наталья! Два человека сидели на лесах и пилили двуручной пилой. Один из них в чем-то позавидовал другому и приложил все усилия, чтобы тот упал с крыши. Это доставило неудобства обоим, так как второй, падая, крепко уцепился за пилу, которую держал другой, потому что намеревался выменять ее на два десятка свежих яиц. Удивительно ли, что прохожие при взгляде на эту картину были охвачены сходным чувством, а Н. З. Афанасьев в 1923 году даже спрыгнул на ходу с подножки трамвая, чтобы полюбоваться работой, достойной подлинного мастера загадки. Привет также тетке Авдотье. Целую, ваша Заля». Приведенная в чувство, она отказывалась объяснить, почему сочла необходимым поставить в известность об этом всем дядю Петю, неплохого, в общем-то, человека, но в целом эти случаи одержимости доставляло ей мало хлопот. Подельнику, осажденному, как древняя жена, безумно-странными

виденьями, пришлось куда хуже, а Виталику так и вовсе. Он писал отцу в деревню горькие письма, прерываемые попытками вывести правую руку из сходства с описываемыми предметами, и, еле дотянув до лета, тотчас уехал в деревню отдохнуть.

И вот теперь он стоит перед дверью и стучит.

Отец пробудился, отпер и стоит, переминаясь босыми ногами, а вокруг него курится тяжелый дух одиноких вакханалий. «Ну, кто так утром стучит, – говорит он. – Чего ты долбишь». Тот, дескать, здравствуй, батя, как у тебя тут дела, как хозяйство. Отец: кстати, пойди курам задай, какие остались. Тот возвращается от кур, какие остались, их легко отличить, потому что все в целях размежевания метят кур краской по спине, у него были с синей точкой-тире, как обстоятельство места; батя лежит на кушетке и говорит: ну, не стой как столб, не видишь, отцу плохо. Тот: у тебя деньги есть? Отец: удивительно мне это. Ты же, говоришь, умеешь принимать всякие формы, вот и прими какую-нибудь пользующуюся спросом, а я тебя продам соседям. Культиватор «Крот» можешь изобразить? Тот говорит: я-де устройства не знаю и грамотно его помыслить не могу. Отец: ну, а живность, улей там, или курей десяток, или овцу, или лучше телку годовалую? Тот: телку, говоришь. Ну, я попробую. Становится среди комнаты, зажмуривается и мыслит телку. Происходит что-то вроде вспышки магния, и Виталик приоткрывает глаз, думая увидеть себя на четырех копытах и с карими большими глазами семейной кормилицы, но нет, копыт он вокруг себя не замечает, хотя определенные перемены действительно чувствует и, глянувши в зеркало, идентифицирует свой набор признаков как женский. Отец изумляется и говорит: тебя о чем просили? Он: извини, мол, батя, у меня слово «телка» других ассо-

циаций не вызывает. Отец: как молодежь оторвалась от корней, родную природу забыли как звать. А как это, однако, ловко у тебя получается. Я, грешным делом, думал, ты привираешь в письмах-то. Ан нет, все по правде. Обходит кругом и говорит: это, значит, твои эротические фантазии? Ну что же, довольно умеренно. А вот эта вот линия мне знакома, видел я такую линию... да, помнится, на фотографиях в журнале «Работница», три года назад, у нас как раз тогда комплект куда-то запропастился из дому. По румянцу твоему вижу, что не ошибся. Ну, хватит карнавала, думай обратно.

А тому, надо сказать, превращение к лицу пришлось, потому что малый он был лопоухий и в угрях, а девка из него вышла гладкая. Поэтому все альтернативные мысли из него ушли. Зажмуривается, конечно, добросовестно, но все без толку, и видно, что конструктивная мысль в нем направлена на косметические доработки. Отец говорит: так тебя не продашь. Какие предложения? Тот задумывается и вдруг, весь зардевшись, говорит: а вы, папа, меня замуж выдайте удачно. Тот отвечает: это сколько времени надо, а сушняк ждать не будет. Раз ты так, пройдись по соседям, попроси взаймы, тебе дадут, в тебе есть уютное обаяние.

Он выходит и идет к соседу, Афанасию Степановичу. Тот служил счетоводом, но поскольку в тот день таинственная рука написала огнем на стене конторы пронзительные слова: «Удой, удой, накос, умолот», а председатель принял это на свой счет и спешно ушел в сарданапаловский запой, Афанасий Степанович раньше обычного свернул счетную деятельность и сидел дома с супругой, вкушая заслуженный покой за телевизором.

Подросток стучит в окно, призывая Афанасия Степановича, а те не слышат, увлеченные отечественным сериалом «Простые муки и нехитрые радости». Супруга пересказывает супругу пропущенную им серию (персонажи проходят перед ним чередой, клейменные в область бедра и лопатки тавром морального сознания), а заодно сообщает, как они на работе написали письмо в «Телепень», в рубрику «Зритель раздумал», что надо уже оставить Глашу Казарину с Таганским-Кольцевым на всю жизнь, пусть им будет хорошо вместе, они заслужили. Но тут, прерывая плодоносную тему, начинается шоу «Дети капитана Гранта».

– Сорок лет назад, – говорит ведущий, – один молодой тогда еще китаец обучался в Советском Союзе. Живя в Иваново, он познакомился с молодой еще ткачихой Тоней Ивановой. Между ними завязалась любовь. Юноша всячески уговаривал девушку уехать к нему на родину, где у его родителей в деревне был небольшой аптечный киоск, но она боялась оставить страну и бросить маму. Внезапно он был вынужден уехать, и она не сказала ему, что беременна.

– Сейчас сына ее покажут, – догадывается муж. – Или дочь. Нашли, интересно, китайца-то?

– У нас в студии внук Тони Ивановой…

– …внук даже…

– …пятнадцатилетний Павел Алефиренко из Ужгорода. Поди сюда, Паша.

– И не скажешь, что китаец, – отмечает жена. – Так, есть что-то немного калмыцкое в скулах.

– Ты же ведь никогда не видел своего дедушку, да?

Паша говорит, что да.

– Как ты думаешь, Паша, какой он?

Паша мнется и предполагает, что он, наверное, добрый.

– Нам, конечно, пришлось трудно, твоя бабушка, Антонина Порфирьевна, ничего о нем не помнила, помнила только, что он живет где-то на реке Янцзы. Паша! Как ты думаешь, мы могли бы найти твоего дедушку?

Паша оказывается в таких мыслях, что могли бы.

– Ты прав, Паша. Мы, – говорит ведущий далее в камеру, – проверили всех китайцев, живущих вдоль по реке Янцзы, и нашли твоего дедушку. В настоящее время он живет в Хабаровске, в камере предварительного заключения, за попытку незаконного пересечения российской границы через Большехехцирский заповедник. Нам удалось сделать съемку в Хабаровске, и сейчас, Паша, ты сможешь увидеть своего дедушку.

Большой экран в студии освещается, на нем вырисовывается за решеткой лицо старого китайца, изнуренного общением с российскими пограничниками и полозами Шренка в Большехехцирском заповеднике, его черты трясутся, он говорит что-то сокровенное: «Следуя природе, обретают понимание. Почему же не спросить о сущности? к чему сомневаться?» «Твой дедушка любит тебя, – с расстановкой говорит ведущий, – он счастлив тобой, и как только он доделает свои дела в Хабаровске, он тотчас приедет сюда повидаться». Паша сидит недвижно, и слезы беспрепятственно текут из его остекленелых глаз.

Жена тоже плачет.

– Возьмет его теперь к себе в Китай, – сквозь слезы говорит она. – Там сейчас все бурно развивается. Переключи на второй, там «Пляски паралитичных».

Афанасий Степанович переключает на второй, там показывают большую золотистую рыбу с перистыми плавниками, мягко плывущую вдоль экрана. «Разве “Пляски” уже кончились?» – с удивлением говорит

жена. Рыба, словно в замедленном кино, поворачивается лицом в экран и смотрит на Афанасия Степановича своим золото-черным глазом. Он узнает ее, таких разводил его шурин в трехлитровой банке, со смехом пугая их толстым пальцем. Он хочет посмотреть на рыбу поближе и подходит к телевизору, сверху у нее, как и у всех пород, выведенных в бассейне, ракурс выгоднее. Ему вдруг не хватает воздуху, он судорожно сглатывает и окунается головой в телевизор. Там зеленые волокнистые сумерки и пахнет рассолом, его кресло отсюда видно искривленным по нескольким осям. Он делает спиральное движение и соскальзывает в телевизор, задрав ненужные более ноги. Ил со дна встает неслышными столбами навстречу его бурному погружению; минутно заслоняет свет над ним белесое чрево большой рыбы. Прасковья Степановна за стеклом, тронутым ряской, выглядит столь же выпукло-вогнутой, как кресло и ковер с разлатым оленем на стене. Она оказывается у телевизора и, подскочив с несвойственной ее возрасту резвостью, врезается в его мерцающую зыбь позолоченной блесной, и Афанасий Степанович несколько отплывает в сторону кинескопа, давая дорогу ее суматошным плесканьям. Прасковья Степановна больше размером, но Афанасий Степанович изящней, и у него прекрасный зефирный хвост, напоминающий шлейф, с радужными пятнами и глазками, как у редкостной бабочки. Виталик перестает стучать в окно, понимая, что в этом доме ничего не добьешься».

Тут в наступивших сумерках они заметили, как поблизости сквозь черные ветви неведомых деревьев трепетно засветилось окошко. Выйдя на свет, они с удивлением увидели будку со знакомым василиском, повернутым в геральдическое лево. Они заглянули в дверь,

человек с горьковскими усами приветливо развернулся в их сторону, старушка тотчас захлопнула дверь. «Дела, – сказала она. – Похоже, в этих краях пространство одномерное. Как лист Мебиуса». «Это как понимать?» – спросил Ясновид. Она оторвала от подола полосу ткани, свернула и показала Ясновиду, взяв его за палец, как он, беспечно идя по дороге с геометрическими петушками, вдруг оказывается с их изнанки. «И что это значит?» – спросил он, оторвавшись от гулянья по подолу. «Заплутали мы». «Это, я так понимаю, та же опять таможня?» «Скорее это изнаночная сторона той таможни». «Что ж тут все не как у людей», – выразился Ясновид. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят, – заметила она. – Терпимей надо быть к иным культурам». «Какие из этого практические выводы?» – нервно поинтересовался он. Старушка вздохнула. «Обратно таможню будем проходить, – сказала она. – Потерпи, родной». Она ударилась о крыльцо и обернулась русскою зимой, стукнула Ясновида лицом об стенку, и он встал трескучими морозами, от которых лампочка в коридоре потускла и поросла белыми папоротниковыми листьями. Старушка инсталлировала морозы и вошла в отапливаемое помещение. «А вот кто тут! – зазывно сказала она. – Это я к вам пригожаловала, зимушка-зима! Заждались, заждались вы меня, родимые!» Она махнула правым рукавом, из него вылетели лихие тройки, будто только что с палехских шкатулок, с конями основных цветов, бьющими гремучим копытом, удалыми молодцами в ресторанных рубахах и разгоряченными невестами в ряснах и кокошниках на босу ногу. За ними следом трусили бурой массой волки-прихлебатели, которым периодически сковыривали из саней по невесте. Она махнула левым рукавом, из него высыпались проводы зимы, в ожи-

дании которых скучали на неструганых столбах шедевры таксидермии, облитые соляркой; звучали жаркие поцелуи на морозе, морковь сочным теплым мазком торчала из обобщенно решенного объема снеговиков, гремели широкие масленицы с понедельничными расстегаями и субботними неохотными застегаями и перевязывались оберточной ленточкой русские розы, свежие в пыли снегов. «А вот у меня морозы трескучие! – сказала она и щедро дохнула ими, так что конфискованные обои в мелкий мышиный горошек съежились и затрещали на стенах. – Стар и млад веселья ждут! Где, яхонтовый, подписываться?» Чиновник зябко потерся. «Видите ли, мэм, – сказал он. – Мы, безусловно, рады вас видеть. В наше время антропогенных вторжений всякое непосредственное проявление природы вызывает горячий интерес. Но возникли некоторые нюансы. Три дня назад у нас проснулись все ежики. Им потно спать. Теперь им нечем заняться, они хрюкают под скамейками, а если по ним ударят ваши морозы… как это вы говорите… трескучие, есть основания считать, что до девяноста процентов их вымерзнет. Между тем ежики не только существенно обогащают мир красок, звуков и перемещений родной природы, но и являются важной частью ее оборотного капитала. Мы поставляем ежовьи шкурки ведущим производителям женских стелек, ежовье молоко лежит в основе нашего детского питания, приближаясь по жирности к китовьему, а костная мука из них является важным ингредиентом фарфора, придающим ему розовую прозрачность, а размещенным на нем пастушкам – реалистичные очертания. Как человек, пустивший корни, я хочу, чтоб корням не было неуютно. В следующем году, надеюсь, мы встретимся с вами в календарные сроки, где-то в последней декаде

ноября, а сейчас, извините, ничего не могу для вас сделать». «Вот, значит, чего, – скучно сказала русская зима. – Оно конечно». Она начала сматывать в рукав разлетевшиеся по помещению гулянья и игрища. В дверь заглянули телескопические сычи. «Извините за вторжение, – вежливо сказали они. – Вы тут не видели такой старушки сухонькой и парня с мечом? Нет?» Чиновник сказал: нет. «Вы?» – строго обратились сычи к волкам, закатившимся под стол. «Мы-то что, – невнятно отвечали волки набитым невестами ртом. – Мы-то». «Вы?» – спросили сычи удалых парней. «Да мы разве чего? – согласно отвечали парни. – Ты только прикажи, милостивец наш!» Сычи глубоко вздохнули и исчезли из помещения. «А кстати, – негромко сказал чиновник, – раз уж тут было упомянуто. У вас, в самом деле, нет ли в инвентаре таких... подростков... с мечами? Сейчас на них спрос среди частных коллекционеров». «Нет», – сухо отвечала зима. «Это, знаете ли, определенное упущение... в репертуаре традиционных развлечений, кажется, должно быть...» «Вам как вдовцу...» «Почему я вдовец?» – удивился чиновник, но вдруг посерьезнел и принялся звонить домой.

Зима выплыла в коридор, унося ощущение праздника. «Минуту терпения», – сказала она себе. Одутловатая девочка с белым петухом в руках и мужчина в медном пожарном шлеме, терпеливо ждавшие своей очереди в коридоре, с интересом наблюдали за ее действиями. Через минуту к чиновнику вошел щегольски одетый землемер, его черные волосы украшал котелок, а на шее висел медальон с фотографией, на которой молодая женщина смотрела в камеру с неопределенной нежностью, позади нее ветер раскачивал качели, тень от качелей падала к женщине, а от женщины – к качелям. «За землей нужен глаз, – сказал он таможен-

нику. – Еще когда она была молода, жила с родителями и небо было принято у них женихом, уже тогда за ней нужен был глаз, из-за этого были неприятности. Я избавлю вас. Мне будет нужен телефон, чтобы вызвать помощников, но в целом я заранее уверен в результатах». Заглянули сычи и сказали: «Мы все-таки, извините, спросим еще раз насчет старушки. Точно не было?» Чиновник развел руками. «Никакого надзора за передвижениями, – заметили сычи. – Земля велика, а следить некому». «А кто же я?» – сурово спросил зем-лемер. «Ты землемер», – помолчав, с уважением ответили сычи, глядя на его землемерскую наружность, и коллективно исчезли.

В коридоре Ясновид давился качелями, их стихийное движение выдавалось из него при ходьбе и наклонах, и неопределенная нежность еще не совсем выветрилась из его лица, когда они зашли к женщине, у которой стрижка под мальчика сменилась красивой стрижкой «каскад», и была она теперь не блондинка, а брюнетка. Да и хвост, пожалуй, стал немного длиннее и заканчивался курчавой виньеткой прямо у дверей. Но, в общем, это была все та же красивая и очень настойчивая женщина.

– Я понимаю, – сказала она, адресуясь к Ясновиду, а старушки как бы и не наблюдая, – что больше всего вам хотелось бы остаться со мной и никуда не идти. Но, уважая вашу мужскую тягу к независимости, я сохраню за вами видимость инициативы и оформлю ее как архаический тип состязания. Я вам загадаю загадку, а вы отгадаете. Если отгадаете, то как хотите. Если нет, то уж тогда как я хочу. Начали?

– Начали, – согласился Ясновид.

– Ну вот, скажем, – выбрала она из богатого, очевидно, репертуара. – Что такое: хитрый Митрий: умер, а поглядывает?

– Прежде всего, – веско сказал Ясновид, – я хотел бы выслушать ваш ответ. Чтобы не последовало недоразумений и попыток опротестовать результаты.

– Мой ответ, – сказала она, – это выковырянный из двери дверной глазок, и никакой другой ответ, который придет вам в голову, а из нее на язык, не будет правильным. А теперь я внимательно слушаю ваш ответ.

– Мой ответ, – решительно сказал Ясновид, – в том, что это шелудивый поросенок в Петровки замерз. Вот что такое хитрый Митрий: умер, а поглядывает.

– А вот и нет! – привскочила она. – Шелудивый поросенок в Петровки замерз – это в лучшем случае на нагнутую сосну и коза вскочит! В лучшем, повторяю! Но никак не хитрый Митрий: умер, а поглядывает!

– Мне странно, – сказал Ясновид, – встретиться с таким пониманием вещей в наше время и у столь эффектной женщины. Едва ли вы думаете, что чрезмерная осведомленность вредит женской красоте, и потому я напомню в общем виде суть дела. Традиционно выделяется царство крылатых «Кошку бьют, а невестке наветки дают», в котором судьба домашних зверей служит предупреждением для людей, способных его воспринять. Внутри этого царства выделяется, в частности, тип «Ешь собака собаку, а последняя удавись», относящийся к благодетельным ограничениям, налагаемым на личную свободу ради равновесия интересов. В этом типе находится отряд «Свинья чешется – к теплу», трактующий прогностические функции привычных пород, в котором выделяется подотряд «Шелудивый поросенок в Петровки замерз» с серией поправок к базовым материалам. Тут как частный случай инвер-

сии природных симптомов и находит себе место хитрый Митрий: умер, а поглядывает, а что касается упомянутой вами на нагнутую сосну и козы вскочит, то она локализуется в классе «Не дай Бог мужику барство, а свинье рога», включающем сведения антиутопического и форс-мажорного плана.

– Милый, – прошептала она, – может, так останетесь?

– Сейчас не могу, – извинился Ясновид, пожалев страдающую женщину-львицу. – Может быть, в другой раз.

– А я тогда пирогов напеку, – оживилась она, глядя на него сияющими глазами в слезах. – С морковью. Брюсов любил. Вы любите как Брюсов?

– Как Брюсов я люблю, – согласился Ясновид, и они покинули таможню.

– Ясновид, – сказала старушка под шлагбаумом, – я тебе вторично предлагаю. Ты свободен. Никаких обязательств.

– Нет, – просто сказал он. – Не увиливай. Брак есть свободное согласие как минимум двух душ.

– Спасибо, – еще более просто сказала она.

Они прошли таможню и вторично углубились в неординарные края.

– Яблонька вон, – сказал Ясновид. – Когда мы ели-то в последний раз?

– Ну, дай Бог, в последний раз мы еще не ели, – отметила старушка, не свободная от суеверий своего века.

– Ну, это-то да, – третий раз за последнюю страницу согласился Ясновид, испытывая пресыщение от своей податливости. – Но в животе урчит, тем не менее. Пойдем, попросим. Колхозная, небось. Не откажет.

– Яблонька, яблонька! – хором сказали они. – Кудри твои шелковые! Дай яблочка отъесть, силы не стало!

– Ну, яблочек нету, конечно, – покряхтевши, сказала яблонька. – Во-первых, январь все-таки на дворе. Не лежкие они у меня. Я, кстати сказать, белый налив. Вот если б вам, к примеру, спрятаться надо было или еще чего – тут дело другое, это завсегда. А яблочек – нет, нету.

– Что за прелесть эти сказки, – злобно сказал Ясновид, исчерпавший способность соглашаться. – Того гляди язву подхватишь. А что-нибудь тут плодоносит в январе месяце?

– Эй, скитальцы! – закричала им вслед яблонька белый налив. – Вы, это, там печка будет, так если у ней соберетесь просить, то лучше не надо. Она буржуйка. У ней снега не допросишься.

– Спасибо тебе, яблонька, – этикетно сказала старушка. – Мы с тобой одной крови. Моя добыча – твоя добыча.

– Ну, это само собой, – пробормотала яблонька, погружаясь в зимнюю дремоту, и соки в ней остановились.

Печку они обошли, издалека завидев ее очертанья в стилистике венского модерна, и достигли до речки.

– Речка, речка, – сказали они ей, – струи твои медовые! У тебя поесть чего не найдется? Рыбки там или раков? Икры тоже можно.

– Вон островок, видите? – спросила речка, по местам затянутая черным льдом. – Это мужик подледным ловом занимался. Глянул в прорубь и познал себя. Так и не отпустило. Лед сошел, а он все тут. Быльем оброс, пешню повиликой затянуло. Там самый клев, со стороны авоськи, где конский щавель; хариус там на овода хорошо берет. Если дойдете, конечно.

Идти по тонкому льду не решились, простились с речкой, заключив с ней союз дружества, и вскоре на их горизонте нарисовался лес, прозрачно черневший один.

«Давеча не было», – отметил Ясновид. «Ну, еще бы, – сказала старушка. – Это же наш». В самом деле, это был лес ног, воздвигнутый ею в ходе бегства. Они прошли вдоль опушки, тщетно ища грибов, и наконец углубились в загадочную чащу, где терпко и тревожно пахло дремучими ногами. Мимо прополз, сокращаясь и раздвигаясь, кольчатый носок с олимпийской символикой, предназначенной для устрашения экосистемы; хохлатый педикюр, приметивший его с вершины, налетел, закогтил, невзирая на страшно глядящие олимпийские кольца, и унес носок к заоблачным вершинам. «Какая богатая фауна, – отметил Ясновид, озираясь с интересом. – А калоши где? В спячке?» «Ясновидушка, я все придумала, – сказала вдруг старушка. – Ты как по плотницкому делу?» «Ну, табуретки строгал в школе. Столбы для княжеских шатров, было дело, обтесывал фигурно... мурзилками всякими... А что?» «Корабль надо сделать летучий. Улетим отсюда, иначе век будем на таможне об пол биться. Ты если за свои способности тревожишься, то не тревожься, – прибавила она, видя, как он тревожится за свои способности. – Корабль – это та же табуретка, в принципе. Только большая и инвертированная ножками вверх». Ясновид не был уверен, что такое описание летучего корабля отвечает предъявляемым к нему аэродинамическим требованиям, но понял, что другого корабля у него все равно не выйдет, и спросил: «А инструмент?». Она щелкнула пальцами и достала из воздуха свежеструганный ящик, в котором обнаружились два плотницких топора, японская рулетка, долото, ножовка, отвес, килограмм гвоздей (по полкило сотки и стодвадцатки), лобзик в подарочной упаковке, на которой была достоверно изображена доска горбыль, произносившая: «Лобзай меня, мне это надо», стамеска и рубанок с чернильной над-

писью: «Коли Чайкина. Кому шерхебель, а кому иди и покупай готовую мебель». «К вечеру бы успеть», – просительно сказала старушка. Ясновид повел плечом, символизируя невозможность прогнозов, крякнул, как глава и кормилец, и пошел валить ноги. Топором он подрубал кряжистые бедра, по-извозчичьи кричал «Па-берегись», старушка отскакивала, и очередная правая нога, трагически шелестя на верхах, с треском валилась, пластаясь гордой кроной по холодной земле. К полудню старушка собрала нехитрый обед, который он принял, со сдержанным удовлетворением оглядываясь на сколоченный корпус. Нарубивши молодняка, он складывал по пять ошкуренных ног веером, сплачивал гвоздями, и получалось маховое крыло. Крыльев он сделал четыре и нагелем закрепил на корпусе.

Они присели на дорожку. «Ну, в добрый час», – решила старушка. Они отдали швартовы, Ясновид стал у руля, старушка невнятно произнесла заветное слово, и опрокинутая табуретка, которой Ясновид, вдоновленный надписью Коли Чайкина про шерхебель, нарек имя «Ш. Хейердал», будучи уверен, что того звали Шарль, шибко побежала по полосе, могуче взмахивая веером ног. Затрещали стремительно удаляющиеся вниз кусты, нестерпимо завыли выползающие из них голодные калоши, горизонт качнулся, блеснули петлистые линии рек. Солнце садилось. Они заложили круг над покидаемым лесом и направились в сторону запада или того, что в этих краях выполняло его функции. На горизонте дымно горело что-то ненужное, и тревожная синева выдавала существование мировых просторов. По опыту кинозрителя Ясновид полагал, что они должны, обнявшись у грот-мачты, петь песню о браке по любви, но старушка, чьему знанию этикета он доверял, к таким демонстрациям не выказала поползновения, а

распорядилась крепче держать руль и следить за показаниями лага. На летучей гряде облаков, багряно озаренных, они увидели прибитого василиска с казенным выражением черного лица; сидевший за его фанерным хребтом усатый мужчина увидел их, поднялся из-за стола и сказал: «В практике нашей таможни установился прецедент...» «Нельзя ли сократить эту часть, – сказала старушка. – У нас “Хейердал” махать устает. Мы в целом у вас нареканий не вызываем?» Он вгляделся и признал: «В целом да. Особенно вы». «Прекрасно. В таком случае прощайте, и всего вам лучшего». Громоздкая тень «Хейердала» сложно переливалась по облакам, в ней они не сразу разглядели бегущий блеск разгоряченных глаз. Женщина с львиными ногами пыталась их догнать. Она бежала спотыкаясь, падала на руки и бежала уже так, ее задние когти рвали в клочья кучевые облака. Сопроводительные документы разлетались из ее беспомощных рук с маникюром, цвет которого означал: «Я ждала всю ночь, я предугадала самые разнузданные твои фантазии, кроме одной – что ты захочешь не прийти». «Погодите! – кричала она. – Не улетайте вот так!» Ясновид перегнулся через борт. «У меня есть загадка! – кричала она. – Отгадайте ее, за-ради Бога! Я не могу больше носить ее в себе!» «Давайте», – разрешил Ясновид и скомандовал «Хейердалу» притормозить. Женщина на рысях остановилась, ее задние ноги занесло вбок. «Такая, значит, – задыхаясь, сказала она. – В юбке, а не карман, без жилищных проблем, а до сих пор не замужем, с когтями, а не медведь, с бюстом, а не родина героя». «Я не могу отгадать этой загадки, – сообщил Ясновид. – Все мое существо протестует против этого. Я думаю также, что эта загадка вообще не имеет оснований разгадываться». «Я знала», – сказала она, уткнув

лицо в руки, а хвост хлестал по ее нежным бокам. Ясновид распорядился дать в ее честь салют орудиями левого борта. Бледный месяц вырисовывался на бушприте.

«Ясновид, – позвала старушка грустного супруга. – Скоро твой дом». «Да», – без выражения отозвался он. «Ты, кажется, этому не рад». «Не знаю». «Ясновид, давай еще раз. Ты высадишь меня на острове Мадейра, там я дождусь проходящего корабля до Лиссабона. Или, если не на Мадейре, чего там, действительно, время проводить, тогда на Канарских островах, где я поднимусь на Тенерифский пик, чтобы, напрягая глаза, следить твой горделивый лет. А ты прощай навек и будь свободен». «Очередной раз говорю тебе: нет, – отозвался Ясновид. – Что бы я ни думал сначала, теперь я скорее умру, чем променяю тебя на любую роскошь мира. Кроме того, после великого Гумбольдта, поднимавшегося на Тенерифский пик вплоть до пояса, где на нем совершенно не было растительности, в познавательном плане на Канарских островах совершенно нечего делать. Мы летим домой. Уже через час я разожгу плиту и яичницу организую из шести яиц с сосисками». «Категорически?» – уточнила старушка. «Категорически». Старушка облегченно вздохнула. «Ясновидушка, – позвала она снова, – отвлекись, посмотри». Она зашла за мачту и выникнула из-за нее царевной-лебедью. Тело ее переливалось с места на место, сарафан был украшен драгоценными и полудрагоценными камнями от сглазу и для восхищения, роговой гребень в косе был точно португальский галиот в золотоносных струях Тахо, гордая шея, как столп Давидов, несла невыразимо прекрасное лицо, глядевшее на Ясновида с проницающей нежностью. Он выронил руль. «Если ты думаешь, это для таможни, – вымолвила она, – то

не думай. Это не на экспорт, это в самом деле. Я, милый, царская дочь, Прелестой звать, меня князь три года как обманом из дому увез, на корабль купеческий заманив дорогих товаров смотреть, в старушку превратил и при себе неотлучно содержал для наслажденья властью. А ты заклятье снял, и я теперь с тобою навсегда».

Он нашарил руль дрожащими руками. Они выбрались из державы Мебиуса с ее зяблыми ежами и тайными коллекционерами; далеко внизу лежало в рамках генерального плана фосфорически дышащее море, там были гады без числа, больше, чем в органах исполнительной власти, малые с великими, и глянцево-черный Левиафан, в свое время вызвавший замечание Аристотеля, что животное длиною три коломенские версты есть животное невидимое, самозабвенно играл в кипящих бурунах, не смущаясь быть единственным игроком в своей весовой категории. «А пока, – сказала царевна-лебедь, устало прислоняясь к мачте, – я тебе расскажу сказку до конца, а то завтра некогда будет, а тебе, небось, интересно, чем дело кончилось». Она завела в третий раз Историю о чудесном пироге и подвергнувшемся мальчике.

«Дошло до меня, о мой супруг и повелитель, что, когда пребывающий в женском состоянии Виталик увидел поучительное превращение Афанасия Степановича и его супруги, заблагорассудилось ему пойти на реку, чтобы пытать счастья среди купальщиков и рыбаков. Деревенские дети бежали за ним, выпрашивая поцелуй; черная в белую крапинку коза увязалась также, потом веревка дернула ее назад, и она, поперхнувшись, пошла по периметру. Дойдя до реки, сия распрекрасная девица увидела, что посреди нее человек в резиновой лодке таскает окушков одного за другим.

«Эгей, на судне!» – закричала она ему, надеясь, что вследствие обычного расположения мужчин к миловидным девицам этот рыболов на ней не взыщет за бесцеремонность. В самом деле, бородатый рыбак поднял занятое лицо от багряных червей и улыбнулся ей. «Хорошо клюет? А взаймы у вас не найдется случайно?» – крикнула она далее. «Ого, что я вижу, – отозвался он, – Виталик приехал на каникулы! Как себя чувствует Андрей Михайлович?» «А что, так сразу видно?» – разочарованно спросила она, оглядывая себя. «Если приглядеться, есть что-то в нижней части лица, – утешил он. – А если не приглядываться, то нет, не бросается. А ты что же, вошел и выйти не можешь?» «Ну, да», – согласился он, не уточняя. «Я так понимаю, ты помыслил телку, – предположил рыбак, вытаскивая окуня, которого на лету пытался заглотать окунь побольше; он вспорол им обоим брюхо ножом и кинул на дно лодки. – Правильно я понимаю? Не стесняйся, дело молодое. – Он выдернул из воды череп, вроде птичьего, но с рогами, и швырнул его на берег. – Мыслить – это вещь такая, всегда бывают эксцессы. Методические разработки устаревают в момент, а самодеятельностью тут заниматься – это хуже некуда. Ты занимался самодеятельностью?» «На первом курсе только, – сказала она. – Есть такая традиция, концерт устраивать. За знакомство. Мы там сценки представляли со значением. Ну, а потом уже нет». «Тут как я понимаю – если нет тяги, то, значит, призвания нет. Не надо себя насиловать, не отнимай хлеб у администрации. А насчет того, чтоб подумать о чем-нибудь, тут разные совершенно заходы бывают, некоторые просто край всего, хочешь попробовать?» «Ну, давайте», – сказала она, пожавши плечиком. «Ну-ка, – распорядился рыбак, – если не трудно, еще раз, будь

добр, помысли телку». Она сосредоточилась, и по лицу было видно, что это у нее получается. «Отлично. Вижу успех. А теперь, пожалуйста, помысли того, кто помыслил телку». Она смотрела с изумлением. «Ты не тушуйся, главное. Это не в зачет», – ободрил он, покачиваясь на волнах. Тут она опустила ресницы и...» «Осторожно!» – завопил Ясновид, бросаясь от руля.

Поздно! Заснувшая от усталости на полуслове, царевна-лебедь выпала за борт: пальцы его схватили воздух. Пущенный вниз «Хейердал» застыл над местом, где еще слышался плеск ее паденья; Ясновид прыгнул за борт, вынырнул задыхаясь и нырнул еще. Когда наконец, после долгих и бесплодных поисков в ночной воде, онемевший, он выполз на палубу «Хейердала» и тот безмолвно понес его, пока не рассыпался в пыль над его балконом, – Ясновид, потерявший счастье на много лет вперед, дошел в предутренней тьме до кровати, с которой несколько дней назад начался его бесславный поход, и, упав, закусил на ней подушку беспощадными зубами.

Глава девятая,

в которой систематические проникновения не доводят до добра, а нравственные заветы остаются чужды читательской массе

Младший сантехник позвонил в Ясновидову дверь на седьмом этаже и в ее проеме увидел лицо, наполненное таким страданием, что ему тотчас стало стыдно за цель своего прихода. Тем не менее, пущенный в дом, он, запинаясь, ее изложил.

– Сань, сегодня какой день? – хрипло спросил Ясновид.

– Пятница.

– Тогда давай так: какое число?

– Двенадцатое. В общем-то.

– Ага. Четыре дня, значит. По вашему измерению.

Он опять протянулся по дивану, иллюстрированному Константином Васильевым, а младший сантехник смотрел на него с боязливым сожалением.

– Мить, – позвал он, – тебе помочь чем? За пивом сбегаю?

– Не поможет.

– Так все плохо?

Тогда Ясновид, путаясь в словах и большую часть их заменяя болезненными ударами по той части подушки, где у нее должна быть печень, открыл младшему сантехнику историю своего плена, бегства, любви и скорби. По окончании рассказа они надолго замолчали, и к ним охотно присоединился бы и автор, давно уже чувствуя пресыщение от надзора над страдающим человеком, но, к сожалению, он принял на себя должность говорить даже в тех ситуациях, когда для всех речь становится тягостной.

– Мить, ты извини, я не вовремя, – начал младший сантехник.

– Ну, о чем ты. Помочь я вам, мужики не могу сейчас, уж извините...

– Мить, да брось...

– Могу вот свою вторую главу отдать. Может, приго-

дится. Мне уже не надо. – Он отдал младшему сантехнику блокнот с Муми-троллем, содержавший наброски его славянского романа, которому суждено было остаться недописанным по той причине, что автор его перерос.

Младший сантехник сбивчиво прощался с ним в передней, выходя спиной на лестницу.

– Плохо дело, – сказал он коллегам.

– Отказал? – привычно отгадали они.

– Хуже. В такой ситуации, что уж вторых глав не пишут. – И младший в общем виде передал историю Ясновида.

– Жалко малого, – сказал средний сантехник.

– Может, выкарабкается еще, – сказал старший.

– Помочь бы, – сказал младший. – Да чем?

– М-да, – ответили все.

– Ну, мужики, – промолвил старший, ударяя ладонями по коленям, – пойду я, пока суд да дело, к Терентию схожу. Мало ли, может, у него концы есть в литературной среде.

Терентий Сервильевич Гальба, персональный пенсионер республиканского значения, доживающий свои дни в насыщенной политической атмосфере на седьмом этаже, напротив Ясновида, открыл старшему сантехнику дверь и густо сказал:

– Здорово, Семен! Двоих поймали, один убежал. Ищут.

Это вызвало у Семена Ивановича неудержимое желание сейчас же уйти, чтоб не попасться, но он его подавил и вошел в комнату.

– Он с оружием. Как сам-то? – спросил Терентий Сервильевич и, не дожидаясь ответа, сообщил: – Сейчас по радио выступал писатель, и вот его спросили, что, по вашему мнению, происходит в стране, так он прямо сказал: «Воруют». Понимаешь? Вот что сказал писа-

тель!

– Карамзин, наверное, – предположил Семен Иванович, не в силах противиться вихрю политинформации и кренясь в направлении от эпицентра.

– Может быть. Хотя, кажется, какая-то фамилия другая. А может, и Карамзин. Ему говорили: скажите, Михаил, не помню как по отчеству. Известный писатель. Нет, ну ты скажи: ведь все кругом открыто говорят, что идет воровство, а им хоть бы что! В какие дни стал я персональным пенсионером!

После этой вольной цитаты из «Скупого рыцаря» Терентий Сервильевич безнадежно махнул рукой и качнул головою, дававшей ему сходство с моржом.

– Вот, Семен, хоть ты скажи мне: если Бог есть, как тут утверждают, то какой смысл, чтоб у меня был разум? Если он мне только приносит страдания от наблюдений? Бог бы, если был, разве бы он мне его дал без всякой цели?

Семен Иванович был вынужден согласиться с Терентием Сервильевичем, что если бы Бог был, он бы, безусловно, Терентию Сервильевичу разума не дал и был бы кругом прав в этой ситуации.

– Вот, – подытожил Терентий Сервильевич. – Вот до чего дожили. Сейчас одна надежда – на Венесуэлу, – сообщил он.

На этом этапе он был отвлечен вбежавшим в комнату мальчиком в шортах и с благонравным выражением.

– Поди сюда, Коля. Латинская Америка близка нам, россиянам, по поиску правды и новых путей к справедливости, – говорил он, просветленно гладя ребенка по ушастой головке. – Внуки – наше будущее, – также сообщил он Семену Ивановичу, чтобы у того не было сомнений на этот предмет. – От того, какими будут они, какими выйдут, зависит, сбудутся ли наши думы, чаянья

наши. – Мальчик вырвался из-под груза ответственности и убежал за портьеру, глядя из-за нее блестящим глазом.

– Терентий Сервильевич, – сказал старший сантехник, – я к тебе по делу. У тебя знакомые среди писателей, небось, есть...

– Державного направления, – веско уточнил тот.

– Пусть и державного. Нам тут с мужиками один текст надо доработать. Соединить, понимаешь, куски в одно целое. Округлость придать. Так вот, не подскажешь ли...

– Зачем тебе писатели? Я сам сделаю, – решительно сказал Терентий Сервильевич и достал из-под себя тетрадь. – Я тут все думал сесть за мемуары. Когда история фальсифицируется на радость компрадорским кругам, нужно дать фальсификаторам твердый и недвусмысленный ответ. Ты какого мнения?

Семен Иванович вздрогнул и выразил единодушное отвращение от фальсификаторов.

– А пока вот, – продолжал Терентий Сервильевич, любовно поглаживая тетрадь, как конскую холку, – тренировался на мелочах, вырабатывая стиль. Написал ряд таких наболевших миниатюр. Из пережитого. Я же, Семен, сейчас много хожу везде. Что до старости лет мне не довелось встретиться с литературой – это моя большая драма. Я всегда к ней присматривался. Однажды посетил я встречу Ахматовой с читательской массой. Это она уже в годах была. Ну, скажу, впечатление самое величественное. Конечно, не девочка уже, но гордый такой профиль, так себя держит. И сразу видно, что человек грамотный. Уверенно говорит, по всем вопросам. А у нас, знаешь, какой был читатель подкованный? Очень зубастая молодежь! Спрашивали! И я тоже, молодой был, так написал записку и передал вперед по рядам,

чего-то спрашивал у нее...

– Что спрашивал? – спросил Семен Иванович.

– Слушай, не помню уже. Ну, неважно. В общем, интересовался. И она, представь, на мою записку ответила. Вытащила ее из кучи, зачитала и дала свой положительный ответ.

– И что ответила? – спросил Семен Иванович.

– Так и ответила: «Это, знаете ли, совершенно неважно». И так устало махнула рукой. – Терентий Сервильевич показал как.

– Подтвердила, значит, твои соображения.

– Ну да. Вот я тогда уже подумал: надо быть к литературе ближе. Это лучшее, что у нас есть. И вот в старости, когда виски, так сказать, в сиянье серебра, довелось мне сесть за перо. Так вот, Семен, держи, это все в твоем полнейшем распоряжении; вставите у себя, куда требуется, милое дело.

– Нам по сюжету надо вполне конкретно...

– А это и есть конкретно. Чего конкретнее. Надо объяснить читателю верную идею. Не бояться объяснять! В то время, как рынок завален низкопробными порнографическими романами, мы должны вспомнить о корнях.

Семен Иванович взял.

– И внук тоже пишет. Пристрастился, на деда глядючи. Коля! принеси рассказики свои. – Коля убежал, топоча ногами. – Такой живчик, все время выдумывает чего-то. Давай сюда, Коленька. – Коля дал ему листок и опять убежал глядеть глазом из-за портьеры. – Ты прояви внимание, Семен, может, и его подключишь, если понравится. У меня-то раздумья, а у него больше сюжетного. Чего еще надо будет, ты обращайся. Я тебе всегда, чем смогу, помогу. Главное, Иваныч, мужайся, крепись и надейся! Нельзя нам сейчас сдавать!

– Спасибо вам, – неискренне сказал Семен Иванович.

– Ну, как? – спросили коллеги, когда он вернулся в их лоно.

– Щедро поделился своим творчеством, – безрадостно отвечал старший. – И внука своего. Очень одаренный мальчик.

– Огласи, – немедленно предложил средний сантехник. – Если, конечно, никуда не торопишься.

– А может, я лучше? – попросился младший. – У меня дикция хорошая, и логические ударения я красиво ставлю.

– Нишкни, – одернул средний. – Это добыча Семена Ивановича. Его день.

Семен Иванович, бессознательно приняв позу Бабочкина, кашлянул для затравки и начал оглашать написанный синим карандашом ряд наболевших у Терентия Сервильевича миниатюр.

ВИДЯ ПТИЦУ

Нет, не как другие, бойкие и нагловатые, у которых одна удаль – подскокнуть и отобрать у соседа, – медленно, валко тянется он по грязному снегу, крыло отставляя. Черный клюв его смотрит смуро, и весь его профиль – кривым углом – говорит: «Отойди, не надо мне крошек твоих сердобольных, дай умру спокойно».

Неужели кто из нас чует в себе достаточно силы, чтоб сступиться с матерью-природой? Разве амбициями, которых у нас всклень налито, разве оружием, которым лязгаем и гремим мы на всех континентах, хоть на волос тончайший, хоть на мельчайшую волоса дольку прибавим мы века себе? И те, кто с презреньем озирается на бремя старости чужой, – и у них продрогнет что-то такое в душе, догадайся она на мгновенье, что это –

и им, что это – и для них, неотступное, неумольное, неминучее...

Живешь, живешь, и одну разве что изучишь мудрость: есть в природе закон, который мы ни модернизировать, ни переиначить на свой салтык не сумеем.

Умней она.

Мы – уйдем, она – останется.

– Все? – простодушно спросил младший сантехник.

– Чего ж тебе, – сказал средний. – Мысль полностью обнажена. Ворон может умереть. Еще есть чего, Иваныч?

– Вот про продуктовый, – сказал старший сантехник, листая тетрадь. – Тут длиннее.

В МАГАЗИНЕ

Старый дом – дух купечества, хваткого, жадного до жизни, чудится здесь по углам. Ни из кряжистых порогов, ни из ядреной мозаики, которую разъедало-разъедало время, да не разъело, ни из коварных столпов коринфских, подпирающих ввысь укатившийся потолок, духа этого не выдавишь, метлой не выгонишь.

Перед входом, где густо еще не дышал пряный запах с обеих сторон, притулилась близ водосточной трубы, от дождя темнея – гранитная доска с мемориальной надписью. Извещаемся из нее, что в революционные дни был здесь штаб восставших.

Не узнать из нее, рабски недоговаривающей, – а ведь впоследствии были здесь часты и эсеровские заседания, когда еще на весах нерешенности висело, им ли, большевикам ли над всем стать. Как в Игоревы времена, когда, от властолюбья охмелев, бросали жребий о полюбившейся девице, бились тут за Русь, уже ослаб-

шую, уже любому готовую поддаться. «Не столь позорно пораженье, как славна борьба» – может, и утешались этой мыслью, пока не вышло проигравшим окончательного приговора: езжай, мол, в неласковую студь полярную, а то и подале, где горя нет и где всегда тепло.

Брожу; сыры, колбасы, крепкий дух довольства. В освещенном прилавке за стеклом разлеглась свиная голова, так вальяжно, будто ей и невдомек, что она нынче не при прежнем теле. Смотрю в глаза ей сонные, накатило.

С тех пор, как стреляли здесь, и судили, и были судимы, и мучились повинно и неповинно, и творили все то, что потом назвалось историей отечественной, историей отечества – а что осталось? Что уцелело от крови той, что здесь рекой лилась, – вот эти глаза сытые, и в смерти своей довольные, глаза у головы без тела?

Вот что осталось – изобилие. Чего же лучше.

Хочешь – грудинки возьмешь, а хочешь – скучающая девушка, упершаяся крепкой грудью в прилавок, нехотя от него отслонится и отоварит тебя то свининкой, а то и карбонатом расфасованным.

Из чего хочешь сколотим, сварганим себе сытость рабью – да что далеко ходить, из своей же стыдобы, из греха своего же.

– Это на Энгельса, – сказал младший. – Я там ряженку беру.

– Бери лучше у нас в ларьке, тут всегда свежая. Иваныч, я думаю, главную линию мы уловили. Мыслительный заряд не даром грянул. Хватит пока; может, потом, в минуту задумчивости. А чем внук радует?

– Внук-то, – сказал старший, проглядывая его листок. – Внук больше насчет сюжетного. Тут вот про безмен чего-то сочинено. С жертвами.

– Ишь ты. Так не тяни, давай с жертвами.

ЖЕЛЕЗНЫЙ БЕЗМЕН

Однажды геологи собирались в экспедицию, их было семеро. Они решили свесить все те вещи, которые им надо было взять с собой, чтобы знать, насколько тяжело им будет. Один принес железный безмен и они начали вешать. Потом один геолог говорит другому: «Почему это мой чайник тянет на семь кило, а твой пакет с картошкой – на пять?» Тот говорит: «Не знаю». Они думали, что ошиблись, и стали перевешивать, но выходило все также. И все другие вещи показывали совсем не такой вес, как должны. Тогда они бросили этим заниматься и пошли в поход так.

А во время экспедиции они начали по очереди умерать, и каждый умер в тот день, какое число показал ему безмен. Только один из них не умер – тот, кого был безмен.

– Ну, что, – благосклонно сказал средний, – бизарненько. Кровавый елизаветинец. Наследственный лаконизм при одновременной постановке больших социальных проблем. Еще чем раскрасишь сумерки?

– Тут вот, – нашел Семен Иванович, – про колодец.

– Про гиперпространство? – заинтересовался младший.

– Нет. На селе.

– Давай, – сказал средний. – Как человек, регулярно покупающий в магазине яблоки из колхоза «Плоды Содома», я сам не могу быть чужд сельской тематике и другим не позволю. Зачитывай, пока рот свеж.

СУХОЙ КОЛОДЕЦ

Жила одна семья: мама и двое детей, сын и дочь. Однажды мама заболела и умерла. Они ее похоронили, и сестра пошла в школу, а брат остался дома навести порядок. У них в тот день была контрольная по математике. Ее вызывает завуч и говорит: «Иди домой, у тебя там брат один остался, надо за ним приглядеть». Но она не послушалась, потому что хотела написать контрольную хорошо и исправить оценку в четверти. Перед уроком учитель ей говорит: «Сейчас все пишем контрольную, а ты иди домой, а контрольную потом напишешь». Но она осталась. После уроков приходит домой, а там никого нет. Она подумала, что брат с друзьями куда-нибудь пошел, и легла спать. Ночью ей снится, что ее брат сидит на дне сухого колодца, а сзади кто-то стоит и держит его за волосы. Она не успела разглядеть, кто это был, потому что от страха проснулась. На следующую ночь она опять увидела брата, а позади него стояла их мать. Увидев дочь, она сказала: «Ага, и эта пожаловала!» и дохнула на нее огнем. Девочка опять проснулась. Чтобы развеяться, она включила радио, и там сказали: «Чтобы увидеть во сне любимого человека, напиши на бумажке: “Поцелуй меня” и положи под подушку». Она подумала, что это такой конкурс, написала «Поцелуй меня» и положила под подушку. Когда она уснула, то снова увидела брата, и у нее в руках оказалась бумажка с надписью. Он прочел и поцеловал ее, мать страшно закричала, и сестра проснулась, а когда она огляделась вокруг, то увидела брата. Он спал на своей кровати и стонал во сне, у него обгорели волосы. Она скорее разбудила его и велела собираться и ехать к бабушке. Садясь на поезд, они купили газеты и узнали из них, что их дом этой ночью

сгорел. Бабушка их встретила с радостью. Гуляя в окрестностях, они нашли колодец и заглянули в него с фонариком, там не было воды, а на дне горели в огне человеческие кости. Они залили его водой и забросали камнями. Потом они остались жить у бабушки.

– В то время шла война между двумя странами, – пояснил младший. – Мать воровала людей и продавала их на органы одной из стран. А потом стала продавать и другой. Полосатые ноги выследили ее, она нажала кнопку и провалилась. Потом ее нашли в лесу с разрывом сердца.

– А ты почем знаешь? – осведомился средний.

– Ну, я был мал, – вспомнил тот. – Дыхание жанра опалило мои щеки.

– Вот оно что, – задумчиво сказал средний. – Иваныч, – обратился он, – скажи, пожалуйста, Терентий тебе зачем это дал?

– В целях восполнения, – сказал Семен Иванович. – Живо откликнувшись на нашу просьбу.

– Понятно. Типа сконструируй жанр. Кювье для дам, клыки к рогам и все такое. Правильно я излагаю?

– Василь, – упреждающе сказал Семен Иванович. – Он уважаемый человек. Ему Ахматова устало махала рукой.

– Гляди ты, – сказал средний сантехник. – Это она подавала ему знаки. И ей, скажи мне, удалось наладить связь?

– Нет, – сказал Семен Иванович.

– Контакт бывает затруднен различием культурных кодов, – заметил средний сантехник. – Если она сразу начала с критики символизма, пропустив таблицу умножения на семь, то был нарушен принцип последовательности в обучении. Так, значит, он тебе презентовал. А ты ему что?

– А я согласился.

– А ты согласился, – задумчиво повторил средний сантехник. – Скажи еще, Иваныч, ты никогда не думал о том, что согласие – высшая форма иронии?

– Василь, – с сердцем сказал старший, – я родился в тридцать девятом году. Ты сам посуди, было мне когда об этом думать?

– Да, ты прав, мне это в голову не пришло. Значит, ты это взял у него из каких-то иных, недоступных мне соображений.

– Сделаем из них приложение к роману, – предложил младший. – Вроде «Вы нам писали – мы прочли».

– Это когда будет к чему прикладывать, – резонно напомнил средний. – А пока что – готический парк, искусственные руины.

– Нощный вран на ырищи, – добавил старший.

– И тишина, – заключил младший.

– Еще кандидатуры в помощь романисту есть у присутствующих? Нет? В таком случае я сбегаю на восьмой, к Ивану Петровичу, – решил средний сантехник. – Если из школы он уже вернулся.

– Иди, – проводили его. – И повежливей там.

Ивану Петровичу меж тем было плохо.

«Вам, Иван Петрович, надо на разряд подавать, – сказал ему директор. – А как у вас с региональным компонентом?» «Плохо у меня с компонентом», – подавленно сказал Иван Петрович. «Ну что вы, Иван Петрович, в самом деле, мы же вас знаем как творчески работающего педагога... Форсируйте этот момент. И открытый урок дайте». «По компоненту?» «Безусловно. И не затягивайте с этим. А то у людей создается негативное впечатление». Напуганный беседой, Иван Петрович не стал уточнять, кто эти люди. По дороге домой он в киоске «Роспечати» купил за пятьдесят рублей альманах местных прозаиков «Купырь-трава».

«Последний экземпляр», – отметила продававшая эту продукцию женщина. Ивана Петровича этот апокалиптический комплимент оставил равнодушным. Дома он вынул альманах из портфеля и разглядел. На его глянцево-зеленой обложке был помещен оптимистический пейзаж с сельской радугой. Вступление от составителей призывало всякого раскрывшего читать негромкую местную прозу, суля читателю негромкие же, но действенные восторги. Подборки сопровождались фотографиями авторов пять на шесть и маленькими аннотациями; фотографии Иван Петрович разглядывал, ища в них зеркало души, а, следовательно, стиля, и аннотации прочитывал для первичных биографических и критических сведений. Тексты объемом более десяти страниц Иван Петрович отсекал с порога, вследствие чего, например, фрагменты известного нашему читателю романа А. А. Уцкого «Чей там след на завалинке», иллюстрированные автором в технике сепии, лишились случая попасть в школьную разработку. Среди прочего Ивана Петровича привлекла фотография, несшая на себе скромное и где-то привлекательное лицо писателя Прасковича. Вступительная заметка к его произведениям, набранная курсивом, что должно было указывать на стоящий над ней особый акцент, сообщала о богатом жизненном опыте писателя, а также выражалась о его творческой эволюции в том смысле, что он еще в 1988 году подвергся влиянию магической прозы Андрея Платонова, с радостью приняв ее в себя, а потом одумался и начал насмерть бороться с Платоновым за свою оригинальность, но у него не получилось. Иван Петрович проглядел несколько его рассказов и согласился с автором аннотации, что не получилось. Праскович, впрочем, подкупал его своим открытым и мужественным лицом

с бакенбардами по моде семидесятых годов, а его проза остановилась на жанре чего-то маленького, что показалось Ивану Петровичу для преподавания удобным. Он выбрал один рассказик, почему-то называвшийся «Полная погибель», и прочел повнимательней.

Там содержалось буквально следующее.

ПОЛНАЯ ПОГИБЕЛЬ

Поздней осенью кто-то постучал в окно деду Пахомычу. Когда дед подошел к окну, через форточку выстрелили ему в голову. Дед Пахомыч был честный и не боялся умирать, и поэтому умер. Труп его тихо лежал ногами к окну, серому от дождя и тоски. Он не тлел, а день ото дня наливался исподволь какой-то застенчивой красотой, вдоль которой неподготовленный глаз скользил, ничего такого в ней не находя. Неизвестный таракан угнездился в левом ухе старика Пахомыча, вывесил желтые занавески на барабанную перепонку, и в ухе стало тепло и уютно, как в родительском доме, которого таракан не помнил, потому что был сирота, его отец был прусак, полный геральдических пережитков, и окончательно погиб при Седане. Когда наступала непогода и холодный ветер завывал у Пахомыча в ноздре, таракан плакал от печали и общей неустроенности житья в проходной квартире и, совсем сжившись со стариком Пахомычем, шептал ему в перепонку разные слова сомнения и жалости, веря, что дед слышит его и молча печалится. Так жили они вдвоем, оба одинокие, а за маленьким окном качались деревянные сосны и дубы. Что-то затаенно шуршало за печкою, но в комнату не шло: «Боится нас», – решил таракан, и его слабая грудь полнилась сознанием гордости. Ступали ходики на масляно-желтой стене, хотя кукушка забыла человеческие чис-

ла и только выла на луну. Круглая луна – она вдруг раздобрела после смерти Пахомыча, державшего ее в строгости, и почти не бывала месяцем, разве в очень голодный год, – с желтым сияньем вплывала в окно, заговорщицки подмигивала, скалилась. В селе хотели ее убить, потому что она резала овец, но всё жалели скинуться для нее на серебряную пулю, каждый умелец хотел взять ее простой, не в силах удержаться от соблазнительной думы, что он один тут совершает коллективный подвиг противостояния, имея шанс дожить до прихода неистребимой славы. Таракан не любил луны. Ему было тесно жить, а она словно смеялась над ним безмолвным смехом своего сияния. От нее ему снились видения, в них вещи приходили со своим сквозняком, как будто нося при себе открытую форточку, а когда уходили, сквозняк оставался без них и вился по кругу, замечая впереди свой путь по взъерошенному мусору. Он видел женщину, которая помогала другим женщинам рожать, она вкладывала роженице в ноздрю монету пять копеек, и та далеко выпрастывала шумное бремя. Равнодушная ласка выражалась на ее лице, всегда смотревшем анфас, в одной руке она несла двойной морской узел, а когда шла вдоль болота, из ее увязающих лдыжек выклевывались острые березовые листочки. Таракан не знал, достоин ли он таких видений или это попало ему в голову случайно. Когда приходила зима и нескошенная два года назад рожь прозрачно чернела на солнце, луну поутру примораживало у проруби на речке, где она заходила, и бабы, приходившие стирать белье, били ее вальками. Тогда кукушка, притаившись в глубоком механизме, глухо рычала от свирепости к темным бабам, а таракан пел обрадованную кантилену, топорща длинный ус. Пахомыч слышал все, но смирялся, потому что был мертвый. Ему не положено было ничего.

Да и я, человек в этих местах проходящий, – разве я не вплетен цепкой нитью в их сюжет? Хоть и казенная надобность привела меня сюда, заставляя переворачивать замшелые камни, отдергивая руки от сколопендр, и искать чего-то нужного в ухающей плоти болот, – разве и я не виновен отчасти в их неутомимых проделках, хоть вовсе не я стрелял в окошко Пахомычу? Что же мне делать, чтобы проходить по действующему миру органически, а не как нож через кисель? Никто не скажет, лишь молоком напоят и перекрестят в путь, – а на геологической карте таких сведений отродясь не давалось.

Иван Петрович посидел с задумчивым видом, прихлебывая чаю из стакана, а потом, страдая, достал общую тетрадь и принялся сочинять план урока по рассказу Ю. Прасковича. Потратив на это часа полтора, в течение которых он претерпел нечеловеческие муки, пытаясь сконцентрироваться на выполнении тактических целей и обучающих задач, он наконец отложил ручку и проглядел получившееся, как диспозицию баталии, которая обещает быть кровопролитной.

«Слушать другого, ухо свое подставляя ему...»

Урок по рассказу Ю. Прасковича
«Полная погибель»

Цели:

- подвести детей к осознанию того, как важно быть внимательным к окружающему нас миру;
- познакомить со способами выражения авторского отношения к персонажу произведения;
- вызвать желание обсудить прочитанное;
- продолжить выработку умения развивать свои мысли

посредством беседы, диспута, ответов на вопросы, выражать логическое отношение к происходящему.

Основная идея урока:

- Деятельное сострадание является выражением истинного уважения и к другому человеку, и к самому себе.

Оборудование урока:

- иллюстрации детей к притче «Полная погибель».

Методические приемы:

- слово учителя, эвристическая беседа, чтение эпизодов вслух, представление иллюстраций, работа над закреплением понятия о притче, самостоятельная работа над афоризмами, словарная работа.

Предварительная подготовка к уроку.

1. Прочитать рассказ Ю. Прасковича «Полная погибель» и другие рассказы по выбору учащихся.
2. Индивидуально-групповые задания: иллюстрации к рассказу «Полная погибель», ответы на вопросы, выразительное чтение эпизодов.

Эпиграфы к уроку:

По жизни ты без людей не пройдешь,
Не сдюжишь один на земле.

С. Неомухо (современный местный поэт)

Я всегда хотел, чтобы что-то для других открылось.

Ю. Праскович

Основной вопрос урока:

Какие нравственные заповеди оставил Ю. Праскович потомкам в своём рассказе «Полная погибель»?

Ход урока

Звучит песня В. Шаинского на слова М. Танича «На дальней станции сойду» в исполнении ВИА «Пламя» (негромко).

Слово учителя. Сегодня у нас, дети, с вами урок-торжество и, хотелось бы верить, урок-проникновение. Торжество потому, что нельзя буднично, как бы в суматохе дней говорить о настоящем писателе, который одновременно служит твоим земляком. Проникновение потому, что рассказ, над которым мы будем работать сегодня, – это нравственная заповедь Ю. Прасковича. Цель нашего урока – попытаться понять эту заповедь, основываясь на осмысленном чтении рассказа и глубоком, подготовленном разговоре о прочитанном.

Знаете, ребята, что совершать проникновение – это увлекательнейшее занятие. Человечество за историю своего существования много куда проникло: на разные континенты, острова, в жизнь древних цивилизаций, звезд, в различные законы природы, новые виды минералов и многого-многого другого... Столько всего уже было, что, кажется, что на долю современного человека совсем ничего не осталось.

Вы тоже так думаете? Может быть, есть еще тайны, которые нам предстоят? Интересно, а вы в своей жизни сделали хотя бы маленькие проникновения? Если да, расскажите о них.

(Ответная реакция детей на поставленные вопросы)

Вот видите, даже сейчас, если постараться, можно что-то открыть очень важное. Об этих простых, но мудрых обнаружениях повествует Юлий Праскович под названием «Полная погибель»**.** Дома вы внимательно прочитали, и на уроке постараемся понять, ***о чем там речь.***

К сегодняшнему уроку мы собирали материал усилиями четырёх групп: «инсектологов», «лингвистов»,

«эстетов», «поисковиков». У всех групп были конкретные задания, большая часть которых представлена на стенде «Добрый путь готовящимся к уроку». Но одно задание у каждой группы тайное: нужно было нарисовать иллюстрацию к конкретному эпизоду рассказа. (*Каждая группа демонстрирует свой рисунок, ребята ищут соответствующий фрагмент повествования, дети выразительно читают его. Потом учитель показывает символический рисунок таракана в ухе и задаёт вопрос: «С каким фрагментом рассказа соотносится этот рисунок?»*).

Итак, я приглашаю вас к беседе и размышлениям о прочитанном. Вам слово, «инсектологи».

Вопросы и задания, которые были предложены членам этой группы:

1. Найдите словесное отражение темы доброты. Какую правду о жизни знает Неизвестный таракан? Как она подтверждается?
2. Какую закономерность в отношениях людей можно вывести из выражения автора «разве и я не виновен отчасти в их неутомимых проделках»?
3. В рассказе мы видим отношение таракана к природному (луна) и человеческому (старик Пахомыч) миру. Об этом у Ю. Прасковича идет прямое изложение. Почему луна так жестока с тараканом, а он ее не любит? (*Чтобы помочь ученикам быстрее прийти к выводу, можно обратиться к высказыванию Ю. Прасковича: «Животные – они же братья наши, в них наша боль и радость одоленья» или к высказыванию Ф.И. Тютчева «Природа знать не знает о былом»).*

В процессе беседы учитель подводит детей к выводу о том, что таракан не такой, как сельчане, что у сельчан каждый сам за себя, поэтому они не могут победить луну, а для таракана жить – значит сочувствовать, что основные проблемы, поднятые в рассказе, – проблемы доброты и непохожести, а значит, ненужности Неизвестного таракана. Автор наделил таракана мудростью слабости и силой неразумия, заставив читателя верить таракану, сопереживать за него.

Слово учителя. А теперь посмотрим, какие слова использует Ю. Праскович для создания столь своеобразного художественного образа, какими чертами наделён в произведении рассказчик. В разговоре принимают самое активное участие «лингвисты».

Вопросы и задания, предложенные этой группе учащихся:

1. Найдите в тексте рассказа «лишние» слова, речевые повторы, просторечные выражения. Как вы думаете, в чём смысл их использования?
2. Укажите олицетворения, эпитеты, метафоры. Где именно их больше? Почему?
3. Как называет Ю. Праскович человека, хотящего в одиночку убить луну? Как он описывает женщину, помогающую другим людям рожать? Есть ли какая-то смысловая нагрузка в этих словах?

В беседе по предложенным вопросам учитель должен подвести детей к выводу о том, что рассказчик – человек неравнодушный, беспокойный, которому свойственны, как и герою, добрый взгляд на мир, делающий его детски-незащищенным, одухотворённость, вера в прекрасное будущее человеческого единения, который уверен, что лишних людей в сюжете не бывает, что чело-

веческая доброта неиссякаема и всегда плодовита, что человек важнее всего.

Слово учителя. «Эстеты» продолжают разговор о прочитанном.

Вопросы и задания этой группе:

1. Найдите основные элементы сюжета: завязку, кульминацию, развязку действия. Почему само действие занимает в рассказе его меньшую часть?
2. Можно ли назвать точно время, когда разворачивается действие рассказа? А можете ли вы указать место действия?
3. Есть ли конкретные имена у героев? Как это соотносится с замыслом автора? Почему один Пахомыч имеет имя? Почему это не имя, а отчество? Что такое отчество?

Вместе с учителем учащиеся должны сделать вывод о том, что рассказ носит характер притчи, центром притяжения которой выступает образ умершего Пахомыча.

Слово учителя. Давайте вспомним, ребята, когда мы ещё сталкивались с притчами? В прошлую среду – помните? Что обозначает слово «притча»? Найдите значение термина в словарике в конце учебника. (Притча – иносказанье, поученье в примере, аполог, басня, или простое изречение, замечательное слово, апофегма.) А от какого слова, как вы думаете, происходит слово «притча»?

(Дети самостоятельно или при помощи учителя приходят к выводу, что от слова «притыкать»).

А как вы думаете, почему? Как вы понимаете русские пословицы «На притчу ума не напасешься», «Без притчи века не проживешь»?

Теперь мы подошли к ключевому вопросу урока: «Какие нравственные заповеди оставил Ю. Праскович

потомкам в своём рассказе “Полная погибель”»? Я обещал вам проникновение на этом уроке и сдержу свое слово. Всем внимание! Слово «поисковикам». Слушаем содержание их домашнего задания: «Соотнесите рассказ “Полная погибель” с хорошо известным вам рассказом М. М. Пришвина “Кладовая солнца” и стихотворением Ф. И. Тютчева “От жизни той, что бушевала здесь...”. Что объединяет, а что, наоборот, противопоставляет эти произведения? Каков в них образ русской природы?»

Учитель направляет детей к мысли о том, что никто на земле не лишний, ничто не проходит бесследно, в груди последнего таракана живет целый мир волшебных дум, надо лишь вовремя разглядеть его; если человек дарит доброту, доброта неизбывна в мире, она согревает сердца людей, делает их жизнь светлее, все более и более усиливая веру в прекрасное.

Слово учителя. Сочувствие, сопереживание, сострадание – это важные свойства человеческой души. Но проявлять эти свойства можно по-разному (*слова записаны на доске*).

В чем проявилось сострадание таракана? *(Он сжился с Пахомычем, говорил ему в ухо, отстаивал его маленький мир от враждебных вторжений луны, думал о себе с Пахомычем «мы», иными словами, стал ему близким, любящим человеком, настоящим другом).*

Какое чувство вызвал у вас таракан, сумевший увидеть то, что до него никто не замечал?

Вывод: Поступок таракана – это деятельное сострадание, то, что дает человеку право уважать самого себя, что вызывает уважение со стороны окружающих (*слова записаны на доске*).

Мы должны постараться понять не только то, что как бы на поверхности этой притчи, но и ее скрытый смысл.

Понять его может только внимательный читатель. Будем же внимательны – мы приближаемся к обнаружению… Эпиграфом к нашему уроку мы взяли слова Ю. Прасковича: «Я всегда хотел, чтобы что-то для других открылось». Ю. Праскович умеет всматриваться в то, что многим незаметно. И не только совершает для себя, но и помогает читателю. Можно, оказывается, делать и такие обнаружения: находить новую, не знакомую тебе ранее форму жизни, новое яркое существо. Жизнь такого существа может протекать незаметно для тебя, но это не значит, что её нет, что она неинтересна, что она легка и в ней нет проблем.

Любое живущее на Земле существо заслуживает и уважения, и того,
чтобы оно было понято другим живущим существом
(эти слова ребята ещё услышат в конце урока).

Давайте послушаем, как тянется к солнцу первый цветок весны, как рождается красота, подумаем, как велика воля к жизни.

Снова звучит песня «На дальней станции сойду»

Дети выразительно читают отрывок из рассказа «Полная погибель» (“Когда наступала непогода… и его слабая грудь полнилась сознанием гордости”). Песня «На дальней станции сойду» разрастается, охватывая все помещение, на ее фоне читается последний абзац рассказа.

А сейчас вопрос-загадка. Надеюсь, вы внимательно прочитали афоризмы в раздаточном материале. Какой из них вы могли бы использовать в качестве вывода по уроку? Запишите, объясните свою позицию. Созвучны ли эти мысли нашему сегодняшнему разговору?

Средство от несправедливости – забыть о ней. П. Сир (древнеримский поэт).

Кто не отзывается на зов, отказывается от того, за чем его зовут. (Суахили – народ, живущий в Африке).

В доме без жильцов – известных насекомых не обрящешь. К. Прутков (группа людей).

Поэзия – это искусство, при помощи которого поэт располагает возбуждающие представления и соединяет действенные суждения таким образом, что малое обращает в великое, а великое – в малое и красивое облачает в безобразные одежды, а безобразное заставляет сиять в красивом обличье. И внушением силы гнева и чувственности так подстрекает, что благодаря этому внушению темпераменты людей повергаются то в экстаз, то в депрессию, и это становится причиной важных дел в устройстве мира. Низами (персидский и таджикский поэт).

Пока дети записывают афоризм, звучит песня В. Шаинского.

Вопрос учителя. Что является неотъемлемым правом любого живого существа на Земле?

(Любой живой организм на Земле заслуживает, чтобы окружающие выслушали его, поняли, посочувствовали).

Что значит понять?

(Понять – значит «услышать» переживания, мысли

другого, разделить его чувства, «приоткрыть» своё сердце).

А просто ли это?

(Понять другого непросто. Для этого надо иметь особое душевное свойство, надо приложить усилия, надо совершить поступок).

Именно умение понять другого вызывает уважение окружающих и за это можно уважать себя.

Снова звучит песня В. Шаинского.

А теперь настало время дать ***домашнее задание***:

1. составьте кроссворд по рассказам Ю. Прасковича, написанным для соседских детей;
2. составьте викторину о жизни и творчестве писателя;
3. подумайте на тему: «Согласен ли я со словами Федора Ивановича Тютчева, что “Природа знать не знает о былом”, и почему?»
4. расспросите своих родных, были ли в их жизни маленькие, но очень важные для них проникновения. Если взрослые не возражают, расскажите об этом в классе.

Словарь

- **Исподволь** – помалу, помаленьку, не вдруг, легонько. «Исподволь и сырые дрова загораются» (народная пословица).
- **Геральдический** – прил. от слова «геральдика» – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов.
- **Седан** – город на северо-востоке Франции, в департаменте Арденны, на р. Мёз (Маас), близ границы с Бельгией. 18 тыс. жителей (по данным на 1954 г.). Шерстяная промышленность, производство бархата,

- **Ходики** – стенные часы упрощенного устройства с гирями.
- **Резать** (овец) – загрызать. «Хлеб-соль ешь, а правду режь» (народная пословица).
- **Выпрастывать** – опорожнять что-либо, выливая, высыпая содержимое.
- **Валек** – плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья при полоскании или для катания белья на скалке. «Вши воду видели, а валек люди слышали» (народная пословица).
- **Сколопендры** – семейство губоногих многоножек. Длина до 30 см, тело состоит из 25–27 сегментов (по данным на 1954 г.), на которых, кроме первого, по две хорошо развитые ножки; первый сегмент несет пару мощных ногочелюстей, у основания которых расположена ядовитая железа. Питаются мелкими беспозвоночными. Будучи обеспокоены человеком, кусаются. Укусы крупных тропических сколопендр могут быть смертельными. На территории бывшего СССР укусы сколопендр смертельными не являются.

После этого Иван Петрович с отвращением посмотрел на себя в зеркало и лег спать. О том, что ему снилось, мы не будем рассказывать из сострадания к работникам наробраза.

Он назначил открытый урок и утром того дня, когда к нему собрался зайти средний сантехник, провел этот урок в девятом классе. На первом часе они с детьми, прочетшими дома кто как мог рассказ Прасковича, в общем удовлетворительно освоили его нравственные заповеди, а на втором Иван Петрович дал им по тексту изложение с элементом сочинения. После этого он повел отборных детей на областную олимпиаду по литературе в пед-

институт, а обсуждение увиденного на уроке перенесли на завтра. Детей он привел на регистрацию, проследил, чтоб взяли талоны на обед, а потом пошел слушать вступительную речь от лица пединститута. Лица еще не было в аудитории, все его ждали, разговаривая о своем; он пошел на заднюю парту, там сидели три преподавателя филологического факультета, с которыми Иван Петрович был знаком шапочно. Они поздоровались, Иван Петрович забился в угол, а те продолжали беседу.

– Вы слышали, кстати, как Сойко сдавала госэкзамены? – спрашивал один. – Странно, как это вас обошло... Ну, тем лучше. Взяла шпоры у кого-то из подруг. Там, ясное дело, сокращения. В частности, великий Фердинанд де Соссюр умален до буквосочетания Фердесос. Сойке, ясное дело, глубоко фиолетово, она ни того, ни этого лингвиста не знает. Достается ей соответствующий билет, она выходит и начинает рассказывать, что в своих фундаментальных трудах выдающийся Фердесос глубоко развил, широко обосновал, то да се. Комиссия, пока не сообразила, кто это, который развил и обосновал, была некоторое время сконфужена, что им предлагается неизвестный, но великий, по всему судя, человек. Потом-то додумались, конечно. Желающие могут представить себе реакцию. Валентины Павловны особенно.

Остальные полуприкрыли глаза для удовольствия и представили реакцию Валентины Павловны. Это представление заняло несколько минут.

– М-да. Это мне одна девица рассказывала про Дракулу, который послам прибил тапки к голове, – тихо смеялся другой, преподававший, видимо, древнерусскую литературу. – Я ее спрашиваю: зачем? Не знает. Чужие шпоры, опять же. Тапки вместо шапок. Смысл пропадает начисто – но пластику-то, пластику представьте себе! Тапки, положим, с помпончиками, цыплячьего

цвета, покачиваются на ушах при ходьбе... Не картина ли?

Остальные двое согласились, что картина.

– Кстати, тут Митя Пазюкин сдавал, – продолжал тот же рассказчик. Остальные сделали выражение лица, означавшее, что Пазюкин им небезызвестен и что этапы его неординарной судьбы где-то пересекались с их этапами. – Вопрос у него был «История открытия и публикации "Слова о полку"». Сидит, дышит. Говорю: ну чего, Митя, скажете? Он: «Мусин-Пушкин издал "Слово о полку Игореве"». Длительное молчание. Сидит и стегна жмет, как выражается былина о Ставре Годиновиче. Наконец открывает рот и прибавляет: «Перед смертью Мусин-Пушкин издал еще несколько слов». Тут я заплакал. Красивыми мужскими слезами. Давайте, говорю, Митя, зачетку и идите, поставлю я вам зачет, потому что никто на моей памяти не умел очертить биографию Мусина-Пушкина с таким потрясающим лаконизмом. Ушел, родимец, спасибо сказал.

– Молодец, – отметили двое. – Благодарность – достоинство великодушных.

Иван Петрович отодвинулся подальше. Ему их забавы были чужды и заботы неясны, и Пазюкина он не знал. Он достал горку изложений с элементом сочинения и приготовился их читать. Над ухом у него еще жужжали филологические голоса. «Магазин "Гелиос", – кипятился один, – а вдоль вывески изображена фурия с факелом, летит и машет. Они минимально представляют себе иконографию Гелиоса?» «Витя, ты не находишь свой вопрос комичным?» «Ладно, а этот галантерейный девиз – "Белье, которое влюблено в Вашу кожу"? Это что? Кентавра мстящий дар? Черт ее знает! Ты, Николай Степаныч, пойдешь покупать белье, влюбленное в твою кожу?» «Пожалуй, остерегусь. Убедил». «Ну, я понимаю,

невежество. Но какая точность попадания пальцем в небо! Ты видел рекламу салона-магазина “Медея”?» «Да, что-то такое по ветру болталось...» «Это, Коля, не что-то такое, это “Оденьтесь красиво в одежду из кожи!”» «Ты прав, есть некоторая натяжка...» «Твоя склонность к эвфемизмам... Даже Теодорих – что Теодорих, даже лангобарды, я думаю, и те понимали, что нельзя салон одежды называть “Медея”! Неудобно перед сюжетом!» «Ну, я бы не переоценивал лангобардов. Они поклонялись черепу козы и красили бороды в синий цвет. Себе и другим. Очень, очень неприятные были люди». «Ну, хорошо лангобарды, но Теодорих! Теодорих же не называл так бутиков в Равенне!» «Ну, во-первых, это не факт, успехи археологии скажут свое слово, а во-вторых, тут на остановке есть продуктовая палатка “Армагеддон”, почему она не вызывает твоего протеста?» «Я там не покупаю. Откуда мне знать, какой из сторон она принадлежит...»

Иван Петрович отрешился от Теодориха и вытянул из стопки тетрадь Артема Арзнова, с душой украшенную вырезками из японских комиксов. Текст там содержался следующий.

ПОЛНАЯ ПОГИБИЛЬ

Старый Пахомочь умер, когда шел к форточке. Он хотел ее открыть, что-бы подышать воздухом, но его убили из-за нее. Он протянулся на полу. Но не растлевался он. Наоборот был даже более красивее, чем раньше, и мог бы любово красавца заткнуть за пояс. Какой-то ни кому не известный таракан завел у старого Пахомыча в ухе гнездо и прикрепил к нему шторки из какого-то жолтого материала. Он один поселился. Его отец погиб в приседании. Он жил в проходной квартире и шепчет ему в

ухо, когда по той улицы гремит буря. Им хорошо вдвоем.

Вообще-то бывают птицы ручные, которых держат дома, а бывают нет. Представителем такого типа была кукушка в Ходяках. Люди жившие в Ходяках где и таракан, не любили луну, которая отрезала и обкусывала у них от овец. Но несмотря на свои разногласия они не могли ее убить. Каждый хотел сделать это в абсолютную одиночьку. Жильци того селения не могли справится, когда она часто совершала вражеские преступления. На время только это прекращалось, максимум на месяц, а потом сново возобновлялись вражеские преступления. Люди сново сходили сума, уже не зная, что им делать. Иногда они подстерегали луну и жестоко избили ее Вальками в целях дисциплины. Что касается таракана, у него в мыслях возникали такие представления, как все было раньше. Его мать помогала, чтоб другие женщины того селения рожали нормально и их ненадо было кесарить и совершать над ними какие-то хирургические влияния. Для того она имела при себе деньги в пять копеек и больше.

Да и я, который здесь чисто случайно, меня все время тягает вопрос, почему моя органичность к этому миру понизилась. Для чего я ловлю сдесь простейших жужелиусов, если это в конечном итоге ни кому не надо? И на карте этого селения тоже нет.

№2. Вопрос: «Каким нравственным ценностям учит расказ».

Вывод я могу сделать таким, что отзывчивость в нашей стране уменьшается, так как жизнь становится труднее. Мне кажется, что меняется мир, люди. Мир катится в худшую сторону. Если бы в этом рассказе Ю. Прасковича, который мне очень понравился, люди перестали жить по принципу «каждый сам за себя» и собрались вместе и никто не пожалел бы денег своих, то им удалось бы в

конце концов убить Луну. А раньше, если на улице потеряется какой-либо мальчик, то люди все-таки помогут ему найти дорогу домой. В настоящее время на земле остались добрые люди, которые не оставят в трудной ситуации. А может мир меняется из-за того, что к нам приезжают люди известные, но с плохими привычками или неодэкватным поведением, а наши русские им повторяют, думают, что это очень красиво. Во время войны люди шли пешком, неся своих сослуживцив на плечах, и в своей помощи никто не подразумевал чего-то дурного, позорного. А сейчас так никто не станет. Поэтому я несогласен с писателем П. Сиром, что «средство от несправедливости – забыть о ней», потому что о несправедливости надо не забывать, а бороться. Люди, я призываю, будте ответственными, любите и уважайте ближнего своего.

У Ивана Петровича начали протяжно ныть все зубы хором, но он придержал их рукой и взял следующую тетрадь. Она была кокетливая, с приклеенной Одри Тоту, и принадлежала Маше Загоцкой, Маша имела на щеках ямочки, из которых на все стороны больно стрелял Амур, и навещала школу в таких юбках, что Иван Петрович на их фоне особенно живо ощущал всю праздность разговоров о русской классической литературе. Свои думы о рассказе Прасковича Маша отлила в такую словесную форму:

ПОЛНАЯ ПОГИБЕЛЬ

В то время, как старый Пахомыч шел открывать форточку, в него выстрелили и он повалился за мертво. Он лежал через комнату застенчивый. И никому не постижный. Неизвестный таракан ему вгнездился в ухо,

оно подходило ему к проживанию, создав себе там проходную комнату. Он был сирота, так как отец его погиб. Они жили одиноко. Еще кто-то жил за печкой, о нем было известно его шороховатостью. Но его никогда не видели. Еще ходили часы на маслянистой стене, куда их укрепил старик Пахомыч еще при жизни. Но они тоже сбились и по ним нельзя было правильно определять время.

В том селе все относились с враждой к Луне, так как она являлась неисправно вороватой, стоило им зазиваться, как она принималась к воровству и приступности. Зачастую они жили спокойно, раслабленно, но потом она все равно принималась к воровству. Ее хотели убить серебрянной пулей, как это делают с вампирами, но она все равно подмигивала, как заговорщик, и ее не могли убить. Они имели реальный шанс прославиться, но не смогли его использовать.

Пахомыч когда был жив, то он держал Луну в суровости. И его маленький «сообщник» тоже страдал и за нее. Ему снилось, как женщины рожают и выбрасывают крикливое бремя. Это бывает, когда спишь, а на голову тебе падает лунный свет. От этого можно серьезно заболеть. Поэтому он был рад, когда женщины, собравшиеся на реке, били Луну каким-либо найденным ими валёком. Кроме того, ему было тесно, и везде были сквозняки, которые тоже не делают жизнь в квартире более комфортной.

В финале автор говорит, что он сдесь человек не местный, а по работе, и делает такой вывод, что надо лучше знакомиться с людьми, рядом с которыми ты живешь и вообще проявлять хорошие качества, чтобы они к тебе тянулись. Ведь как ты отнесешься к людям, так и они отнесуться с тобой.

Каким нравственным ценностям учит рассказ

Я думаю, этот рассказ посвящен такому важному качеству людей как отзывчивости. Как правильно сказал персидский и таджикский поэт Низами, что «Поэзия – это искусство, при помощи которого поэт располагает возбуждения таким образом, что малое обращает в великое, а великое – в малое и красивое, и так внушает гневом и чувственностью, что люди подвергаются то в экстаз, то в депрессию, и это становится причиной важных дел в устройстве мира». Даже я, несмотря на свой молодой возраст и что я мало еще видела в той жизни, могу видеть об уменьшении чувственности в обществе.

Со временем люди забывают о милосердии и доброте. Им не следует так поступать, ведь именно они отличают доброго человека от плохого. Нельзя допускать это. Всегда надо помогать попавшему в беду. Если ты его выручишь, он обязательно тебя поблагодарит. Ведь приятно делать добрые дела, особенно безвозмездно. Так можно добиться чистой совести. Как люди относятся к своему городу, селу, показывает их отношение к самому себе. В то время как таракан любил Пахомыча, тот добился эту любовь своим трудом и чистолюбием. Если что-то изменилось к лучшему, то не с помощью волшебной палочки, а с его самоличным трудом. Я считаю, что отношение к миру, к людям начинается с отношения к своим местам.

Например, в нашем районе недавно воздвигнули изваяние Снегурочке. Оно сразу стало украшением района и любимым местом гулянок горожан и моим любимым местом, которое я люблю приходить и гладить рукой, когда оно нагревается под солнцем. Оно поставлено в историческом центре нашего города, где все, даже воздух, пропитано капельками истории, проводятся все праздники календаря, проходят культурные программы,

а в конце всех жителей города ожидает праздничный салют. Город, в котором вы живете – один из самых главных частей в жизни человека. Он играет очень большую роль в жизни. В будущем, я хочу стать археологом и искать древние вещи, изучать их и также хочу найти неразгаданные тайны наших мест, и разгадать их.

Иван Петрович, поняв, что сейчас не сможет адекватно оценить прочитанное в баллах, хотел было Машенькину тетрадь отложить, но из нее вылетел двойной листочек, Иван Петрович перехватил его диагональный полет и заглянул в него, думая, что Маша решила что-то добавить к сказанному или (к примеру) признаться ему в затаенной любви – исповедь, которую он встретил бы, чего скрывать, с интересом. Там, однако, содержалось что-то другое.

БЕЛЫЕ ЛОТОСЫ

В зале суда ярко сияли лампы. «Прошу внимания», – сказал судья. Настала абсолютная тишина, все не дышали. На скамье подсудимых сидел молодой красивый парень, чьи глаза были полны слез. Обратившись к нему, судья спросил:

– Подсудимый Орлов, вы признаетесь в убийстве девушки?

– Я не убивал ее! – твердо закричал Алексей.

– Тогда введите свидетеля, – сказал судья.

Вошел парень, неприятного вида, на губах его играла наглая ухмылка. Подсудимый проводил его долгим ненавистным взглядом.

– Свидетель Сидоров, расскажите обо всем, – пригласил судья.

Тогда тот сказал:

– Лена была моя девушка. К ней многие липли, но она ни на кого не обращала внимания, потому что у нас были отношения. Орлову она тоже нравилась, и он бесился, что она к нему безразлична. Один раз мы шли из кино, я провожал ее домой. Мы целовались. Орлов так ревновал, что следил за нами. В этот вечер он не вытерпел и с криками бросился на нее с ножом. На меня он напасть побоялся, а ей решил отомстить. Он нанес 5 ножевых ран и бесстыдно скрылся. Я узнал его, он был одет в свою коричневую куртку и синюю шапку. Она умерла у меня на руках. Скорая помощь установила факт смерти.

– Ты лжешь! – гневно шептал Алексей, привставая со скамейки. Но его удержала тяжелая рука стоявшего при нем конвоира.

Тогда вмешался адвокат и сказал:

– Защита просит разрешения выслушать свидетельницу сестру подсудимого, Ольгу Орлову.

– Разрешаю, – сказал судья.

– Позовите свидетельницу, – обратился адвокат.

Но в коридоре никого не нашли. Лишь листок исписанной бумаги лежал на скамейке. Адвокат с удивлением сказал:

– К сожалению, свидетельница почему-то покинула заседание, но оставила письменные показания со своей подписью. Я прошу их зачитать.

– Зачитывайте, конечно, – утвердил судья.

Адвокат стал на свидетельское место и взялся читать.

«Дорогие мама и Алешка!

Я сделала то, как на моем месте сделал бы каждый. И если бы та ситуация возобновилась вновь, я опять бы повела себя также.

Лена была для Леши всем, он в ней не чаял души и все делал по ее просьбе. Но она избалованна была всеоб-

щим вниманием. Она была капризна и жестока, никакое проявление любви ее не удовлетворяло, ей нравилось заставлять любящего ее человека делать все по ее воле. В то же время она кокетничала с другими парнями и иногда даже при Леше. Он многое видел, и это делало его грустным. Однажды, когда она была у нас дома, это было где-то под Новый год, мы сидели втроем, поставили лиричную музыку и пили шампанское. Она знала, что я ее не люблю, считая ее вероломной, и я не скрывала этого. Но при брате я сдерживалась, чтобы не омрачать ему настроения. Леша подарил ей красивые серьги, она сказала спасибо, но чуть не забыла их, когда собралась уходить. Леша сильно в тот вечер грустил, но наконец разговорился и сказал ей:

– Знаешь, Лен, была такая история, юноша и девушка любили друг друга несмотря на то, что в семье были против их любви и в школе их поднимали на смех и издевались. Она погибла в автокатастрофе, а он покончил с собой на ее могиле, оставив записку, чтоб его подхоронили к ней. И когда это сделали, у них на могиле выросли весной два белых лотоса. А когда один из них сорвали, из него пошла кровь.

– И что это значит? – спрашивала она со смехом.

– Белый лотос – это цветок, который символизируется с чистотой, с невинностью. Если юноша или девушка готовы ради любви на самую крайнюю жертву, то белый лотос – это их пароль.

Но он ей зря рассказывал об этом, ей не дано было понять. Когда летом он уехал на месяц к родным в соседнюю область, она нашла себе другого. Леша тут же вылетел у нее из ума. Ее новый парень все себе с ней позволял, я следила за ними и видела, как вечером он обнимал ее под деревом, ее белая грудь в сумерках глядела из расстегнутой и измятой кофточки. Мне невыно-

симо было, что Лешу обманывают и что он по своей честности и порядочности так привязан к человеку, который его не стоит. Я решила нанести этому конец. Леша в тот день был в отъезде, но я решила, что месть должен нанести как будто бы он, потому одела его куртку. Мы с ним близнецы и очень похожи, а еще больше были похожи в детстве. По дороге мне встретился директор нашей школы, державший в руке свой красный платок, он меня узнал и спросил: «Гуляешь?» Встретив его, я на минуту усомнилась, но потом укрепилась в своем замысле. Я не подумала, что этим причиню Леше беду и его посадят за меня. Я надеялась, все откроется само и ему не придется переживать позора. Но я убила ее заслуженно, и если б она не умерла от моих ранений, я бы пришла сделать это снова. Я радуюсь этим поступком.

Если вы дочитали мои показания до этого места, значит, меня уже нет, я приняла яд, который сейчас должен подействовать. Я вас очень люблю и надеюсь, что все у вас будет хорошо».

– Лялечка! – прокричала мать, вставая со скамейки.

«О Боже» – сам себе сказал Алексей и тоже свалился. В обморочном состоянии его освободили от стражи в зале суда. Когда Ляльку хоронили, сошелся весь город. О ее красоте в гробу говорили все. Алексей каждый день находился у нее на могиле. А когда настала весна, над ее могилой выросли белые лотосы.

Ивану Петровичу стало неудобно оттого, что он заглянул в душу человеку, который ему не собирался ее показывать, а заветный листок, сочащийся слезами людскими, вложил в тетрадь просто по рассеянности. Над судьбою бедной Ляльки ему тоже как-то взгрустнулось, и он подумал, что если б у таракана была такая сестра,

он бы горя не знал в этом прекрасном, но яростном мире. Тут он вышел из оцепенения и, сделав над собой усилие, открыл еще одну тетрадь, увидел в ней фразу «Никто не задумывается, что твой член семьи может испытывать несчастье» и тут же ее захлопнул.

В этот момент пришел человек приветствовать от лица пединститута, и все на него обратились. Содержание приветствия было памятно Ивану Петровичу по прошлым годам, так что слушать он особенно не стал, но и проверять изложения тоже не продолжил, а просто носился мыслью невесть где и ни на что особенно ею не устремляясь. Когда приветствие кончилось, детей рассадили по аудиториям, ими занялись сосредоточенные преподаватели пединститута, а Ивана Петровича отправили ждать в комнату для сопровождающих. Делать ничего не требовалось, но и уйти было нельзя. От скуки он взялся фронтально знакомиться с «Купырем-травой», но вскоре подумал, что если бы к потраченным на нее пятидесяти рублям прибавить девятьсот сорок, можно было бы купить прекрасный альбом барочной живописи с рубенсовской Деянирой и помянутым давеча институтскими филологами кентавром Нессом на суперобложке. Рубенса он недолюбливал, считая его фламандским Чартковым, но к Деянире испытывал стыдливое сострадание как к жертве ограниченности прогностических функций. Потом он подумал еще, счел предыдущее соображение про девятьсот сорок рублей праздным и подумал теперь об альманахе окрестных прозаиков неприязненно, как о своей судьбе, которую он должен любить по финансовым основаниям. В альманахе он обнаружил вложенный красно-зеленый буклет под названием «Венок неизбежный: Ритуальная флористика для начинающих» и прочел также и его, для приятного знакомства, но желания быть ритуальным фло-

ристом в себе не увидел. Есть только хотелось, а больше ничего.

Добравшись наконец до дому после объявления результатов, он поставил варить сосиски, лег на диван и, слушая с него, как они кипят на кухне, не хотел себя заставлять идти к ним. Изложения с элементом он выложил на стол, они лежали там, как двадцать пять изнасилований, которые ему предстояло пережить. «Умереть бы», – с наслаждением подумал он. Но в нынешнем своем состоянии он на рай рассчитывать не мог, а в ад попасть не хотел и, более того, боялся. «Ну, тогда уехать. В Ходяки, например. Самое место». Наконец он добрался до сосисок, залил их горчицей и, ища вилку, вспоминал, как на днях сидел в предбаннике у директора. На подоконнике, глядя зубьями в шпингалет, лежала вилка. «Скажите, Оксана, – адресовался Иван Петрович к секретарше, – зачем вилка у вас там?» «Не знаю, – сказала она и по небольшом молчании прибавила: – Это, наверно, забыл кто-нибудь». В живописном сознании Ивана Петровича тотчас заклубилась картина, как кто-то приходит к директору с вилкой, а потом забывает ее на подоконнике. Вошла вторая секретарша. «Лидочка, будьте добры альтернативную версию, – обратился Иван Петрович, – из каких соображений вилка на подоконнике?» «Оксан, личные дела здесь были, где они?» – с упреком сказала Лида. «Не знаю, может, Сергей Михайлович взял». «Вилка? Не знаю, – сказала Лида. По аналогичном молчании она прибавила: – Это, наверно, сторож оставил». Клубящаяся в Иване Петровиче картина сменилась новой: как ночной сторож бродит по гулкому зданию, держа вилку наперевес потными руками, а когда в окнах забрезжит бледный рассвет, втыкает ее в кактус и идет спать.

– Это из Чехова что-то, – сказал он, глядя на свое

дружеское отражение в чайнике. – Жениться надо, вот что.

Он лежал на диване, как бы читая Газданова, но при этом поглядывал на стол, где привольно располагалась стопка изложений. Наконец он не вытерпел, встал и прошел как бы мимо, гуляя, но исподтишка схватил одну тетрадь и развернул. В ней он прочел фразу «Мужики сбегались и били по луне своим инструментом» и тетрадь тут же бросил, вернулся обратно, но лежать с Газдановым уже не стал, а решил согреть себе чаю. Повертев в пальцах кусок рафинаду, он сказал ему белогвардейским голосом: «Компонента хочешь? Вот тебе компонент» и кинул его с удивительной меткостью через весь стол в стакан с чаем, где рафинад канул на горячее дно, неумолимо разрушаясь в процессе погружения. До дна не долетело ничего. Войдя со стаканом в комнату, как полновластный хозяин здешних мест, не скрывая своих намерений, но спокойно их демонстрируя, Иван Петрович прямо-таки взял еще одну тетрадь и увидел в ней: «Луна была в таком полном ракурсе, что они ничего не могли против нее сделать». По его лицу прошла протяжная судорога, и тетрадь он тихо положил. Быть в зависимости от луны наконец показалось ему оскорбительным. «Завтра», – решил он, и ему сделалось хорошо.

В этот момент в дверь позвонили.

Средний сантехник стоял на пороге. Иван Петрович, увидев его с некоторым удивлением, пустил в дом и сказал:

– Присаживайтесь. Сосиску будете?

Средний сантехник сосиску не стал, сел близ Газданова и вкратце изъяснил причину прихода.

– Василий Николаевич, – сказал, моргая, Иван Петрович, освещаемый сверху жесткой лампочкой, – боюсь,

ничем не могу. Очень много дел. Олимпиады, компоненты. Завтра еще обсуждение. План-конспект урока, если угодно, могу сделать по вашему роману, а так – извините. Большая занятость.

– Ну, что ж, – сказал средний сантехник, – я понимаю. Но если передумаете, позвоните. Вот вам мой телефон.

– Он занят, – сказал средний сантехник, вернувшись домой. – У него компонент. Не может оторваться. Я выразил ему сочувствие от вашего лица.

Глава десятая,

где звучит уместная басня, на снегу алеют яблоки, а глина говорит гончару: «Не добро то, что сделал ты со мною»

– Подвести, что ли, еще разок промежуточные итоги, – сказал Генподрядчик, но не стал, чувствуя, что нет настроения. Плоское, с клоками льда море, того неприятного цвета, как когда старик пришел с претензией насчет вольной царицы, не вызывало потребности купаться. Табличка, воткнутая в расщепленную палку у линии прилива, сообщала, что это MARE INFERNUM, представляющее историческую ценность как памятник космогонической эпохи и охраняемое царством-государством; материально ответственный был тщательно замазан. Неровный берег пустовал в обе стороны; вглубь страны начинались деревянные грибы и зеленые кабины для раздевания, на металлических ножках, с надписями «WELCAM TO HEL», «Мы тут были, Тюха, Макс и Мухтар» и номерами контактных телефонов, а за линией кабин начиналась полоса черных качающихся деревьев. Генподрядчик поежился на сыром ветру и сказал: «Здесь тоже зима». Надо было открывать собирательскую деятельность. Он пошарил в кармане, наткнулся на кусок мела и написал на обратной стороне охранной таблички:

ТЕБЕ УЖЕ 25-ТЬ?
А ЧЕГО ТЫ ДОБИЛСЯ В ЖИЗНИ?
ЕСЛИ ТЫ:
ИНИЦИАТИВНЫЙ,
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ,
ОБЩИТЕЛЬНЫЙ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ,
МЕЧТАЮЩИЙ ОБ ИНТЕРЕСНОЙ РАБОТЕ,
С НЕЗАКОНЧЕННЫМ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ –
БРОСАЙ ВСЕ
И
ИДИ СДАВАТЬ ФОЛЬКЛОР!
ТВОЕ МЕСТО – У НАС!!!

– Надо заинтересовать потенциального сдатчика, – пояснил он себе свои действия, чтобы внутренней неуверенностью не подрывать промысла.

Сдатчик не заставил себя ждать.

«Земляк! – кричал он, весело прыгая по замерзшим лужицам от полосы оборонительных кабинок. – Здорово, земляк!» «Мужик, ты кто?» – сухо спросил Генподрядчик, забыв о том, что клиент здесь главный и надо встречать его, как праздник. «Я-то? – уточнил заинтересованный сдатчик. – Я местный! Я тут замумукался совсем! А ты чего?» «Да я как бы при делах», – сообщил Генподрядчик. «На теме сидишь, – оценил местный и запрыгал вокруг таблички в направлении, противоположном европейскому расположению букв, но суть написанного ухватил. – Если ты... – повторял он за текстом, – с незаконченным... то бросай к такой-то матери и сдавай фольклор... А чего, цветмет теперь все уже, – адресовался он к дизайнеру таблички, – в расход вывели? Официально?» «Нет больше цветмета, – подвел черту Генподрядчик. – Очень строго с этим. Вплоть до уголовной». «А у меня тут за холмами полкилометра провода захована. Как одна копейка. Целое садовое товарищество осиротил. Вот твою мать-то, – высказался местный. – Предупреждали бы хоть за неделю, а то как выведут свою линию партии по туману спозаранок. А я с пацанами полночи по столбам корячился, все поперекусывал, люди теперь на кострах чай-кофе кипятят. Совсем, говоришь, прикрыли?» «Совсем, – скрепил Генподрядчик. – Все силы брошены на фольклор. Так что если есть, сдавай, а нет – отходи, не задерживай очередь». Тот как бы призадумался. «Слышь, братан, – сказал он, – а это для чего сбор пошел?» «Значит, надо», – сказал Генподрядчик, зная, что это самое убедительное объяснение. «Может, воевать затеяли, – высказался мест-

ный, больше для себя. – Или так просто проверяют, какие есть мнения. В плановом порядке». «Сдавай, что есть, – сказал ему Генподрядчик, – прием анонимный». «Анонимный, говоришь, – повторил местный. – А паспорт показывать?» «Не надо», – сказал Генподрядчик. «А чего сдавать?» «Все, что знаешь. Песни там, обряды, легенды...» «Песню я знаю», – сказал местный и попытался пропеть «Малиновки заслышав голосок». Попытка сдать эту песню была приемщиком пресечена. «Это не фольклор», – строго сказал он. «Не фольклор?» – разочарованно переспросил местный. «Нет». «Я еще эту знаю», – попытался тот и запел эту, которая была отведена на том основании, что в ложном свете рисует образ молодой колхозницы. «Ну, я не знаю больше», – недовольно сказал местный. «Ну, а поверья, былины, – вспоминал Генподрядчик, – сказки, анекдоты...» «Во! Анекдоты тоже можно? – оживился местный. – А почем принимаешь?» «Кулек червонец». «Накинь пятерик, жмот». «Давай, и без тебя держава будет с урожаем. Ну, будешь?» «Вот этот, скажем, знаешь? Инопланетяне раздают по три титановых шарика...» «Один сломал, другой пропил. Это сдали уже». «Блин, опередили! Ты подумай, вот люди! Когда они успевают! Это старухи, должно быть. Старухи ведь?» – обратился он за поддержкой к Генподрядчику. «Старухи», – сказал тот, не желая лишний раз человека расстраивать. «Ну, я говорю. Им сна нет, чуть свет – уж с кровати, сапоги натесать и вперед, по лесам. Двужильные бабы, диву на них дашься». «Это точно, – вежливо сказал Генподрядчик. – Также принимаем пословицы, поговорки и тосты». «Тосты! Чего ж ты молчал? Былины, кобылины... Пойдем», – он потянул Генподрядчика за рукав. «Куда это?» – спросил тот. «Пойдем, пойдем. У меня есть», – пояснил тот, тяня его прочь от берега. «У меня таб-

личка тут», – неуверенно сказал Генподрядчик, удерживаясь рукой за вбитый в береговую полосу кол с притягательным объявлением. «Да подождет твоя заготконтора! Кто тут ходит-то! Все свои! Пойдем, а то что я тебе буду тост без сопровождения? Ты разве поверишь, что это тост?» Генподрядчик дал себя увлечь, и они по замерзшим в песке следам миновали кабинки и углубились в полосу дерев. «Тут у нас парк», – пояснил местный, когда за стволами обозначились противоестественные очертания чертова колеса. Из-под корней он извлек бутылку. «На скамейке можно», – неуверенно предложил Генподрядчик, из положения ведущего перешедший на положение игрока, указывая на зеленые скамейки с гнутыми чугунными ногами, до половины занесенные снегом. «Ага! – с негодованием кричал ведущий местный. – Чтоб потом кто-нибудь сел в люльку, а я завидовал! Нет уж! Я и так замумукался тут!» Он дотащил компаньона до чертова колеса, они перелезли через цепочку, отделявшую аттракцион от мира горизонтальных перемещений, и местный, не намеренный больше мумукаться и не желавший, чтоб люлька доставалась участникам конкурирующих мероприятий, залез в нее, сильно качнув, угнездился на железной скамье и сказал с условным акцентом послушно севшему напротив Генподрядчику:

«Ну, слушай, дорогой. Короче, однажды один очень красивый девушка вышел во двор. Не знаю, зачем вышел. И вот с неба ее увидел один горный орел, круживший над тем двором. Он пал на нее подобно камню, ухватил когтями за спину и унес высоко-высоко в небо. Но поскольку он ухватил ее за лифчик, тот расстегнулся, девушка выпал из него, полетел вниз и разбился об острые скалы, а орел заплакал и улетел с бесполезным бельем в когтях. Так вот, за то, чтобы девушки всегда

оставались с орлами и чтоб все расстегивалось, когда надо!»

Генподрядчик понял, что за подобное он прежде не пил, и они отметили это дело под гулкое скрипенье колеса и кашель взлохмаченных ворон. «Теперь ты», – сказал организатор. «Чего? – смутился Генподрядчик. – Да я так складно не могу...» «Не можешь, хоть стих прочти, – уступчиво сказал местный. – Чтоб не потреблять без аккомпанемента». «Ну, разве стих», – сказал Генподрядчик и поднялся с рубчатого железа. «Ты куда это?» – взволновался организатор. «Стих, – сказал Генподрядчик, – сидя не читают». «Уважить хочешь, – успокоился тот. – Это правильно». Генподрядчик на мгновенье задумался, что из его школьного репертуара может скрасить ситуацию, отмел фрагмент из «Полтавы», в котором Розен уходит сквозь теснины, и объявил: «Общество и Икра. Басня». «Кто сочинил?» – немедленно спросил любознательный компаньон. «Я», – решительно сказал Генподрядчик, намеренный быть в этих краях полномочным представителем своего культурного среза. Он плавно повел рукой и огласил:

Уж сколько крат твердили в разных Средствах,
Что Женщина, прости ей Бог, умна,
И нет того, в своих кокетствах
Чего б не взмыслила она.

Течет-бежит роскошная волна
В великолепном океане,
А на пути ее подъемлются со дна,
То на солнце светясь, то кроясь в тумане,
Отоки – не один их там простерлось и не два:
То *Общества*, по карте, *острова*.

А общества какого –
Акционерного или дурного –
Я вам поведать не могу,
А только объявлю (и, право, не солгу),
Что не Французы в нем, не Немцы и не Немки –
Туземцы и Туземки.
И всяк привык
На свой туземный всё там поверять салтык.

Случилося, что в день и ведреный и томный
(То ль постный был он, то ль скоромный)
Туземки две,
Что земскому в женах считались голове
(Читателю при сем припомнить должно,
Что в многоженстве там отнюдь зазору нет,
И коли превратить свой зал и кабинет
В содом ты хочешь до скончанья лет,
То их и дюжину навесть в квартиру можно), –
Так вот, туземки две, о коих сказ пойдет,
По случаю изрядна разогрева
Одевшись в капор тот,
Что нáшивала встарь праматерь наша Ева,
Гулять пошли привольною тропой,
По бутерброду прихватив с собой:
С вязигой был он у одной
И с крокодильею икрой взяла другая.

И вот, одна сидит,
Другая подле ней лежит,
Не Бог весть в чем (спроста рещи – нагая),
По сторонам глядят на пасторальный вид
И снедь свою прилежно подъедают
И вспять уже отправитися чают,
Как вдруг, послав товарке быстрый взор,

Та, что сидит, в такой вступает разговор:
«А! ты ревнуешь? как! к единому супругу,
Презрев и дружество, и всю мою услугу,
В объединившей нас судьбе
Не стыдно ль ревновать тебе?»
Глядя в смущенье на подругу,
Та, что с икрой, – давай и так и сяк:
Мол, мало ли наносят врак –
Но с горькой укоризной
Ей так владелица вязиги изрекла:
«Ты эти, мать, оставь мне лить колокола:
Ужель за нашею за таитянской тризной
Еще я с утрешней не чувствую поры
Твоей дрожание икры –
Иль то не знак, что скрыть ты силишься волненье?»

Поди ж ты, прячь от них малейше преступленье,
Когда и то от их вниманья не уйдет,
Как бровию комар на дубе поведет.

Стихи, далеко раздавшиеся в пустынном пространстве, заставили некоторые из скамеек подойти ближе, чтоб уловить каждый звук чтения. Они стеснились зеленою гурьбою, приволакивая задние ноги, и когда Генподрядчик кончил стихи, не сразу еще вернулись по местам. «Ну, вот за это, – сказал местный, тщательно выслушав мораль. – И чтоб не в последний раз». Они выпили за то, чтобы прятать преступленье, и местный, вдруг выскочив из люльки, пустился по мертвой зоне, увязая до колена в снегу и крича: «Погоди, тут яблочки у нас». Он попрыгал под старыми ветвями и вернулся, неся два желтых яблока, сморщенных, как изюм, с пронизью инея в морщинах. «Тут аллея у нас, – пояснил

он. – Двадцать лет Байконуру. Все для людей. Держи». Он с хрустом, как идущий по брянским снегам отряд партизан, откусил от яблока, между тем как Генподрядчик еще крутил свое, думая, с какого края лучше начать, чтоб не наткнуться на мерзлого червя среди черных семечек. Он не успел еще решить, как у его партнера со скрежетом полезло изо лба – он аккуратно отставил недопитую бутылку и закричал, схватясь за виски – Генподрядчик еле увернулся, не то ходить бы ему с одним глазом... длинный, благородного цвета старых фортепьянных клавиш, витой рог вынесся из головы и гулко бился наотмашь по стальным тросам, державшим дрожащую люльку, оттого что пострадавший, не переставая кричать, мотал шеей на все стороны. Наконец он завяз рогом в крепеже, и все стихло.

«Это от Ленки, – догадался он, напрягая шею со вздувшимися жилами. – Что я кота ее выкинул с балкона, когда она со Стасиком смолила внизу. Это она, зуб даю. В компот подлила».

«Скорей от яблок, – высказался Генподрядчик, бережно откладывая свое в сторону. – Морозом прихватило, или сорта у вас такие».

«Вот гниды, – отнесся местный к овощеводческим экспериментам. – На крысах надо проверять! На крысах, прежде чем в садово-парковой зоне рассаживать! Тут, может, люди отдыхают!»

С этими словами он схватил второе яблоко и крупно закусил, едва не прихватив остерегающую руку Генподрядчика. «Оно с другого дерева! – кричал он жуя. – Может, противовоспалительное!» Оба застыли и прислушались. Рог подернулся дымкой, по всей длине его обвила электрическая гирлянда, и на близлежащий снег посыпались красные и синие тени ее веселых огней. «Гниды», – окончательно решил игралище случая и,

наклоня голову, кинулся в аллею. Он скакал под ветками, неразборчиво крича, обтрясал их мощными ударами, ел немытое и обрастал то одним, то другим пикантным аксессуаром. Генподрядчик, от сердца вздохнув, вылез из чертова колеса, немого и недвижного, и пошел по глубоким следам местного единорога. Под яблонями из сугробов торчали ламинированные таблички, информировавшие о том успехе селекции, который в настоящий момент произрастает перед гостем аллеи. Сколько можно было понять, все они выращены были агрономом и народным академиком В. В. Разным-Уздеевым и посвящены важным этапам в жизни страны, в совокупности образуя вегетативный эпос с сильным лирическим элементом. Под одной яблоней читалось, что В. В. Разный-Уздеев вывел этот сорт, с характерным привкусом бергамота и двух кусочков сахара, пытаясь отрешиться от скорби, вызванной неверностью жены, и посвятил его 25-летию Варшавского Договора. От этого сорта по рогу пошла волной художественная каргопольская резьба, изображающая похороны кота мышами. Ближе ко лбу объявлялась открытой гражданская панихида, а на том конце, которым местный таранил плоды семейственных скорбей народного академика, гроб был опущен уж в могилу, и толпа занималась пристойной речью о добродетелях покойного. Следующая яблонь, окрещенная «Мы Хотим Всем Рекордам», посвящалась победам наших метателей ядра на Олимпиадах в Мехико и Мюнхене и славилась тем, что яблочки падали от нее удивительно далеко, так что потом даже не всегда можно было их найти, в период селекции народный академик специально консультировался с лучшими баллистиками; ее насыщенный вкус был призван напомнить о поте и усилиях, ведущих к мировой славе; чем обогатился от этой породы бегаю-

щий по аллее единорог, Генподрядчик не успел застать. Видно было, что в работе В. В. Разный-Уздеев находил отдохновение от непотребств, совершавшихся в его семье; ни один узор на коре, ни одно пятно на яблочке не выдавали нравственных мучений, которые оставлял он за порогом лаборатории, укрывавшей будни скрещивания; следовавшие тесной чредою убийства, инцесты, осквернения культовых зданий, библиотек и велотреков, отдававшие его внуков, сестер и племянниц в жертву усталым от них Фуриям, изливались из его дисциплинированного мозга просветленными гимнами народным свершениям. «Эй, погоди! – кричал Генподрядчик, но его распаленный знакомец не слышал. – Да погоди! Послушай, что скажу!» Он метнул ему под ноги яблоко, тот притормозил подобрать, и Генподрядчик зачастил: «Слушай, я понял. Это яблоки модифицирующего действия. Кончай бегать, только из ног глухоту выбивать». «Какого действия?» – переспросил набитый рот. За время, потраченное в беспутствах дегустации, рог украсился лазерным наведением, от которого по яблоням плясала красная точка; от этого в общительной внешности местного почувствовалась солидность и надежность; под рогом, словно на бушприте, расположилась, раскинув руки, небольшая женщина с хорошей грудью, ниже ватерлинии затянутая то ли чешуей, то ли хрустящей корочкой. «Такого, что они не упраздняют взаимных действий, а только в них что-нибудь меняют. Праздничный декор, новые функции, оптимальная форма... в таком роде». Местный крепко боднул Хотение Всех Рекордов, скривился, потер за ухом и сказал: «Интересно, для уменьшения отдачи ничего нет? Шею сводит, как родную». Они сели на хромой скамье, которая слушать басню подоспела позже других, уже под

самую мораль. «Это, значит, кондуктором не поработаешь уже, – с тоской заметил местный. – И дантистом, наверное, не возьмут. Даже в ночную смену. Или возьмут?» «Думаю, что нет, – сказал Генподрядчик и, посмотрев в его расстроенное лицо на отягощенной шее, смягчил: – Создается такое впечатление». «Ленка так со Стасиком познакомилась, – с тоской сказал местный. – У нее пломба выпала. А в поликлинике без пакетов на ногах не пускают. А то, говорят, вы нам, идолы, весь зубной табурет изгваздаете. А она не знала, ясное дело. И вот шарится по коридору, под стулья заглядывает: и очередь боится пропустить, а без пакета возвращаться – в шею вытолкают. А тут он. Дескать, мадам, позвольте предложить, видя вашу озабоченность, с одной стороны – с новогодней символикой, хорошо заматывается на щиколотке и вообще вам под глаза, а вот с памятником грустному Гоголю, специально для стоматологических поликлиник. Ну, и очаровал. Вот что значит, – вывел он, – быть в нужное время в нужном месте! И с пакетами!» Местный замолчал, оглядывая окрестности, а потом оживился: «А можно где-нибудь устроиться, чтоб гербы держать?» «Это вряд ли», – с сомнением сказал Генподрядчик. «Я видел по телевизору, – настаивал местный. – Где-то есть, не помню, тоже с одним рогом, так он держит герб. Ничего больше не делает, только держит. И семью нормально кормит, я отвечаю. Сказали: “Вот уже четыреста лет, как он”, и все такое. Ты прикинь? А я смотрел в газете “Работа ищет”, так там только экспедиторы требуются, активные пенсионеры и прорабы буровых участков. Почему про такую работу не публикуется?» «Это в Шотландии, – вспомнил Генподрядчик, где именно можно этим зарабатывать. – Только вряд ли принимают теперь на такие должности. Нет вакансий». «По-

чему это? – крепко обиделся местный за свою востребованность. – Вот в Швеции, тут одну показывали по телевизору, так у ней прямо в трудовой книжке записано: “Принята на работу в должности шведской львицы с окладом согласно штатного расписания”». «Не шведской, а светской», – поправил Генподрядчик. «Это одно и то же, – сказал тот. – В Швеции самый высокий уровень жизни на душу населения. А хвоста у ней тоже нет. Специально акцентировали этот момент. Ладно, пошли, на хрен, отсюда, что мы сидим тут на железе. Настроения все равно уже никакого. А у тебя контора там». Он развернулся и пружинисто двинулся меж дерев. Генподрядчик, задрав голову, посмотрел на огромную вершину колеса в тихом матовом небе. «Господи, что я здесь делаю», – сказал он и последовал за единорогом.

* * *

– Раньше, – говорила общительная женщина в телевизоре, – мой муж храпел так, что мне казалось, будто я сплю со львом. Но ведь не каждой женщине хочется чувствовать себя укротительницей! Но теперь, – с нескрываемым торжеством сказала она, – у меня есть новый ноздренный фильтр «Ноктюрн»! Он легко крепится на нос, и простым движением завертки я модулирую звук до той частоты, какая мне нравится! «Ноктюрн» – не проводите ночь на арене!

В бравурной музыке растворилось простое, но полное последствий движение, и счастливая семья вихрем скрылась с экрана в супружеские будуары.

– А я видел эту женщину, – заявил младший сантехник, без дальнейших церемоний указывая пальцем на проповедницу «Ноктюрна». – В рекламе вензаболеваний. Она там в белом халате появляется между Адамом и Евой, когда они держатся одной рукой за яблоко, а другой друг за друга, и говорит: а вы уверены, что оно чистое? И пронзительно смотрит в кадр, давая понять, что это в большей степени нас касается.

– Ты зачем про это на ночь рассказал, – меланхолически сказал средний сантехник. – При моей впечатлительности, она мне обязательно приснится, в простом, но изящном платье, держа в одной руке мытое яблоко, а в другой насосную завертку. А утром я буду ни на что не годен.

– Когда же снег, – промолвил старший сантехник, стоявший у окна. Никто на это не ответил. – Сань, – повернулся он, – вот Татьяне выпало на третье в ночь, это какое число, по-нашему?

– Плюс двенадцать дней, – подсчитал младший сантехник, – с четырнадцатого на пятнадцатое.

– Это, стало быть, в понедельник утром.

– Значит, так.

– Как думаешь, выпадет?

– Я думаю, нет. Там же литература, – пояснил он свое мнение, – а тут что. Не выпадет.

– И по прогнозу сказали, что нет, – вздохнул старший сантехник, отходя от окна.

– Мужики, мне же Ясновид дал свою вторую главу, – вспомнил младший сантехник и полез искать, куда дел блокнот. – Романа своего. Вот, нашел; читать, что ли?

– Давай, – сказали ему с умеренной надеждой.

ГЛАВА ВТОРАЯ. СТУПЕНЯМИ В ПРОПАСТЬ

Мне стоит войти в этот бор, затянувшийся ржавью,
Чтоб тотчас почуять, как чуют походку чужого:
Лихим ли добытчиком, зверем иль древнею навью,
Но злобою полон мой путь, и не сыщешь иного.

Себя осмотрю я, пока руки-ноги на месте,
Себя я запомню, чтоб было о чем на досуге
Под хлопанье зимнего ветра по кровельной жести
Рассказывать внукам, и сыну, и верной супруге.

Но нет, не судилось стареть мне под кровлей своею,
Супругу ласкать и младенцев качать на коленях:
Быть может, есть Радость на свете – я спорить не смею:
Но я далеко, и по пояс в кровавой я пене.

– Посмотри, Семен, кому ты фановые трубы чинишь, – сказал средний, – это же свежий Пушкин народился. Народился, окрестился.

– Что это, он весь из стихов? – тревожно спросил старший.

– Нет, это вроде краткого содержания, чтобы знать, чего бояться, – успокоил младший. – Дальше только прозой. Другого пути нет.

Сумерки загустевали. На фоне темнеющего неба угрюмой кромкой прорезались верхи бора. Лесное озеро, на краю которого он решил наконец остановиться, влажно плескало в острые камыши. Выдропуск присел под молодым дубом, устало вытянув гудящие ноги. Остро пахнуло запоздалой ржанкой, и крупный лабардан ушел под воду с тяжелым, мягким плеском.

Подумав, что пора ему браться за дело, он заставил себя отрезветь от накатывающего сна и сжал теплый амулет Нетопыря. «Двумя руками, – сказал ему Энгельрих. – Твое тело должно замкнуться с его помощью в кольцо, иначе твоя сила бесплодно уйдет в воздух или землю. Вот так». Он показал ему, как пальцы должны входить в хитрые скважины амулета. *Спасибо, мудрец*, с пренебрежением подумал тогда Выдропуск. *Мне хватает знать, как пальцам на топоре держаться*. Ан, выходит, зря подумал.

Это был не простой амулет Нетопыря, какой можно за небольшие деньги купить у любого гостинника, приторговывающего щепетильным товаром, а особенный, редкостный. Выдропуску на своем веку довелось встретить лишь трех человек, владевших таким, и третий был тот, у кого он снял этот амулет с шеи, убив его в бою. У западных воферновов, которым больше известен этот талисман, – говорят, они-то и производили такие в Перводревности – его называют Зрящий Кожан, дорожа им пуще глаза за то, что не снашивается, как обычные амулеты, и хлебным вином его то и дело протирать не требуется.

Сначала не было ничего. Перед закрытыми глазами стояла обычная снотворная темь, взвихряемая где-то на окраинах шелестящим хаосом. Потом, словно спустившись в погреб и привыкая к темноте, он разглядел очертания своих рук, накрепко зажавших амулет. Перед ним стали мутно вырисовываться предметы. Он стоял перед обшитыми железом, прочно замкнутыми вратами, верхи которых уходили в клубящийся туман. Видевший это впервые, он сумел оценить остроумие людей, окрестивших это сооружение Славуронов Прикалиточек. Он припал к вратам ухом – ни шороха не слышалось

за ними. Он ударил в кольцо. Гул прошел по дубовым доскам.

«Скажи Ясак, кто бы ты ни был», – утробно ответили ему врата.

С Ясаком у Выдропуска проблем не возникло. Мало кто не знал, как часто Славурон бахвалится своим боевым кличем «Мокой! Мокой за стропила Славурона!» Мокой, морская гиена с бессмысленно-агатовыми глазами, был чтимым зверем у его предков, изображавших его на своей хоругви и вытесывавших из сосны его прожорливое рыло, чтоб украсить им носы своих кораблей. Выдропуск вынул нож и с размаху вырезал на вратах слово МОКОЙ. Врата дрогнули. Его надпись расплылась и, словно всосанная, втянулась в щели меж досками.

«Ты знаешь Ясак», – монотонно отметили врата.

Выдропуск не знал, будет ли уместным вступать в разговор с Прикалиточком, а потому ничем не откликнулся на его слова. Сейчас, лишь только они начнут отворяться...

«Скажи Зачур, кто бы ты ни был», – пророкотали врата.

А вот этого Выдропуск никак не ожидал. Он растерянно посмотрел на врата, словно ожидая от них подсказки.

Да в самом деле, можно ли было надеяться, что Славурон защитит доступ в свой Посильный Раздол таким нехитрым средством! Но почему же Энгельрих, из мудрейших мудрый, могущественный нутрозор, не подумал об этом?

«Помни, храбрый, но не слишком осторожный вельх, только одно, – сказал он, стоя перед Выдропуском: роскошный златоволосый чародей, с Жезлом Индуктивности в пальцах, никогда не державших меча. – Никто,

как ни странно, не мудрит особенно с заветными словами. Их набор невелик и легко предсказуем».

Что он там перечислял?

Это ведь Славурон, ненасытно грабивший все, до чего дотягивались его цепкие руки, пустивший по миру его родную Студеную Ключичку, чья община задолжала ему, покупая зерно в голодный год... Что мог поставить он белегом при входе в задушевное свое логовище?

Выдропуск сжал нож и вытесал на дубе слово ПЕНЯЗЬ.

Мгновенье врата постояли безмолвно, словно осмысливая его реплику. Потом вырезанная им надпись вспыхнула зеленоватым огоньком и исчезла.

«Тебе нет доступа, кто бы ты ни был, – сказали врата. – Тебе неведом Зачур. У тебя есть второй опыт».

Выдропуск переминался с ноги на ногу, держа нож во взмокшей ладони.

Что еще?

Среди истошных кличей и душного зарева захваченной деревни Выдропуску удалось разглядеть, как громоздкий гридин (по-дарански сателлит) тащил за косы из избы бьющуюся, в одной рубашке, черноволосую девчонку – туда, где за околицей, на безопасном расстоянии, виднелись сытые кони и золоченые шатры начальников. Выдропуск шагнул, преграждая ему путь, из-за угла бани, сателлит презрительно махнул в его сторону черным мечом, на котором, как обычно, было спилено клеймо мастера, – но меч почему-то ушел в пустоту, а серебряный с чернью клевец Выдропуска, упав, как молния, развалил тому обширный череп. Девчонка корчилась на талом снегу, пытаясь прикрыть ноги разорванным подолом. «Вставай, – хмуро сказал Выдропуск. – Как звать?» «Роксолана», – беззвучно выдохнула она.

Выдропуск взялся за нож и вырезал ПРЕЛЮБЫ.

Врата угрожающе загудели; железо, их опоясывавшее, словно накалялось, приобретая вишневый цвет, и откуда-то сверху сорвались и мазнули его по виску неслышные сычиные крылья.

«Тебе нет доступа, кто бы ты ни был, – отвечали ему врата. – Тебе неведом Зачур. У тебя есть последний опыт. Тебе ведомо, что будет потом».

Выдропуску не было ведомо, что будет потом, потому что общаться с людьми, пережившими то, что было потом, ему не доводилось. Он облизнул пересохшие губы и застыл.

Что еще? Тайное имя? Имя, известное одному лишь Славурону и покровительствующим ему силам? Откуда ему, Выдропуску, знать это имя? И кто поможет ему – сейчас, когда он, маленький донельзя, стоит перед грозно пульсирующим Прикалиточком и когда того гляди начнет совершаться ТО, ЧТО БУДЕТ ПОТОМ?

Какое имя?..

...Это был темный притон под вывеской «Прием хомячков». Выдропуску однажды довелось видеть этот прием. Ражий дадурх, с рыжей гривой, заплетенной в косички, которые символизировали число его боевых выездов, гарцевал перед гогочущим войском, понося противника и предлагая убить любого, у кого хватит духа шагнуть ему навстречу. Коренастый зольх – Выдропуск не знал его имени, видел лишь, как он рассказывал однополчанам старый вобайский анекдот утром перед Битвой Народов – что-то пробурчав, вышел из безмолвного строя. Через время, нужное, чтобы высучить двадцать пять – двадцать шесть сантиметров суровой нитки, кичливый дадурх корчился, хватаясь руками за собственное копье, пригвоздившее его шею к темной от крови земле. Это был Прием хомячков. После битвы Выдропуск искал того

зольха, чтобы разучить прием, но не нашел: должно быть, того завалило бойцовыми конями.

Внутри служанка протирала полы, за стойкой массивный стоечник взбивал в баклаге Кочетову Косицу – зелье, пользовавшееся устойчивой славой в определенных кругах. Выдропуск неспешно подошел к нему. «А скажи-ка, голуба, – обратился он к стоечнику, – в ваших краях, что, выпь шибко кричит?» Стоечник глянул на него изучающе. «Выпь у нас кричит в записи, – помедлив, сказал он и прибавил: – Если, конечно, не из баловства интересуетесь». Это был ясак для тех, кто собирался смотреть на строго запрещенный бобровый гон. Стоечник кивнул отиравшемуся поодаль подростку, и тот проводил Выдропуска в неприметный, но вместительный зал, полный запаха пота, азартного гомона и бегающих зайчиков от воды на потолке.

В тот день, упорно, раз за разом ставя на бобра по кличке Черный Гавиал, он спустил все пенязи, остававшиеся у него в кожаном кошельке. Черный Гавиал шел шибко, извиваясь в воде гладким телом и руля мощным хвостом, но в исходе поприща почему-то начинал задумываться и неизменно отставал на полкорпуса от победителя. Когда Выдропуск проиграл последнее, ставивший на победителя плотный человек в богатом даннском платье, вышитом золотой тяголью, с усмешкой бросил в его сторону: «Вы, зольхи, всегда ставите на кон все, что у вас есть, словно завтрашний день для вас не настанет. Последний пенязь ребром, а, зольх?». «У пенязя четыре ребра», – процедил Выдропуск. Тот посмотрел на него со смешливым удивлением. «Не кажется ли тебе, зольх, что когда-нибудь он станет ребром на твое счастье? Не хочу тебя разочаровывать, но бог Кадук, застав-

ляющий людей блуждать по болоту, едва ли благохотен к тебе и твоим близким». Телохранители, обступившие его, захохотали. Он вышел из зала. «Везло нынче Славурону», – сказал кто-то с завистью вслед.

Кадук! Покровитель всякого нечистого промысла, не бог даже, а болотный дух, гоняющий свою челядь за маленькими детьми, которых он привык есть живыми! Кадук, Падающее Лихо! Кто еще в Мире Неистлевающих станет поборать за Славурона!

Выдропуск ударил ножом в глухо ответивший дуб и, брызжа светлой щепой, вырезал на вратах КАДУК.

Они протяжно дрогнули, как чрево в родах.

«Тебе вольно войти, кто бы ты ни был, – грохотнули они. – Тебе ведом Зачур».

– Очень тревожно, – заявил средний сантехник, подбирая ноги, чтобы никто не впился в них из-под кровати.

– А я думаю, все будет хорошо, – поделился старший, однако ноги тоже подобрал.

Завизжал механизм, грохнули створы, и перед ним замерцала, все расширяясь, полоска... не света, нет, но какой-то новой темноты, отличающейся от той, в которой он маялся перед Прикалиточком. Она пахла дымом и людским жильем, и он, вдруг поняв, как остро ощущает запахи, не удивился, когда посмотрел на себя, словно сверху, и увидел свою спину с острым хребтом в черной щетине, красный зев, источающий пену, и огромные белые клыки в нем. *Людьми сюда не входят*. Лишь боги и звери проникают этими вратами. Кем же, как не вепрем, пристало ему навестить Славурона, настолько пренебрегшего богами, что им приказано было

не приносить ничего стрелоносительнице Дзеване от первин нынешнего урожая?

Постукивая копытами, шел он по булыжнику двора, меча красные взоры по сторонам. Два охранника кинулись на него от караульни, тараща неживые глаза. Он отступил, дал одному вырваться вперед, скользнул под его топор и продрал ему клыками брюхо; тот выронил оружие и ухватился за нутро, медленно опускаясь на колени. Второй оказался ловчее и смышленей, с ним Выдропуск возился минуты две, пока его копыта не опустились на поверженную грудь. Он застыл и огляделся. Что-то смутно тревожило его, пока он был занят с охранниками. Что же?

У колодца какая-то тень... вздрогнул и закинулся вверх колодезный журавль, таща пустое ведро... кто там? Какой-то запах, вроде знакомый, сквозил из полуоткрытой двери. И вот – знакомая кряжистая фигура в красном с золотом кушаке выросла на пороге, натягивая до уха тетиву черного лакированного лука.

Ардавур, конечно. Глянь, как посытел. Давно не видались.

Старый вобай разболтался в сарае. Молодые увлеченно слушали. Выдропуск сидел в углу, перематывая чистой тряпицей стертую ногу. «И вот, значит, перевозили Неопалимый Поставец», – излагал рассказчик давно отшлифованную историю. «Это тот самый? который ушкуйники разбили на волоке?» «Самый тот». «Так ты, дядька, был при этом?» «А что ж я тебе говорю? Знамо дело, был. Ты слушай. Довезли его водой до порогов, а дальше – на волок. Бревна, битюги, бурлаки – и свои, коренные, и добавочных наняли по деревням. Полтора дня Поставец только вынимали из ладьи и ставили на волокушу. Стража тут, ясное дело. Денно и нощно. Началь-

ником у них был Айтанарих, а подначальником ходил Ардавур». «Это который теперь у Славурона вроде как его тенью ходит?» «Он. И вот прилетает Айтанариху голубь хозяйский, с хозяйскою же печатью. Спрашивает в грамоте, где именно они сейчас и долго ль им, по их расчету, идти еще до большой воды. Айтанарих велит хозяйскому официалу отвечать, сколько они прошли и когда думают добраться. Отправили голубя. Наутро он назад: снять немедля пятнадцать копий с охраны и отправить вниз по течению, поскольку-де сведалось, что оттоле разбою ждать. Айтанарих, хоть и опасается рассредоточить силу, делать нечего, пятнадцать копейщиков с копейною гридью отсылает по течению. Ночью на волок нападают ушкуйники. А у Айтанариха, на грех, людей всего половина. Отбивался, пока мог, а потом сам-четверт отошел к воде. Остальных положили всех. Ардавур пропал. Бурлаки, кто не сгиб, разбежались». «Ну?» «Вот те ну. Главарь их свел голубя хозяйского – не к хозяину тот летал, а к нему, и распоряжение отвести людей от него было. А потом он этому голубю шею свернул – и в воду. Дескать, опознают – выдаст. Так вот, главное-то в том, что, говорят, Ардавур в этом был главным замыслителем, от него у них и печать хозяйская; потому-то он и пропал тогда, яко бы душу положил, защищая господское добро. А потом у Славурона обнаружился». «И что ж они, ушкуйники-то, делали с Поставцом? На хребте тащили?» «Нет. У них, сказывают, водознатец был, умевший своим прутом еще и поставцов чудесно допытываться, если которые с механизмом. Тут же открыли его, золото в мешки и давай Хегг ноги. Поставец, слышно, по сию пору там валяется. Наполы в землю ушел от своей тягости».

Выдропуск пошевелился в углу. «А ты, отец, откуда на все это смотрел?» – спросил он. В сарае захохотали.

Выдропуск, коротко хрюкнув, прошел под стрелой, рассерженно звякнувшей о кремень двора. Покамест Ардавур, бросив бесполезный лук, извлекал длинный даннский меч из потертых ножен, Выдропуск, спружинив, уже летел к нему, распластываясь в прыжке: передние острые копыта, выброшенные вперед оскаленного хрюка, метили противнику под нижнюю челюсть, а страшные бивни должны были пробить лицо. Но Ардавур, хоть и тронутый жирком на Славуроновой службе, сохранял еще былую ловкость. Взмахнув руками и присев, он стремительно поднялся ввысь, начертил мечом в воздухе знак Эфира – трехлетняя росомаха на белом поле с золотым египетским крестом – и, перевернувшись посолонь, ухватился за край каменного альтана второго жилища, который придерживали два улыбающихся каменных идола. Вскочив на альтан, он скрылся за дверью, ведущей в жило. Благодаря начертанному им знаку Выдропуск не мог его преследовать тем же путем и был вынужден подниматься по лестнице и уже там, в помещении, сломав меч Ардавура у рукояти, пришпилил растолстевшую Славуронову тень клыками к арнаутскому гобелену, изображавшему пастушку со свиньями в дубраве.

Оставив подергивающееся тело, он обернулся к выходу. И тут же в полуоткрытую дверь влетела стрела и, ожегши ему бок, клюнула стену.

«Мокой! Мокой!» – прокричал юношеский задыхающийся голос.

С льняными волосами, совсем еще отрок, в черном с серебром, бросился на него, маша луком в левой руке и змеистым кинжалом в правой, Выдропуск видал такие

в бою: умело примененные, они причиняли страшные рваные раны, залечить которые мало какому лекарю удавалось. Но то были умелые бойцы, а этот?.. Лицо отрока полно было яростью едва ли не первой битвы, и так, искаженными этой ярью, Выдропуск увидал ту красоту, о которой столько разного слышал...

«Олан его зовут, Олан. То ли возлюбленный богини Лады, то ли сын ее, а то ли и то, и другое вместе – мало ли чего про их, богов, похождения не говорят? Бог Лель, рассказывают, кольнул ее из шалости своей стрелой. А что один бог сделал, другой, известно, не отменит. Вот он и встретился ей в лесу, охотник молодой с тетивою шелковой. Красоты он, правду сказать, неописанной. У каких духов его мать выпросила?..» «Говорят, он от греха дочери с отцом. Мамка, будто бы, ей помогла в этом деле. Отец, когда все открылось, вскоре умер, а она ушла в леса без вести». «Ну, я в это не верю, а только красоты он замечательной. И куда он ходит по лесам, с кем там видится, это, я скажу, нам знать не обязательно. А счастье ему во всем такое, что впору уже бояться...»

Олан прыгнул на него с кинжалом, но Выдропуск легко ушел в сторону. *Что я тебе, мальчик? За славою ты сюда пришел? Ты смерти найдешь здесь, не славы... Уйди, что скажут обо мне, если я тебя убью?* Но Олан не намеревался уходить, это было видно, – нет, он вышел на битву со всей серьезностью, и встреться они не сегодня, а лет через пять, кто знает, каким был бы ее исход. Но они встретились сегодня, а значит, «через пять лет» для него не будет.

Пронзенный в живот, Олан кашлянул, и гнев на его лице сменился удивлением смерти. Он согнулся и шагнул спиной в соседний покой. Выдропуск слышал его спотыкающийся шаг. Он подождал минуту и тихо

пошел за ним. У первого кровавого пятна он остановился. Темные капли на полу складывались в буквы: ОСТАВЬ... Дальше он увидел: МЕНЯ... С опущенным хрюком он шел по коридору, уже не боясь внезапного удара. Я... УЖЕ... читал он. В последней комнате он стал, разбирая слово, которое можно было не разбирать: УМЕР. За ним не было ни крови, ни бездвижного тела. Боги, не охранившие жизни Олана, забрали его хоронить.

Выйдя на широкий альтан, в привычном уже сумраке Посильного Раздола он не увидел человеческих движений. Если кто и был тут, наблюдая за ним, он надежно затаился. Предстояло главное.

Он спустился на улицу. Амулет все еще вел его нужной дорогой. Повинуясь его движениям, он свернул налево в проулок, увернувшись от чьего-то арбалетного болта, пущенного наискось из темноты (не опасно, потом разберемся), и достиг до какой-то избы, с виду ничем не примечательной. Солома на крыше выглядела так, словно скотина давно уже ее объедала. Печная труба завалилась. Выдропуск ударил рылом в набухшую дверь, она приоткрылась. В углу стоял бочонок из-под даранской сельди; Выдропуск, не зная точно зачем, грянулся в него всем корпусом, разбив в доски, и ощутил неожиданный прилив силы. *Справный кабан,* сказал он себе с удовольствием, *должен знать, куда соваться, а куда нет*. Он вышел на середину жилья, озираясь, для чего привело его сюда чутье, и вдруг солома под его копытами провалилась, он взвизгнул и беспомощно рухнул всей своей тяжкой тушей вниз, в мрак и тлень глубокой западни.

Хорошо хоть колов не натесали, подумал он, осторожно подымаясь. *Вот тебе и справный кабан. Не говори гоп.*

Но, кажется, попал он туда, куда ему было надо. Если он не ошибался, это был Подклет Раздола – то самое место, где, по устойчивому поверью, Славурон бережно хранил свою Смерть. Если так, оставалось ее найти.

Он медленно пошел вдоль стены, изострив все свои звериные чувства. И вдруг в углу багряно осветился очаг и склоненная женская фигура перед ним.

«Выдропуск, – позвала она, – али ищешь здесь чего?»

Когда, по его мнению, они достаточно оторвались от погони, он устало сел под деревом и принялся зашивать порванное рогатиной плечо. Девчонка, решившись наконец отойти от его руки, к которой она жалась с того момента, как он отбил ее у гридина, осторожно вошла в реку. Выдропуск пристально смотрел на ее движения. Тихо разводя воду руками, она вдруг сделала резкий шаг вперед, словно поскользнулась, и с торжествующим криком («Не шуми, выдашь», – хотел было сказать Выдропуск) выбросила ногой на берег большую перламутровую рыбу, пойманную пальцами. Она запекла ее, а выдранные жабры, багряные и маслянистые, приложила к плечу Выдропуска, и боль сразу унялась. Потом, достав из его холщового мешка ложку, она натерла ее жабрами до яркого блеска и сказала: «У нас в деревне ими поставцы полируют. А еще от них веснушки сходят». «У тебя нету», – сказал Выдропуск. «Вот поэтому», – сказала она.

Она успела измениться.

Впрочем, памятный Выдропуску кривой кинжал на поясе остался тот же. И свободный разлет бровей, изпод которых пронизывающе глядели бирюзовые глаза, – этот разлет, этот взгляд, кажется, ничто не могло загубить и осквернить.

«Здесь нет Смерти Славурона, – сказала Роксолана, пристально наблюдая за ним. – Если ты за ней пришел, то втуне».

«Неужели погубит? – подумал он с быстротой, с какой растут, пожалуй, лишь совсем чужие дети. – Или... нет? Или еще любит?»

«Что мог ты мне дать, Выдропуск? – спросила она, словно читая его думы. – Свободу? Под которой ты понимаешь ночлеги на сырой земле под рябиной, от которых ломит поясницу, и сырое мясо, распаренное под седлом? А ведь я женщина... мне детей надо. Мне их хочется, Выдропуск. И чтобы над их колыбелью была крыша, а не степное небо».

И вот поэтому ты...

«Ты хочешь, должно быть, меня осудить? Не стоит. Никто, кроме тебя, в этом не виноват. Славурон дает мне корм, кровлю и покой. И надежду, что моя жизнь сможет пойти другой дорогой. Ты хочешь, чтоб я эту надежду снова променяла на твою постылую свободу?»

Она резко встала.

«Здесь нет Смерти Славурона, зольх, – повторила она. – Он ждал тебя и позаботился об этом. А вот твоя Смерть... она здесь есть».

Она достала из тисового ларца черную головню и подняла над головой. И когда он еще глядел на нее, невольно отступая и обнажая страшные, но бесполезные клыки, она в розмах метнула головню в огонь.

И тотчас резкая боль, пронизавшая его руки и грудную клетку, принесла ему двойное знание, в котором не было блага.

Он человек.

И он умирает.

Младший сантехник сложил блокнот Муми-троллем вверх.

Над творческим коллективом нависло неприятное молчание, из тех, что разрешаются, как грозовые тучи, репликами вроде «Я Эдип!» или «Вот мерзавец, от которого погибла Москва!», впоследствии попадающими в карманные пособия по риторике для девиц и сочувствующих.

– Допустим, – безнадежно сказал средний сантехник, – этот… как его…

– Выдропуск, – подсказал младший.

– Да. Этот Выдропуск – это аспирант Федор. И он приезжает, допустим, в Салехард. Ему там официально не рады. Он открывает холодильник…

– Введя пароль, – уточнил младший.

– Да. Введя пароль… А там на полке с огурцами сидит… эта твоя… Лера. Поджав ноги. Синие. И держит в руке, допустим, вареную колбасу. И говорит…

– Так сладко, чуть дыша, – опять уточнил младший.

– Не сбивай… Так вот, говорит: «Если ты, некогда любимый мною, а теперь невыносимый для простого глаза аспирант, не перестанешь искать встреч с моим сыном Георгием, то я сейчас…»

– Что? – поинтересовался младший.

– Ты меня сбил с мысли! – злобно сказал средний. – Сам придумывай, если умный такой, понял? Твоя Лера, в конце концов! И колбаса твоя!

– Извини, Вась, больше не буду. Ну, извини, давай дальше…

– Так вот, – продолжил средний с тяжелой интонацией отложенного, но неразрешенного конфликта. – Короче, между ними происходит разговор о пределах власти родительской. Он говорит: «Как это – не ищи встреч? Это же сын мой! Я его отец!» Она ему: «Не тот

отец, кто родил, а тот, кто воспитал! Ты – биологический отец, не стану отрицать, но мальчику нужен другой отец, не биологический, а этот, как его...»

– Клинический? – не утерпев, подсказал младший.

– Нет, – подумал и отверг средний. – Не клинический, а который ходит с сыном в парк есть мороженое. Чувствуя в своей широкой руке его маленькую, доверчивую ладошку.

– Лорд Честерфилд, – констатировал младший. – Завышенные требования.

– Он говорит, – продолжал средний, – «Разве это не я? Разве я не думал о нашем малыше самые нежные думы?» А она: «Ах, это ты! А где был ты, когда у него был коклюш, я всю ночь сидела при нем, глаз не сомкнувши, а в семь утра уходила на работу? А где был ты, когда я его ягелем кормила две недели до зарплаты? А где был ты...»

– Когда от солнца воссияли повсюду новые лучи, – завершил младший и добавил: – А потом она говорит: «Стремнинами путей ты разных прошел ли моря глубину?» В том смысле, что ты к нам поездом или с островов Арктического Института?

– Что он там делал? – насторожился средний.

– А у него обсерватория, – предположил младший. – Изучает он, например, зимней ночью, какое дал Творец пространство небесам.

– Не усугубляй наших проблем космогоническими, – сказал средний. – Итак, Федор говорит: поездом.

– А она тогда: вот и прекрасно, через час идет обратный, а пока пойдем, я тебя ягелем угощу. Как знала, что приедешь, – нарвала свеженького по полярному утру.

– Федор, негодуя, захлопывает дверь холодильника, но вареная колбаса не дает ей закрыться, Лера выскакивает оттуда, ударяет Федора колбасой по голове, потом

еще и еще, отчего он тут же решает уехать обратно на острова...

– Вась, ты же говорил, он не оттуда приехал...

– Неважно, на Землю Франца-Иосифа... «Да здравствует император Франц-Иосиф!» – кричит он, спешно покидая сумрачный дом...

– Вась, не перегибай образовательную планку, читатель не оценит, – остерег младший.

– А она, отшвырнув надломленную колбасу, бросается на диван и истошно кричит: «Господи, как же мне это надоело! Как надоело мне это все! Кто бы знал бы!»

Средний сантехник прокричал это, как раненая чайка, и смолк, тяжело дыша.

– Василь, – осторожно сказал Семен Иваныч, – не надо выжимать сердце в чернильницу, это порочный путь. Вон на Мюссе посмотри, до чего дошел человек. На расстоянии надо держаться от сюжета, а то коготок увяз – всю птичку сактировать.

– Правда, Вась, – поддержал младший, – поспокойней. Ну, что нервничать из-за этого романа. Ну, не напишем, в конце концов, и не напишем, во вторник еще мы и знать не знали о нем, и ведать не ведали. Не расстраивайся.

Средний смолчал.

– А я вот интересуюсь, – вступил старший сантехник, видимо намеренный сместить тему, – этот Энгельрих, который инструкции давал, – уважаемый, видимо, в обществе человек – он кто будет по профессии? Я там выражения одного не разобрал в его адрес.

– Могущественный нутрозор, – справился младший.

– По-нашему, рентгенолог, – сказал средний. – Или патологоанатом. Это у Срезневского надо уточнить.

– У нас в семье, – сказал старший, – традиционно велико было уважение к врачам. Чуть ли не богов в них

видели. У бабушки был знакомый педиатр, так она, бывало, три раза на дню к нему зайдет спросить, не надо ли ему чего. А отец, так и вовсе без одного-двух ухогорлоносов за стол не садился. Очень уважал это дело. И нам, сыновьям своим, передал эту уважительность.

– Раньше вообще люди были откровеннее, – сказал средний.

– Большое радушие было, – вспомнил старший.

Младший молча расстроился, что ему не довелось застать этого времени.

– Это все прекрасно, – сказал средний, – все мы были в Аркадии, но теперь у нас другие заботы. В мир пришла проза. Художественная. И принесла с собой печаль, именуемую в дальнейшем творческими поисками. Вопрос прежний: что делать с текстом?

– Это как в зоопарке, – сказал младший, глядя на клочковатую груду текстов, набранных за день с миру по нитке. – Захочешь на тигров посмотреть, так все обойдешь. Тут тебе и жирафы, и лемуры, и мужик свирепый с гелиевыми шариками. Пахнет стойлом, и все фотографируются на фоне густых решеток. А тигров отыщешь только на обратной дороге, у самого выхода, когда и сам уже наломаешься, так что ничего не надо, и они накушались и спят хребтом к зрителю.

– Какой в тебе, Саня, пропал действительный член команды Кусто, – оценил средний. – Десять лет с ластоногими. А теперь, коллеги, за вычетом эпических сравнений, чем вы еще способны потрафить обществу?

– Ну, ты тоже, Вась, шерсть не надирай, – внушительно сказал старший. – Кто перед тобой провинился? Наша общая была идея, и все делаем, что можем.

– Кислое дело, значит, – подвел итоги средний. – Пройдет девица – пригорюнится. А пройдут фрейдисты

– салют роману. М-да. Фрейдисты, эти отзывчивые люди, они, конечно, уж если пройдут, то уж пройдут…

Он хлопнул ладонью по столу и промолвил:

– У меня есть намерение сходить к нашему автору. Пусть, как говорят у Ивана Петровича, внесет свою большую лепту. Это, в конце концов, в его моральных обязанностях.

Соавторы разом посмотрели на него.

– Вася, – тревожно сказал младший. – Мы же ради чего это все затевали… У нас же был план такой, что…

Средний повернулся к нему с очень злым выражением.

– Я помню, – сказал он. – У меня, Саня, вообще чудесная память. Я даже помню, кто обещал вчера после ужина вымыть посуду, которую вымыл не он.

Младший только тут вспомнил и сконфузился.

– Василь, – суетливо сказал старший, – ну, ты в самом деле, что ж это тогда будет… тогда для чего мы старались… мы же надеялись, Василь…

– Хватит уж, – отчужденно сказал на это средний. – Отшумели свое хризантемы в саду. Смотрите проще на вещи. Проще и трезвее. Я скоро.

И он вышел, а два сантехника остались подавленно смотреть на телевизор, словно от него могла выйти польза.

Он поднялся на девятый этаж и позвонил в дверь.

– Кто там? – спросили его.

Средний сантехник подумал, что этот вопрос мог бы быть хорошим аргументом в споре о всемогуществе автора, но сейчас эта мысль казалась ему праздной. Он назвался.

– Чем обязан? – холодно спросили его, и он понял, что автор не забыл неприязни, выказанной им при первом появлении на литературной сцене.

– Откройте, пожалуйста, – сдержанно сказал сантехник. – У нас дело к вам.

Замок щелкнул, стало видно глаз и бороду автора, но дверь осталась на цепочке.

– Какое именно?

– Может, пустите в дом? – спросил сантехник. – Что ж мы будем через дверь, все-таки цивилизованные люди…

– Нет уж, извините, – решительно отказал автор. – Мало ли вы какую штуку выкинете. Бывает, и газовщи--ками представляются. Много всякой накипи ходит.

Сантехник, крайне щекотливый в публичном отношении, остро чувствовал, как соседи автора по лестничной клетке, потирая привычную к их бессмысленным действиям печень, впиваются в дверной глазок, бросив поливку цветов, которые каплют грязью из поддона на горячую батарею, а неполитые забывают о жажде и с остервенением поворачивают пестики в сторону двери, надеясь, что хотя бы какое-то насекомое со скучным, но неизбежным визитом опыления принесет щекочущие вести о том, как автор скандалил со своим сантехником.

Он сказал своему сердцу, чтоб молчало, и автору – о цели, с какою явился.

– Мне это, не скрою, удивительно слышать, – сказали с невыразимым сарказмом. – Редко из-за двери доносятся вещи, до такой степени поражающие ум. Я знал, конечно, что человеческие настроения отличаются крайней текучестью, и в самом себе привык наблюдать эту суетность, осмелюсь сказать, с философским отношением, но хотел надеяться, что, ладно там я, но в других-то больше последовательности. Вам же хотелось самостоятельности? Нет, я точно помню, хотелось же? Позавчера это было, я еще обедать не садился, как чув-

ствую: будто кольнуло что-то! как пить дать, думаю, самостоятельности хотят! И как же вы теперь думаете?

– Да, знаете, эта самостийность, – как бы доверительно отнесся сантехник, одновременно чувствуя, до какой степени автор был предусмотрителен, не открыв ему двери, и в какой бы опасности получить по шее он сейчас находился, будь эта дверь отперта, – она, конечно, на первых порах дает остроту... но рано или поздно задумываешься: а что этот суверенитет реально дал людям? И мы спрашиваем себя, сколько можно выходить на площадь и демонстрировать, что от тебя напрямую зависит судьба рассказа, тогда как ты даже сам себе насморк вылечить не сможешь, пока сам не пройдет? То есть, я к тому, что проходит время бутафории, опьянения воздухом, и наступает время положительных дел и свершений, мы откладываем какие-то свои претензии, личные амбиции какие-то, и научаемся работать в связке, в тесном ежедневном сотрудничестве...

Он уже истощил эту лексическую рубрику, но по молчанию автора было видно, что тот не вполне удовлетворился унижением сантехника, и последний, сделав бесплодную паузу, вынужден был продолжать:

– Ведь, в сущности, мы ли напишем или не мы – все равно это опубликуется под вашим именем, которого репутация вам не может быть безразлична. К тому же, я знаю теперь по себе, какое это нестерпимое наслаждение – следить, как под твоим пером из путаницы лиц, залогов, торопливых переодеваний, веских причин и ложных положений, форм двойственного числа и перипетий семейной жизни близнецов, из всего этого клубящегося хаоса возникает массивное сцепление сверкающих волокон, из чьей глубины выносятся обоснованные притязания то на ту, то на другую литера-

турную премию. Мы ведь, согласитесь, одна семья, и хотя «войны братьев тяжки», как сказал Гесиод, но и потребность во взаимных уступках куда сильней в семейственном кругу, нежели в случайно составившемся обществе. Забудем прошлое, – адресовался он к молчащей двери, – уставим общий лад! А я...

– Могу предложить свою вторую главу, – со сдержанным снисхождением вымолвил автор, приостановив третирование сантехника. – Ознакомьтесь, если не довелось. Если пойдет на ваши нужды, то милости просим самовывозом.

– Это где Амур и люстра, – пробормотал сантехник. – Нет, к сожалению, нам это не пойдет... там сюжетно не сойдется... у нас холодильник больше задействован...

– В таком случае ничем не могу помочь, – отозвался автор с нескрываемым торжеством. – А сейчас, извините, я вынужден завершить нашу беседу. Скоро должна появиться моя жена, мне надо к ее приходу прибраться.

– У вас нет жены, – машинально напомнил сантехник.

– Тем более надо навести порядок, – сказал автор. – Никогда не знаешь, когда она появится.

– Ну, раз так, – негромко сказал сантехник. – Всего хорошего.

– Подождите-ка, – остановил его автор и, слышно было, отбежал от двери. Под шепчущимися взглядами невидимо накопившихся соседей сантехник терпеливо ждал, про себя гадая, молоко ли это убежало у автора с плиты, поставленное к ожидаемому приходу жены, или в открывшуюся форточку влетела бестолковая птица, сухим трепетом по штукатурке сулящая тягостные невзгоды.

– Вот, возьмите, – рука из-за двери сунула ему листок. – Мне не надо уже, так что можете считать этот очерк своим. Со всеми вытекающими для вашей независимости льготами. Желаю успехов, а на этом прощайте.

– Отчего же прощайте, – сказал сантехник с фальшивой дружественностью. – Гора с горой не сходятся, а Магомет с Магометом...

– Очень надеюсь, это наше последнее личное свидание, – сказала рука. – Сделайте мне такое одолжение.

Дверь закрылась.

– Ну, на том и порешили, как сказал герцог Глостерский, – сквозь зубы произнес сантехник и пустился вниз по лестнице. На ступеньках он запнулся, с оживленьем досады пробормотал: «Вот черт, про укрепление вертикали забыл сказать» – и хотел было вернуться, но лицо его омрачилось, и он продолжил путь. Не доходя до своей квартиры, он позвонил в дверь Ивану Петровичу, от которого всего час как ушел, и сказал ему: «Иван Петрович, добрый вечер. Вот тут один местный писатель написал новую вещь, вам не надо для урока внеклассного чтения? Посмотрите». Иван Петрович принял листок, пробежал его глазами, поднял их, удивленные, на сантехника и вежливо сказал: «Нет, спасибо, я думаю, не надо... У меня в плане диспут “Есть ли в наши дни любовь с первого взгляда”, а тут не развита эта проблема... И образ родной природы четко не представлен. А кроме того, тут столько надо выписывать на доске... Меня люди не поймут. Оставьте, вам нужнее...»

Сантехник с авторским листом (к которому очень хочется применить определение *carte blanche*, несмотря на то, что он был плотно исписан) спустился домой и молча уселся на диване перед телевизором, с лицом,

практически не несшим указаний на внутреннюю жизнь.

– Вась, что это у тебя? – кинулись к нему друзья, стараясь не замечать его выражения. – Это он тебе дал? Давай-ка посмотрим, вдруг наконец подойдет... Все-таки он заинтересован... Сань, ты говорил, у тебя с логическими ударениями... Встань под лампу, не порть смолоду глаза...

Саня старательно прочел:

АЛЫЕ ТКАНИ

Алые ткани хороши, когда их разворачивают перед нами, выхваливая достоинства, но если бы кто-то захотел обить ими комнату, едва ли он мог бы там долго вытерпеть. Раз уж человек выбирает себе жизнь торговца, ему приходится мириться с тем, что и еда, и общество не всегда будут соответствовать его вкусам. Хотя кажется, что человек, многое претерпевающий на чужбине ради того, чтоб благоденствовать по возвращении, дома у себя может устроить все, как ему нравится, но на деле оказывается, что из дальних странствий приносит он с собой привычку жить наспех. И что тогда скажешь о других, если сам не можешь отделаться от сиюминутных обстоятельств?

Постоялый двор на киренийской дороге с первого взгляда казался порядочным заведением, где можно голову преклонить, и не сразу удавалось заметить, что, рассчитывая на неприхотливость людей, уставших с дороги, многое здесь пускают на произвол судьбы. Один человек, скитавшийся по окрестностям, нося за собой вертеп с куклами, беспрестанно пенял хозяину: и кони-то у него, плохо привязанные, знай выбредают во двор, и слуги как один вороваты и несдержны на язык.

Воистину все испытавший человек! Облюбовав себе это ремесло, уже много лет ходил он ради заработка с одного места на другое, и хотя не раз задерживали его по подозрению в чародействе, ему удавалось за себя постоять. Истрепавшихся кукол латал он с большим усердием и рассказать умел много.

– Ансо де Кайо росту небольшого, – говорил он, – и хотя в груди широк и вид у него горделивый, все-таки не скажешь, что «конь им гордится», как выражаются в таких случаях. Всего удивительнее, когда придется слышать от людей уверения, что он удерживал цепь, натянутую через пролив, или о чьих-то подвигах вроде этого. Тут уж что и сказать, разве что «пыль поднялася на дороге, там кто-то скачет прочь от нас».

Остановившись на ночлег, в качестве платы за себя он представил взятие Иерусалима и потрудился на славу, развлекая постояльцев своими куклами. Редко здесь такое бывало, и когда на ночь хозяин оставил сторожами двух своих поваров, рассердясь на них, им было о чем поговорить. А когда, притаив огонь в светильнике, они беседовали меж собой, а языки их все больше запинались, вдруг какой-то шум заставил их подскочить. Разом высунувшись из-под одеяла, увидели они, что куклы, валявшиеся с вечера как попало, поднялись, будто живые, и начали отряхивать с себя пролитое по столу вино и крошки хлеба. Словно им предстояла битва, одни стали в дозоре, смотря во вражескую сторону, а другие принялись прохаживаться у шатра. И тут какая-то женщина – откуда она взялась? – рослая и красивая, но одетая бедно, показалась между лагерями, прокрадываясь полем, будто ей помогал укрыться туман, и бережно держа ребенка на руках, а рядом с нею неровными шагами бежал другой. Наши дозоры заметили, и кто-то погнался за ней, а другие

крикнули, и поднялась суматоха, будто враг наступает. Опасно это, когда страх постигает ночью большое войско в незнакомой местности, – тут всего можно ждать. И хотя все были застигнуты суматохой, но император распоряжался как должно, и все вели себя честь по чести и разворачивали строй против болгар. И со стороны Иоанниса тоже второпях поднимали стяги и проверяли оружие, хорошо ли оно отточено и выходит из ножен. Одно лишь мгновение, казалось, прошло, а битва закипела самая настоящая. Ни слова не говоря, рубились они яростно и не отступали. Из людей, спавших поблизости, кто не проснулся сам от шума, был растолкан соседями: во все глаза глядели они, стараясь ничего не пропустить.

Среди других было видно куклу, изображавшую Пьера де Брасье, – не нашлось бы человека, кто не любил бы его за его подвиги: он превосходил всех и бился, не жалея себя, пока не насели на него комены целой толпой. Растолкав всех, он невредимым выбрался из толчеи, спустился в сени и, схватив ковшик, принялся пить, да так жадно, что было слышно, как он чмокает, и это казалось более диковинным, нежели что-нибудь другое. А пока люди смотрели на то, как он глядит на себя в ковше, граф Луи со своими людьми начал бой; за ним несли факелы, хоть он не был императором, и все невольно залюбовались его красотой и величием: так он был хорош, выступая впереди всех. Рядом шли его люди, а один из них, по имени Жан Фриэзский, упал и повредил ногу и отстал от своих. О нем спрашивали друг у друга те, кто вырвался вперед вместе с графом, покамест этот рыцарь сидел там согнувшись, и без него пособляли как могли графу и друг другу, меж тем как хозяин гостиницы не стесняясь бушевал: «Пустите! не позволю им палить восковые

свечи!» – а слуги насилу его удерживали, умоляя дать досмотреть до конца.

– Тут что-то не так, – заметил один постоялец. – Вовек тому не бывать, чтобы Жан Фриэзский повел себя подобным образом; не слыхали о нем такого. А если бы оказалось так, что эта кукла представляла прежде кого-то другого, человека не столь известного или вовсе скромной жизни, от которого трудно ждать самоотверженности, я бы не удивился.

Из присутствующих кто-то прокрался к хозяину вертепа, который, бледный от удивления, наблюдал за своими куклами, чтоб спросить, верно ли предположение, – так оно и оказалось.

Однако положение тех, кто был с императором, час от часу казалось хуже, и комены окружали их, так что дело могло кончиться вовсе плохо, если бы у людей, смотревших на это, не нашлось средств вмешаться. Вот тут-то один слуга, посообразительнее, кинулся с фонарем в курятник: петух, разбуженный, пропел, и куклы тотчас улеглись, будто дремотой сморенные, – людям же, напротив, никакой сон не шел на глаза, так были они поражены и горели желанием поговорить друг с другом. Очаг был разожжен, повара отряжены на кухню, жизнь закипела в доме, словно белый день был на дворе, и сколько сказано было о происшедшем – всего не пересказать.

Покамест рассуждали и толковали об этом, пришли печальные вести о битве при Адрианополе; вспомнили о куклах, бившихся насмерть, и вновь начали спорить, нет ли между этими делами какой-нибудь связи.

– Из осаждаемых городов, бывало, сбегали женщины с детьми, – заметил хозяин постоялого двора, – и производили переполох, так что из-за них начинали сходиться войска, – бывало и так; но чтоб в этом слу-

чае биться начали из-за чего-то подобного, я нипочем не поверю: об этом никто не рассказывает, да и император не попустил бы столь ничтожному поводу.

– Худого не вышло бы, не оплакивали бы мы их сейчас, если бы все, кто прославился за последние годы, стояли бы вместе на том поле, – так говорили другие: – но не было там Пьера де Брасье, ибо уже много месяцев как он перебрался через рукав Св. Георгия, чтоб сражаться в Тюркии; не было его в этой битве.

– Рассудить, что здесь к чему, нелегко, – так сказал один старик, – но я скажу о себе: я торговец лошадьми, много повидал, скитаясь от двух гаваней до крепости апостола Андрея, и не могу сказать, что я всегда был честен с людьми и в своем ремесле не знал греха, – всякое бывало. А что мы сделали бы, если бы знали, какие события предвещаются этими куклами, – послали бы гонца и оповестили власти? Вот что я вам скажу: не следует нам говорить об этом слишком много, иначе подумают, что мы собой гордимся.

Вот дела, удивительнее многих, и речи, заслуживающие памяти!

– Сань, это про что? – спросил старший сантехник.

– Про крестовые походы, я так понимаю, – сказал младший. – Видишь, тут взятие Иерусалима фигурирует. Он раньше писал об этом, ну, видимо, остались наработки, не выбрасывать же.

– Какой-то эстетизм в слоге, – сказал старший.

– Да, не чуждо, – согласился младший.

Они подождали чего-то от среднего сантехника, не дождались, и старший неуверенно сказал:

– Вот если бы этот хозяин вертепа был аспирант Федор... То есть, допустим, он по пути поиздержался и вынужден был давать представления...

– Нет, Семен Иваныч, – сказал младший, – все кукловоды обычно символизируют автора. Это есть такая традиция, не знаю почему. А вот, к примеру, Жан Фриэзский, который остался сидеть, потому что раньше был кем-то другим, вот это, я думаю, для аспиранта вполне пригодная кандидатура.

– То есть, если так рассуждать, – глубокомысленно сказал старший.

На этом их комбинаторный процесс стал. Больше они не придумали ничего в той хорошо затеянной игре, которая, будь она опубликована в журнале «Мурзилка», представляла бы собой нарисованный цветными карандашами лабиринт с подписью «Помоги аспиранту Федору добраться до Салехарда», а что до среднего сантехника, то он за вечер слова не проронил, и они пытались не думать о том, о чем он думает.

Семен Иваныч подал ужин, пригласил всех кушать, пожалуйста, и двое из них разговаривали за столом с ненатуральной оживленностью.

– А можно, я знаете что подумал, к Ивану Александровичу сходить, – говорили они. – Сейчас, конечно, поздно уже и неудобно, а завтра вечерком. Он мужик уважительный. Тем более нам его ремонтировать.

– Не получится, – отвечали они же. – Я Катю его встретил нынче на лестнице, так она говорит, им завтра вечером в гости. И он хотел еще выйти с запасом, чтоб купить какой-нибудь остроумный подарок.

– Где он остроумный подарок найдет в субботу вечером, – возражали они.

– Он-то найдет. На его остроумие везде подарки. И вообще, она говорит, он сейчас так загружен. Головы просто не поднимает.

– Ну, вот пускай поднимет. Мы его не каждый день беспокоим, а ему у нас еще ремонтироваться.

– Не, так тоже не по-людски. Неудобно.

– Ладно, еще кого-нибудь вспомним. На нем свет клином не сошелся.

– Да не сошелся, конечно. Вспомним.

Так говорили они.

После ужина по телевизору показали женщину в халате, мешавшую жизни в раю своими гигиеническими рекомендациями. Хотя все опознали ее по описанию младшего сантехника, никто не выказал стремления кричать: «Вот она!»

– Я, пожалуй, пойду помоюсь, – сказал средний сантехник и ушел в ванную. Слышались шипящие звуки. Вдруг он появился в комнате оживленный и сухой, взъерошил листы на столе, бормоча: «Где тут эти его ткани... весь этот Иерусалим его...», отыскал листок, подаренный автором, и деятельно скрылся с ним, провожаемый молчаливыми взглядами товарищей его в искусстве дивном.

– Ну, ладно бы в клозет, – сказал наконец младший, – я бы еще уловил суть этого демарша, даже если бы с ним не согласился: но в ванную-то он зачем его поволок?

Старший только вздохнул.

– Вы тут о чем? – спросил средний сантехник, входя с раскрасневшимся лицом и мокрыми волосами. Видно было, что вода, действительно лучший из элементов, оказала на него благотворное влияние, временно примирив с действительностью.

– Вась, – осторожно спросил младший, – с легким паром, конечно, а ткани его ты зачем взял?

– Спасибо, какие ткани? – рассеянно спросил средний, елозя по голове махровым полотенцем. Старший

незаметно пихнул младшего локтем в бок, приглашая закрыть вечер вопросов и ответов. – Такое ощущение, Санек, – глухо сказал средний из полотенца, – что ты подозреваешь меня в торговле внутренними органами.

Младший подобострастно рассмеялся.

– Сейчас один звонок сделаю, – сказал средний, – и мы продолжим разговор, составляющий главную прелесть в жизни зрелых образованных мужчин.

Он набрал номер, на третий гудок ему ответили, и он сказал туда:

– Добрый вечер. Да. Богатым не буду. Да, не последнее, как видите. Но я вас надолго не отвлеку. Жена ваша не подошла? Нет? Странно. Так вот что я хотел вам сказать. В людях, определенных к общественной службе, мелочность вообще отвратительна. Но насколько она постыдна и губительна в людях, приставленных обстоятельствами к литературному языку! Чем вы гордитесь? Вы что, искренне себя считаете человеком другой породы? Ну, так вот, дорогой вы наш агитатор, горлан и главарь. Какая у вас там глава на очереди, одиннадцатая? Чем намерены занять? Не хотите убедиться, что другой на вашем месте сделает ее лучше? Нет. Нет, спорить я не буду об этом. У меня нет потребности дискутировать с вами ни на какую тему. Всё. Привет жене.

Он бросил трубку. Два товарища смотрели на него со страхом. Опустив к столу лицо, кипящее желчью, он придвинул тетрадь с рассказом о несчастном семействе Осборнов, иллюминированным профильными рисунками женских ног, и написал:

«Глава одиннадцатая. – Когда в дверь позвонили, средний сантехник...»

– Василь, ты что затеял, – недоуменно сказал старший, подымаясь с места.

– Вася! Брось это, брось немедленно! – кричал младший. – И ни в коем случае не вздумай открывать дверь!

– «...средний сантехник, удивленно сказав: “Мы кого-то ждали?”, пошел открывать», – раздельно промолвил средний сантехник.

Глава одиннадцатая,

написанная Средним сантехником

Когда в дверь позвонили, средний сантехник, удивленно сказав: «Мы кого-то ждали?», пошел открывать.

На пороге оказался мальчик лет двенадцати, с худым лицом и в очках, придававших его глазам статус главной части лица, возможно заслуженный. В руке он держал потухший факел, источавший змеистую струю тяжелого дыма.

– Здравствуйте, – вежливо сказал мальчик. – Мы с вами не имели удовольствия прежде быть знакомыми. Я Джонни Осборн.

– Наслышан, – сказал средний сантехник, несколько приподняв бровь. – Очень приятно.

– Я пришел, чтобы поговорить с вами об одном важном деле, – продолжил мальчик с той пугающей серьезностью, что отличает малолетних визионеров в игровом кинематографе, и неестественной правильностью грамматики, выдающей добросовестного иностранца. – Поскольку дела у нас с вами волею судеб оказались общими.

– Что же мы здесь стоим, – опомнился сантехник. – Прошу в дом.

– Нет, спасибо, но я не имею времени на длительное нахождение в гостях, – ответил Джонни. – У вас есть проблемы.

– Откуда вы знаете? – спросил сантехник, решивший чередовать обращение на «ты» и на «вы».

– Знаю, – сказал Джонни. – У вас есть проблемы, которых вы не решите сами. Есть человек, который вам поможет.

– Неужели?

– Это аспирант Федор. Вам следует обратиться к нему.

– Где же его взять, – заметил сантехник, понимая этот вопрос как фигуральный.

– Вам нужно его поймать, – ответил, тем не менее, младший Осборн. – Он владеет нужным для вас знанием.

– Как это поймать? – переспросил сантехник, для которого ловля аспирантов не входила ни в число выработанных навыков, ни даже в набор привычных мечтаний.

– На берегу. Я покажу где. Вам, однако, не следует относиться к этому легкомысленно, – сказал Джонни, сосредоточенно моргая преувеличенными глазами: – это значило бы потерять свой шанс.

– Я постараюсь, – обязался сантехник.

– Повторяю, это очень непросто. Многие хотели поймать аспиранта Федора, чтобы использовать его в своих целях.

Средний сантехник внутренне согласился с этим утверждением, вспомнив, как несколько часов назад он сам пытался использовать аспиранта Федора в своих целях, не имея в оправдание даже более или менее честной уверенности в том, что эти цели являются благими.

– Он обладает способностью принимать виды. Вы сами поймете, когда он окажется в ваших руках. Надо быть готовым ко всему. – Мальчик, доселе говоривший с видимой отчужденностью от своей речи, вдруг споткнулся и приглушенным голосом, с пронзительно прозвучавшей на задымленной лестничной клетке ноткой мальчишеского страха, сказал: – Он всем может обернуться. Он так делал. Даже моим папой. Только я все равно узнал. От папы пахнет не так... дымом... а от него прогорклой морской капустой. Я узнал.

Средний сантехник позволил себе протянуть руку и успокоительно потрепать Джонни по плечу. «Хорошо, малыш, – сказал он, ощущая мучительную фамильяр-

ность своего тона, – хорошо. Нет поводов волноваться. Я все сделаю. Только покажи, где его искать».

– Пойдемте, – сказал Джонни.

Тут только средний сантехник заметил, что тот был до нитки мокрым, и с его одежды тихою струйкой капало по лестнице. «Что это? – сочувственно спросил он. – Ты не простынешь?» «Были обстоятельства», – сдержанно отозвался мальчик.

Они спустились до первого этажа. Встретившийся Петров приветственно помахал рукой, спросив, как жизнь и не нужно ли мастики, а то у него сохнет на кухне, а выбрасывать жалко. «Я бы советовал взять», – негромко посоветовал мальчик. После недолгих торгов средний сантехник взял у Петрова кулек на килограмм. Они вошли в лифт, мутно переливающийся разносортной чешуей, и Джонни нажал кнопку вызова мастера.

– Мне казалось, – сказал средний сантехник, стоя в банном халате под блокадным освещением, – что эта кнопка вызывает мастера во внештатной ситуации.

– Это было раньше, – сказал Джонни. – Теперь она в той же ситуации к нему привозит.

Средний сантехник хотел бы чем-нибудь заесть этот обмен репликами, но, не имея в своем наборе ничего, кроме вафельного полотенца и кулька мастики, решил, что эти продукты ему забвения не принесут. Дверь разъехалась на стороны. Они вышли, как показалось, на ту же лестничную клетку, только на двери Петрова висела табличка «Урология на учете», и открыли подъездную дверь. Серый свет полился в нее. Плоский берег расстилался перед сантехником, со слоистыми, как сланец, волнами и массово несущимися на какую-то циклопическую сходку тучами.

– Спрячьтесь под лодкой, – из-за плеча сказал Джонни. – Где тюлени. Он придет.

Сантехник обернулся что-то спросить, но за плечом не нашел ни Джонни, ни дверей, ни дома, к которому они относились. Он стоял один посреди берега, и только доносившийся ветром слабый запах рыбьего жира, напоминавший о суровой детсадовской поре, указывал, в какую сторону идти к тюленям.

Когда сантехник достиг до залежей длинных инертных тел, единственным занятием которых было иллюстрировать процесс конвергенции для учебника Наумова и Карташова «Зоология позвоночных», то, подкравшись так, чтоб его не заметили, он укрылся под опрокинутой лодкой, в тесном объеме которой пахло крабовыми палочками без гарнира, и прислушался.

– Мы с тобой со вчерашнего утра не видались, – говорил один негромкий, низкий голос, видимо характеризовавший самоуверенного, но неядовитого тюленя, – однако я не замечаю, чтобы время, проведенное в отсутствии, прошло для тебя плодотворно. Ты, проще сказать, какой-то все такой же.

– Ты, дорогой Фредегарий, – отвечали ему, – вследствие малой подвижности наклонен к негибким оценкам. Поплавал бы пошел. Нельзя жить одним подкожным жиром, мировоззрение рантье – отнюдь не то, что может спасти нашу нацию.

– Милый Северьян, – отвечал прежний, – когда ты говоришь о нации, не надо коситься на самок, это делает твой дискурс неубедительным.

– Да, – с вызовом сказал названный Северьяном, – я неравнодушен к женщинам. И они ко мне тянутся. Они говорят: «Не знаем почему, Северьян, но мы тянемся к тебе. Это выше нас». Нельзя сопротивляться пульсу планеты. И, в конце концов, в сохранении нации есть такой аспект, как тиражируемость.

– Вот не надо свою либидинозность выдавать за патриотизм, – посоветовали ему. – Кого ты тут хочешь ввести в заблуждение?

Северьян неприязненно промолчал. Средний сантехник готов был поклясться, что при этом он смотрел на самок.

– Хотя, конечно, многие одаренные люди способны были делать несколько дел одновременно, – примирительно сказал Фредегарий. – Вот, например, Юлий Цезарь или хотя бы Сципион Африканский.

– Даже и Сципион Назика, – горячо вступил Северьян, забыв о трениях.

– И Назика, – согласился Фредегарий.

– А, с другой стороны, как странно выглядят в биографии этих людей, всегда вежливых и выбритых, истории об архаических сарказмах судьбы. Какая-то усталость вкуса в этих эклектических ансамблях. «Иды марта еще не прошли».

Фредегарий шумно вздохнул.

– Я все более убеждаюсь, – сказал он, – что никакого Цезаря на свете не было, а вернее, не было отдельного Цезаря, а был человек, который нам известен как Иван Грозный, а римским историкам – как Цезарь.

– Какой ты внезапный, – сказал Северьян.

– Сам посуди. От имени Цезаря происходит слово «царь». Первый русский царь – Иван Грозный. Цезаря обвиняют в гражданской войне, Ивана Грозного – в расколе страны на опричнину и земщину. Грозный покоряет Казань и именуется властителем Казанским. Слово «Казань» происходит от татарского «казан», то есть котел. По латыни котел – энеум, а Цезарь считает себя происходящим от Энея, основателя Рима. Обладание рогом, или котлом, изобилия составляет царскую привилегию. Грозный воюет с королем Стефаном Ба-

торием. Стефан по-гречески значит «венец», то есть «увенчанный», «царь». А что касается фамилии Баторий, то если мы вспомним, что древнегреческая буква «б» впоследствии переходит в «в», а «т» – в «ф», то поймем, что Стефан Баторий – это, в сущности, «Вифинский царь», то есть тот самый Никомед, об отношениях которого с Цезарем говорили так много.

– Его принесли завернутым в ковер, – вспомнил Северьян.

– И, наконец, обстоятельства смерти. Цезарю предрекают умереть в иды марта, в этот день он говорит предсказателю, что иды наступили, тот отвечает, как ты верно заметил: «Да, но еще не прошли». Волхвы предсказывают Грозному смерть в Кириллин день, он сажает их в узилище, чтобы казнить, когда этот день пройдет, вечером посылает к ним напомнить о предсказании, и те говорят: «Кириллин день еще не миновал». Цезарь погибает в Помпеевой курии, среди политической элиты Рима. Грозный умирает за шахматной доской, то есть за игрой, моделирующей политическую ситуацию и не зря называющейся выражением, в переводе означающим «король умер». Ошибка думать, что Римская империя – это что-то отдельное от нас. Нет, это всё то же самое.

– Я подозревал, – заявил Северьян.

Он перевалился на другой бок и спросил:

– И когда же примерно все это было?

– Ну, когда, – задумчиво сказал Фредегарий. – Память человеческая так хрупка. Ты, например, помнишь, что делал двадцать девятого августа девяносто седьмого года?

Северьян ощутимо напрягся, но потом с неожиданной простотой ответил: «Нет».

– Ну, видишь. Представь, какой простор для фальсификаций.

Северьян мысленно оценил простор, а потом спросил:

– А где это все совершалось?

– Вот это, конечно, дискуссионный вопрос, – увлеченно отозвался Фредегарий. – Знаешь, я склоняюсь к мысли, что где-то посередине. Чтобы потом сюжет мог разъехаться на обе стороны. Я прикинул по карте, это получаются где-то примерно окрестности Львова. Может быть, Ужгород или Ивано-Франковск.

– Я за Ивано-Франковск, – живо откликнулся Северьян. – Там Карпаты. У меня тетка там в краеведческом музее работает.

– Мне тоже кажется, что Ивано-Франковск, – вымолвил Фредегарий. – Там традиционно сильны детские шахматные секции и вообще обстановка как-то благоприятнее.

– Твоя воля, но я не вижу мотива за этим злодеянием, – заметил Северьян. – Кто выиграет на том, что мы считаем Цезаря и Грозного разными людьми, а не одним, который кончил жизнь за плодотворной дебютной идеей в прохладном клубном помещении Ивано-Франковска? Где здесь корысть? Или тут замешана женщина?

– Не будь таким утилитарным, – запротестовал Фредегарий. – Мы очень недооцениваем роль иррационального в культуре. До сорока процентов человеческих поступков не имеют никакой цели, даже пошлой, и это не считая тех, в отношении которых даже совершающие их ясно сознают, что этого не следовало бы делать. Это как в «Парке юрского периода», когда Сэм Нилл постоянно говорит всем: «Ни в коем случае не шевелитесь», а все шевелятся. Спасибо, что нам в каче-

стве мыслительного инструмента дан русский язык, столь богатый, что все слова можно понять с его помощью. Люди, не имеющие личной заинтересованности в нетрезвом взгляде на вещи, могут с ним делать буквально чудеса, я тебя уверяю.

– Когда речь о чудесах, – сказал строптивый Северьян, – надо не уверять, а показывать.

– Как-то я пресытился этими рассказами, – сообщил себе сантехник. – Хороший анекдот, когда жизнь на события бедна, это, конечно, прекрасно, но тоже меру надо знать... И потом – я, в общем-то, не очень люблю Дали, мне кажется, единственное, в чем он выказал гениальность, это его собственная рекламная кампания, но у него есть одна фраза, которая мне нравится. Он где-то сказал: «Главное различие между мной и сумасшедшим состоит в том, что я не сумасшедший»... Ну, да, – ответил он сам себе, – как частное применение той мысли, что «если двое делают одно и то же, это не одно и то же», это, конечно, хорошо выражено, но... Да вовсе не никакое «но», – запротестовал он, – и потом, я не совсем об этом собирался сказать... Я вот о чем. Раньше, бывало, попадешь в обстоятельства, так хоть знаешь, на кого жаловаться. Автор завел туда, автор сюда, автор поставил в нелепое положение и с интересом смотрит, как ты из него выйдешь сообразно своему характеру. А теперь я лежу под лодкой, слушаю либидинозных тюленей, которые несут ахинею, разговариваю на два голоса, и пожаловаться, в общем, не на кого. Сам не знаю, кто я на этом чумном пиру – тот, кто пишет все это, тот, кто это претерпевает, или еще кто-нибудь. Бог видит, как я ненавижу немецкую метафизику! И презираю!

Он бы сервировал себя еще долго, но, на его счастье, послышался, вплетаясь в шум волны, приближающий-

ся человеческий голос. От долгого лежанья в тесной атмосфере сантехнику представилось, что это к его лодке идут памятные по школьной поре персонажи картины «Ждут» кисти О. Д. Яновской, что сейчас они, угнездившись на предписанный дозор, придавят его лодку навечно, так что он, просвечивая меж рассохшихся досок, станет частью этого яркого полотнища, и дальнейшие дети в школах будут описывать в сочинении, что вот-де мальчик и девочка, до боли глядящие на синее море, вот их верный друг собака, а вон в щелях можно заметить фрагменты Среднего сантехника, в изображении которого художнице особенно удался горделивый разлет бровей. Этот «разлет бровей» был его тихой отрадой то короткое время, когда, в который раз не сладив с непокорной фантазией, он покорился ее извивам, и он совсем было примирился с мыслью стать красочным пятном на творческом пути О. Д. Яновской, когда по голосу, здоровающемуся с тюленями как со старыми знакомцами, и расспрашивающем их о житье-бытье, узнал аспиранта Федора. Тот осведомлялся у Фредегария, что нового во всемирной истории, и доброжелательно шутил с Северьяном о его любовных неудачах. Медлить было нельзя. Средний сантехник перевернул лодку, качнувшуюся выеденным грецким орехом, сокрушительно бросился вперед и, натолкнувшись, в своих руках увидел бледное неприятное лицо и вялое тело, столь памятные ему по изящным страницам, вылившимся из-под пера младшего сантехника. Он дернул плененного Федора так, что голова его качнулась, подобно росистому цветку на стебле, и прорычал: «Говори!», очень надеясь, что аспирант знает, что именно ему от него надо. Тюлени умолкли и незаметно скользнули в воду, чтоб не мешать встрече. «Да-да, конечно», – униженно забормотал аспирант,

дотянулся поправить дрожащие очки и вдруг булькнул и выпучился, как тесто: из него на ошеломленного сантехника вынырнуло и полезло, неприязненно крича, что-то железное, всюду колючее, с какими-то перьями, и наконец вместо внешне невинного Федора в его объятиях оказался серьезный мужчина, в шлеме с наносником и в гамбизоне под кольчугу ячменной клепки, который на убедительном старофранцузском языке бушевал, что не для того он оказал столько щедрот шартрским церквам и ездил с другими в Рим к апостолику, чтобы с ним теперь обходились таким образом. Можно было заключить, что это Жан Фриэзский, которому придавало особую решимость чувство неловкости за двусмысленное поведение в Адрианопольской битве, могшее, в самом деле, навлечь на него укоризны. Чтобы отмести всякие подозрения, он закончил тираду богатырским взмахом боевого цепа (fléau d'armes), от которого загудел всколебавшийся воздух, а у сантехника в голове, ушедшей в плечи, насколько позволяла конструкция, мелькнула грустная мысль, что вот окончилось и короткое его, нелепое какое-то свидание с аспирантом, да и вообще сантехнические авантюры на этой бедной, но милой земле, – но цеп обрушился куда-то на сторону, выбив фонтан мокрого песка, и юркнул в рыцарскую ладонь, как белка в дупло, а сантехнику, оправившемуся от испуга, оставалось завороженно следить ряд волшебных изменений, о которых он намерен сообщить в следующем предложении, находя нынешнее несколько затянувшимся. Когда цеп втянулся в руку, ногти ее изогнулись и почернели, кольчуга растеклась в маслянистый клубок суетливого кивсяка, от которого негостеприимно дохнуло матерью сырой землей; желтый череп подернулся хлопьями неконтролируемой боро-

ды, и в руках сантехника, невозвратно закатив страшные глаза, тяжело обвис труп старика Пахомыча, с его застенчивой красотой, которую сантехник получил случай оценить непосредственно. Его сердце, обычно казавшееся более или менее мужественным, давно оборвалось и находилось теперь неизвестно где, в недоступных добродетели местах, но рук он не разжал, глядя мертвецу в темный, как погреб, и широкий рот, производящий рыбьи движения. Сантехник не успел даже подумать, что все там будем, – не потому, что он и был именно там, где Пахомыч, а потому, что дума в этот момент вообще ему не удавалась, – как в старике что-то изменилось. Он со стигийской нежностью улыбнулся сантехнику, глаз его взблеснул карим, а тяжелая, смуглая грудь, со струйкой пота в ложбинке, поднялась и глубоко вздохнула под розовой рубахой. Красота его неудержимо делалась все менее застенчивой, и когда сантехник поймал себя на том, что удерживает это тело из совершенно иных побуждений, нежели минуту назад, налетевший ветер защекотал его разгоряченное лицо тугими завитками аксиньиных волос, и, чтобы отдать должное аспирантскому вкусу, надо заметить, что это была Аксинья из классической герасимовской экранизации. «Вот до чего я дожила, Григорий», – печально сообщила она сантехнику и сразу по этом известии сделала такое стремительное движение отдаться ему с давно забытой страстностью, что он вынужден был приложить все усилия, чтобы удержать и ее, и себя от внеплановых осложнений и без того непростого повествования. Оскорбленная женщина отвернулась, с презрительной складкой у гордых губ, и он, растерявшись, чуть было не отпустил ее, но тут, на его счастье, она сноровисто обернулась сухим колодцем с берцовыми костями на дне, потом ванной метр пятьде-

сят со снующим по ней язем, потом официальным бюстом папы Урбана, приватным бюстом г-жи Нуайе, ульем м-ра Натвига, из которого густым роем вылетали крайне подозрительные пчелы, – а когда сантехник почувствовал, что в грудь ему упираются две кинешемские собачки красной масти, он безжалостно тряхнул недобросовестного пленника так, что тот всей палитрой голосов, бывших в его распоряжении, застонал: «Хорошо, мы же цивилизованные люди, я вас внимательно слушаю...» «В Федора вернитесь», – распорядился сантехник. Виденная им феерия лиц и предметов, пронесшись задом наперед, завернулась в себя, как самодельный пельмень, и первоначальный аспирант Федор, истомленный тщетными усилиями, оказался в безвыходных объятиях сантехника. «Вот, пожалуйста», – покорно сказал он. «Больше не будете?» «Не буду», – обещал он. «Честное слово?» – настаивал сантехник, подозревая в этом любовнике двух сестер большого прощелыгу, которого университетская ученость не наставила повелевать страстями. «Честное слово», – бледно сказал Федор. «Смотрите, – покачал головой сантехник. – Чтоб потом не позориться». Он разжал объятия, они с Федором уселись на лодке, и тот, перемежая свою речь глубокими вздохами и ничего не объясняющими жестами, рассказал удивленному сантехнику свою историю.

Оказалось, что это началось с ним довольно давно, вскоре после того, как они проводили Леру в Салехард и все в доме выглядело успокоившимся. Однажды, будучи дома один, когда Лика ушла в парикмахерскую, а Орест Николаевич – в университет, Федор, смотревший телевизор, вдруг почувствовал что-то, сравнимое, как ему показалось, с эпилептическим припадком, хотя, не страдавший эпилепсией, он не мог считать свое

сравнение убедительным. Множество мыслей пронеслось в его голове; он видел женщину, которую любил когда-то, на первом курсе в колхозе, она была обмотана чем-то лиловым – не в колхозе, а сейчас; видел забытые, жалобные вещи из детства, и дело шло уже к воспоминаниям утробной поры, когда жестокие корчи, кинувшие его на пыльный палас в симметричных разводах, утихли, и он, поднявшись на дрожащих ногах, увидел себя в зеркале и готов был упасть снова. Он встретил там незнакомого мужчину, с прилипшими ко лбу прядями темных волос, нелюдимым выражением худого лица и тяжелой нижней челюстью. Машинально пробормотав комментарий к этой картине, он услышал, что комментарий был им сделан по-английски, хотя этот язык не считается самым удобным для подобных ситуаций, к тому же были использованы два-три слова, которых он прежде не знал и за которыми был вынужден лезть в англо-русский словарь, не желая быть неосведомленным в том, что говорит. Словарь ему это разъяснил, и Федор повторил в его невинный адрес эти слова, теперь уже со знанием дела. Затем он сел перед зеркалом, по некотором раздумье не найдя действий, совершение которых сейчас имело бы цель, и смотрел на себя, в молчании наблюдая, как чужие черты постепенно гаснут, разглаживаются, как из-под них то здесь, то там выныривают знакомые – вот оттопырились родные уши, вот белесые брови вытянулись – пока наконец совершенно прежний Федор не бежал уже, с невыразимым облегчением на сердце, открывать дверь, чтобы пустить в дом Лику, переступившую порог с вопросом, почему он до сих пор не вымыл посуду.

Потом мутаций не было неделю, так что он успокоился до того, что готов был считать происшедшее

сном, лишь бы не надо было искать ему объяснений, пока, сидя в покорной очереди к стоматологу, вдруг не почувствовал себя дурно и по ближайшем рассмотрении не обнаружил на своем месте в очереди анемичную девочку в ситцевом платьице, с двумя бантами синего приютского цвета и глухо прижатым к груди плакатом «Поцелуй меня». Всего хуже, что девочка оказалась, то ли вследствие врожденного порока общительности, то ли по причине бытовых потрясений, намертво лишенной дара речи, так что, одаренная за время ожидания тремя ирисками и одной карамелькой от сердобольных соседей, всегда знающих, что особенно нужно посетителю стоматолога, она, дождавшись своей (своей!) очереди, молча и безропотно предстала пред светлые стоматологовы очи со своим дурацким лозунгом, после чего стоматолог не только благосклонно поцеловал ее в рот, слипшийся от ирисок, но и, разъяв ей челюсти, засверлил в них два кариеса и вырвал один зуб, не подававший надежд, и уже через два часа аспирант мог поздравить себя с днем бесплодных мук, поскольку вместе с прежним обличьем ему вернулись все его зубные дефекты. Поначалу он думал, что это у него начались реинкарнации и что для аспирантов его возраста это нормально, но потом взял учебное пособие по этому вопросу и усомнился. Именно, там было сказано, что явным симптомом прежних жизней, проведенных в замечательных людях, является болезненный интерес к какому-либо историческому периоду. Аспирант всегда подозревал, что такой интерес бескорыстным не бывает и что, в частности, его коллега Слава Вялых так интересуется средневековой Испанией, чтобы вспомнить, куда он в прошлой жизни зарыл свои дублоны, которых ему теперь так не хватает с двадцатых чисел каждого месяца, но поскольку у

него самого ни к какому периоду такого интереса не было, он должен был предположить, что надел физическое тело впервые. Также в учебнике считалось основанием для подозрений, если вам снятся иностранные языки, которых на трезвую голову вы не знаете. Из снов такого типа ему являлся самоучитель французского кисти Парчевского и Ройзенблит, но в закрытом виде, так что жизнерадостные изображения носоглотки не бросались в глаза, а также Слава Вялых, который со значением сказал: «Нун гуте нахт, ир майне фройнд» и улетел, расправив кожистые крылья. Этот случай, однако, объяснялся тем, что Слава Вялых ежедневно произносил эту фразу перед уходом домой, иногда добавляя к ней: «Это стихи», но от дальнейших разъяснений всегда отказывался. Таким образом, один этот случай не давал веских оснований полагать, что аспирант Федор был вовлечен в тот бестолковый хоровод, который называется переселением душ, и льстить себе надеждой, что в прошлой жизни он был графами Львом, Федором или Петром Толстыми или хотя бы квалифицированным разгибателем рыболовных крючков. Так, лишенный рабочей концепции, он беспомощно ждал следующего раза, который, по счастью, пришелся на идеальные обстоятельства, когда все были дома, но Федор мылся в запертой ванной и, впав в секундный обморок, вышел из него двумя равномерно чередующимися здоровыми мужиками с боевым топором, из которых один выказывал поползновение кричать неизвестному адресату «Ой, ты гой еси», непонятно, с осуждением или сочувствием, а другой декламировал «Песнь о Роланде» по Оксфордскому списку. Этот инцидент не имел тяжелых последствий, если не считать того, что пол был совершенно залит водой и что кто-то из двоих раскроил пластмассовый стакан-

чик с зубными щетками, а может быть, и не один из них, а оба, если один, нанеся первый удар, оставил добивать стаканчик другому из соображений воинского товарищества. Зато после этого превращения, вылезя из ванны в состоянии не лучше стаканчика, аспирант почувствовал в себе способность превращаться не только после припадка, всегда непредвиденного и сокрушительного (он пытался вести им дневник, чтобы выявить закономерность, но бросил), но и по своему усмотрению. Его репертуар был ограничен населением вставных историй, пусть и достаточно обильным, и даже среди этих людей служить ему мог далеко не каждый, так что, к примеру, едва ли бы ему удалось, при всем хотении, принять совсем уже призрачные черты орловского прокурора, манкировавшего перепиской с лесными родственниками, – но, тем не менее, стоило ему, с нетерпением дождавшись, когда все уйдут из дому, мечтательно щелкнуть пальцами и промолвить: «Сейчас бы чего-нибудь... этакого...», как после краткой тошноты он мог с удовольствием изучать задумчиво курящего в Чебоксарах Сергея Ивановича, о котором слышал так много разного, или, наслаждаясь благоуханной бородой и громоздкой тиарой Урбана Восьмого, раздавать папское благословение прохожим с балкона третьего этажа, стоя между лыжами и трехколесным велосипедом. За этими сомнительными занятиями, отнимающими время от диссертации, не давая взамен ничего положительного, он едва не был застигнут тестем, открывшим входную дверь, когда он при полной форме Роксоланы плыл белой утицей по коридору в характерном для вятичей *déshabille* и с чадящей головней в руках, – и быть бы аспиранту снова очагом дискуссий о супружеской неверности, но, на его счастье, старик без очков не отли-

чил его от своей дочери, и они минут пятнадцать беседовали о том, что именно он спалил в духовке, пока Федор с облегчением не уступил место вернувшейся из магазина Лике, сменившей его в разговоре с отцом так плавно, что ставший очень рассеянным Орест Николаевич не заметил места склейки. Но самым неожиданным для аспиранта было то, что вследствие мучений, перекручивавших его бедное тело, как выстиранное белье, чтобы сплести его с какой-то из жизней, известных ему лишь понаслышке, он приобретал поразительную способность видеть сюжет во все стороны, – как в ту, когда он еще не появился, так и в ту, что еще не вышла из-под авторского пера. Пораженный, как молнией, оккультным фабульным знанием при очередной потере организма, он постиг свое место в сюжете – и это принесло умиротворенную мудрость, служившую единственным утешением, когда он слушал укоризны своей неугасимой жены или вдруг нащупывал чужими руками чужие ноги. Он понимал, какую роль в композиции сыграет его внезапное чувство к свояченице, вернувшейся из сибирской экспедиции, и видел глубокую художественную необходимость в том, чем тяготился прежде как постыдным, но неодолимым влечением. Он знал, как и вследствие чего попадет на этот унылый берег, где будет ходить надзором за тюленями, знал, что однажды к нему придет человек из сантехников, чтобы одолеть его и воспользоваться его знанием, и что он выкажет в его руках весь принужденный блеск своих метаморфоз, несмотря на то, что это ему не поможет.

Сантехник выслушал его рассказ, удрученный не только жалостью к этому человеку, прежде не вызывавшему в нем чувств сильнее легкого презрения, но и тяжелыми угрызениями совести, представлявшей, что

именно ему, самонадеянно пытавшемуся соединить две главы, написанные его товарищами, обязан аспирант своим первым превращением, с корчами ввергшим его в угрюмое тело мистера Осборна. Он хотел было выказать раскаяние, но, подумав, решил, что аспиранту, знающему сюжет наперед, давно известно это его намерение, а также только что названная причина, по которой он его не выполнит. Они несколько минут сидели молча, а потом сантехник спросил, ведомо ли ему, что они должны делать дальше. Аспирант сказал, что, как известно, в романе есть вторая сюжетная линия, которая когда-то была первой, а с ее точки зрения, и до сих пор ею является, и что близок миг, когда они должны соединиться, потому что роман давно перевалил за полдень, и, насколько он может судить, близится теперь к закату. Сантехник спросил, что из этого вытекает практически. Аспирант сказал, что у берегов этого моря Генподрядчик в настоящее время собирает фольклор, что, в общем, не является главной целью его пребывания в этих краях, хотя и занимает его время довольно плотно. Именно Генподрядчику – насколько он, аспирант, осведомлен в этом вопросе – суждено вывести роман сантехников из тупика, вписав в него вторую главу, а для него, Генподрядчика, встреча с сантехником станет, в свою очередь, залогом того, что он наконец выберется из этих мест, где мытарится уже вторые сутки. Чем быстрее Средний сантехник доберется до Генподрядчика, тем скорей они достигнут успеха, выгодного обеим сторонам, ради которого они должны вместе оснастить корабль, ибо успех не ждет их на суше. Сантехник спросил, где именно проходит сбор фольклора. Аспирант отвечал на это, что сбор протекает по наиболее плодоносным в фольклорном плане

местам, там, где нас нет, и что, несмотря на значительное отдаление, сантехник может туда добраться быстро, если вверит свою жизнь и безопасность услугам, например, Эпистрофадия. «Эпистрофадий!» Коренастый тюлень, слушавший их беседу в почтительном отдалении, послушно подплыл на призыв аспиранта и расположился в пене волн, всем своим видом выражая транспортное удобство. «Эпистрофадий, будь любезен, – сказал аспирант, – подбрось нашего гостя». Эпистрофадий обещал быть любезным. «Вы только вот что, – вполголоса сказал аспирант, наклонясь к уху сантехника, – он может заснуть на ходу, так что вы его развлекайте какими-нибудь рассказами, пока не почувствуете почвы под ногами, для вас ведь это не составит труда?» Сантехник выразил надежду, что не составит, и горячо благодарил аспиранта за помощь. «Ну, и как ваша диссертация? – задал он при расставании вопрос, который считается необыкновенно уместным задавать аспирантам и докторантам и который так их всегда бесит. – Когда защита?» Аспирант пожал плечами. «Знаете, я столько всего пережил, – сказал он, – и такого навидался, не выезжая за свои пределы, что на этом фоне вся эта астрономия как-то... я даже не знаю... бледнеет, что ли. Не знаю, буду ли я ее защищать. Скорее всего, даже не буду. В общем, это уже не важно. В сущности, я вам очень признателен. Был рад повидаться». «И я», – неискренне сказал сантехник, стараясь не давать себе отчета в своей неискренности, чтобы он не попал на страницы романа и не стал известным аспиранту. Он взгромоздился на Эпистрофадия, тот взмахнул широкими ластами, змеясь к воде, выгнал из нее тучу брызг, мощно устремился вдаль, и они со Средним сантехником по обоюдному согласию принялись за увлекательную игру, вроде

крестиков-ноликов, состоявшую в том, что сантехник начинал рассказывать историю Красной шапочки, в какой-то момент прерывался, и тогда Эпистрофадий подхватывал и вводил историю Русалочки, пытаясь приспособить ее к зачину, сделанному сантехником, а потом сантехник возвращался к Шапочке и в свою очередь деформировал ее так, чтобы приспособить к рассказу Эпистрофадия. В конце концов, утомленные, они вынуждены были бросить в лесной глуши пересыхающее женское тело в шляпке, бессильно бьющее перламутровым хвостом по пыльной крапиве, в окружении обомлевших волков, в то время как в далекой хижине удачливая соперница, напевая колоратурным сопрано, угощала принца хрустящими пирожками, и Эпистрофадий начинал уже подремывать, когда на горизонте обрисовался берег со струганным столбом, призывавшим к чему-то общественно ответственному, сантехник, потрепав Эпистрофадия по холке, спрыгнул с него по колено в воду, и халат расплылся вокруг него багряным пятном.

– Эгей! – кричал он, выходя из моря, человеку, понуро сидящему под столбом, и крутящемуся близ него единорогу в расстегнутой рубахе. – Как ваши дела?

– Брожу над морем, – отвечал Генподрядчик, неопределенно разводя руками, – жду погоды. Маню ветрила кораблей. Сдать что-нибудь желаете?

– Нет, – сказал сантехник. – Я сантехник. Вы ничего не слышали обо мне? Василий меня звать.

– Нет, не имел удовольствия, – апатично сказал Генподрядчик. – Здесь очень ограниченный круг знакомств. Никаких новых лиц не встречается.

– Пацаны спать ушли все, – пояснил единорог. – Всю ночь ведь тут.

– Вы к нам с осмотром приходили, – настаивал сантехник. – Улица К. Фридриха, дом тридцать семь.

Генподрядчик повернул к нему лицо с выражением недружелюбного интереса. «Вот как», – сказал он. Единорог, прекратив скакать кругами, подошел ближе. Не давая им времени на решительные действия, сантехник обрисовал существо дела и воззвал к их благоразумию и лично благоразумию Генподрядчика. Он хотел ему сразу польстить, и это удалось.

– Как интересно, – сказал Генподрядчик, выслушав рассказ о пастыре тюленей. – Так вот для чего Платон Александрович меня сюда отправил. Он, значит, тоже заранее знал. Старый сардоник.

– Корабль строить надо, – сказал сантехник. – Успех ждет нас на море. Есть такое мнение.

Генподрядчик огляделся.

– Вы видите пригодные для этого материалы? – спросил он.

Действительно, сделать из песка, яблонь и железных кабинок для переодевания корабль, совместимый с жизнью, казалось непросто.

– Помощи надо просить, – предложил сантехник.

– У кого? – поинтересовался Генподрядчик.

– Пацаны ушли все, – представил единорог. – Всю ночь на столбах. Сколько провода нарезано, все без толку.

– У автора, – сказал сантехник. – Ах, да, – опомнился он. – Что это я, в самом деле. Тогда, может быть, у сюжета? – предложил он. – Он же тоже заинтересован. Если мы его сейчас не двинем, он так и будет стоять.

Генподрядчик обдумал.

– Не выйдет, – с сожалением сказал он. – У какого сюжета? Который уже совершился? Так вот – мы здесь, это его результат, а больше с него клока шерсти не возь-

мешь. У того, который должен совершиться? Так он не совершится, пока мы его не двинем, а когда мы его двинем, то его помощь нам не понадобится. Замкнутый круг.

– Утонченно-порочный, – оценил сантехник. – А если у внесюжетных элементов? В хорошем произведении они создают изобилие образности.

– То в хорошем, – сказал Генподрядчик. – А тут шаром покати. Сухость рассказа иногда до «Жиль Блаза».

– Я попросил бы, – щекотливо сказал сантехник, которого такие разговоры лично затрагивали.

Генподрядчик извинился.

– Ну, а какие, например, элементы? – спросил он.

– Портрет, прежде всего, – начал перечислять сантехник. Он пытливо посмотрел на Генподрядчика, потом на единорога и понял, что их портреты, даже самые детализованные, будучи включены в текст, конечно, прибавят ему пряности, но корабль построить не помогут. – Дальше, интерьер. Это когда канарейка кричит: «Я тоже Собакевич». Тут этого в заводе не имеется. Потом, лирические отступления.

– Куда несешься ты, – с тоской произнес Генподрядчик.

– В техническом смысле – никакого проку, – решительно отмел сантехник. – Хотя красиво, конечно. Потом, внутренние монологи и вообще вся диалектика души, которую при экранизациях вырезают.

– Может закадровый голос читать, – воспротивился Генподрядчик, который любил диалектику своей души, особенно борьбу противоположностей, происходившую в ней с особой жестокостью, и не хотел расставаться с нею вот так, за здорово живешь.

– Какие теперь голоса, – сказал сантехник. – Расстройство одно. Вот был Копелян, а теперь что.

Они сошлись во мнении, что закадровые голоса теперь не те и что доверять им чью бы то ни было диалектику можно лишь с крайней осторожностью.

– Пейзаж еще, – вспомнил сантехник.

Они огляделись.

Берег, решенный в простых линиях, двумя-тремя горизонтальными движениями акварели, скупо ограничивался справа черной вязью, в которую сплелись «родные дети русской Флоры», как сказал поэт, а далеко у линии горизонта его прямолинейные черты перебивались одиноким хороводом ветряной мельницы.

– Я думаю, – сказал Генподрядчик, – что выражу общее мнение.

– Сомнений нет, – подтвердили все.

Мельницу они с трудом, упершись кто рогом, кто чем, завалили сначала набок, потом поставили вверх ногами, и сантехник удачно приобретенной мастикой зашпаклевал бедному строению крышу, ставшую дном.

– Лишь бы не протекла, – сказал он.

Единорог тем временем, отлучившись на минуту, с криками удовольствия катил по берегу крылья, оторванные с мясом у соседней мельницы.

– Иначе на месте крутиться будет, – пояснил он. – Вторая лопасть нужна.

С его деятельной и удивительно толковой помощью они быстро сделали из мельницы нечто вроде водного велосипеда, с педалями внутри, вращавшими обе пары крыльев, и вскоре этот ужас кораблестроения, спущенный на воду, покачивался у берега в нетерпеливом ожидании великих географических открытий. Заминка вышла с именем: единорог настаивал на том, чтоб свое детище наречь «Свирепый», Генподрядчик предпочитал титло «Балетмейстер Иван Вальберх», а сан-

техник хотел только отплыть скорее и ради этого убедил товарищей принять компромиссный вариант. Наконец они поддались на уговоры, единорог для такого случая разбил об мельницу остатки водки, и «Свирепый балетмейстер Иван Вальберх», вращаемый неутомимыми ногами единорога как младшего по званию, дрогнул и рассек прибрежные буруны.

Они плыли час и два. Тюлени сопровождали их, выныривая из воды веселой стайкой, подплывавшие сирены напевали милые кафешантанные непристойности, горбачи и нарвалы с официальной отчужденностью держались в отдалении, и сантехник смотрел не моргая прямо по курсу, чтобы увидеть самому ему неведомо что.

– Лес, – с волнением произнес он.

Перед ним открылся, среди неопрятно-серой воды, густой лес, шелестящий приветными кипарисами, воздымающимися из волн, оглашающийся задорным ауканьем бродячих старух и туристическими песнями у костра, извещавшими морскую фауну о желании лирического героя куда-нибудь вернуться, надеть фрак и стать-таки просто мужиком, как ему давно хотелось.

– Остановимся, – сказали все.

Сантехник повернул было руль, но замедлился.

– Нельзя, – грустно сказал он. – У нас сюжет. Успех не ждет нас в лесу.

– Да ладно – сюжет! – кричал единорог из машинного отделения. – Ноги устали! Суббота, в конце концов! Будут выходные на этой неделе?

– В самом деле, – сказал Генподрядчик, – мутит уже. Мы ненадолго. Нам только отдохнуть, и мы снова готовы. Там вон опятами крещенскими торгуют, я вижу. И очередь небольшая.

– Нельзя, – из последних сил сказал сантехник.

– Поворачивай, агрессор! – кричали снизу.

Он сдался и повернул руль.

И тут на море встала погода великая.

Лес заткался тяжелым туманом. Волны поднялись пальчатыми гребнями, и мельничные стены старчески застонали под их ударом. Тучи стянулись в один клубящийся ковер, изображавший последний день Помпеи глазами Везувия. Все ахнули и схватились мокрыми пальцами за борт. Грохнуло сверху, словно приглашение к разнузданности, и тяжело-нежная водная масса встала дыбом. Ажурные зыби хлестали через край, единорог концентрически плавал в трюме, усиливаясь достать до педалей, и «Свирепый балетмейстер Иван Вальберх», некогда гордый сын морей, беспомощно крутился в хищных завертях, направляемый лишь слепыми ударами хаоса. В мельничную дверь, сидящую глубоко под водой, кто-то стучался конфиденциально, но настойчиво. «Кто там?» – машинально спросил сантехник, плохо слышный из-за непрестанных громов. «Это я», – с неоправданным подъемом в голосе отвечало морское чудовище, вознося причудливую голову над скрипящим бортом «Балетмейстера». Оно было большое и смотрелось отвратительно, все в присохших мертвых ракушках, изъеденное органической ржавчиной того цвета, который не включают в детские наборы красок, чтоб не травмировать психику ребенка. Сантехник попятился и уперся поясницей в фальшборт. «Это смерть наша пришла, – сообщил он товарищам по мореходному опыту. – Встречайте, пожалуйста». «Ну, не ко всем, – благодушно запротестовало чудовище. – Я, собственно, ненадолго. Мне бы только самого грешного». Они переглянулись. «Это нам за то, что мы хотели к лесу швартоваться?» – уточнил Генподрядчик. «Я не знаю, – сказало чудовище. – Это

вы у сюжета спрашивайте. Я слышало, у вас трения какие-то с ним. А это не мое дело, в сущности. Я это ощущаю просто как гастрономическую прихоть. С самого утра. Могут у меня быть гастрономические прихоти?» – кокетливо спросило оно. «Я пойду, – вдруг сказал сантехник. – Я довел всех до этого. Виновней меня никого здесь нет. Я повернул руль, они только кричали». «Э, нет, уважаемый, – вдруг с силой отозвался Генподрядчик. – В героя хотите поиграть? Так вот что, при себе оставьте своего героя. Кто вас вынудил к лесу? Без кого вы бы уже давно нашли успех среди морской пучины? Руль он повернул! Если бы обо всех делах судить по результату, кто бы избежал взысканий? Намерение, вот что! Намерение!» Обескураженный сантехник пробовал настаивать на личной ответственности кормчего, который является результирующей всех социаль-ных движений на судне, но Генподрядчик еще в пору общения с пасечником, оставившим ивы без поливки, так поднаторел в спорах о грешности, что с ним трудненько было состязаться. Чудовище только с изумлением переводило свои отталкивающие глаза с одного на другого. Единорог, видя, какое тут дело, хотел сказать, что он не далее как несколько часов назад вот этими самыми руками осиротил целое садовое товарищество, но видя, какие солидные люди высказываются в свою пользу, застеснялся и начал молчать. Разгоряченный сантехник завел прекрасную речь в защиту своей виновности, повременно прерываемую умоляющими призывами чудовища выдерживать регламент. «Перистальтика – это что вам? – кричало оно. – Она жрать просит!» Генподрядчик, словно в полусне, глядел в кипящую воду.

– Стыдно, – сказал он сам себе. – Я человек с высшим образованием. Я гордился читать Суинберна в

оригинале, ловя себя на том, что не столько читаю, сколько горжусь тем, что читаю. Пусть во мне не все хорошо и я много раз заставлял страдать женщин и смежников, но по крайней мере я найду силы умереть так, чтоб мои дети, которых у меня нет, вспоминали обо мне с дрожащей улыбкой приязни. А-а, энная мать! – закричал он. – Лови, труженик моря!

Сантехник кинулся остановить его прыжок, но в руке его остался лишь намокший листок бумаги, где Генподрядчик, будучи в здравом уме и твердой памяти, оставлял имущество жене, одновременно наставляя ее по окончании приличного траура выйти замуж за порядочного человека, – сам Генподрядчик был уже лишь пенящимся кругом, к которому с готовностью змеился по волнам чешуйчатый хребет... «Э-эх! – гаркнул сантехник. – Ноги мои мешкотные, и в достойной смерти я не первый! Налегай, утконос, твоя неделя!» На листке Генподрядчика он успел сделать приписку, где просил Семена Ивановича и Саню не поминать его лихом, а Серафиме Павловне передать, чтобы спитую заварку не выливала в раковину. Единорог, потерянно смотревший на это массовое безумие, вдруг крикнул: «Подождите, мужики, я с вами!» и, затянув песню «Все вымпелы вьются и цепи гремят», которую, как выяснилось в кризисный момент, тоже знал, сиганул в пасть чудовища, несколько смущенного тем, что франкофонные людоеды на его месте назвали бы *embarras de richesses*. Перед прыжком он, однако, успел в записке помириться с Ленкой, известив, что все ей прощает, а также, в преддверии свадьбы двух своих друзей, пожелать молодым здоровья прежде всего, а также счастья и долгих лет жизни. Все трое крепко закрыли глаза, желая лишь, чтобы все кончилось поскорей, испытали дурноту от скольжения вниз, и наконец, бро-

шенные на что-то мягкое, помедлили несколько секунд и поняли, что дальше держать закрытыми глаза нелепо.

– Это где? – спросил Генподрядчик, озирая окрестность.

– Во внутренних частях, – предположил сантехник, лежавший справа.

Среди легкого сумрака, насыщенного застоявшимся духом, они распластались по серебристым грудам шевелящейся сельди, словно на палубе удачливого сейнера; кое-где из рыбной массы торчали якорные лапы и обрывки цепи, а вдаль тянулась холмистая земля, представлявшая собой, видимо, нанесенный в желудок чудовищу ил и поросшая живописным леском («Кишечная флора», – сказал сантехник, в качестве автора этой главы обладающий правом на любые каламбуры), у опушки которого курился дымок человеческого жилья. Зимородки и чайки вились над ними с деловитым криком. У опушки темнело знакомое очертание их верного товарища «Свирепого балетмейстера», тоже провалившегося в эту несытую прорву и стоявшего теперь, как положено мельнице, кверху крышей, осеняемой задумчивыми ветвями берез. «Се на чужом брегу кормило корабля», – печально сказал Генподрядчик. Спутники нашли в недрах «Балетмейстера» свою предсмертную записку, желавшую счастья молодоженам, хорошего мужа вдове и бытовой аккуратности Серафиме Павловне, и взяли ее с собой, чтобы в другой раз не писать сызнова. Против реки, несколько отражаясь в ней, стояло здание общественной архитектуры, крашенное в желтый цвет, с двумя гипсовыми вазонами при входе и статуей девушки с веслом, которое, как Траянов столп, украшалось спиралью картин, изображающих интимную жизнь местной моло-

дежи. Афиша на здании извещала, что сегодня (число не было указано) в рамках ретроспективы Станислава Говорухина будет показан фильм «Ворошиловский стрелок» с последующим обсуждением увиденного и пережитого. «Опоздали уже», – сказал Генподрядчик, посмотрев на часы. В чистеньком огороде перед избушкой сгорбленный старик обрезал усы у клубники.

– Здорово, отец! Бог в помощь! – приветливо сказали ему странствующие мореходы.

– Здорово, коли не шутите, – упреждающе пошутил старик, с готовностью разгибаясь от накрошенных усов.

– А чего Говорухина не пошел смотреть? – спросил Генподрядчик. – Все там, а ты здесь?

Оказалось, что во время, когда показывают фильмы Говорухина, усы вырастают особенно бурно, словно в издевку над научной необъяснимостью этого факта, так что, сходив в прошлую субботу на «Десять негритят», он потом до среды выпутывал из них грядку с луком и сегодня предпочел лучше лишить себя долгожданного просмотра, чем гнуться после в три погибели. Но особенные тревоги доставлял ему предстоящий через неделю показ исторической картины «Благословите женщину», от которой, как слышно было из соседних деревень, усов прибывает просто ужас, так что он думал, то ли подстеречь и разбить кинопередвижку на проселочной дороге, то ли нанять на выходные работника, чтобы оперативно справиться с экспансией.

– А ты давно здесь, старичина, обитаешь? – спросил сантехник.

– Да, к примеру сказать, в девятнадцатом годе, – завспоминал земледел, – когда Фаддей Фаддеич, значит, с нашими, благословясь, в море вышел...

– Фаддей Фаддеич – это кто? – тихо спросил сантехник.

– Беллинсгаузен, по-моему, – отвечал Генподрядчик.

– А сам-то я в те поры при Михал Петровиче состоял, – продолжал старик.

– На «Мирном», – уточнил Генподрядчик.

– Вот-вот, – обрадовался старик. – А я вспомнить не могу, как же он назывался. Вот спасибо, порадовал старика. На «Мирном».

– Да не за что. И когда же, выходит, тебя подъело?

– Да при острове Петра Первого, государя императора, и постигло. Мы на шлюпке вышли зачем-то, не помню зачем. Как даст ошибом под дно, я сизарем оттуда. Насилу местные потом растолкали, без памяти лежал.

– Понятно, – сказал Генподрядчик. – Значит, в Наваринском сражении не участвовал.

– Не привелось, родимый, – закручинился старец. – Не попал на поле русской славы.

– А чем тут вообще люди занимаются? – спросил сантехник.

– Да кто чем. Кто усы обрезает, кто так ходит. Туризм у нас.

– Принудительный, – дополнил сантехник.

– Марки выпускаем с видами. – Он вынес из избы кляссер и неприятно засуетился. – Это вот немецкие колонисты. Они на отшибе живут, в двенадцатиперстной, при самом устье, где язва. А это испанцы. У них лежалого фонда много. Загодя штамповали.

Испанские марки достоверно изображали корабельный нос с подписью «BRITANNIA CAPTA» и датой «1588».

– Охота у нас также, – сообщил старик.

– Это интересно, – оживился Генподрядчик. – И на кого допускают?

– А вот я вам красочный буклет, – посулил старец и снова скрылся в избе. – Двадцать пять рубликов, если желаете, – сказал он, воротясь с буклетом. Генподрядчик дал ему полтинник, и старик, поклонясь, желал счастливой охоты.

– Слышь, отец, – сказал ему Генподрядчик. – Мы тебе там мельницу оставили. Пользуйся, если что. Зови ее Иван Вальберх, она на это живей откликается.

– Нечего, – встрял обиженный единорог. – Свирепый балетмейстер ее название. Так и в портовых бумагах проходит.

– Матреной буду звать, – решил старик. – Мельница – это хорошо. Кофе, например, с утра смолоть или еще чего. Спасибо, родные.

С двумя буклетами они сели на скамейке под рябиной.

– Я прочитаю, с вашего позволения, – сказал средний сантехник. – Последние дни это мое, можно сказать, второе «я». Итак, «Охота на полугорбых».

– На каких? – переспросил единорог.

– Полугорбых. Эндемик, видать. Только выписался из Красной книги и сразу сюда.

– Давайте инструкции, – сказал Генподрядчик, – а потом за патронами пойдем.

– Итак, – сказал сантехник.

ОХОТА НА ПОЛУГОРБЫХ

Статус

В настоящее время полугорбых осталось одно.

– Ну что, у нас есть все шансы, – с оптимизмом заметил сантехник.

– Как пить дать, общий любимец, – покачал головой Генподрядчик. – Семечками кормят с руки. Сразу все сбегутся, освежевать спокойно не дадут. Что дальше?

– Дальше-то, – сказал сантехник.

Его можно видеть в персональном загоне при траттории «Слава Полугорбых», с восьми до восемнадцати часов; последний четверг каждого месяца – санитарный день. Температура его тела в настоящий момент не превышает 33,7°, что является нормальным для этой породы; систолическое давление в норме, погадка зернистая, рефлексы и светочувствительность в пределах допустимого, все симптомы брачного периода свидетельствуют о здоровье, не вызывающем серьезных опасений, и можно надеяться, что этот уникальный экземпляр, достигший 36-летнего возраста, насладится средней продолжительностью жизни этого вида, составляющей 65–70 лет.

Внешний вид

Плотное, но изящное сложение, доходящее в длину до 2,5 м при высоте в холке 22–25 см. Конечности пропорциональные. Голова на тонкой шее, с сильно выступающей у самцов гортанью. Ноздри двухклапанные, по форме напоминающие букву «зело» киевской скорописи. По бокам верхней губы вплоть до тыльного края ушей – подобие усов. Глаза не очень большие, скорее маленькие, увлажненные кротким укором. Они как бы говорят: «Что вы со мной сделали?» У сохранившегося экземпляра это выражение особенно явственно в санитарный день, когда оно наблюдается специалистами. Хвост голый. Горб с сильно выступающими межпозвоночными хрящами; при трении горбовые позвонки производят характерный звук, которому

животное обязано своим прозвищем «ночной гармошки». Полугорбое – прекрасный бегун, чьи возможности, однако, ограничены параметрами загона, составляющими 2,5 на 6 м, но даже и в этих условиях оно способно развивать скорость до 130 км / час, обладая способностью криволинейных траекторий и аварийного торможения. При необходимости хорошо плавает, но старается избегать таких ситуаций. Длительное пребывание в одном месте вырабатывает у полугорбого расчленяющую окраску, благодаря которой животное, обладающее прекрасным зрением, видит человека, само оставаясь для него невидимым, и имеет все возможности делать выводы на его счет, в то время как он об этом даже не подозревает.

Ареал

См. раздел **Статус**.

Численность

См. там же.

Места обитания

Оптимальными являются участки, на которых пастбища, занимающие хорошо дренированные речные долины или плоские водоразделы, сочетаются с крутыми склонами долин с выходами скал или останцами. Такой рельеф обретает особенную актуальность в период окота и первые месяцы жизни ягнят. Для выпаса предпочтительней травянистые луго-кобрезиевые и каменисто-щебнистые тундры. В ныне существующем вольере эти ландшафтные образования воспроизведены в масштабе 1:10, что визуально придает сохранившемуся экземпляру спокойную величавость.

Размножение

В те времена, когда оно имело место (см. выше, **Статус**), половой зрелости полугорбые достигали довольно поздно: самки – на одиннадцатом году, самцы – на двенадцатом. Гон, по летописным данным, длился с середины октября по начало марта, причем сроки его варьировали в зависимости от погодных условий: в холодную осень он начинался раньше. Во время гона образуются мобильные мини-гаремы, состоящие из 2–3 самок, которые обычно имеют самцы в возрасте не меньше 25 лет. Молодые самцы держатся на отдалении небольшими группами, внешне индифферентными. Сеголетки находятся вместе с самками в гаремах. Старые самки приходят в охоту и покрываются раньше начинающих. Окот порционный. Относительно миролюбивый характер отношений между владельцами гаремов, отмеченный независимыми источниками, составляет законную гордость этого биологического вида.

Линька

Этиология детально не выяснена. Происходит не более одного раза в жизни, не является инфекционной и доставляет линяющему экземпляру косметические неудобства. Существующее животное, сколько можно судить, ее не претерпевало.

Активность, стадность, миграции

Суточный цикл жизни полугорбых состоит из чередования кормежки и отдыха. Животные начинают пастись с первыми признаками рассвета. В дальнейшем связь кормежки с членением светового дня становится все более условной. Лежки устраиваются в местах с хорошим обзором на южную сторону, под ветвями мон-

гольского дуба, лещины и барбариса. В группе существует жесткая иерархия: главенствует взрослый, состоявшийся самец, ниже рангом стоят взрослые самки, начиная с еще привлекательных и заканчивая привлекательными, еще ниже неполовозрелые и сеголетки. Сезонные миграции совершаются без удовольствия.

Питание

Ситуативное.

Смертность, враги и конкуренты

Не имея естественных конкурентов в своей среде, главного врага полугорбые носили в себе: это неадекватные соображения о своей неуязвимости, а также вирус бруцеллеза, инкубационный период которого в теле полугорбого достигает 3–5 лет. Смерть полугорбого сопровождается крайне выразительным обиранием, а также изнурительными попытками примирения с ситуацией (см.: *Фторлей А. Х.* Хронотоп полугорбых: к этической составляющей вопроса // Безоаровый козел и примыкающие популяции: Тез. докл. Ногинск, 1976. С.149–151).

Следы жизнедеятельности

В связи с крайней скрытностью и скептицизмом животного, а также привычкой к большой подвижности в естественных условиях, С. ж. ограничиваются многолетними местами дефекации, образуемыми в складчину одним или несколькими гаремами. Это довольно объемные кучки экскрементов разной степени сохранности, в нижних слоях сильно деформирующиеся. При внимательном рассмотрении, ограничиваемом обычно выносливостью наблюдателя, близ этих мест можно различить на деревьях и кустарнике характерные поче-

сы. При их нахождении рекомендуется не оставлять поблизости своих почесов. Поскольку почесы функционируют как территориальные метки, признак конкурентного проживания может вызвать непропорциональную агрессивность со стороны полугорбых.

Способы охоты

При нынешней популяции полугорбого охота на него по необходимости имеет условный характер. ***Охота скрадом*** требует большой выдержки. Завидев полугорбых, охотник старается определить направление их движения. После этого он, с помощью маскировки выдавая себя за разных людей, чтобы не вызвать подозрений у животного своей настойчивостью, залегает на пути следования в ожидании, когда стадо подойдет на выстрел. Этот способ наиболее прост в описании и вместе с тем приносит наименее утешительные результаты. Учитывая склонность стада неожиданно менять направление, охотнику не стоит залегать на выбранном месте дольше четверти часа, если с его позиции стадо перестает просматриваться. ***Охота из засады*** наиболее приемлема, учитывая повадки животного. О месте, где учреждается караул, см. выше, **Следы жизнедеятельности**. Учитывая пределы человеческой выносливости, в засаде размещается не меньше двух человек, чтобы при необходимости оказать друг другу первую медицинскую помощь.

Трофеи

Правила измерений и оценки горбов регламентируются действующим на начало 2002 года «Положением об охотничьих трофеях в СССР». По методике SCI горбы измеряют почти так же, только не учитывая развал. Асимметрия не снижает оценки, а по дальневос-

точным методикам повышает ее в диапазоне от 0,13 до 0,22.

Присуждение наград

Горб полугорбого в системе CIC получает бронзовую медаль при окончательной оценке от 130,00 до 149,99 баллов и серебряную – при оценке от 150,00 до 169,99 баллов. Золотая медаль по решению правления SCI за горб полугорбого не присуждается. Вместе с тем, реальное предоставление в официальные метрические органы горба полугорбого влечет за собой иск о возмещении ущерба в размере от 50 до 150 МРОТ. Аналогичные санкции следуют за незаконную добычу какого бы то ни было гибрида полугорбого с бизоном, а также любой породой домашнего скота и птицы.

Чучела

Черепу на арматурном пруте придают желаемое положение. Шкуру перед натягиванием на колодку со стороны мездры слегка увлажнить раствором медного купороса. Обильное смазывание приведет к тому, что, пропитав шкуру насквозь, медный купорос окрасит наружные волосы в сине-зеленый цвет, что выглядит естественным лишь для немногих промысловых пород (см. памятку «Мексиканский тушкан»). Натянутое животное зашивается швом «елочка». Под слизистую ноздрей и веки закладывается пластилин, с помощью которого сквозь шкуру формуются мягкие части, с целью достигнуть естественности. Заводской имитатор хряща облегчит вам работу с ушами. При методе накрутки, облегчающем работу, готовое чучело, однако, живо реагирует на любое изменение влажности, приобретая сходство со смежными биологическими видами. Поэтому лучше использовать сложный, но надежный ме-

тод с жестким бумажным макетом. Что касается искусственных клыков, то неплохие имитации можно сделать самостоятельно из эпоксидной смолы и набора «Домашний зубной техник», вдавливая натуральные челюсти в глину, чем создается форма для заливки. Обращаем внимание на то, что челюсти вдавливаются зубами вниз. Вынутые из формы готовые искусственные челюсти доводятся наждачной бумагой на станке, в качестве которого можно использовать старших членов семьи, честно предупредив их о тонкостях процесса.

– Из всех охот, в которых мне довелось участвовать, – сказал Генподрядчик, – эта отличалась преимущественной скоропостижностью и, я бы так сказал, какой-то особой домашностью. Мы сошлись с объектом накоротке, одновременно не давая ему веских оснований жалеть о состоявшемся знакомстве. Может, тут какие болезнетворные бактерии есть в рощах, так хоть по ним из берданки пострелять? Хочется стать санитаром леса.

Сантехник открыл рот, чтобы добавить от своих впечатлений, но только вскрикнул и, задрав ноги, съехал со скамейки, крутясь относительно своей оси. Генподрядчик хотел спросить, не слишком ли он экспансивен для успешного охотника на полугорбых, но вдруг почувствовал себя вынужденным произвести те же самые эволюции, а за ним неукоснительно последовал единорог, успевая в кратких, но емких словах характеризовать здешнюю индустрию развлечений и ее отцов-основателей, в дальнейшем именуемых «Мать», – бурная вода хлынула на них, безжалостно потопляя сельский пейзаж: чудовище отверзло зубчатую пасть, в чей приветливый полукруг, видевшийся на горизонте за лесом, вливались синие водопады; три путешественника,

гонимые течением, наперегонки неслись к выходу, поднимая над волнами охотничьи буклеты и предсмертную записку, и, обгоняя их, устремлялась розовыми ногами вперед девушка с расписным веслом; Генподрядчик пытался зацепиться чудовищу за язык, единорог повис на увуле, но сорвались и полетели куда-то вниз, вниз...

– Кажется, настала временная передышка.

Генподрядчик, стоя с зажмуренными глазами, произнес эту фразу, чтобы проверить, польются ли вместе с ней ему в рот тонны морской воды. Поскольку они не полились, он счел возможным открыть глаза и очутился под столбами большого дома. Золотые столбы испещрены были ясписом, сардисом и халцедоном, а на крыльце стояли два золотых льва, задней половиной переходившие в тунцовый хвост, плотный, как литая пуля. Водоросли уходили дымной струею вверх по обеим сторонам фасада. Атмосфера была колышущаяся и туманно-зеленая.

– Настала долгая передышка, – доброжелательно ответили ему.

На ступенях пред ними стояла прекрасная женщина с проницающими очами, в тяжело-блистательных одеждах и с царскою диадемой на высоком челе, а подле ее белых плеч вились справа барабулька, с удивительно напыщенным видом, а слева барракуда, сохраняющая выражение простоты и участия. Путешественники застыли, изумленно глядя женщине в лицо, на котором выражалось безмятежное величие.

– Я рада видеть вас в тех краях, – сказала она, – ради которых вы претерпели столько невзгод и мучений. Приветствую вас.

– От лица моих товарищей, – церемонно сказал Генподрядчик, – позволю себе выразить благодарность за

радушный прием, а также спросить, ради каких именно краев мы претерпели столько невзгод и мучений, поскольку до сего момента мы имели основания полагать, что претерпеваем их просто так.

– Любые мучения, – невозмутимо сказала женщина, – претерпеваются ради каких-либо краев. (Сантехник был уверен, что читал нечто подобное в «Хрониках Нарнии»). Что до тех, ради которых претерпевали вы, то окружающая вас местность – это столица морского царства, а я временно являюсь владычицей морскою.

– И золотая рыбка у вас на посылках? – не утерпел сантехник, восхищенный случаем на середине жизни воочию увидеть ту сказочную страну, которую с детства знал по книжным иллюстрациям.

– На посылках, – подтвердила владычица, – и на коммунальных платежах подменяет иногда. Сегодня, правда, не ее смена, но ради гостя мы, безусловно...

– Ни в коем случае, – запротестовал сантехник, одновременно отряхиваясь от налипших обрезков клубничного уса, – я надеюсь, мы найдем время застать ее на рабочем месте.

– Прошу вас во дворец, – сказала она. – Вас проведут в отведенные вам покои, где вы можете переодеться, а через сорок минут я жду вас на обед в северо-северо-восточной столовой.

Мореходы потянулись за ней в дом, оставив приплывшую с ними веслодержащую девушку стоять среди водорослей. Пышная анфилада, декорированная агар-агаром и рогами нарвала, простерлась перед ними. Слышно было, как владычица, склоняясь влево, спрашивала у барракуды: «Завтра кто заступает в эскорт?» «Завтра, – справлялась та в уряднике дворцовой службы, – волосозуб северный и востробрюшка». «Какая востробрюшка? Ханкайская?» «Нет, востробрюшка типичная».

«Прости меня, Эдгар, но с типичной так нестерпимо скучно… уж лучше бы ханкайская…» «Что поделаешь, госпожа, условности суть прочнейшая вещь на свете… Я взываю к вашему благоразумию…»

Барабулька, отряженная сопровождать сантехника, провела его в небольшой, но уютный покой, где он нашел платяной шкаф с неплохим выбором обеденных костюмов. Ему в самом деле не мешало бы переодеться, поскольку его халат выглядел неубедительно уже после поездки на Эпистрофадии, а лежание в сельдях не могло прибавить ему резонанса в обществе. Со щёлком подвигав вешалки, он остановился на костюме Карла Пятого, включавшем белые чулки, дублет, подбитый ватой, и богемскую накидку. В комплект входила также большая охотничья собака у левого бедра и берет с небольшим пером. Одевшись, он посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Поесть, и правда, давно пора. С самого ужина во рту ничего, кроме вкусовых сосочков». До назначенного времени оставалось пятнадцать минут; он кликнул собаку, отзывавшуюся на все имена, но охотней всего – на Трафальгарский Триумф, и вышел в коридор, рассчитывая не спеша дойти до северо-северо-восточной столовой. То и дело останавливаясь, чтобы разглядеть на стенах охотничьи трофеи, вроде головы акулы молот или пирата Черная Борода, красиво привинченной к древесному спилу, почесать Трафальгарскому Триумфу за ухом или спросить дорогу у кого-нибудь, кто проплывал мимо, он оказался в столовой, стилизованной под крюйт-камеру, в ту минуту, когда все, кому назначено было обедать, вошли в нее резными дубовыми дверьми.

Владычица пригласила рассаживаться без чинов. Вследствие этого приглашения единорог оказался рядом с ней, а сантехник с Генподрядчиком напротив. Сантех-

ник оглядел своих коллег: они тоже успели приодеться, а единорог среди функций своего костного отростка нашел цветомузыку, придававшую разговору задушевный тон.

Когда гости удовлетворили первый голод, Генподрядчик, взявший на себя роль говорить от общего лица, сделал вопрос, куда они попали, чтобы ориентироваться в ситуации. Удовлетворяя справедливому любопытству гостей, владычица завела рассказ о стране и о том, как ей привелось надеть венец ее правителей. Речь ее, обильную на генеалогические схемы и некрологические статьи, временами переходившую в стихи, мы приводим в сокращении. Некогда, говорила она, властителем над этими землями был Хариберт, и было у него два сына, Хнут и Хредгар, утехою в горе, опорою старости были правителю. Хнуту он южные отдал пучины, хляби восточные Хредгару предал. Один сын был лучше, а другой завистливей. Южные пучины казались ему скучными, скудными на жертвы кораблекрушений и вообще лишенными хорошего общества. Рознь встала, озлобив кровных: Хредгара Хнут ранил на ловле, удел свой оставя (суд отчий был ему страшен), к Торну бежал, пространновластному, волку зыбей. Этот Торн владычил железною лозой над Сайрокрылами и Пристипомянутыми. Не знавшие ни страха Божьего, ни людских узаконений, эти угрюмые чудища произошли некогда от человеческих изгнанников, сошедшихся во тьме Марианской впадины с рыбными и мясными изгнанницами. Явившись ко двору Торна, Хнут завоевал его нелегкое доверие, за обедом написав чермным вином по скатерти признание в любви его дочери, пользуясь тем, что Торн был неграмотен, и, обольстив ее общеизвестную невинность, поставил Торна перед фактом. Торн, оказав молодым этикетную суровость, но

внутренне довольный найти в зяте подобное проворство, пышно справил их свадьбу, и Хнут заручился его поддержкой в притязаниях на власть стареющего отца, в чью столицу посланы были отборные Сайрокрылы, с мерцающей удочкой на носу, представившие Хариберту претензии бежавшего сына. Хариберт в это время сидел у ложа Хредгара, умирающего от раны, нанесенной ему братом, и поднялся лишь для того, чтобы указать послам, где здесь пожарный выход. Празднично иллюминованные Сайрокрылы отправились восвояси, приговаривая, как положено по протоколу, что Хариберт об этом пожалеет. Торн с зятем объявили войсковой сбор. В гнездо колюшки, свитое у их красного крыльца, засунулась мурена и, невзирая на героические наскоки колючего отца, сожрала девяносто икринок из ста. Торн счел это предсказанием того, что они одержат победу, захватив столицу Хариберта на девяностый день войны. Но противные течения не давали им выступить, и Торн собирался уже для умилостивления стихий принести в жертву единственную дочь, зная, что так делается в подобных случаях, причем Хнут противился ему лишь из вежливости, когда наконец течения переменились и Торн приказал поднять боевые хоругви.

На этом месте рассказа произошла перемена блюд.

У среднего сантехника всегда были сложности с лангустами. Даже омары не вызывали у него таких затруднений. И на тебе – их подают на стол. Сказав себе: «Ну, мальчиши, пришла беда, откуда не ждали», он искоса поглядел на товарищей, желая заимствоваться их методиками, если те покажутся убедительными. Единорог забавлялся тем, что, мотая головой, нанизывал на себя пироги с другого конца стола. Владычица с улыбкой благосклонности наблюдала за его руссоистским

поведением. Генподрядчик смотрел на сантехника, и в глазах его отражалось то же корыстное побуждение. Сантехник безмолвно выразил ему, что он все проник-нул и что нельзя вести себя за столом так, как Генподрядчик.

– Мужики, скажите кто-нибудь тост, – сказал единорог, наигравшись с пирогами, у которых из круглых дыр в пробитых боках жалобно торчала вязига. (Я не знаю, что это, но она все время упоминается в задушевных рассказах из старорежимного быта. Если поискать, ее наверняка много обнаружится в фильме «Сибирский цирюльник»). – А то что мы как неродные.

– В самом деле, – поддержала владычица.

– Василий, твоя очередь, – сказал Генподрядчик.

– А кто у нас специалист? – сказал ему сантехник с неприязнью.

– Мне это работа, – сообщил Генподрядчик. – А тебе – удовольствие.

– Ну, хорошо, – вымолвил сантехник и поднялся с яшмовым бокалом. – Совсем недавно, – сказал он, глядя на лангуста в своей тарелке (читатель извинит и этот каламбур), – мы трое были как он, в желудке у чудовища, со всеми основаниями считать свое посильное участие в сюжете исчерпанным.

– Мисюсь – прекрасное существо, – горячо запротестовала владычица. – Отзывчивое и очень несчастное. Она и не знала, для чего все это нужно. Думала, ей и правда хочется есть.

– Однако, – продолжил сантехник, решив не менять стратегию своего тоста лишь потому, что Мисюсь, в желудке у которой они убили пятьдесят рублей на беспредметную охоту, оказалась отзывчивым и несчастным существом, – все волшебно переменилось, и те-

перь я, глядя на свое ракообразное, искренне желаю присутствующим оставаться по эту сторону тарелки.

– Запиши, забудешь ведь, – сказал единорог Генподрядчику, интимно перегнувшись через стол.

– Отстань, я не на службе, – сказал Генподрядчик.

Выпили. Сантехник сел и взятым наугад серебряным крючком ударил в розмах по лангусту, надеясь хотя бы не пропороть себе руку. Что-то пергаментно шуршащее увиделось ему в дымящемся недре, и с восклицаньем удивления он вилкой выволок из лангуста на стол потрепанную бумагу.

– Ты глянь, рак-то с секретом, – сказал единорог.

– Письмо, – справедливо предположил Генподрядчик.

– И как долго они у вас идут? – спросил сантехник. – В неделю успевают?

– Да нет, обычно у нас так не посылается, – растерянно сказала владычица. – Если только что-то экстренное.

– Читай, – сказали друзья.

– Слов мало уцелело, – вымолвил сантехник. – Совсем мало... Только это:

...стол... недалеко от... весьма глубокой... скорейшим образом... моих силах. Целую.

– Небогато, – с разочарованием сказал Генподрядчик.

А единорог уже кричал, раздирая своего лангуста:

– И у меня! И в моем! Глядите!

– Дай сюда, испортишь, – заботливо сказал Генподрядчик.

– Сам прочту! – кричал единорог, но, поскучнев, сказал: – Хотя ладно, держи.

– На латыни, – сказал Генподрядчик. – А печать та же.

– Восстановим текст, – сказал сантехник.

– Читайте же, – нетерпеливо распорядилась владычица.

– *...mensam,* – выговорил Генподрядчик, – дальше... *haud procul... profundissimae... velocissime... pro possibilitate mea. Vale.*

– Те же слова уцелели, – досадливо сказал сантехник. – Вот не везет.

– Еще поищем? – азартно предложила владычица.

При рассмотрении оставшихся двух лангустов в том, что принадлежал Генподрядчику, нашелся английский вариант письма, а в том, который достался владычице, был обнаружен лоскут от протектора и конфетная бумажка с надписью: «Любить – значит перестать сравнивать. – *Б. Грассе*».

Генподрядчик прочел последний вариант.

– *...the table... not far from... very deep... as soon as... everything I can. Friendly shake hands.* Опять то же, – развел он руками. – Что ты будешь делать.

– А печать прежняя? – спросила владычица. – С вороном и конторкой?

– С вороном и конторкой, – подтвердил Генподрядчик.

– Это он, – с волненьем торжества сказала владычица. – Это Репарат. Он нашел стол.

– Какой стол?

История была такова.

В давние времена один из сатрапов этого царства был призван судьей в споре двух морских богов. Первый из них создал Протееву лиру (музыкальный инструмент, сухопутным аналогом которого является Эолова арфа), а второй – флейту, при грамотном размещении относительно больших океанских течений игравшую «Далеко до Типперери» благодаря проходившим через нее токам

теплой воды. Сатрап явился на рассмотрение и разумно присудил первенство Протеевой лире, находя в ней особенную нежность и сладостное напоминание о бирюзовых закатах на мелководье. Проигравший бог ретировался, а победитель обещал сатрапу в качестве материальной поддержки его хорошего вкуса любой подарок, какой он попросит. Сатрап отвечал, что больше всего любит за обедом уши морского зайца, запеченные во хмелю, но последнее время зайцы так уверенно стали на грань вымирания, что даже ему, сатрапу, не часто удается полакомиться любимым блюдом. Поразмыслив, как бы утешить сатрапа, одновременно не уничтожая популяции морских зайцев, составляющей славу и гордость местного дна, бог принял поистине Соломоново решение. Именно, он подарил сатрапу способность одним почесываньем выращивать на любой органической поверхности заячьи уши первой и высшей категорий, которые затем безболезненно срезались и радостно шли в дело. Каждое утро сатрап начинал с того, что, призвав кого-нибудь из своих слуг, почесывал им по спине или затылку, где тотчас отрастала пара прекрасных ушей, и отправлял их стричься на кухню. Более того, по размышлении сатрап сделал из своей способности еще и назидательное применение, почесывая проштрафившихся работников по пояснице и запрещая стричься в течение года. Все было хорошо, пока однажды при решении геополитических задач сатрап машинально не почесал себе затылок – и тут же понял, какой позор нарастил на свою голову. Поскольку в гарантийном талоне приобретенная сатрапом способность формулировалась как «отращивать заячьи уши тому, кто не отращивает их сам», сложившаяся ситуация стала частным случаем известного в логических кругах «Парадокса цирюльника», и бог, уведомленный

о происшедшем, разрешил парадокс опять-таки благоразумнейшим образом, отменив несчастную ухородящую способность сатрапа и в качестве компенсации подарив ему сделанный ими самим в часы досуга Стол. Это был тот самый Стол, о котором говорит поговорка «писать в стол», предполагающая, что так производятся самые совершенные в литературном плане вещи. Любое стихотворение, написанное в этот стол, быстрым шагом уходило в бессмертие; любой роман, созданный с его помощью, имел шансы пережить смерть как автора с читателем, так и языка, который оба они показывали друг другу. Как использовал сатрап это неожиданное приобретение, история не помнит, но не исключено, что возникший примерно в ту пору анонимный готический роман «Медведь на липовой ноге», эта жемчужина бездонного ужаса, в основе является прошедшим через Стол стихотворением «Уронили мишку на пол». Впоследствии Стол был утерян, но не уничтожен; редкие и безрезультатные попытки его найти лишь укрепляли существующее поверье, что Стол обретется лишь тогда, когда государству будет грозить крайняя опасность.

– Какой же в нем толк? – недоуменно спросил Генподрядчик.

Оказалось, большой. С помощью Стола можно было производить идеальные законы, пламенные воззвания к нации и ритмизованные продовольственные программы. Стол мог заменить законодательное собрание и написать всех устраивающий текст государственного гимна. С другой стороны, и враги, если б он им достался, могли бы с его помощью написать такое подметное письмо к народу, что он передумал бы поднимать дубину своей войны и тотчас передался бы оккупанту. Поэтому, едва услышав о бегстве сына к Торну, Хариберт

отправил испытанного флотоводца, капитана Репарата, на поиски Стола. Им обоим казалось, что это тот самый момент, о котором говорит предание. Репарат отплыл, а Хариберт принялся готовить войско. Торн устроил грандиозный смотр своей армии и вывел ее в поход. Он шел не спеша, разбивая лагерь у каждого затонувшего галиота, ибо рассчитывал, что самое ожидание станет для Хариберта невыносимым.

– Я пришла к нему, – сказала владычица, – скорбному в ту пору, ибо оплакивал он убитого сына и страшился за судьбу своей державы. Истомленная дорогой, без спутников и без скарба, вошла я в его город и, быв допущена во дворец – таково-то было его простодушие, которое выглядит безумным в нынешние смутные времена, – припала к его руке, прося выслушать меня. А он распорядился отвести мне покой, одеть в богатые одежды, а потом привести к его трапезе, «ибо голодный человек, – сказал он, – в своих речах измыслит и такое, чего сытый бы постыдился». И вот за его громадным столом, где в прежние времена учинялись веселые пированья, а теперь сидели мы вдвоем, я поведала свою историю, а он отвечал: «Никогда наши края не теряли славы гостеприимства, и едва ли должно нам поступаться ею теперь, помня, что всякий гость – от богов, а кроме них, нам надеяться не на кого. Не трать времени на мольбы. Все, что потребно тебе, бери; во всем, что здесь ты увидишь, часть да будет твоя. И когда б довелось тебе видеть лучшее! Пока, однако, мало чем могу я поделиться с тобой, кроме надежд». От этих слов жалость проникла мне в сердце, и я сказала ему, что с радостью разделю его надежды, не желая ничего другого. Я осталась во дворце, утешением его старости, ибо он нашел во мне дочь, а я в нем отца; шли дни; и вот однажды, занемогши, он позвал меня к

себе и сказал: «Как видно, Прелеста, пришел мне черед идти за Хредгаром...»

– Прелеста! – воскликнул сантехник.

– Это мое имя, – сказала она.

– Откуда вы здесь? – спросил он. – Какой стезей пришли вы к Хариберту?

Ее лицо омрачилось.

– Как я хотела бы избежать этой истории, – промолвила она, – и не обновлять ее скорбей. Но, видно, того не избежишь...

– Вы летели на крылатом корабле, спасаясь от погони, – сказал он за нее.

Она глядела на него отворившимися глазами.

– Вы упали в море. Ваш нареченный супруг пытался спасти вас, но не мог. Вы канули на дно и оказались здесь, а он...

– Вы знаете его? – прокричала она. – Он жив? Где мой Ясновид?

Сантехник встал и отложил салфетку.

– Друзья, – обратился он к Генподрядчику и единорогу, – вижу, у нас будет чем отплатиться за гостеприимство. Он жив, – обратился он к морской владычице, – он благополучно долетел до дому, если можно говорить о благополучии человека, у которого нет ничего после того, как он потерял вас.

Она плакала, и в ее слезах отражалось царство Хариберта, с его неопределенной будущностью и странной трапезой, готовой войти в королевские анналы и школьные учебники под названием Обеда Четырех.

– Джентльмены, – сказал сантехник, – как можно понять, у нас здесь будет много дел, но с этого, я полагаю, следует начать, чтобы поднять всем настроение.

Он ядовито посмотрел на истерзанного почтового лангуста, как бы говоря: «Я не прощаюсь», щелкнул

пальцами, чем вызвал поспешное движение двух официантов с голубым пером, решивших, что это к ним, и растворился в напоенной великими биографическими открытиями атмосфере столовой.

В это время Ясновид, вышедший за хлебом, потому что обедать было не с чем, забрел в скобяную торговлю и, качая авоськой, праздно смотрел на калебасы, способные удовлетворить самого взыскательного любителя, гейзерные кофеварки и искусственные фонтаны для малогабаритных квартир. У одного вода пышно стекала по диким утесам из пластика, украшенным фиолетовым флюгером, а у другого на берегах, в непосредственной близости от кипящей бездны жемчуга и серебра, сидела недурная на лицо русалка, за туалетом распевавшая песню, от которой тонули корабелы в больших и малых кораблях. К груди у ней скотчем была приклеена записка, извещавшая: «Опт от трех фонтанов». Ясновид некоторое время раздумывал, не стоит ли потратиться на три фонтана, чтобы познать, что чувствует обладатель оптовых льгот, потом решил, что от бездельных мыслей только хлеб сохнет, но вдруг увидел, как бьющие со скалы струи сложились в знакомые черты, в которых он с удивлением признал Среднего сантехника. Тот выглядел оживленным.

– Ну, здорово, Митяй, – гулко сказал он Ясновиду, брызжа пеной по камням. – Давно не видались. Как жизнь молодая?

– Здорово, Василий, – приглушенно сказал Ясновид, стесняясь на виду у людей разговаривать с фонтаном. – Это ты, что ли?

– Пригаси дедукцию, ослепну, – посоветовал сантехник, и Ясновид уверился, что это он.

– А что ты там делаешь?

– Митя, – сказал сантехник, – мы оба торопимся. Я не буду тебе объяснять, что я тут делаю, потому что через несколько минут ты тоже будешь это делать. Если тебя люди конфузят, делай вид, что к русалке прицениваешься. Смотри, какой хвост. У Барби не было такого. Прелесть что за хвост.

– Отличный хвост, – сказал Ясновид.

– Брать будете? – спросила продавщица.

– Нет пока, – сказал Ясновид. – Но все равно спасибо.

– Ты скажи мне, друг дорогой, вот что, – продолжал сантехник. – Я слышал, ты свое счастье потерял?

Ясновид счел его тон непристойным.

– Потерял, – холодно ответил он, делая вид, что его отношения с русалкой приобрели конфликтный характер и что, возможно, им стоило бы какое-то время пожить отдельно друг от друга. – И полагаю, что это не твое дело. А Санек мог бы и не распространяться.

Сантехник не счел нужным отзываться на его холодность.

– А какого лешего, скажи мне, ты тогда сидишь? – осведомился он. – Ты счастье горем хочешь вернуть? Второй день ведь уже, если не ошибаюсь? Что вот ты сейчас собирался делать?

– Я за хлебом ходил, – ответил потерявшийся Ясновид. – Полбуханки и нарезного. Обедать не с чем.

Сантехник, у которого терпение не входило в число развитых добродетелей, шумно вздохнул.

– И это человек, без отдыха пировавший с дружиной удалой, – вымолвил он. – Буй тур, можно сказать. Полбуханки отменяются, – официально сказал он. – Там тебя покормят. И пироги еще остались.

Ясновид хотел спросить, где это еще остались пироги, но сантехник осерчал: «У меня ноги промокли! – кричал он. – Что за человек! Другие бы торопились!

Твое счастье за столом тебя ждет, есть не начинает! Сейчас, говорит, Ясновидушку только дождемся!»

Хотя это не лучший способ, чтобы в голове все улеглось, но Ясновид ею потряс. «Василий, дорогой, повтори, – произнес он трепетным голосом, – ты видел мою Прелесту?»

– Видел? – кричал Василий, блеща глазами. – Лангустов ел с ней! Свежую почту крючком выковыривал! Серебряным!

Ясновид пропустил мимо ушей его гастрономическую гордость. «Я же уверен был, что она...» – бормотал он. «А она была уверена, что ты! Ныряй!»

Ясновид колебался.

– Ты на себя посмотри! – кричал сантехник. – Нет человека, более чуждого скобяной торговле! Не строй иллюзий, кофеварки тебя отторгнут!

Ясновид оглядел себя и громко подавился. На нем был черный дублет, жесткий кружевной воротник и бархатный плащ, обшитый жемчугом, а сломанный клинок на тяжелой рукояти заменил авоську в правой руке. Люди, бродившие по салону, отпрянули. Здесь все для него было кончено, он подпрыгнул и кинулся в синие струи. Тот, кто впоследствии купил-таки этот водопад, в одиночку или оптом, при большей внимательности мог бы заметить сладкую мечтательность в русалочьих глазах, как если бы она сожалела о чем-то невозвратно скользнувшем мимо нее с фазаньим пером на берете.

В качестве автора этой главы обладающий не только правом на каламбуры, но и другими сверхчеловеческими способностями, Средний сантехник с выражением плохо удерживаемого торжества вошел в столовую, где его друзья размышляли над письмом. Они подняли глаза.

– Надеюсь, у вас остались пироги, – начал он, – поскольку человек, которого я осмелился ввести в наше общество, явился сюда лишь под тем условием, что пироги будут. Я оторвал его от батона нарезного, и мне кажется чрезмерной жестокостью лишать его сегодня удовольствий от еды вообще.

– Вот тут штуки три, – сказал единорог, обеими руками снимая их со своего рога на тарелку.

– Прекрасно, – отозвался сантехник. – Заходи, – адресовался он к двери.

Вошел Ясновид.

Владычица морская – как всем показалось, медленно, очень медленно – поднялась из-за стола. Удивительное безмолвие затопило столовую. Взоры их лились и руки тянулись друг к другу. «Неужели», – выдохнули они.

– Джентльмены, – негромко обратился сантехник к товарищам, – я предложил бы выйти, как из соображений скромности, так и потому, что иначе я не найду в себе способностей описать увиденное. Не знаю, как это удавалось прежнему автору.

Они вышли.

Когда же невыразимая радость превратилась в спокойное одушевление, все снова сошлись за прерванным обедом, которому теперь суждено было зваться в учебниках Обедом Четырех, к Которому Присоединился Пятый, и вернулись к недочитанному письму. Владычица морская взялась изложить то, что было им известно, и то, о чем они могли догадаться.

– Речь, как видим, идет о столе, – сказала она. – Известном обеим сторонам, а то и еще кому-нибудь. *The table*. Зная цель путешествия Репарата, можно предположить, что он сообщает: «Я нашел стол». *Mensam inveni*. А дальше указывается, где именно.

– Это сложно будет восстановить, – сказал Ясновид.

– А мы попробуем, – ласково откликнулась она. – *Недалеко от*. Недалеко от чего-то, и там есть еще что-то глубокое в женском роде.

– Может быть, просто недалеко от чего-то глубокого? – спросил сантехник.

– Нет, – покачала она головой. – Иначе было бы *profundissima*. Надо вспомнить из местной географии что-то глубокое недалеко от чего-то известного.

– Это же не составит сложностей? – спросил Генподрядчик.

– Эдгар, будь любезен, подай атлас, – обратилась она к барракуде, а все следили за ее раздумьями.

– Координаты бы, – вздохнул Генподрядчик.

– Приходится довольствоваться тем, что есть, – заметил сантехник, незаметно препроводивший своего лангуста, похожего на пораженный гранатой почтовый ящик, под стол Трафальгарскому Триумфу, чья благодарность тотчас выразилась протяжным урчаньем. – Что-то глубокое тоже не на каждом шагу валяется. А в женском роде так и вовсе.

– Я вижу три подходящих случая, – наконец вымолвила она, подняв глаза от карты. – Во-первых, недалеко от развалин Атлантиды, где есть глубокая расселина, известная как Панцирная Сетка.

– Ну, так вперед, – сказал Ясновид, поднимаясь из-за стола.

– Ешь пока, – сказала она. – Есть сомнения. Там места оживленные, ярмарочный тракт. Был бы Стол там, давно бы уже нашли. К тому же Репарат скорее написал бы *hiatus profundissimi*.

– Какие еще варианты? – спросил Генподрядчик.

– Во-вторых, – продолжила она, – в противоположном направлении от тех же развалин стоит затонувшая

гидрографическая библиотека. До пятнадцати тысяч томов, никак не доберемся инвентаризировать.

– Военное время, – заметил Эдгар. – Все руки заняты.

– Тот, кто ради необходимого жертвует излишним, – надменно сказала барабулька, – рискует остаться без необходимого.

– Элли, мы уже дебатировали этот вопрос, – холодно заметила владычица, и барабулька смолкла.

– А что здесь глубочайшего? – спросил сантехник.

– Это стиль океанских исследователей, – пожала плечами владычица. – Надо к нему привыкнуть. Репарат вполне мог написать: «недалеко от столицы, там, где находится хранилище глубочайшей учености».

– *Gazofilacia eruditionis profundissimae*, – сказал Эдгар. – Вполне в его стиле. Я читал его бортовой журнал, в «Ривиста деи баратри» за прошлый год. Вы читали? – любезно адресовался он к одернутой барабульке.

– И чем плоха эта версия? – спросил Ясновид.

– Да в общем-то, ничем, – отвечала владычица. – Выглядит вполне правдоподобной.

– Чего же медлим? – спросил он. – Я поел уже, спасибо, все было очень вкусно, можем собираться.

– Погоди. Есть еще в-третьих.

– Хотелось бы ознакомиться, – сказал сантехник. – Прежде чем делать окончательные решения.

– Близ затонувшего галиона «Сан Эстебан», – начала она, – широко известного в молодежных кругах как место готического досуга...

– День рыбака там празднуют, – не утерпела барабулька Элли.

– ...есть такое легендарное место пищевкусового туризма, как Женско-виноградная посадка Мухлемуза.

– Чего-чего посадка? – спросили обедающие.

– Это была такая влиятельная организация, – сказала она. – На заре гендерных движений. Аббревиатура от «Муж Хлестал Меня Узорчатым». Боролись, чтоб не хлестал.

– И как? – спросили все. – Не хлещет?

– Ну, конечно, легче стало с этим, – сказала она. – Хотя сразу сказался дефицит методов.

– Вот не надо разбрасываться тем, что успело себя зарекомендовать, – хмуро сказал единорог.

– Производились акции, – рассказывала владычица. – Мелом рисовали на асфальте. Много всего предпринималось. И, в частности, открыли эту посадку. В торжественной, но теплой обстановке.

– Я говорил речь, – с самодовольством вспомнил Эдгар. – «Без Вакха скучает Венера».

– За ней следили некоторое время, как за символом, – продолжила владычица. – Разбили даже из нее лабиринт. После продолжительных блужданий, как систематических, так и нет, он неизменно выводил к храму Равноправия.

– Эгалите, – сказал Эдгар. – Из моржового клыка строили. Для одной колокольни сто моржей обездолили, исключительно яркая архитектура.

– Потом посадка разрослась, и лабиринт стал местами непроходимым.

– Просто лесок, – уточнил Эдгар.

– Те, кто туда ездит, впадают в глубочайшее опьянение...

– *Ebrietati profundissimae subditi*, – с готовностью подсказал Эдгар.

Единорог, слушавший с чрезвычайным интересом, попросил уточнить, что именно этот лесок виноградных женщин собой представляет. «Этого и не опишешь,

– сказала владычица. – Лучше самому увидеть». Он кивнул и занялся заливным.

– Так, может быть, там? – спросил Ясновид.

– Может быть, – кивнула она. – Там нехоженых мест много кругом. Там ведь люди окрестностей не изучают.

– Что же выбрать? – спросил сантехник. – Библиотеку или женский лес?

– По новым сведениям дозоров, – сказала владычица, – Торн с войском сменил направление и, сколько можно полагать, идет в сторону библиотеки. Возможно, он тоже получил известия о находке Репарата. Потому мне кажется предпочтительней отправиться туда.

– Давайте до конца дочитаем, – сказал Ясновид.

– Ну, дальше все понятно, – заметила владычица, глядя в листы. – *Скорейшим образом* значит, что он ждет нашего прибытия, обещая сделать все, что *в его силах*, для охраны стола.

– В латинском варианте эта мысль как-то осторожнее выражена, – заметил Генподрядчик. – «По мере возможности». Складывается ощущение, что душу за стол он не положит.

– Было бы странным этого требовать, – сказала владычица. – На этом он прощается. Позвольте мне прочесть письмо целиком, как мы его поняли.

«Благоверному и препрославленному, великому и разумному, мудрому, и справедливому, и милосердому владыке морей, первому в царях царю, обдержащему Атлантическое царство и иных многих областей державтелю и государю, всея Белыя, Красныя, Карския и Лаптевых пучины обладателю и повелителю, могущему пастырю китов, покоренным милостивому пощадителю, Бермудского и прочих треугольников искусному начертателю, Саргассова вертограда насадителю и рачителю, Левиафана пучинного всевластному преогор-

чителю, и прочая, недостойный его милости флотоводец Репарат». Это титул, – пояснила она, – так положено. «Повергаю к Вашим стопам радостную весть о том, что я нашел небезызвестный (*the*) стол. Истомленный долгими странствиями, подарившими мне, однако, знание многих городов и обычаев, я напоследок обнаружил его недалеко от города атлантов, примерно в пятнадцати кабельтовых на северо-восток, близ того вместилища глубочайшей мудрости, которое, к глубокому прискорбию, до сей поры не познало радостей инвентаризации...»

Тут неожиданно запротестовал единорог, заявивший, что по данному пункту отнюдь не достигнут консенсус и что некоторым вариант с плантациями представляется во всех отношениях предпочтительнее.

– Хорошо, – кротко сказала владычица. – Предположим. «...недалеко от галиона, носящего имя Св. Себастьяна и воистину лучшего из тех, что ходили под испанским флагом, близ тех женских мест, посетители которых подвергают свою жизнь и разум глубочайшему опьянению...»

– Вот! – кричал единорог. – Гораздо правдоподобнее!

– Предлагаю голосовать, – сказала владычица. – Кто за библиотеку?

За библиотеку высказались Ясновид, Генподрядчик, сантехник и Эдгар. Владычица как автор проекта в голосовании не участвовала.

– Четверо, – сказала она. – Кто за опьянение?

За опьянение проголосовал единорог и странным образом примкнувшая к нему барабулька Элли. Владычица выразила желание услышать ее аргументы. Барабулька заявила, что придерживается этого мнения из глубинного патриотизма, поскольку гидрографическая библиотека свалилась на них сверху, а плантации Мух-

лемуза – их собственная история и судьба, с которой они сражались и пели. Море не надо недооценивать, заявила барабулька, оно еще есть. Тут ее накрыли платком, и она уснула.

– В таком случае, Эдгар, – сказала владычица, – отчего бы тебе не сопроводить тех, кто за опьянение, для обследования посадки, пока мы навестим библиотеку? Потом встретимся здесь и расскажем о результатах.

Эдгар изъявил готовность.

– Прекрасно, – сказала она. – Таким образом, «в этих-то местах и был найден стол. В ожидании того, что, прибыв сюда скорейшим образом, вы примете его под свою высокую руку, я намерен делать все, что в моих силах, дабы сберечь его для вашего величества, не будучи, однако, склонен отдавать за него свою душу, поскольку душа моя принадлежит единому Богу. Засим остаюсь навеки ваш Репарат. Всего наилучшего, и до скорой встречи».

Скат манта был подан к главному подъезду; владычица с Ясновидом, Генподрядчик без пары и сантехник с Трафальгарским Триумфом взобрались скату на спину, и он бесшумно понесся над подводными горами и долами, плавно взмахивая огромными крыльями. Под ними плыли благословенные пажити океанского дна, поля праздничных голотурий, змеистых офиур и неуживчивых морских ежей, применение которых против кавалерии давно осуждено всеми разумными людьми, охристые долы, расцвеченные сиреневыми горгонариями, бело-оранжевыми актиниями, щепетильными в знакомствах, и кораллом «оленьи рога»; рыба-ангел, резное золото в лазури, тихо проплывала средь карминных водорослей на скалах, гигантские тридакны приоткрывали волнистые створки, расправляя мантию,

слепой осьминог цирротаума, описать которого невозможно, поднимал свой молочно-светящийся каркас из чернильных бездн, лангусты, выстроившись нескончаемой цепочкой, маршировали по дну, привлекая внимание всех заинтересованных, и, хищная роскошь пучин, морские звезды – здесь были и *Evasterias retifera*, в синей сетке на голое тело, как мудрая девица, посрамившая царя, и *Crossaster papposus*, малиновая, с шестнадцатью лучами, неутомимый ходок, способный есть тех, кто больше него самого, и *Trophodiscus uber*, как японская женщина, с молодью на спине, и *Urasterias lincki*, в фамильярной позе, словно на диване у хороших друзей, – все они грелись на теплых шевелениях воды, не зная, впрочем, что такое вода, но в совершенном сознании, что служат украшением миру, и невозмутимо поглядывали на стесненно держащихся моллюсков.

Средний сантехник сел на краю ската и болтал ногами в кильватерной струе.

– О чем думаешь? – спросил Генподрядчик. – О своей главе? Как по-твоему, образуется все? Я чего-то нервничаю.

Средний сантехник покосился на него и сказал:

– Не горюй, Аладдин. Коврик мигом домчит нас до Аграбы.

– Смешно сказал, – сказал Генподрядчик. – Удалось зацепить чувство комического.

– Завязывать пора с этим, – сказал сантехник. – Пропал вкус. Слишком долго голову морочим друг другу. Раньше, бывало, пошутишь, так даже самому смешно, а теперь – даже и самому не смешно.

Генподрядчик тревожно посмотрел ему в лицо, боясь увидеть там печать обреченности, какая, говорят, проступает на иных лицах пред великими битвами, – но со

вздохом облегченья не увидел ее там: Сантехник был невесел и необщителен, но, кажется, гроза не собиралась над ним, и Генподрядчик потрепал его по плечу.

– Ладно, потерпи, – сказал он. – Увидим еще небо в алмазах. Немного осталось.

Под ними проплывала Атлантида, с ее мостами, общественными зданиями, царскими палатами и известным храмом Посейдона, превратившимся в плавательный бассейн.

– Красота какая, – промолвил Ясновид. – Отчего она затонула?

– Счастье приводит с собой гордость, – афористически заметила владычица. – А бедствия отрезвляют.

– Это как-то слишком кардинально, – усомнился Генподрядчик. – Можно было сначала хоть душ Шарко попробовать.

– Причиной большинства затоплений, – сказал сантехник, – являются засоры фановой трубы.

– Зуб даешь? – спросил Генподрядчик.

– Не первый год столярить, – отвечал сантехник. – Особенно в крестовине. Крестовина – это вообще гиблое дело, и, я тебе скажу, если б у них были нормальные крестовины, то еще неизвестно...

– Вон он! – воскликнула владычица.

Двухтумбовый стол мирно стоял среди жемчужных голотурий. Они сделали над ним круг и опустились. «Я рад вас приветствовать!» – звучно сказали им из водорослей. Осьминог с человеческой головой, украшенной ровно подстриженными седыми баками, выбрался на ровное место и склонил голову перед прибывшими. «Могу ли я осведомиться о здоровье моего владыки, короля Хариберта?» – спросил он. Услышав от Прелесты обо всем, что произошло в столице за время его путешествия, капитан Репарат скорбно вздохнул и вновь

склонился перед своей новой владычицей. «Искренне надеюсь, – сказал он, – что в нелегкую годину женская рука сможет держать кормило власти не слабей, чем держала мужская». «Да, это его стиль», – сказал Генподрядчик, толкнув сантехника в бок. «Вы получили мое письмо?» – спросил Репарат. «Иначе бы мы не были здесь, – с улыбкой сказала владычица. – Но оно дошло до нас поврежденным. Разрешите наш спор: к чему относилось слово “глубочайшей”?» Репарат сосредоточился. «Я помню это письмо, как сейчас, – сказал он. – “Я, капитан Репарат, нашел стол, и с глубочайшей радостью сообщаю, что жду Вас близ него, на расстоянии полутора часов пути со скатом мантой, движущимся скорейшим образом, строго на северо-северо-восток от Вашей столицы, а в ожидании Вашего прибытия буду делать все, что в моих силах, чтобы сберечь стол”. Вам удалось разобрать это?» Все переглянулись. «Ну, как выясняется, не совсем», – сказала владычица. «Так почему же вы здесь?» – с удивлением спросил Репарат. «Как обычно, повезло», – сказал Генподрядчик. «Что же это мы стоим, – быстро сказал Репарат. – Прошу к столу».

Они обошли кругом, наблюдая его внушительные, но лаконичные черты и произнося все, что следует произносить в таких случаях, именно: «Теперь так не делают», «А с виду совсем обычный» и «Я точно такой же на распродаже в райкоме комсомола купил, в девяносто первом году». «Испытать бы, – сказал Генподрядчик. – А то, может, у него уже срок вышел». «У работы богов срок не выходит», – с гордостью сказал Репарат, гладя щупальцем полированные грани. «А на чем испытать?» – спросила владычица. «Одну минуточку, – сказал сантехник. – У меня есть тут на примете один текст, взывающий к доработке». С этими сло-

вами он зашел за водоросль, а с другой ее стороны не вышел, произведя этим жестом определенное впечатление в обществе, так что, когда минуту спустя он сказал им в спину: «А я уже тут», все обернулись и посмотрели на него, как африканские дети на льва Бонифация. Обладая, как известно читателю, сверхчеловеческими способностями, сантехник не уставал использовать их на благо людям, и в настоящий момент, пока все стояли в ожидании, быстренько смотался в десятую главу, где беспрепятственно забрал «Алые ткани» *ci-devant* автора, вызвав смущение коллег своим сухим видом, в то время как его вторая ипостась мылась, лелея в душе (это, кажется, опять вышел каламбур) праведное раздражение.

– Вот это утилизуем, – сказал он, помахивая «Тканями». – Как исходный материал. Куда вставлять?

– Вон приемное окно, – указал Репарат, имевший время освоиться с механизмом.

– А выходить продукт откуда будет?

– Там сверху отпускная щель, залезай.

Сантехник вспрыгнул на стол.

– Погоди, тут параметры надо задать, – сказал снизу Генподрядчик. – Спидометры всякие, чтоб не разгонялся. Шкала народности.

– Народность ставь на максимум, – сказал сантехник. – Да не сорви рубильник-то, а то понесет. Дальше чего?

– Историзм. В диапазоне от подлинного до декоративного.

– В чем измеряется? – с интересом спросил сантехник.

– Тут какое-то «Фом.». От нуля до ста пятидесяти их.

– Аббревиатура, видимо, – решил сантехник. – Фукидид, Оттон, Мишле. Поставь где-нибудь семьдесят пять-восемьдесят, больше не надо.

– Жанровые ожидания. Два варианта: «оправ.» и «не оправ.».

– Ставь «оправ.». Чего еще?

– Еще баланс света и тени.

– Давай, знаешь, пятьдесят на пятьдесят, а то припаяют субъективизм оценок, не отмажешься потом. Все, что ли?

– Все вроде. Включаю?

– Поехали.

Стол загудел, лампочки его моргнули, стрелки дернулись. По минутном размышлении в ногах у сантехника зазмеился свиток образцовой прозы, он оторвал кусок и принялся читать:

«...и по той глухоте, которую он ощутил в своем сердце, он понял, что это его смерть и что с этим ничего, ровно ничего нельзя уже поделать. Его вынесли из кареты, и люди засуетились, расстилая на октябрьской траве пуховик, а он глядел на них, силясь понять, что такое они делают, и находя в себе лишь одну мысль, что «вот я умираю, – думал он, – а Державин оду напишет»; и он еще какое-то мгновенье оглядывал затмевающимися взглядом, на который через несколько минут положены будут солдатские медные пятаки, всю эту ясскую осеннюю степь и бледное, тихое небо над нею, словно бы спрашивая себя, как Державину удастся это описать, и думая, что бы подсказать ему из того немногого, что еще виделось его взору. Браницкая, поспешно выйдя за ним из кареты, так что никто не успел помочь ей, со странным выраженьем беспомощности на красивом надменном лице, с подрагивающей губою и подбородком, что-то говорила ему, видя, как пухлая его, с голубыми жилами рука, по манию которой толпы людей, доселе сидевшие спо-

койно, вдруг поднимались и лезли на очаковские стены и на башни Измаила, эта рука, привыкшая думать, что именно ее движение и было причиною, для которой эти толпы лезли куда-то убивать и быть убиваемыми, – она теперь, приподнявшись от желтого былья, в котором лежала, сделала в ее сторону лишь слабый, жалкий жест, должный означать: «Оставь, все кончено». И покамест графиня еще кричала Юзевичу, чтоб было сделано что-то, что необходимо нужно было сейчас, он, со смежившимися веками, медленно кружился на своем одре, испытывая легкую тошноту, и вдруг с необычайной живостию увидел подступавшегося к нему, оказывая желтые зубы, того самого, выбежавшего на опушку, волка, который так напугал его когда-то в Чижове, когда ему не было еще восьми лет; и потом он видел еще, как какие-то женщины смеялись, закидывая головы, и красивое, бледное лицо молодого князя Голицына, о котором говорили, что это он его убил, потому что он из презрения не давал себе труда опровергать эти слухи, это лицо с выраженьем интереса смотрело на него, как бы спрашивая: «Что, брат, а с этим как сладишь?»; а за ним он видел кормящую лебедя Екатерину, с тем чувством нежности и злобы, которое от долголетнего испытыванья стало совсем привычным, так что он удивлялся, если долго не замечал его в себе. Но волк, почему-то совсем не боясь той блестящей толпы, что кишела и шумела кругом, все подступал к нему, какого-то цвета прелой соломы, и тогда он закричал Катерине, чтобы пришла и спасла его от волка; но Катерина...»

– Милое дело, – одобрительно сказал он. – Теперь Иван Петрович не откажется. Все ему тут, и образ род-

ной природы, и мысль предсмертная, и на доске выписывать не надо.

Тут на горизонте с южной стороны показался еще один скат, на котором были Эдгар и единорог; Эдгар выглядел как обычно, а единорог расстроенным. Эдгар, раскланявшись со всеми и обнявшись с Репаратом, рассказал, как они съездили в виноградную посадку, стола там не нашли, но посмотрели на знаменитое место. Единорога оно с непривычки поразило. Сплетаясь ветвями, стояли многочисленные женщины, которые ниже бедер превращались в крепкий ствол, уходивший корнями в землю; из пальцев у них израстали ветви, все в тяжелых гроздьях, а прекрасные головы украшались широкими листьями и виноградными усиками. Единорог ахнул и задумался. Он стоял подле одной женщины, с широкими ключицами, с родинкой над губою, с крутым завитком лозы на виске. Она загадочно улыбалась ему изумрудными глазами, лепеча: «Сал, бер, рош». («Никто у нас не знает этого языка, – объяснял Эдгар собравшимся у Стола. – Лидийский, видимо».) «Я люблю ее», – решительно сказал единорог и потянулся обнять. Эдгар насилу остановил его, советуя посмотреть, что будет дальше. Группа высыпавшихся туристов разбрелась по одичалому лабиринту; один подошел к какой-то женщине и сорвал с нее гроздь. Женщина удержала скользнувшую гримасу боли, улыбнулась ему влажными губами и сказала: «Сал, бер». Турист принял это за приглашение к поцелую и не стал отказываться. Оторвавшись от длительного поцелуя, с безумной улыбкой на потемневшем лице, он из ослабевших пальцев выронил нетронутую гроздь, и его рука, тронув женщину за шею, прошла по груди, животу и остановилась на бедре. Он обнял ее; она невнятно бормотала: «Бер, рош». Рука туриста утонула всей

пястью в ее зыбучем бедре, из его локтя выстрелил виноградный побег; его ноги дернулись и слились с ее стволом («Йон, – говорила она, дыша ему в лицо. – Йон»), и из-за ушей у него вкрадчиво поползли курчавые гибкие ветви. Рюкзак, набитый туристическим снаряжением, еще покачивался на земле, жестяно стуча притороченной сверху сковородой. Единорог глядел с напряженным вниманием, от которого словно что-то ускользало, а когда все стихло, лишь тяжело покачивая общими лозами, обернулся и посмотрел на женщину с родинкой, улыбавшуюся ему прежнею, нежно-бесстыдной улыбкой. «Бер», – сказала она. Единорог ссутулился и побрел к выходу из аллеи. Эдгар, обеспокоенный, поймал ската и доставил единорога сюда, причем в пути тот не вымолвил ни слова и лишь вздыхал.

– Стихийная опасность залегает в них, – мудро сказал Генподрядчик. – Как подумаешь.

– Это очень верно, – поддержал сантехник. – Вот тут тетка моя собралась к сыну в тюрьму. Три года не видалась. Приехала – не пускают. Говорят: у вас справка есть из вендиспансера? Она говорит: какая справка! я мать! А они: это все равно. До семидесяти лет со всех справку требуем. Так и не пустили.

– Какое доверие оказали женщине, – вздохнул Генподрядчик.

Этот диалог был прерван появлением незаметной рыбы, что-то нашептывавшей Эдгару, который слушал ее с обеспокоенным выражением. Коротким жестом он отпустил ее и попросил общего внимания.

– По последним донесениям, – сказал он, – армия Торна вышла на северные рубежи Великих равнин, будучи в часе ровной ходьбы от Стола, подле которого

мы находимся, и в полутора часах – от рабочих предместий Атлантиды.

Наступило историческое молчание.

– Владычица, – сказал Ясновид, – прикажи отковать мой меч, ибо я не стану биться иным.

– Мои кузнецы, – отвечала она, – сделают это быстро, и тебе не придется пенять на их работу. Эдгар!

– Да, госпожа, – сказал он.

– Сколько времени надо, чтоб выстроить наше войско?

– Час, – сказал он.

– Тогда пойдемте смотреть на врага, – сказала она.

Они стояли на холме. Армия Торна занимала противоположный край равнины. В ее безбрежной шевелящейся массе покачивались полотнища хоругвей и блестели копья.

– Умрем ведь, – негромко сказал сантехник, чтоб не расстраивать армию.

Генподрядчик пожал плечами.

– В конце концов, не первый раз за день, – ответил он. – Ты, главное, раньше времени не горюй. О нас еще, глядишь, песни сложат.

– В рифму? – недоверчиво спросил сантехник.

– Двух мнений быть не может, – успокоил его Генподрядчик.

– Ну, если только в рифму, – сказал сантехник.

Владычица звала их в штабную палатку составлять план баталии.

– Врага много, – сказал Генподрядчик, – до ужина не уложимся. Значит, сейчас надо покормить рядовых и младший комсостав.

Кто-то хотел усомниться, но Генподрядчик эти сомнения пресек.

– Половина проигранных баталий, – сказал он, – была проиграна на голодный желудок.

– А вторая половина? – спросил сантехник не потому, что не хотел есть, а просто из интеллектуальной добросовестности.

Генподрядчик посмотрел на него с укором.

– Этим процентом, – сказал он, – можно пренебречь. Как незначительным.

Владычица отослала Эдгара с приказом, и по всему полю, откладывая копья, ратники расселись со шлемами, полными горячей ухи.

– Главная ударная сила врага – кавалерия, – сказала владычица. – Сайрокрыл на рыбе-пиле. Блистательный успех. Более ста побед нокдауном.

– Двойной удар, – с одобрением сказал Генподрядчик. – Все равно что на лошадь болгарку надеть. Надо заимствоваться для локальных войн.

– Феодальная вольница, значит, – сказал сантехник. – Культ личной доблести и никакого умения держать строй. А как у них насчет мародерства?

– Это всегда пожалуйста, – сказала владычица. – Было бы что.

– Очень хорошо, – сказал сантехник. – Тогда нам нужен обоз.

– Зачем, нам два часа ходьбы до дома, – недоуменно сказала владычица.

– Обоз должен быть, – непререкаемо сказал сантехник. – Эдгар, что-нибудь можно сделать?

– Придумаем, – сказал неутомимый Эдгар и исчез.

– Авангард – лучники, – продолжил сантехник. – Но это обреченный отряд. Они разредят конницу, но она пройдет сквозь них, как нож, и увязнет в обозе.

– Я стану там, – сказал Ясновид. – С лучниками.

Владычица посмотрела на него огромными глазами.

– Это правильно, – безжалостно сказал сантехник. – Оденься только... попрактичней. На флангах тяжелая пехота, – продолжил он прежним голосом. – Ударяет с боков в кавалерию противника, когда та начнет безобразничать в обозе. Маркитанток бы туда побольше, – заметил он.

– Эдгар! – позвала владычица.

– А потом засадный полк ударяет коннице в тыл, по хвостам, и она оказывается зажатой между обозом, пехотой и свежими силами противника, – закончил он. – Замечания по распорядку дня?

Все в целом согласились.

– Ты с засадным полком, – обратился он Генподрядчику. – У тебя хладнокровие большое, ты раньше времени не кинешься. Без возражений. Тебя куда? Пехотой хочешь покомандовать? – спросил он единорога.

Тот тряхнул головой, и из его рога в правую сторону с мелодическим звоном выкинулись ложка, штопор и отвертка, а в левую – открывалка и шило. В сочетании с тяжелым выражением лица это имело внушительный вид, каким, вероятно, отличались персидские серпоносные колесницы.

– Я в поле хочу, – сказал он. – И поскорей, пока настроение не прошло. А начальство мне без надобности. Меня власть только портит.

– Я на правом фланге, – подытожил сантехник. – Эдгар на левом.

– Я польщен, – сказал Эдгар, отдуваясь после маркитанток.

– Стол там у него, – напомнила владычица. – Приглядеть бы.

– Эдгар, оцепление выставишь, – распорядился сантехник. – Следить за столом изо всей возможности.

– Сделаем, – отозвался Эдгар.

– Все, кажется, – сказал сантехник. – За работу, товарищи.

– Присядем на дорожку, – предложила владычица.

– Ну, все, – после недолгого молчания вымолвил сантехник, ударяя рукой по колену. – По местам, хлопцы.

– Надеюсь всех вас увидеть сегодня за ужином, – с бледной улыбкой сказала владычица, стараясь не смотреть ни на кого в отдельности.

– Хороший полководец, – сказал Генподрядчик, – это тот, который умирает в своей постели. Неважно отчего, лишь бы там. Это я вам в особенности говорю, – отнесся он к сантехнику и Ясновиду. – Мне-то что, мне на работу в понедельник, а вы, пожалуйста, держите себя в руках.

– Я не призываю вас достойно умереть, – сказал Ясновид, став перед строем лучников, с откованным заново мечом, в медном шлеме, украшенном изображением двойного ерша, и в чешуйчатой броне. – Возможно, это годится для других битв, но сегодня было бы слишком просто. Без победы любая смерть будет неубедительной.

– Сегодня нам придется тяжелей, чем остальным, – говорил в мангровом лесу Генподрядчик, мучительно вспоминая, что на этот счет говорилось в «Задонщине». – Нам придется стоять и смотреть, как гибнут братья наши. Стоять и смотреть. Я молю вас: тот гнев, который родится и возрастет в вас от этого вида, гнев, от которого вам будет трудно дышать и ваше сердце начнет ходить с перебоями, – сберегите его, друзья мои, смотрите за ним, как женщина смотрит за огнем и ребенком, до того мгновенья, когда я дам вам знак. И тогда тратьте свой гнев, не жалея, и не оставляйте его на завтра, ибо завтра вам понадобятся иные чувства – Бог даст, более светлые.

– Вон там, – сказал сантехник пехоте, – стоит враг. Скоро он перейдет равнину и будет здесь. Если Бог приведет вас дожить до старости, сохранив вашу память и разум, так чтоб вы могли оглянуться на долгую цепь своих лет, – едва ли вы найдете в ней нечто более важное, чем сегодняшний день. Так вот, потратьте его так, чтоб на старости лет не пришлось жалеть о том, что Бог сохранил вам память! Я доступно излагаю? Тогда мечи к бою!

Торн гарцевал перед строем на морском коне. Видно было тяжелые складки его лица и трепетный блеск доспехов. Он почему-то медлил. Вдруг слабым манием руки... Хоругви дрогнули и покатились вперед.

Сантехник очень хотел разглядеть и запомнить всю картину битвы, чтоб потом в кругу коллег, степенно рассказывая о минувших днях, не выглядеть наивным наблюдателем, но у него ничего не вышло. Впереди, было видно, как лучники дали густой залп копеиной Арнольда, дали другой и полегли под лавиной рыб-пил; как Ясновид, обнажив меч, сошелся в схватке с каким-то великаном, в эполетах на голое тело, и как из образовавшейся свалки выскользнула душа великана, в виде черного лоснящегося угря, и спешно покинула поле боя, – а потом Сайрокрылы накатились с беззвучно разинутыми пастями, хоругви хлопали у них над головой, над нависшими пилами глядели холодные рыбьи глаза, и все смешалось. Он орудовал мечом, рукоять которого сразу стала скользкой, драл кому-то жабры, выкрикивая что-то назидательное, а потом над ним вода потемнела, и гигантская акула-молот занесла свою роковую голову. Он успел куда-то дотянуться и погрузиться клинком, акула неприязненно сощурилась, через всю картину по диагонали снизу вверх пронесся Трафальгарский Триумф, метясь акуле в загри-

вок, и тут от удара в потылицу сантехник лишился сознания, так что существенная часть происшествий для него померкла.

Когда он очнулся, в удивительной тишине, словно он был не среди битвы, а дома, на своей чистой постели, над ним тихо проплывали глубокие водяные бездны. И глядя в эту безмятежно текущую толщу воды, с легкими тенями кораблей, которые шли по ней где-то там, на недосягаемом для его понимания верху, он вдруг ощутил поразительное по силе желание встать и убить столько врагов, сколько будет нужно для того, чтобы это царство, все те существа, что его населяют, и та прекрасная женщина, которая правит ими, могли жить спокойно и чтобы он не выглядел неблагодарным за то гостеприимство, какое здесь нашел со своими друзьями. Он встал и посмотрел перед собой. Акула-молот, чьи черные плавники шевелило тихими завертями донное течение, лежала с разорванным горлом, а подле нее в безмятежной позе был Трафальгарский Триумф. Сантехник встал перед ним на колени, поцеловал его в мертвые глаза, а потом поднялся, подобрав свой меч, и закричал, устремившись в толпу; и те Сайрокрылы, что успевали заглянуть в его лицо, беспрекословно умирали, прежде чем он наносил удар.

Раскаленным ядром пронесся он по полю, насыщая свое чувство справедливости, и те из врагов, кто, оказавшись близ него, по странной случайности уцелевал, на долгие годы сделали сантехника главной угрозой для малых детей. «Вот, язви тя в душу, Сантехник придет», – говорили они расшалившимся Сайрокрыльчикам, и те моментально садились вышивать крестом.

Он остановился, когда рука с мечом не могла уже подниматься. Битва откатывалась в сторону; он стоял

среди искалеченных тел, вырванных жабр и гирляндами стелющихся по песку молок. Отзывчивая Мисюсь черной тенью сновала над побоищем, поглощая врага повзводно. Мимо пронесся единорог с самурайским кличем: «Шинкуй минтай!», и где он махал головой вправо, была улица, а где влево, там был переулочек, а если он не распылялся, то перед ним открывалась прямая перспектива; и на его рогу агонизировали два-три нанизанных врага, как контрамарки на музейном штыре. Из столбов ила, застилавших сражение, вышел, прихрамывая, Генподрядчик, с азартным выражением расцарапанного лица, придерживая окровавленную руку.

– Даже не припомню, когда получал такое удовольствие, – сообщил он. – Где и отдохнуть интеллигентному человеку, как не в извечной битве добра со злом. Сейчас вот руку перевяжу – и назад.

– Собаку мою убили, – глухо сказал сантехник.

– Что? – не понял Генподрядчик.

– Собаку.

– Жалко, – сказал Генподрядчик. – Не сиди, в гробу успеешь насидеться. На левом фланге у Эдгара стол отбивают. Пошли, иначе все насмарку.

Волны Сайрокрылов с неистовым упорством лезли на Столовый Холм. Эдгар отбивался как мог. «У меня в библиотеке остались наметки торжественной речи, – с огорчением сказал он подоспевшему сантехнику. – О нашей сегодняшней победе. Я рассчитывал сам сказать, да, видно, не судьба. Воспользуйтесь тогда, там есть удачные находки. Найдете в третьем томе Боссюэ, между страницами». Сантехник не успел произнести бессмысленного ободрения, как защита холма была прорвана и Эдгар кинулся крепить ряды. Сайрокрылы с воплями свирепого восторга гарцевали на восточном

склоне, размахивая рдяно тлеющими удочками на мордах. «Вторая глава, – застонал сантехник. – Мы же ее так и не произвели». «Лист бумаги есть?» – спросил Генподрядчик. «Что?» «Бумаги, говорю, дай». Тот нашел в кармане трамвайный билет. «Иди помоги Эдгару», – распорядился Генподрядчик и вскочил на стол. «Держись, Эдгар! – заревел сантехник, бросаясь к восточным склонам. – О Элберет Гилтониэль! В очередь, сукины дети!» Сайрокрылы облепили его со всех сторон, в их пряной толще он ворочался, как медведь, пластая их на стороны. Генподрядчик, замерев на мгновенье, с высоты стола оглядел разом все битвенное поле – и опустевшие низины, где полегли лучники и где не видно было Ясновида, и бурное кипенье обоза, где засадный полк, переданный им в опытное распоряженье Репарата, сшибся с остервенелым врагом, которому некуда было отступать, и пространные равнины, где по местам оживлялись и затихали стычки той теперь уже, без сомнения, великой и час от часу все более легендарной битвы, которой суждено войти в вышеупомянутые анналы и в национальное историческое сознание под именем Великого Рыбного Дня, – и, оглядев все это, он успокоенно вздохнул и прикрыл глаза, словно вокруг него не бурлили прорвавшиеся враги и у него не оставалось еще великого множества случаев отойти в прошлое с этим приснопамятным днем. Но вопли битвы, слившиеся в один, снова ударили в его слух. Медлить было нельзя. Он нацарапал на трамвайном билете несколько слов (какие именно – он не рассказывал впоследствии никогда и никому), сунул листок в приемное окошко, ударил ногой по хищной морде Сайрокрыла, прорвавшегося первым, и запустил Стол на полную мощность. Внутренность его загудела и заухала, дико закричали Сай-

рокрылы, заливая вершину холма, а из Стола уже тянулся длинной лентой готовый текст, – Генподрядчик нетерпеливо выдрал его и пробежал горящим взглядом. Сайрокрылы, цепляясь жвалами, карабкались на Стол, смыкаясь кругом Генподрядчика; от их горящих удочек Стол начинал тонко дымиться. «Это она!» – прокричал Генподрядчик крутящемуся в рукопашной сантехнику, победно маша длинным листом. Из Стола ударил язык пламени, от которого шарахнулись опаленные Сайрокрылы; в мгновение весь он охвачен был огнем; темные фигуры разлетались от него, с бенгальским огнем на хвостах и разнородными воплями; сантехник обернулся: тяжелый взрыв дарования, вложенного щедрыми богами, разнес стол в клочья, и над клубящимся хаосом огня, композиционных приемов, бронзовых накладок и полированного дерева взлетел выброшенный ударом Генподрядчик, описал диковинно прекрасную кривую, пал к ногам сантехника и, показав ему догорающий клочок бумаги со словами: «Это была она», погрузился в добросовестное беспамятство.

* * *

Когда он из него вышел, то увидел себя на чистой постели и готов был уже подумать, что находится, слава Богу, у себя дома, но, услышав за дверью песнь о великой победе, свершившейся с его участием, понял, что ошибался, поскольку у него дома такие песни не пелись. Дверь отворилась, и вошел сначала сантехник, в черном бархате, и на лице его уж точно не было иной печати, кроме печати беззаботной оживленности, а за ним вбежал единорог, скакнувший сразу с ногами в постель, чтобы взбодрить ослабшего друга, а за ними с

улыбкой вошла владычица и, став у дверного столба, глядела на встречу боевых товарищей. «Мы одолели!» – кричал единорог. «И в страхе бежали проклятые Сайрокрылы, – сказал сантехник, и на лице его Генподрядчик увидел вернувшееся удовольствие от своих шуток. – Так что поднимайся, ужинать пойдем».

Наши победили, но потери были велики. Одеваясь в праздничное, Генподрядчик узнавал подробности. Великан, убитый Ясновидом, когда тот сражался в авангарде, был Хнут, порочный сын Хариберта, вследствие чего наступление было морально расстроено в самом начале битвы; сам Ясновид был найден сильно израненным, но живым под грудой трупов, и меч его снова был сломан, однако кузнецы обещали, что до свадьбы откуют. Торн, потерявший девять десятых своего воинства убитыми и деморализованными и сам тяжело раненный при отступлении, рассудил за благо заключить с Прелестой мир на 50 лет и уже начал вносить обильные контрибуции. Множество легенд уже рассказывалось об этой битве. Был во вражеском стане витязь, умевший в бою менять пол; эта способность досталась ему от дедушки (или бабушки) по материнской линии, рыбы мероу, относительно которой капитан Кусто в своей интересной и хорошо иллюстрированной книге «Сюрпризы моря» замечает, что эта разновидность каменного окуня, наряду с морскими карасями, обладает привилегией менять пол в течение жизни, что в старости составляет живейшую часть ее воспоминаний. В боевых условиях эта способность давала большие выгоды, если правильно ее поставить. Именно, когда ратник, переведя дыхание, видел на поле брани, среди хрипящих трупов и вздыбленных конских тел, маленькую девочку в желтых сандаликах, двояковыпуклых очках и с вялой ромашкой в руке, спотык-

ливо бредущую к нему с пронзительным распевом: «Дядя милиционер, а я заблуди-илась», он, конечно, брал ее под свое покровительство и, оглядываясь, выбирал дорогу, которой безопаснее было бы вывести это синюшное создание в тыл действующих войсковых соединений. Тем временем у него за спиной девочка уверенно превращалась в здорового детину с палицей в руках, которой он ударял отвлекшегося врага по макитре до тех пор, пока тот навсегда закаивался защищать маленьких девочек. Эту особенность, однако, сумели своевременно распознать, и ее обладателя за неспортивное поведение забросали черепахами с режущей кромкой, причем от каждого удара он рефлекторно менял пол, что, в общем, скрасило эту монументально-сумрачную битву. Был еще один, неуязвимый для мечей и копий, но его тоже убили, просто это заняло больше времени. Много памятного было совершено и сказано в этой битве, и те, кому привелось уцелеть в ней, могли с чистой совестью повторить то, что сказано было некогда о другом сражении, ничуть не менее славном:

Мы горсть, счастливцев горсть, мы связка братьев.

Устроен был пир в тронном зале, и когда бойцы, бледные, израненные, но с выраженьем торжества, начали стекаться под высокие своды, вперед толпы вышел певец и сказал:

– Слушайте песнь о делах, никогда не слышанных, – *Песнь о Неуклонном Генподрядчике и Столе Указов*!

Сколько ни шло их, едва ли сотый
Вспять невредимо сможет вернуться, –

Вепрем стоял у Стола Генподрядчик,
Черным реял Сантехник смерчем.
День мечей, тарчей треск,
Филинов пир, волчья тризна –
Пенять ли зверью на радушье героев,
Багряную щедро пенивших брагу.

– Ты же в рифму обещал, – прошептал сантехник, подобный черному смерчу, в ухо неуклонному Генподрядчику.

– Ну, что поделаешь, если у них такая песенная традиция, – тихо отвечал Генподрядчик. – Мы же здесь все-таки не для реформы стихосложения. В другой раз, может быть.

– Из этого, – сказал сантехник, – я должен сделать вывод, что обещанного неба в алмазах тоже не будет.

– Честно сказать, Вась, – не знаю. Я же не аспирант Федор, чтобы все знать.

– Я всегда говорил, что нашу страну погубят смежники. Мое такое мнение.

– На это у людей нет ответа, – сказал Генподрядчик.

А когда отзвучала песня, вышел Эдгар, еле держась, но с речью, которую он никому не доверил, раз уж ему довелось уцелеть, и речь действительно была хороша; а потом владычица, повернувшись к троим героям, глубоко поклонилась им и сказала:

– Ваши имена навеки останутся в пучине морской. Не говорю о том, чтобы воздать вам по заслугам, – но есть ли у вас желания, которые я в силах выполнить?

– Ну, давай, – сказал сантехник единорогу.

Тот покраснел и, приблизившись к владычице, нашептал ей на ухо.

– Если такова ваша воля, – сказала она с удивленьем, – я не смею этому препятствовать.

Эдгар отвез его на юг, в виноградные посадки, и единорог отыскал женщину с родинкой на губе и изумрудными глазами. «Рош, – сказал он ей. – Рош, бер». Ее глаза вспыхнули, ветви сомкнулись у него на затылке. Он обнял ее, привычным движеньем скользнув ладонью по талии, и одна виноградная кисть за другой вывешивалась и тяжелела яхонтовым цветом на его радостно брызнувшем листвою роге. Эдгар отвернулся.

– Ну что же, – сказала владычица Генподрядчику. – Враг побежден. Глава написана. Все, для чего вы оказались в этом мире, свершилось. Но, может, на свадьбу останетесь?

– Извините, не могу, – сказал он. – Всей душой, но не могу. Я и так тут уже задержался. Рад был познакомиться, – сказал он Ясновиду. – Удачи, и правьте по возможности разумно.

– У меня был один знакомый, подрабатывавший технической редактурой, – сказал сантехник, обращаясь к рампе. – Так он тоже своим коллегам давал этот совет. И знаете, что самое интересное, – никто не слушал.

Генподрядчик, прощально махнув всем рукой, закрыл за собою дверь с надписью «Неожиданный выход», и больше его здесь никогда не видели.

– Ну, а вам? – спросила владычица, обращая чудный взор к сантехнику.

– Тебе, Василий? – сказал за нею Ясновид. – Ты осчастливил меня, из бездны отчаянья ты возвел меня... да что там говорить! Что можем мы подарить тебе?

Сантехник пошевелился.

– Мне-то, – сказал он.

Глава двенадцатая,

никем не написанная, но просто случившаяся

Следует особо отметить, что одиннадцатая глава, написанная автором (далее А), во всех подробностях совпадает с главой, написанной Средним сантехником (далее СС). Исключение составляют лишь три фразы:

1.«Сам не знаю, кто я на этом *чумном* пиру» (СС) – «Сам не знаю, кто я на этом *дымном* пиру» (А).

2. «Владычица с улыбкой наблюдала за его *руссоист ским* поведением» (СС) – «Владычица с улыбкой, *с какою смотрит мать на удавшегося ребенка*, наблюдала за его *натуральным* поведением» (А).

3. «– *Gazofilacia eruditionis* profundissimae, – сказал Эдгар. – Вполне в его стиле» (СС) – «– *Reservaculum doctrinae* profundissimae, – сказал Эдгар. – Вполне в его стиле» (А).

В настоящем издании за основу публикации принята одиннадцатая глава Среднего сантехника, как вследствие ее художественных достоинств, так и потому, что она была дописана на сорок пять минут раньше, непосредственно перед тем, как он сказал: «Мне-то». Разночтения приводятся по версии А.

Что до самого Среднего сантехника, то он, завершив главу и отложив ручку, чисто побрился, обнял Младшего сантехника и научил его, как давно обещал, вычислять площадь квадрата, причем тот вспомнил, что в прошлой жизни его учил этому строгий мужчина в парике, которого экономка звала майстер Леонард, а потом обратился к Старшему сантехнику с такими словами:

– Унизительным и несоответствующим человеческому призванию кажется мне, Семен Иванович, стоя

одной ногой в гробу, жаловаться на повышение квартплаты. Человеческая голова смотрит вверх, чтобы человек помнил, что его разум сродни звездам, – но за свою жизнь он так привык к тому, что голова у него находится именно там, что, пожалуй, было бы поучительней, если б она хоть на минуту оказалась у него в каком-нибудь другом месте. Ты, Семен Иванович, и ты, Саня, возможно, мне скажете: «Сам-то ты чем лучше?» Верно, я руководился мнениями, о которых даже не спрашивал, откуда они во мне взялись, но был мучим ими, будто они самые что ни на есть настоящие. Как женщина, которая, прилежно одевшись, причесавшись и накрасившись, выходит на люди и не находит себе места, сравнивая себя с другими, не привлекательнее ли они и не богаче ли на них платье, – таким был и я когда-то, а теперь благодарю небо за то, что оно вывело меня из этих помыслов, словно из душного леса. Странное дело, я взялся писать, думая, что хочу восстановить справедливость, меж тем как скорее всего во мне наперебой говорили гнев и самолюбие, – но теперь соблазняюсь думать, что собирался лишь проверить, что там у меня внутри, хотя отлично помню, что хотел-то я совсем не этого. Мои речи покажутся вам бессвязными, но потом, когда у вас будет время подумать о них, на этот изюм нарастут булочки. Я думал, что надо удержать свои страсти, чтоб не мешали душе, более того – я бился за свободу подводного царства, моя рука была тяжела чужой кровью, я сложил курган врагов, мстя за свою собаку, – а теперь я смотрю и вижу, что не только страстей, но и самой души мне не нужно, что моей собаке не будет лучше оттого, сколько врагов я перебил в ее честь, и что все, оставшееся у меня, можно сосчитать по пальцам, и другого уже не будет, да и пальцев скоро не останется.

Хотя мне кажется, что я еще нахожусь здесь лишь потому, что мои сухожилия и мышцы сложились так-то и так-то – ибо причины исчезают от меня, и среди немногих соображений это кажется мне требующим менее всего усилий – но я все же хочу сказать вам, что испытываю к вам обоим огромную нежность и что если я еще могу чем-то заслужить вашу приязнь, то готов это сделать в отведенный мне срок.

В то время, пока Сантехник говорил эти и подобные речи, он мало-помалу исчезал из этого текста, и Саня, тихо плача, глядел, как подергиваются туманом и растворяются бесследно сначала его ступни, потом колени, а за ними бедра, живот и руки. Договаривая о своей нежности, Сантехник остался уже одною головою, которая, вися в воздухе, доверительно посмотрела на Семена Ивановича и сказала: «Мы должны Петровым семьсот грамм скумбрии. Смотри же, не забудь отдать»; и когда Семен Иванович, хотя и не помнивший о подобном долге, со всхлипываньем обещал, что отдаст при первом случае, Сантехник удовлетворенно кивнул и пропал уже окончательно.

Глава тринадцатая,

в которой автор, получив возможность защититься, использует ее неубедительно

Хорошо, когда действительность подходит под то, что хватает способностей о ней думать. В самом деле, есть автор-деспот, который родному сантехнику дверь не открыл и вообще довел его до нервного срыва, есть персонажи, мучающиеся кто как может под его шершавым игом, *et voilà* все поводы для сочувствия понятливых читателей. Меня, конечно, мучило, с одной стороны, жгучее желание объясниться, потому что напраслину терпеть кому же приятно, а с другой – ясное понимание, что никому ничего не объяснишь, а только лишний раз опозоришься, но в конце концов я не вытерпел, разумеется. Стоило ли? Вот я доделаю здесь свои дела и выйду прочь из этого мира, только на старых обоях останется видно, что я любил тут прислоняться, покамест еще как действующий автор имел минуты отдохновения; и пойдет чужой человек, равнодушно посмотрит на вещи, которые ничего ему не говорят, ибо он не мучился с ними, не рождался и не заболевал, и сочтет себя вправе выносить суждение, потому что, как известно, каждый должен иметь свое суждение, всего остального можно не иметь, но это – шалишь, уж это так положено, чтоб к своему месту принадлежало...

Да вот он, уже идет. Такого аккуратного вида, что ничего, кроме неприязни, испытывать к нему невозможно.

– Вы, простите, по какому вопросу будете? – спрашиваю я.

– Зовите меня Бонс, – благодушно отвечает он. – Билли Бонс. Я вас надолго не задержу. (До него, ей-богу, это говорила Мисюсь! Вот повадились!) Дело в том, что есть уже возможность делать некоторые обобщения на счет вашего романа, в основном статистического плана и, так сказать, безоценочные, и чтобы вы были в над-

лежащем порядке уведомлены, как слово ваше отзовется, я позволю себе представить... – Чтобы выпутаться из этого зачина, он уходит в бумаги. – На конец десятой главы, – выныривает он, – вами было выведено не менее 190 персонажей, включая коллективных.

– Позвольте, а почему только десяти? А в одиннадцатой эвона их набилось, битва народов, можно сказать, – этих почему не считали?

– Есть мнения, что одиннадцатая глава, как принадлежащая перу Среднего сантехника, учитываться в этом подсчете не должна.

– Это моя глава! Моя! В ней все мои признаки! Как знал, что будет вот это вот крючкотворство, – специально оставил в нужных местах! Проходили там, видели, с осины кора когтями содрана, – так это я содрал! Моя глава!

– Вы же понимаете, что это спорный вопрос. Давайте без нажима, как цивилизованные люди. Если прояснится что-то, мы вас немедленно известим и прокалькулируем ее задним числом.

– Хорошо, а коллективные персонажи – это что такое?

– Это лица, обладающие коллективной индивидуальностью. Применительно к вашему случаю это такие фигуранты, как княжеские сычи в 8 главе, инопланетяне в 6 главе, хор, поющий песни Моцарта, бедра несовершеннолетнего Ящурко Е. С. в 3 главе и так далее. Они считаются за одного.

– Бедра-то почему за одного? Их же два! И инопланетян там не меньше десятка, я помню... штурманов одних полна рубка...

– Не мелочитесь. Русскому писателю пристала кротость в быту. Бедер два, действительно, но говорят они одним голосом.

– Они хором говорят! Это у них отработано!

– У вас так написано. Давайте оставим этот вопрос. За отчетный период не менее 35 человек, включая 12 прорабов, играли в азартные игры, и 18 из них отыгрывалось. Три человека подверглись необратимым трансгендерным мутациям. Изображено черепах: четыре, включая одну большую в сравнительном обороте...

– А в одиннадцатой! – кричу я. – Там их сколько! Там же ведь приятно просто глазу посмотреть, сколько черепах!

Он кривится и говорит:

– Ну что же мы, каждый раз будем возвращаться к этому аспекту? Давайте абстрагируемся уже.

Я нехотя слушаюсь, и он продолжает с того же места:

– ...нравственно привлекательных мужских образов: три, физически привлекательных женских: тоже три, причем они в бытовом плане не коррелируют. Пар они не образуют друг с другом, – поясняет он. – Нравственное чувство читателя остается неудовлетворенным. За тот же отрезок времени устало машут руками: Ахматова на вечере встреч и кружащиеся вещи в 6 главе; кричат: 48 человек, в том числе мочалка, попугай и сама Клотильда. Наказано пороков: один (1 глава, приложение-отчет по делу Андрея Ивановича, рубрика «Возвращаясь к напечатанному»), вознаграждено добродетелей: ноль (дебатируется вопрос о сравнительной добродетельности Ящурко Е. С.). Высшие силы, представленные богом постороннего мира, Плутоном...

– Какого-какого мира?

– Виноват, потустороннего. Секретаря взяли нового, молодая девочка совсем. Еще и военнообязанная. Ошибок сколько пропускает – это горе одно. Потустороннего, конечно. Так вот, дважды появляясь на сцене, Плутон один раз карает несомненный порок, а второй раз наказывает человека неизвестно за что, оставляя у чи-

тателя нравственное недоумение. «Таковы они, боги-то!» – неизбежно заключает читатель, и этот скепсис рождается в нем из-за вашего неряшливого изложения.

– Позвольте, это вы про Недоручко В. А., что ли? Ну, вы, прямо сказать, нашли невинность! Ему, доложу я вам, череп проломить – это еще мало! Вы знаете, как он родную сестру донага раздел? А что он в харьковском цирке выделывал под фамилией Арнольд Несимпатичный? Вы вот не знаете, так не говорите! А то вольтерьянство они мне тут шьют в особо крупных, нате пожалуйста!

– Об этом ничего не сообщается, – сдержанно замечает Билли Бонс. – Сведений, которые бы заставили читателя внутренне примириться со страшной смертью Недоручко В. А., в надлежащем месте не приведено. В итоге нанесено ущерба традиционным моральным ценностям на общую сумму одна тысяча сто сорок четыре рубля 38 коп.

– Все у вас? – спрашиваю я.

– Пока да, – говорит он. – Это в общем виде. Тут дальше аналитическая часть; если интересуетесь, я могу озвучить.

– Не надо, – говорю, – не озвучивайте. Берите пример с Чаплина, он правильно сказал: можешь, сказал он, не озвучивать – не озвучивай.

Билли Бонс смотрит на меня с интересом.

– Скажите, – говорит он, – а это пристрастие к каламбурам вы передали самым любимым героям, да? Как отцовскую черту? В целях подчеркнуть родство?

Тут я перестаю сдерживаться.

– Да какое, – говорю, – ваше-то постороннее дело, где у нас родство, а где нет? Вы извините, конечно, пафос этот мой сентиментальный, но все они – это я! Даже Серафима Павловна – это я, хоть я и не сливаю завар-

ку в раковину! И черепахи все, включая тех, что в сравнениях, – я! И даже бедра эти, которые вы считать за два не хотели, хотя из них все четыре можно выкроить, – это тоже я! Вы как думали? Писатель, он же… он, я вам скажу, как Синдбад-мореход! Именно – как Синдбад! Он летит на сюжете, сам не зная куда, и когда тому захочется жрать – а ему все время хочется – писатель хвать себя ножом по ноге! Буквально! И кусок этот, сочащийся этот писательскою кровью кусок, прямо сюжету в пасть, мол, на, подкрепись, родной, только лети! Не падай! Вот каков писатель-то!

– Вот об этом я как раз и хотел поговорить, – подхватывает Билли Бонс. – Ваша нежная, но гибельная сила, заставляющая отзывчивого читателя плохо дышать, а иной раз буквально терять сознание, – в ваших сравнениях. Как человек начитанный и с живым воображением, вы делаете все возможное, чтобы читатель, читая ваши сравнения, не зря терял время, а все-таки научался чему-то новому, что пригодится ему в профессиональной деятельности, и вообще расширял свой горизонт. Впоследствии, когда вы умрете в больших или меньших муках и ваше тело после непродолжительной гражданской панихиды будет предано земле, ваши сравнения станут лестно сравнивать со сравнениями Кеведо. Вы любите Кеведо?

– Люблю ли я Кеведо? – спрашиваю я. – Да я жить без него не могу! Обидно даже слышать такие вопросы!

– Ну вот и прекрасно. Их у вас более ста двадцати.

– Считая одиннадцатую главу? – сварливо спрашиваю я.

– Считая, – говорит он и устало машет рукой, вставая тем самым в один престижный ряд с Ахматовой и вещами. – Считая. Прежде всего, нельзя не отметить, что сравнения выполняют релаксационную функцию.

Читатель, уставший от возвышенного и мрачного сюжета, попадая в близкий и родной ему мир тушканчиков, застоявшихся коней и самодельных пельменей, имеет случай на минуту расслабиться и вздохнуть полной грудью. Но, кроме того, нельзя не поговорить о внутреннем характере того мира, что воплощается в ваших сравнениях. Я позволю себе небольшой тезаурус, буквально ненадолго.

– Ну, если небольшой, – говорю я.

– Спасибо. Прежде всего, это мир высокой социальной защищенности. Он изобилует музеями со льготными билетами, и его в разные концы пересекают путешествия со скидкой от профсоюза. В нем идет кино, делящееся на познавательное, про гражданскую войну с подпольным обкомом и образовательные диафильмы, но есть также – как печальное знаменье времени – американское кино про монстров, не дающее ничего ни уму, ни сердцу рядового кинозрителя. Досуговая сфера представлена также бросанием с балкона полиэтиленовых пакетов с водой, гипсовыми муляжами любительского футбольного матча, начинающими трансвеститами и картинами Шишкина, в эпических образах воссоздающими красоту и мощь русской природы, особенно лесной («В лесу графини Мордвиновой», 1891). Балконные забавы детей, хотя предосудительные, дают, однако, повод отметить, что они возможны лишь в мире, изобильно снабженном водой. По нему протекает, теряясь, как семиклассница на районном смотре самодеятельности, река в песчаных степях аравийской земли, вдалеке от нее ровным строем стоят пушистые снеговики, неохотно сдающие свои позиции к концу марта, когда работники жилкомхоза стекаются, как гонцы молодой весны, на профессиональное празднество; в лесных заводях, осененные меланхоли-

ческими лессировками Васнецова, гуси-лебеди плещут друг на друга холодной водой, оставив свое пернатое исподнее в прибрежных кустах, на благоусмотрение главного героя, а высоко над ними, в горах, нависают древние ледники с подтаявшим днищем, чреватые смертельной угрозой долинам. Следует упомянуть также и море, оно приливает и отливает, оставляя на обнаженном берегу привлекательную русалочку, с красивыми длинными ногами и сазаньей головой; в море ходит сейнер, чьи труды благословились небом, и ковчег, несущий на себе голубя для зондирования ситуации; на утлом челне в нем качается беззастенчивый рыбак, чьи руки устали врать, и незримо реет над всею этою громадною гладью, омкнутой мировым змеем, божественный Дух, провидя, храня и питая. И все это вместе взятое посильно воспроизводит в домашних условиях полутораведерный аквариум с подсветкой. Если коснуться культовой сферы, то она, кроме названного духа, представлена райским змеем, хором погибших душ, много обязанных указанному змею тем, что они составляют именно такой хор, а не какой-либо другой, и фресковой живописью, реставрация которой переживает временные трудности. Сфера науки представлена штангенциркулем, найти который представляется затруднительным, и теоремой Виета, которой, по мнению автора, суждено сыграть ключевую роль в установлении взаимосвязей с нечеловеческим разумом. Из этого можно сделать вывод, что успехи органической химии, а также учение о равномерном прямолинейном движении обошли автора стороной. Героико-патриотическая тематика репрезентирована брянскими партизанами, бесконечно идущими по снегам; впрочем, как мы отмечали выше, это мир, не испытывающий недостатка в воде. Криминальная сфера, кроме бал-

конного досуга младших подростков, репрезентирована кровавыми пятнами на полу и двадцатью пятью изнасилованиями, а пенальная система – смертной казнью через повешение. Что касается еды, то в этом мире вычерпывают стерляжью голову половником из ухи, заедают ее клубничным вареньем, не гнушаясь отпечатками аистовых ног, едят скумбрию в темноте и шашлык на публичных гуляньях. Характерно, что мир еды основного текста и еды сравнений находятся в отношениях дополнительного распределения: меж тем как основной текст знает сосиску как предмет еды, окруженный густым полем культурных ассоциаций (ее едят, залитую яйцом, как посетители ресторанов, так и ролевики, ее используют в мантических практиках для вызова милиционеров на пенсии и ее школьные учителя предлагают сантехникам в тех ситуациях, в каких марсианам предлагается теорема Виета), мир сравнений живет, ничего о сосиске не зная и не нуждаясь в ее услугах. Что касается набора фауны, то он содержит труппу курских соловьев и бабочку с красивым глазком, как у картофеля «Невский», привольно порхающую над брошенной куколкой, сравнимой по бытовым неудобствам только с квартирой уплотненного заселения.

Он замолкает. И мне не хочется говорить.

Боже мой, какой прекрасный мир создал я. Какой богатый, дышащий и мерцающий мир. Могу ли я эмигрировать туда? Там же, помнится, есть пограничники, сверяющие противокозелок, – могу ли я обнять их натруженные стопы и попросить политического убежища? Я бы втерся к ним в доверие – о, я это умею, когда захочу, – я бы правил ими, как благосклонный герой... Или нет, я же создал их, я создал их всех, это мой дух реет над их рыбными водами – мой! мой! –

могу ли я быть их богом? Уйти бы отсюда, хоть куда-нибудь, и я был бы, в конце концов, неплохим богом, я же все-таки тринадцать лет занимался преподавательской деятельностью, у меня есть навыки... Никто бы не жаловался. У них, могу поклясться, не возникало бы и мысли о богооправдании. Попадись им том Лейбница, они листали бы его с брезгливым непониманием, спрашивая: «О чем это он нам толкует?» А когда их невинная пастушка – там же была где-то невинная пастушка, я помню! – когда бы она подросла и собралась замуж за пастуха – там были пастухи, разламывавшие хлеб и пившие молоко, а солнце стояло над ними с таким властительным спокойствием, в таком лазурном небе! – и они бы любили друг друга с детства, до того еще, как кто-то впервые при них произнес бы слово «любить», и ее, допустим, звали Хариклея, а его, например... ну, например, Теаген, чем не имя для пастуха? – и вот когда лодка из ее деревни отправилась бы в его деревню, изукрашенная безыскусными гирляндами из одуванчиков и цикория, переполненная селянами с праздничными, красными лицами, поющими свои селянские песни, – тут земля бы сотряслась, и я вышел бы огромной тенью из кургана, страшный, перемотанный простынями с синей надписью «Минздрав»...

– Простите, – аккуратно говорит Билли Бонс, – вы не могли бы объяснить происхождение последнего образа?

– Мог бы, – говорю я. – Это из автобиографического. Я был однажды в командировке. Точнее, я был там не однажды, я десять лет туда ездил... ну ладно. Это был поселок городского типа. Именно тогда у меня в моем уме зародился вопрос о принципах типизации. Что давало этому поселку тип городского? Силосная баш-

ня, с которой начиналась улица Космонавтов? Или другое что? Потом я остановился на мнении, что это была типизация на основе доминирующей страсти. Очень много воспоминаний, очень, я стараюсь сейчас, как могу, удерживаться, потому что если я начну вспоминать, это совсем уведет от темы, а и так уже люди предъявляют претензии, что непонятно вообще, о чем этот роман… Очень холодное общежитие. Всегда. Я там в мае месяце сидел, обнимая электрический самовар, только тем и спасался. С туалета сняли дверь, она стояла в коридоре, прислоненная к стене, с очень остроумной надписью: «Не работает». И вот там были простыни с синим узором из многократно повторяющегося слова «Минздрав». Оно испещряло простыню во всех направлениях и производило на свежего человека крайне тяжелое впечатление, намекая, что ему отсюда не выбраться. Я тогда написал стихи:

Как прокаженный Божьей властью,
Чья, тяжкой съеденная мастью,
До избежавшего мирка
Не докасается рука,

Чья человеческая слава
Причлась в пасущемся скоте, –
Так я ночую в наготе
На простынях с клеймом Минздрава!

– Хорошие стихи, – вежливо говорит он.

– Вам понравилось? А вот я еще такие тогда написал, тоже небольшие, но со смыслом: «Среди миров, весельем сирых…»

– Извините, я заставил вас отвлечься; пожалуйста, продолжайте. Вы говорили о пастушке.

– Ах да. Так вот, я покажусь из прибрежного кургана, с грозным ликом, каков я был, когда извлекал этот мир сравнений из первоначального смешения причин со следствиями, и изреку: «Вы веселитесь, беспамятные, и в вашем ликовании гибнет слава моей силы? Так не бывать тому! Требую от вас, чтобы деву эту, спешащую на брак свой Хариклею, вы принесли мне в жертву на этом кургане – только тогда вашим почтеньем я наслажуся вполне и своими грозными призраками дом ваш тревожить престану. Три дня сроку!». Вымолвив это, безжалостная моя тень со стенаньем скроется, откуда пришла. Плач погребальный наполнит их домы, вытеснив свадебный лик, и смерть усядется во главе стола, в красном углу, с общительной улыбкой глядя на родню жениха. Родители сражены горем, девица кричит, что она еще так молода, что ее красивое тело хочет жить, любить и пасти овец, срочно приехавший жених в новой фуражке с красным околышем кипит бессильным гневом, подбивая односельчан восстать против авторитета, – а они, конечно, кряхтят и отводят глаза, ибо я им дождь и солнце даю во благовременье, и без меня ни один волос не падает с их головы, а их там и так уже немного осталось; и потом, не у них же я невесту и дочь отнимаю, а у другого, так они и молчат. Это поведение, правду сказать, я лично считаю паскудством, но сейчас оценок не высказываю и просто излагаю факты. И вот, после всех тех перипетий, о которых каждый грамотный может прочесть в книгах, девицу молчаливым шествием ведут на проклятый курган, и старый бургомистр в брезентовом переднике заносит над ее запрокинутым белым горлом кухонный нож, но тут она говорит: «Погоди, дядя Авдей, дай напоследок слово молвить». Он отпускает, и прекрасная Хариклея, потирая покрасневшее горло,

глядит с кургана на толпу односельчан. Слышно, как в соседнем селе по вечерним улицам бродит одинокая гармонь. «Сейчас, – негромко говорит Хариклея, и все содрогаются, – вы меня убьете. Возможно, вас это удивит, но я жду этого с нетерпением. До своих шестнадцати лет я жила, в компании овец, не думая о том, хорош ли этот мир или плох, потому, что не могла сказать «мир» и «я»: между нами не было границы, мои руки были его руками, а его фибры – моими фибрами. Но когда механизм этого мира высунулся и захотел моей крови, я счастлива, что умру прежде, чем свяжу себя обязательствами, которые смогут этому помешать. Надеюсь, что там, куда я попаду после смерти – ибо я верю, что моя душа создана для чего-то более долговременного, чем тот хоровод с нечесаными овцами и нетрезвыми механизаторами, в котором я успела проплясать, – действуют иные законы, менее унизительные как для кодификатора, так и для рядового исполнителя. А теперь, дядя Авдей, расправь передник, возьми свой нож, и надеюсь, твои руки не дрожат, потому что я все-таки не столь терпелива, чтобы умирать мучительно». И он занесет над нею нож, и вся деревня ахнет единым ахом. И тут я, как смерч, ударю в небо из кургана, отбросив дядю Авдея, и раскатисто скажу: «Неужели, неблагодарные, вы поверили, что я хочу вашей крови, – а особенно крови этой девочки? Не я ли берег ее сызмальства, как родную дочь? Не я ли спас ее, когда в детстве на нее из лесу вышел голодный волк и когда в прошлом году ее хотели выдать за вдовствующего комбайнера? Нет, милые! Мне просто хотелось видеть, что у вас внутри, и теперь, когда я довольно насмотрелся, я от всей души благословляю молодых, а вам объявляю, что вы достойно выдержали испытание и что следующие три дня объявляются

нерабочими! Айда жениться!» И дядя Авдей, при паденье пристойно прикрывшийся передником, и Хариклея, с потерянным лицом, и Теаген, выломившийся наконец из амбара, куда его арестовали, чтоб не мешал жертвоприношению, и все селяне, с косами и граблями пришедшие глядеть, как будут резать гордость села, – все они застынут, не веря ушам, пока наконец кто-то не разрушит их молчание бессмысленным, но громким кличем радости, – и, шумно благословляя... Что? Что опять не так-то?

Билли Бонс качает головой.

– Есть такое понятие, – говорит он, – как моральные нормы. Они едины для всех миров, как реальных, так и поэтических. Не надо думать, что литература – это место, отгороженное под разные тунеядства, как нудистский пляж. Нет, уважаемый, приличные боги таких вещей не делают.

– Нет, ну погодите! Нельзя же оставлять людей в состоянии райского детства, прелестном, но беспомощном, – они должны узнать духовное мужанье, и разве я делал это со зла? Я не оставлю их чету своими попечениями, и когда у них будут дети, я подарю старшему способность все, к чему он ни притронется, превращать в свежий хлеб, средней – в вино, а младшей – в кофе. И если соседственный властитель, привлеченный их скромной славою, отрядит в деревню войска, чтоб захватить их и привести в его распоряжение, желая ежедневно иметь горячий кофе в сочетании с видом свежих деревенских лиц, – я появлюсь между ними, испуганных селянок, черпающих кофе из колодца, превращу в горлинок, томно воркующих на телеграфном столбе, и, устрашив клевретов презренного сластолюбца, повернусь и уйду в лес графини Мордви-

новой, озаряя дубы багряным отблеском своего взгляда. И когда...

– Нет, – говорит он. – Так нельзя. Ни ваши капризы, ни ваши деспотические благодеяния одинаково не имеют отношения к разумно функционирующему космосу. Вы вообще преувеличиваете свою роль в мироздании. С вами, должно быть, в общественном транспорте неприятно ездить.

– Знаете, вот я что тут подумал, – говорю я ему. – Мы сейчас с вами где находимся?

– В вашем романе, – говорит он. – Если у вас нет других предложений.

– Нет, других нет; так, значит, в моем романе? Это замечательно, – с приятной улыбкой говорю я ему, щелкаю пальцами, и он, свившись, исчезает в моей шапке. Я подхожу к ней, достаю оттуда кролика, потом два шарфа, связанных концами, засовываю руку по локоть, ничего больше интересного не обнаруживаю и говорю:

– Так на чем бишь я остановился? Для одного меня остались эти пространства, мною созданные. Г-н де Лионн вернулся в Париж, куда призывали его неотложные дела, лекальщица Поярыко ушла на бюллетень, Антон Антонович Уцкий закатился опять куда-то в глушь, унеся с собой неутомимую общительность, светлое видение мира и походный набор стилистических средств; Ванслов с ославленным гобоем уехал на гастроли в Пермь, Алексей Орлов, выйдя из заключения, покинул город, где все напоминало ему слишком о многом, и даже Женя Ящурко – на которой, правду сказать, я и сам, пожалуй, женился бы, если б ее громадный Сережа не устрашал меня как конкурент – даже Женя, куда-то укатив навсегда с мужем и ребенком, лишила меня возможности хотя бы редкого невинного кокетства, когда случайно завидишь в троллейбусе ее

лукавое круглое лицо. Как сказал старший Катон младшему, плохо, когда жизнь прожил с одними, а отчитываться приходится перед другими. Те, кому от меня в самом деле перепадало на орехи, – те меня понимают и уж конечно не осудят; но где они? где все? Те люди, мои вольные и невольные знакомые, которые любили, хотя и бесились, которые дрались, мирились, работали, ходили покупать демисезонные ботинки, хотели мяса, участвовали в самодеятельности, запивали димедрол водкой – куда их всех дело? Их двигавшиеся лица оставили в воздухе исподволь бледнеющий след цвета снятого молока; все, что охватывало их грудь, от упорной ненависти до слабых сожалений, все расточилось, вместе с грудью, их питавшей, став фосфором, азотом, сомнительным затуханьем вечернего света, бурой прожилкой в дряхлеющем листе, – и вот уже я брожу по улицам, боясь смотреть в лицо прохожим, чтобы кто не увидел в моих глазах отражения той бурлившей, безумной жизни, которой я был свидетель, которой я был содетель! Все пусто – я один здесь надзираю за светлой, безмолвно рассыхающейся пустыней – для чего? Или я из железа? Что я делаю здесь? Мой сантехник, которого я знал прежде, нежели он вышел из чрева матери, – где он? Куда мне идти искать его? Чей это там труп прибит волною к берегу? не его ли? Нет, это какой-то чужой мальчик... Над кем это там собака воет? Не он? не он?

– Я вам давно это хотел заметить, – слышится голос из шапки. – У вас дети все в очках. Вы их не любите. Более того – не пытаетесь этого скрыть.

– Правда? А я не замечал. Это бессознательно вышло...

– Вот об этом я и говорю. Это от души.

– Я полюблю детей обязательно. Просто во мне еще не затикали биологические часы.

– Вы предлагаете дождаться, когда они затикают? – сухо спрашивает он.

Как мне это обрыдло, эти препирательства. Мальчика этого волна о камень бьет, русалка всхлипывает над ним, зелеными косами его укрывая... Пойти, что ли, посмотреть, в очках он или нет? Господи, о чем это я. Да задери тебя корова, читатель, в конце концов! На что ты мне? Где мой сантехник? Я не хотел этого, это он сам, он сам... зачем? для чего он это сделал? Что я буду делать теперь без него? На что я без него в природе? Покончить, что ли, с собой? Но, во-первых, это грех, а во-вторых, из моей крови вырастут цветы, которые образуют собой какую-нибудь обличительную надпись в мой адрес. Пусть я не бог... да, боги так себя не ведут, мне еще мама в детстве говорила... но какие-то боги есть, и я приду и скажу им... а если их нет, скажу тому, что исполняет их функции, – ну, законам природы, что ли: «Дорогие всем нам законы природы! – скажу я, и мое красивое лицо отразит душевную муку. – Где бы вы ни были сейчас, инициируете ли вы падение яблока «Коричное» в колхозе «Замесы Ильича» или в блаженном краю эфиопов определяете соотношение объема и плотности, – услышьте, молю, и к моим мольбам снизойдите! Если когда-нибудь я тешил вашу душу, беспрекословно падая с ускорением девять и восемьдесят одна метр на секунду в квадрате или выполняя какие-то другие ваши задумки, не спрашивая об их интимном смысле, – преклонитесь на мою просьбу и глас моления моего внушите! Посмотрите на меня хоть раз не как на знакомого по вашей работе! Немногим я мог похвалиться перед людьми, у меня мало было вещей, дорогих сердцу, – ибо вещи горят и

подмокают, а я часто переезжаю с одного неудобного места на другое и потому не стремлюсь иметь их много. Книги только… ну, это отдельная история. Но у меня был сантехник, и, глядя на него, я не мог нарадоваться, мечтая, как он будет лелеять мою старость, ибо не имел оснований полагать, что в этом отношении я изъят из обыкновений человечества и старость меня минует. Не буду скрывать, у нас с ним были перерывы в отношениях, но в конечном счете, мне казалось, мы найдем общий язык, и все будет как нельзя лучше. Он был достаточно благосклонен, чтоб слушать мои стихи, некоторые ему нравились, особенно переводы из Горация, у меня хорошие есть переводы, вот послушайте, он даже знал наизусть:

Роскошь персиян мне досадна, отрок;
немилы венки в лубяном завое;
дознаваться брось, где могла бы роза
  поздняя медлить.

С миртом ты простым сочетать другова
не трудись, молю: ни тебя, мой кравчий,
не бесславит мирт, ни меня, меж лозных
  пьющего теней.

Он все хвалил, дескать, это вот, «ни меня, меж лозных», как хорошо вышло, вылитый Пушкин. Да. У меня еще и другие есть… Ну ладно. Я думал, все образуется. Я повел себя не по-людски. Но кто мог знать! Я понимаю, что это не оправдание, но другого у меня нет. Я бы все исправил, если б он подождал хоть час! Час! Но он был нетерпелив – боюсь, это он унаследовал от меня. Он дерзнул на великое, и его нет. Дайте ему, я прошу, утешением в смерти хотя бы какую почесть! Владыки небес, пусть рана моя поутихнет!»

И, слушая меня, бином Ньютона не останется спокойным: слеза пробежит по его суровому лицу; и тщетно будут крепиться три закона термодинамики, скрепляя себя ложным заверением, что настоящие пацаны не плачут, – сгибаясь друг у друга за спиной, они будут чувствовать, как предательски дрожит у них подбородок и какая страшная, упоительная вещь – плач, если отдаться ему, не ставя условий. И они так расслабятся, что на какой-то момент перестанут крышевать энтропию и вечный двигатель первого рода, так что энтропия начнет, к общему удивлению замкнутой системы, убывать, а вечный двигатель – работать. И этот еще, как его, тот кислотный закон, благодаря которому ни один рычаг не дает выигрыша, как лотерейный билет, – он тоже будет носом шмыгать, слушая, какие чудесные у меня были с сантехником отношения, не то что у него с рычагами. А постоянная Планка, она так и вовсе зарюмит у всех на виду, и всхлипы ее огласят бессмертный эфир. И тогда, преклонясь на смиренную мою мольбу, близ тех мест, где Средний сантехник, покидая мир, произнес свою последнюю речь, они изведут из воздуха чреду белых птиц, издающих молчание гнутым клювом, и они будут кружиться двойным хороводом, внешний посолонь, внутренний против солнца, и так да вершится в воспоминанье о нем, сия бо нам честь подобает.

Билли Бонс покашливает из шапки, как бы напоминая, что такие приемы нынче не в моде и создают у читателя ощущение неловкости, как будто автор заставляет его искать у себя в голове.

– Да ты, бумажная душа, знаешь, как я с ними сжился? – спрашиваю я. – Ведь сантехники, созданные пером мастера, – они как живые!

– Да и не только те, которые пером, – говорит он. – Еще и те, которых не вырубишь и топором, они тоже, я вам скажу...

Где моя молодость. Это не вопрос, на который можно ответить, это такой вздох. Я хотел написать роман о Троянской войне. И что я в итоге сделал? Давно, в студенческие годы, у нас был какой-то факультетский вечер; дело было зимой, было удивительно хорошо, мы были молоды, и снег тянулся порхающими хлопьями по черному фону; тогда, я помню, устраивалась почему-то лотерея, из вещей, пожертвованных преподавателями, и я выиграл картину Пуссена, в деревянной позолоченной рамке, выставленную туда человеком, преподававшим у меня античную литературу, которому я обязан первыми подозрениями, призванными в пределе образовать разумное существо; и я потом, когда мы уже вдосталь навеселились, ехал один домой, с этой громадной, воздушной Сицилией, омкнутой резным дубом, в заледенелом трамвае, длинном, как туннель, и в левое окно светила луна, а в правом она отражалась, или наоборот... А теперь я поворачиваю его Сицилией к стене и, читая этикетку:

Пуссен Н. 1594–1665. ПЕЙЗАЖ С ПОЛИФЕМОМ.
Живопись. 1649. ГЭ.
Редактор В.А. Андреева.
Зак. 435. Тир. 50000.
Изокомбинат «Художник РСФСР», 1981, 1986 г. –

спрашиваю себя: было ли все это? Были ли эти люди? А чем подтвердишь: одни умерли, другие разъехались... про снег этот и говорить нечего: спроси, куда делся, – в эстетизме обвинят... А я где? Я переворачиваю, смотрю на эту резвость... кажется, тут я был – вот в том углу,

под сению дерев – или нет? где следы?.. или вот в этой компании нимф, не может быть, чтоб я обошел их просто так, отродясь не бывало такого, – но из чего это видно? «Центральная скала вместе с фигурой циклопа вписывается в правильный треугольник». Почему я не вписываюсь? Где этот проклятый трамвай, с его перспективным сокращением? Где всё то, что за три копейки имело право его наполнить?

Я знаю, что вы хотите сказать. Не утруждайтесь. Этот пронзительный лиризм почти кончился, и вообще он не так уж часто на меня находит. Просто при том странствии без предсказаний, делаемых предупредительными богами, без приказа создать новое царство или что-то в этом роде, – в этих авантюрных обстоятельствах, хочешь – не хочешь, а рано или поздно поддашься такой тоске, что встанешь у бушприта, под которым помещено вытесанное корабельным плотником изображение твоей души, посмотришь в ее страшненькое лицо и скажешь: ну что, родная, долго ль плыть-то нам еще? И хорошо, если кто придет и помешает, а то до такого додумаешься, что...

– А кстати, чьи это там на лестнице шаги, не знаете?

– Нет, это не к нам, кажется. Устал я, Билли, вот что. Лекцию еще писать на субботу. Верстку прислали, глаза от нее болят. Я думаю, бросить это надо. Всем лучше будет.

– Позволю себе напомнить, – говорит он, – что вы приняли на себя обязательства. Как человек порядочный, вы обязаны их выполнить и дорассказать, чем же все кончилось. Вы понимаете, за вашим отказом неминуемо последуют осложнения, и даже если не последуют, то с вами просто никто потом не станет иметь дела, кому это нужно...

«Как человек порядочный». Что они раздают мне такие авансы, которых я не намерен отрабатывать? Кто здесь порядочный? И под этим соусом вот, значит, идет он, типовой потребитель художественных текстов, чипсы с собой приволок, слушать будет, – а я, безумный транжир и мот языковых средств, призванных донести мысли и чувства автора, выкаблучиваюсь перед ним, как гаер святочный.

– Слушай, ты типа изобрази-ка мне тут гиперболу, что ли, какую, – говорит он. – Гиперболу тут вот изобрази мне. Буквально тут же.

– Чего тебе, родное сердце?

– Ну, гиперболу, в школе учили тебя? Дети, посмотрите в словарик на последней странице. Это вроде как чрезмерное преувеличение, которое, тем не менее, должно сделать язык сочным.

– Слушай, земляк, а тебе чрезмерное обязательно? Может, обычное покатит?

– Ну, не знаю. У пацанов у всех чрезмерное, а у меня обычное будет.

– Это тоже хорошо, я тебе отвечаю. Солидные люди пользуются. Если вот, скажем, я тебя, читателя, так люблю, как десять тысяч братьев тебя не любили бы. Если бы они у тебя были, конечно.

Он своим лицом задумывается так, что я начинаю бояться, что десять тысяч братьев у него есть, и они все боксеры.

– А если чрезмерное, это как будет? – наконец спрашивает он.

– Ну, это тогда тысяч двадцать пять, двадцать шесть где-то. Ну, на крайняк тридцать, но точно не больше.

– Ладно, – говорит он. – Тоже делает сочным. А там, композицию если, или еще чего, то можешь?

– Слушай, а давай я тебе чашки подарю, а? Кофейные чашки, хорошие. С жостовской росписью. Там, значит, на одной изображено, как гибнет свобода на баррикадах, а на другой – из ее праха рождается новый мститель. Реально представлено, рождается мститель, и люди тянутся к нему. Они не расходились просто все время, сидели на атасе, ждали, когда родится. И вот на, произошел. Хорошие чашки, не пожалеешь. К гиперболе в довесок, забирай, кофе будешь пить по утрам, стимулирует свирепую активность.

Он смотрит на кофе без одушевления, видимо, не любя его пить, а свою активность считая достаточной, но вдруг видит, как муха, переползшая с остывшего, но все еще интересного праха свободы на внутренний край чашки, сует свое рыльце в кофе и, как-то вся внутренно подобравшись, жгуче вспыхивает фейерверком и обращается миниатюрной брюнеткой, с мальчишеской угловатостью жестов и неразвитостью форм, в сережках с бирюзой, и на слюдяных крыльях, лукаво улыбнувшись малиновым ртом, летит от него прочь, прочь, – а он смотрит с таким выраженьем, в какое никогда не складывался, а когда ему удается опомниться, то хватается за чашку, с криком: «Сейчас, сейчас!», жадно отхлебывает вслед за ней из чашки, секунду молча стоит, глядя на себя, и вдруг, ударив жгучим фейерверком, рассыпается в воздухе на девять миниатюрных брюнеток, с мальчишеской неразвитостью форм, в сережках с бирюзой, которые, оглядев себя с рассеянным, минутным удивленьем, смеются малиновым ртом и на прозрачных крыльях пускаются за десятой, вьющейся с хохотом вокруг чашки с трупом свободы. Ф-фу!

– Билли! – говорю я. – Запишите на счет трансгендерных мутаций! Так что вы говорите – дорасска-

зать? А то из шапки плохо слышно... Ну, дело ваше. Как говорил артист Чирков, вам же хуже, товарищи. Так вот, страшный взрыв, разнесший на куски Стол...

Глава четырнадцатая,

в которой происходит то, о чем и один раз говорить тягостно

Страшный взрыв, разнесший на куски Стол, потряс корни дома номер тридцать семь по улице К. Фридриха. У Петровых растреснулись желтые обои, и в образовавшуюся щель, весело хохоча, влетело несколько миниатюрных брюнеток, игравших в салки на уровне стенных часов. Они сделали по комнате фривольную циклоиду, ни слова не сказав Петрову, словно его согласие как ответственного квартиросъемщика ничего не значило, и вынеслись в коридор, где неравномерно замигали экономические лампочки, ввинченные в узловатое бронзовое бра, и круглое зеркало хотело отразить что-то еще. Петров свернул газету «Лечимся сами», придав ей ту специфическую форму лопаточки для торта, что применяется при битье мух, и вышел с нею в коридор, не обращая внимания на тревожные слова жены, заклинавшей его в коридор не ходить и ссылавшейся при этом на дурные предчувствия и сны, которые снились ей с регулярностью, не оставлявшей сомнений. Именно, ей представлялась комета, с недобрым выражением кровавого зрачка, размашисто сверлившая бурлящую кулису небосвода, и ей дано было понять, что комета намекает на предстоящее бедствие, связанное с ее мужем, известным ей Петровым; она тем более укрепилась в этой уверенности, что, ежедневно смотря новости, обнаруживала, что нигде в мире не наблюдалось озорства с применением сейсмической активности, что Северная Ирландия и Пенджаб оставались на диво спокойными, словно ожидая хороших подарков на Рождество, саранча вообще демонстративно перестала размножаться, так что даже бушмены жалуются, и что, следовательно, исправно падающая в ее сознании комета ни к чему иному не может относиться, как к ее мужу. Но он слушать ее не стал, назвал ее совместницей девицы Ленорман, что прозву-

чало грубо, и предметом удивления обоих континентов (Гондваны и Лавразии), и вышел-таки в сторону тускнеющего бра, увитого хохотливым хороводом рассыпчатых брюнеток, будучи вооружен модифицированным пособием по самолечению. Жена хотела его остановить насильно, но у нее зачесался локоть, она почесала его, потом еще, а когда эта непосредственная реакция на раздражитель не принесла пользы, она посмотрела туда и увидела, что кожа на локте лопнула и разошлась. Жена Петрова приписала это своей впечатлительности, никогда не позволявшей ей безвредно смотреть, как варятся раки и стручковая фасоль, и сейчас, видимо, спровоцированной возникшими трещинами на обоях; но в трещине на локте что-то заголубело, промелькнуло, и она, наклонясь к нему, с невыразимым удивленьем увидела себя, в ту пору, когда, совсем молодой, она приехала в город Ленинград и замедлилась апрельским утром подле бесстрастных египетских сфинксов, с безотчетной тоскою наблюдая, как видимая ею картина, полная официально-холодноватого солнца и дышащего воздуха, в равномерном движении уходит в ей одной ведомую даль, чтобы там растворить увлеченного ею зрителя в крупитчатой синей соли могучих просторов. Жена Петрова давно все это забыла за ненадобностью; наблюдение за тем, как вымирают воспоминания, не относилось к числу любимых ею занятий – и ее можно понять – но локоть показал ей бывшее с такою навязчивою силою действительности, что она невольно закрыла глаза и застонала, впервые чувствуя над собой такое обладанье и потому не имея средств его сдержать. Когда глаза ее открылись, зазиявшая щель на правой ладони яснее ясного показала ей, как она читает со сцены стихи на выпускном вечере, вся в бантах, сочиненные ими кол-

лективно про всех учителей и полные прочувствованных слов, расположенных в произвольном порядке относительно друг друга и ритмической основы; и как она, ужасно волнуясь, словно для этого был повод, споткнулась на физруке, абсолютно забыв, что там было после строки «и скакать через козла», и потом плакала за кулисами, утешаемая сгустившимся над ней навесом все еще одноклассников, твердо уверенная, что день безвозвратно испорчен, что жизнь безвозвратно испорчена, – и это чувство, хранившееся где-то, как яростный ифрит в литровой банке, со всей его первобытной мощью, она почуяла так, что ей захотелось побыстрее запихать чего-нибудь в ладонь и прекратить это испытание. Но уже ноздря, из которой кричали «горько», донесла до нее весть о двух вещах – во-первых, о Петрове, с его красным лицом, туго вращающимся в прорези свадебного пиджака, а во-вторых, о том, что ее воспоминания отныне сделались звуковыми и что с минуты на минуту какой-либо участок ее поверхности, разверзшись, как гроб в балладах Жуковского, подарит ее стереоскопическим фрагментом ее забытого существования. Изнемогая от эффекта присутствия в самой себе, с качающимися и рушащимися внутри ее тела фрагментами эмоций, пришвартованных к давно погибшему моменту, опасливо перебираясь по дымно золотящемуся строительному праху намерений и разочарований, она находила во впечатлениях раннего детства то, что переживала в дальнейшем с неизменным ощущением новизны, и соседние поры ее тела наперебой говорили ей о таких душевных движениях, переживать которые одновременно или даже пережить вообще она сочла бы невозможным. Ее грудь, набухающая в бесстыдствах памяти, ее живот, в котором нерожденные дети толкались среди несъеденной еды, и

слабеющие ноги, обреченные выносить дважды и трижды то, что когда-то казалось немилосердным, мелко двигались в разные стороны, одно – к смутным предположениям об истинных мотивах, другое – к роковой уверенности в сцеплении давно ненужных обстоятельств, и между тем как ее глаза, которые принято смежать при любом погружении, неотрывно глядели на курчавое лыко обоев, выползшие из-под халата белые колени выстукивали друг об друга что-то, могущее быть неофициальным отчетом об общем состоянии. Стены загудели и выгнулись, и жена Петрова увидела, как на фотографических портретах ее родственников, вывешенных на пустых местах, дрогнули и напряглись лица, словно распор пришелся на них и вся тектоника здания имеет их последним основанием: мужчины в соломенных канотье и женщины в дымчатых шляпках, несшие, как паспортную примету, чувство беззаботного обладания будущим, стали атлантами и кариатидами, каждый императорский апофеоз отныне был их личной мукой, и черно-белая кровь залила их немые глаза. Покорно привыкшая, перемещаясь по дому, находить настенную родню при одном и том же выражении, жена с боязнью наблюдала, что тяжелое усилие сведенных мышц возвращает им жизнь, как искажение покоя, и что плоская тень неизвестно чьего прошлого, ортогональная проекция боковых родословных ветвей, набухает и уплотняется судорожной трехмерностью, и ей от этого хотелось выйти хоть куда, но ноги занимались важным воспоминанием, не размениваясь на рутину. Стены разошлись, как цивилизованные люди, – без взаимных упреков; Петров крикнул и защитился газетой, – сверху, предваряемое серией звуков, рухнуло тяжелое тело, опознать которое в полевых условиях было нельзя, а там, куда оно устремлялось,

было и некому опознавать, поскольку там ни для какого тела знакомых не предполагалось. После его пролета, как бы некоей жертвы мирозданию, все обманчиво утихло, и Петров, задрав небритый подбородок, который уже не суждено было выбрить в этом мире, глянул в крошащуюся мелкой щебенкой дыру в потолке, через которую виднелась дыра в следующем потолке. Через эту импровизированную анфиладу форамен, как выяснилось впоследствии (впрочем, для кого?), низвергнулся, новый Фаэтон, едва не задев охотящегося на брюнеток Петрова, Терентий Сервильевич Гальба, раньше других испытавший роковую непрочность обстоятельств и в корчах кирпичной утробы рухнувший к центру земли, когда в соседних подъездах у людей еще и ложечка не звякала о стакан. Достигнув того мира, который с такими усилиями удалось покинуть Генподрядчику, Терентий Сервильевич, не понесший серьезных повреждений, принялся проповедовать Южную Америку среди мертвых, а они в нее не верили и подвергали его всяческому осмеянию, что, впрочем, он считал верным признаком успеха. Довелось увидеть ему восходящую линию своих предков: чем дальше, тем более приличными людьми они оказывались, не побуждаемые, однако, даже связью крови согласиться с Южной Америкой и вести себя в дальнейшем так, словно она их к чему-то обязывает. Одна старушка, испытав к нему симпатию, подошла с нескончаемым разговором о том, как ее кавалер, который у нее когда-то был, человек ветреный, но которого дядя был хорош с индийскими йогами, обещал ей однажды, чтобы загладить впечатление от очередной его открывшейся неверности, даровать ей такую жизнь, какую она захочет, и она, зачерпнув пригоршню земли из горшка, в котором росла на окне традесканция, предложила дать

ей жизни столько, сколько тут у ней всего в ладони; и он сумел, потому что был человек, в конечном счете, из порядочной семьи, но только, кроме земли, распадавшейся на множество рыхлых крупинок, она зачерпнула оттуда и камешки, которые по науке положено укладывать в горшке, или, как это теперь в магазинах называют из стыдливости, кашпо, и червячков, которые сами там завелись от грязи, так что в жизни ее, что греха таить, действительно длинной, были годы, удивительно похожие на камешки, а попадались и такие, которых не отличить было от червячков, и она, хоть и считала себя человеком счастливым, находясь уже в тех местах, где можно судить об этом вопросе убедительно, а все, бывало, жалела, что не оговорила тогда, чтоб камни и червячки не учитывались как таковые. И Терентий Сервильевич вынужден был, несмотря на всю несклонность слушать других, узнать до конца перипетии ее, старушкиной, жизни, столь чудесно похожей на горшок из-под традесканции, и хотя он еще ласкался мыслью, что ее словоохотливость вызвана к жизни тем, как ему удалось призвать людей к протесту, старушка простодушно рассеяла его честолюбивые иллюзии, сообщив, что, во-первых, он приходится ей внучатым племянником, через известного Игоря Ивановича, с которым она последний раз виделась в Стамбуле в девятьсот двадцатом году, а во-вторых, ей жалко было смотреть, как он мучится здесь со своими проповедями и людей мучит, хорошо живших без его политической строптивости и способных жить и дальше. В то время, как Терентий Сервильевич испытывал тяжелые удары по представлениям о своей необходимости, у Петрова в квартире лопнул и погас весь свет, и он ходил по темноте, нашаривая в ней различные углы работящими руками, взывая к жене, но не

получая локализующего ее ответа, ибо она еще прежде общей темноты утонула в слепой зыби своего прошлого, и публично обещая, если ему попадется тот, кто виноват в этом во всем, съесть его мозг, чтоб другим неповадно было, – и при этом перемещении, бесследном, подобно орлу в небе и кораблю в море, Петрова не покидало ощущение (Так говорят: «не покидало ощущение». Это значит, что оно находилось с ним, как последний спутник, который в состоянии был без легкой тошноты выдерживать этот круговорот Петрова среди мебели), что кто-то за ним наблюдает, и эта мысль его бесила, предполагая, что в этих условиях кто-то может располагать органом, способным к наблюдению. И кто-то, вероятно, за ним наблюдал, но кто именно, остается неизвестным, потому что больше за этой сценой не наблюдал никто. Когда Петрову в темноте, прерываемой полузадушенным смехом брюнеток, которые прятались друг от друга в пушистых рукавах жениной шубы, пришла мысль воспользоваться помощью законов природы (он исходил из того разумного соображения, что законы природы – вещь не монолитная и при желании можно создать ситуацию, у юристов именуемую антиномией, спровоцировав, например, первые два начала термодинамики, чтоб они восстали друг против друга, а потом науськать на них третье), ибо если уж одни накинулись на него, то наверняка найдутся другие, которые ему помогут, он отыскал, вопрошая мрак хозяйственной рукою, две бутылки шампанского, зажал их под мышками, днищем вперед, выбил пробки (не знаю как) и, благословляя природу, которая для удобства трудящихся изобрела реактивную силу, с гиканьем поехал, сметая со стен вешалки, в ту сторону, где, по его соображениям, существа, подобные ему, претерпевали сходные неудоб-

ства. Но, на его несчастье, шампанское выдохлось раньше, чем он донесся до входной двери, а поскольку в коробящемся доме полы вставали дыбом, то Петров, сначала двигаясь все медленней, а потом и вовсе застыв, устремился обратным путем, пока не оказался почти на той же точке, откуда начал свою экспедицию, единственным положительным результатом которой стало то, что сквозь дыры, пробитые в пористых стенах пробками от шампанского, в темный и гудящий дом проникло еще несколько брюнеток, которых в темноте можно было опознать по милому вздору их задыхающихся от счастья голосков и по острому веянию слюдяных крыльев у виска, к чему бываешь особенно чуток, когда ночью пытаешься убить на себе комара. Петров, впрочем, оказавший в нынешних обстоятельствах удивительное упорство, как будто ему предстояло открыть полюс чего-либо, почти добрался, разъезжаясь ногами, которых в иные мгновенья казалось больше чем две, в щедро употребленном шампанском, до дверей, заранее благодарным криком прося о помощи, но тут кто-то вкрадчивым голосом посоветовал ему на ухо больше ни о чем не кричать, потому что за дверью сейчас такая обстановка, что известны случаи каннибализма, и он кричать перестал, потому что, сам только что испытывавший потребность в выедании мозгов как дидактическом средстве, легко мог допустить, что она возникнет и у других. В то время как Петров не кричал, потому что был слишком угрюмого мнения о человеческой природе, в частности считая, что она всегда возьмет свое, да еще и чужого прихватит, у Серафимы Павловны, давно проснувшейся, но почему-то не встававшей, от подземного сотрясения распахнулся платяной шкаф, и из него вывалился скелет. Выпал он не совсем, потому что его не пустил галстук, и про-

должал стоять, как бы напоминая о себе и не то чтобы взывая к каким-то действиям в свой адрес, но в общем намекая, что их можно было бы произвести. У него все кости были на месте, производя ощущение добротного опорно-двигательного аппарата, который в лучшие годы, если ему припадала охота поопираться и подвигаться, мог ни в чем себе не отказывать, и единственной его видимой странностью была левая кисть, слишком не подходившая к его мужской основательности, тонкая, женская, с удлиненным и несколько отставленным мизинцем, который украшался кольцом с резной геммой. Серафима Павловна взглянула на кольцо, которого так давно не видела, и вдруг припомнила за своей худой спиной блестящую будущность, которую ей лет семьдесят назад прочили как физиологу. Ее прадедушка был известным хирургом, именно он предложил в польскую кампанию пришить графу Валериану Зубову ногу полковника Рарока, поскольку она меньше пострадала от поляков, но в таком случае у графа Зубова оказалось бы две правые ноги, а это сочли несовместимым с достоинством Российской империи, и потому ногу Рарока похоронили как неполиткорректную, без колокольного звона и речей о ее добродетели, а граф Зубов остался со своей одной, не переставая, однако, до конца жизни испытывать к прадедушке самую теплую приязнь. Бабушка ее училась у самого Бурделя, а сам Майоль делал с нее своих Помон, с галльской непосредственностью высказывая сожаление, почему он не таксидермист, тогда он передал бы шелковистую фактуру бабушки гораздо, гораздо лучше, и бабушка тактично с ним соглашалась. Благоприобретенные таланты предков в Серафиме Павловне, смешавшись, стали одним врожденным: она была таким одаренным вивисектором, что сам доктор Моро

без колебаний поступил бы под ее начало, чтоб поучиться методам. Она работала в секретной лаборатории, на Поварской, под проезжей частью, где разрабатывались новые формы жизни на базе существующих. Брали людей, живших без удовлетворительной отдачи, смешивали их друг с другом и с подходящими по размеру животными, а потом смотрели, как оно шевелится. Серафима Павловна, обходясь практически без инструмента, творила с человеческой плотью чудеса: она способна была усеять человеку спину двумя рядами пересаженных ушей, так что он мог бы подняться в воздух, если б умел ими шевелить, или лаборанту, заснувшему на рабочем месте, вживить на кончик носа указательный палец, так что его укоризненное покачивание было первым, что он видел по пробуждении. В нашу страну приехал посол какой-то новообразовавшейся африканской республики, прекрасный квартерон с безукоризненным французским выговором; его портфель украшен был гербом с чем-то вроде турухтана; ему показывали славу страны, и Серафима Павловна была в списке. Она влюбилась в посла, с удивлением обнаружив в себе это влечение; привыкшая распоряжаться людьми, с этим человеком она не могла ничего сделать, поскольку он был не ее прихода, и только наблюдала, как в светском собрании он оказывает любезности своей переводчице, которую ему предоставил наркоминдел, сдержанной шатенке с геммой на левом мизинце. Серафима Павловна, привыкшая изъяснять иные чувства, тяготилась с этим, стесняемая неизбежным посредничеством переводчицы; на мучительном языке околичностей, изобретаемом на скорую руку, она пыталась довести до квартерона то ощущение, что было предметом ее счастья и стыда; способная понимать французскую речь, даже

когда та содержала вежливый отказ, Серафима Павловна имела возможность сравнить ответ посла с переводом и нашла, что торжествующая переводчица нарочно выбирала из возможных синонимов самые язвительные. Если бы советская речь допускала такой поворот, можно было бы сказать, что ад царил в ее душе. Она хотела бы сшить его атлетический торс с лошадиным, чтобы вкушать жгучее удовольствие от картины, как он, с пенящихся губ роняя обрывистые арготизмы, топочет по тучным колхозным лугам, провожаемый ржаньем коллег, и бессонными ночами утоляла свою мстительность детальными размышлениями, отлично понимая, что выместить оскорбление ей дадут на ком угодно, только не на амбассадоре вольнолюбивого государства. Но замысел у нее родился, и в «Справочнике практического вивисектора» красный кленовый лист был заложен на разделе «Зондаж и утилизация естественных полостей». Она добилась, чтоб послу показали ее лабораторию – под видом чего-то хирургически-невинного; он шел, и его свита редела из поворота в поворот коридора, деваясь неведомо куда; в большой операционной они остались втроем; Серафима Павловна, обратясь к квартерону по-французски, сказала, что нужны были особенные обстоятельства, чтоб ей, гордой женщине свободной страны, унизиться до просьб и признаний; что, однако, она пойдет и далее сих последних, чтоб обрести его сочувствие; что, если бы из этого помещения, над которым разъезжают, неся свою службу, советские автомобили и грузовики, видно было солнце, она указала бы на это светило, чтоб было с чем сравнить ее страсть, и что, наконец, без его любви и самое солнце будет ей казаться мраком. Он отвечал ей на то, что, к своему сожалению, не может отвечать ее чувствам, впрочем

глубоко уважая их искренность; что приезд в эту страну подарил ему знакомство с женщиною, любовью которой он, смеет надеяться, украшены будут долгие его годы; что счастливое сочетание в его избраннице славянской задушевности и очарования французского позволяют ему надеяться, etc., и что во всяком случае он полагает, etc. Серафима Павловна прервала его речь, тряхнув головою, с побелевшими от бешенства глазами. «Ну, смотри, матушка, – сказала она, поворотясь к бледнеющей переводчице. – Победила, думаешь? Не спеши»; и, с улыбкою посмотрев снова на посла, прибавила, что он, к несчастью, недооценил ее искренности и что ему следовало бы быть осторожнее, хвалясь тем, что он не имеет сил защитить. На посла напала внезапная дурнота: он поднес руки к горлу, с мелькнувшей мыслью об отравлении, и рухнул близ стола. Очнулся он в своем гостиничном номере, приподымая от подушки тяжелую голову; подле него хлопотали люди; он спросил – ему сообщили, что ему стало плохо на экскурсии, но своевременные действия столичных медиков, и проч., и что вообще удачно падать в обморок, будучи в гостях у медиков. Он всех выслал и остался один. На столе белелось письмо от Серафимы Павловны. Там написано было, что счастья иногда столько бывает, что удержать не в чем. Он решил, что это идиома. Голова очень болела, он потер лоб рукой и почувствовал, что его царапает. Он глянул: из его левого рукава глядела узкая, теплая рука, украшенная геммой; тонкая багровая линия, обнаружившаяся из-под засученной рубашки, указывала место, откуда начинался он и где кончалась его переводчица. Метью Льюиса тогда еще на русский не переводили, и сюжетов в его духе административный аппарат не любил. Эта история как-то распространилась, хотя чудо-

вищность ее казалась быть лучшим залогом неизвестности; Серафиму Павловну с сожалением вынуждены были отставить от дел, не заводя в ее отношении судебных разбирательств, но сочтя ее душевную неуравновешенность достаточным поводом держать ее в отдалении от физиологических судеб страны; что касается исчезнувшей переводчицы, то держалось стойкое поверье, что в одном тесном углу лаборатории, если присесть между стеной и вытяжным шкафом, любая произнесенная фраза будет незамедлительно переведена на французский бесплотным женским голосом, с прекрасным парижским выговором и ноткой слабого сожаленья; смелые проверяли этот слух, несмотря на запреты администрации, однако говорили, что с годами голос все более терял квалификацию, на все запросы отделываясь одной фразой, сообщавшей, что этот человек лесник и художник, он занимается вопросами экологии, а его картины имеют большой успех; впрочем, стоит заметить, что мы много видели людей, коим мелочность не позволяла признать действительного великолепия в разнообразных чудесах и загадках природы. Серафима Павловна кивнула скелету, как давно не виданному знакомому, и маникюрными ножницами перерезала галстук, чтобы даровать ему свободу; скелет упал еще не сразу, но неизрасходованной ловкости оставалось в его балясах достаточно, чтоб он сделал несколько шагов и за минуту до того, как обрушившиеся перекрытия превратили квартиру Серафимы Павловны в гробницу варварского царя, вышиб дверь и вышел на лестничную клетку, давая Петрову, если б тот выглянул из квартиры, возможность удостовериться в том, что за дверью в самом деле нечисто. В то время как они забавлялись всем этим, поэт-песенник, известный энкомием в честь их-

тиологических достижений Павла Сергеевича, задумывал проникновенную песню, навеянную судьбой своей старшей тетки, которую он в свое время, приехав к ней на отпуск в деревню, спас из загоревшейся избы, откуда она не хотела уходить, и увез жить в Москву, где она через месяц умерла от непривычки, и он сжег ее в крематории; в песне, предполагавшейся в традиционном духе, крематорий не должен был получить отражение, поскольку его образ не гармонировал с настроением раздольности, а упор делался на то, как величественна жизнь, прожитая вместе со страной, когда осокорь режет босые ноги, а над русой головой в ароматном небе нарезают безмолвные круги скорее всего хищные птицы. Песня, однако, пошла, как неравномерно нагруженная телега, в другую сторону; рифма, небогатая, но настойчивая, как середняк с двумя разнополыми лошадьми, от кружащихся птиц потянула песенника к каким-то двум мужикам, из которых один просил у другого помощи против местных, которые вконец обнаглели. Он выкупил у колхоза большой пруд, где прежде плавали утки, покрышки и дачники, с намерением поставить в нем удивительный для человека аттракцион, именно чертово колесо, чье основание и нижние кабинки уходили бы в воду, а верх высоко над ней торчал, и любой, севший сюда и пристегнувший ремни, имел бы время познакомиться с застенчивым миром русского пруда, а потом, с плеском и задыханием, как мельничный плиц, вынесшись на воздух, быть воздетым до прекрасной и запоминающейся панорамы будничной жизни села в алмазных россыпях росы. Сельчане этому противились, не из принципиальных соображений, а из лености и зависти, что им самим, жившим у этого пруда со времен Ивана Калиты, подобное предприятие не заронилось в голо-

ву, и всячески мешали строительству, подкапываясь, с дыхательной тростинкой во рту, под сваи колеса или отводя из пруда желтую воду. Строитель колеса-амфибии просил второго мужика, как имеющего в руке своей силу, остервенелых людей природы и истины как-то укоротить, а тот, отказывая в помощи, объяснял ситуацию. Все его ребята превратились в дроздов, когда он выехал с ними на пикник, и расселись на сучьях, а выехавшие с ними девчонки пытаются их ловить, и что лично он винит во всем шашлычный соус, потому что он один ел без него и остался идентичен натуральному. От этой безобразной песни создатель фыркал и волновался, пытаясь вести ее в правильное русло, а та жила, как придется, словно в насмешку породив из себя еще какого-то общественного пастуха, который, когда девчонки, отряхивая покрасневшие ноги от крошева дубовой коры, пристали к нему с вопросом, что принято в народе делать с дроздами, немедленно превратился в большой куст чертополоха, демонстрируя неприязнь к городским. Песенник, однако, выказывал исключительную настойчивость в борьбе со словами, столь же бессмысленной, как борьба лучшего с хорошим и коней с овсом, не замечая, что вокруг него осыпающаяся штукатурка образует снежные заносы, что его фигура все более и более делается символом жизни, прожитой вместе со страной, и что на его надрывные, отчаянные напевы скелет в обрывке галстука, сидевший понурясь на лестничной клетке, встрепенулся и насторожил остаточное внимание. У Ивана Петровича загорелась проводка, синим огоньком побежав вверх по стене, и добралась до картины Айвазовского «Бой в Хиосском проливе», висевшей здесь с тех отдаленных времен, когда его вкусы еще ей соответствовали. Иван Петрович, сидевший за столом,

оперся подбородком на ладонь и стал наблюдать, как огненная стихия тлит зеленые недра Эгейского моря, заставляя их лаково чернеть и свертываться печной берестой. Пожрав корму турецкого корабля, трепещущую красными бандерами, огонь продвинулся правее и лизнул обшивку большого парусника под Андреевским флагом, в котором Иван Петрович привык чтить печальную судьбу линейного корабля «Евстафий», хотя не знал, что давало ему на то основания. Он заколебался, не постыдно ли для славы русского флота его бездействие, но потом рассудил, что «Евстафию» так и так оставалось жить не более нескольких минут, по истечении которых он взлетит на воздух, сцепившись намертво с «Реал-Мустафой», и никакие действия Ивана Петровича, могущие быть предпринятыми, корабля не спасут, как не спасут и обреченного погибнуть на нем Федора Козловского, который, хотя циник и богохульник, за всем тем обладал исключительною легкостию стиха, и которого если бы привел Бог вернуться домой из Архипелага, недописанная его трагедия «Сумбека», по-видимому, куда исправнее поведала бы миру о грустной казанской царице, нежели славная, но многими справедливо укоряемая в погрешностях поэма М. М. Хераскова. Но покамест Иван Петрович размышлял обо всем этом и многом другом, успев и оплакать Козловского с пятью сотнями погибших солдат, и загадать сам с собою, что раньше воспламенится на «Евстафии» от неисправностей проводки, бизань-мачта или левый борт, линейный корабль поежился и отпрянул от линии пламенного фронта, заслонив часть битвы, исторически занимавшую правый угол полотна. Иван Петрович обратил внимание на этот эпизод сражения, не отраженный мемуарными источниками, но дальше стало еще интереснее, так что тетради про-

верять вовсе расхотелось, когда Андреевский флаг, овеянный огнем, повернулся вокруг себя, превратился в розовую ладонь с пролонгированной линией жизни и накрашенными ногтями сделал в сторону Ивана Петровича жест, кокетливость которого перед лицом превосходящих турецких сил тот расценил как неуместную. Покамест он не знал, как реагировать на это нарушение жанровых ожиданий, мачта, из которой произросла ладонь, заткалась желтыми сухожилиями, а потом поросла синею сеткой венозных путей, незамедлительно осененную персиковым пухом нежной кожи; Иван Петрович, очередной раз сказавши себе, что жениться надо было до того, как это начнет влиять на восприятие изобразительного искусства, продолжал, однако, с интересом, напряжение которого не слабело от утраты бескорыстия, следить, как вторая рука, обтягивавшая собой торчавшую вправо рею, щелкнула пальцами в горьком от пороха воздухе, и огонь, ненасытимо пожиравший правых и виноватых, на мгновенье замер; как шпангоут превращался в ребра, как экипаж, сгрудившийся на них, решил покинуть судно, и как наманикюренные пальцы, мазнув по отвалившим шлюпкам, коснулись до поднявшейся над бурунами груди. Иван Петрович представил, каково матросам, находящимся сейчас в трюме, и решил этого больше не представлять. Корма стремительно канула в воду, поднявшийся дыбом форштевень сложился в лукавые черты девичьего лица, полускрытого мокрыми прядями лазоревой гривы; махнув громадной головой меж корабельных мачт, нимфа российского флота, промчавшаяся до брегов лемносских, приветно махнула Ивану Петровичу и гулко нырнула в пучину, показав ему на прощанье добротную поясницу. Море свернулось за ней гремучим водоворотом, пустившись

уходить само в себя; корабли обоих флотов закружились в громадной заверти, полной пара, тщетных команд и дробящихся брызг, и пред глазами Ивана Петровича, напрасно гадавшего, может ли это происшествие задним числом отразиться на судьбе героической эскадры, от ушедших пучин остался один белый лист, который огонь доедал добросовестно, но без одушевления. Внезапно похорошевший «Евстафий», с лебяжьей грудью над бурной влагою, так поглотил Ивана Петровича, что он не отвлекся даже в тот момент, когда из подъездной двери, распадшейся в железное крошево под оседающим домом, поднялась, отряхиваясь от цементной пыли, высокая девушка, в джинсах, облегающих действительно хорошие бедра, и с тем задумчивым выражением лица, что выдает воспитанную музыкальной школой привычку слушать квартеты звездных сфер, подняла темные глаза, словно рассчитывала, высоко ли можно подпрыгнуть, и, ударившись о слоистый труп подъезда, ингредиентом которого она служила столь долго, порхнула над ним небольшой белой птицей с неразборчивым названием, близ окна Ивана Петровича на мгновение задержавшейся в воздушных токах, прежде чем пуститься за своей стаей, в существовании которой она была уверена, и заглянувшей в его темный покой, неровно озаряемый гореньем Хиосской бухты, – этого к нему несколько бесцеремонного интереса, повторяем, Иван Петрович не заметил. Меж тем по треску переборок и лопанью стенных шкафов, по тому, как на кухне и в ванной срывались краны, с шипеньем бившие белыми струями, по агонии дверного звонка, заведшего последнюю трель, следовало сделать вывод, что, чем грезить о судьбе эскадры Спиридова, скорее бы стоило оценить свои перспективы, но думать о себе было органически

неудобно, и Иван Петрович этого делать не стал. Когда потолок начал валиться на Ивана Петровича, он сказал: «Ну, наконец-то, слава Богу» и с готовностью отложил изложения с элементом сочинения. В это время та сила, которая патронировала его судьбу, добивалась в инстанциях, чтоб Ивану Петровичу в награду за все дали бессмертие, хоть какое (она именно так и выражалась, «хоть какое бессмертие»). В принципе вопрос был улажен и со всеми переговорено, и силе, которая занималась Иваном Петровичем, все выражали сочувствие, относящееся как к ее добросовестности в отношениях с подшефным, так и к обоснованному характеру просьбы. Когда бессмертие для Ивана Петровича было уже решено и подписано, причем к нему было даже прибавлено двадцать процентов от проектного запроса за выслугу лет, искренне обрадованная сила спешно спустилась из той сферы, где поручается шефство, на невидимой раковине, запряженной невидимыми голубями, и, сказав им: «Тпру», стала над пыльной грудой, от которой хотелось чихать, высовывавшей из себя осенний ботинок, слепые лампочки, сломанные лыжи «Марий Эл», семейные фотографии на субботниках, полупустой ежедневник на 1990 год, и сильно задумалась. Пока она размышляла о кончине земных величий, вспоминая некоторые города и флотские соединения, за которыми ей доводилось присматривать, один человек у себя на кухне пил что-то из чашки, которую завод-производитель окрасил в цвета аллергической реакции, и не заметил, как через дверной глазок в его квартиру влетела одна из миниатюрных брюнеток, отбившаяся от стаи. Один человек зевнул, брюнетка, не зная в этих краях дороги, влетела к нему в поместительный зев, ошибочно думая, что здесь пройти не сложнее, чем через закрытую дверь, и

человек, захлопнувшись, ее поглотил. С неопределенным лицом он заглянул внутрь себя, не поняв, что его засорило. Похоже, что брюнетка сначала пыталась еще наладить общение с его внутренним миром, но крылья ее намокли, и непринужденное пенье конфузливо смолкло, потому что на желудок петь голодный, в котором она очутилась, ей было неудобно, а больше она ни в чем не успела, потому что человек ее растворил. Острое тепло ее часто бившегося сердца прошло по нему до кончиков пальцев и заставило с недоуменьем пилигрима оглядеть тесно сбившиеся вещи, среди которых он многолетно двигался, не меняя дороги. В это время в комнате, называющейся зал, жена человека поставлена была лицом к лицу с тем фактом, что лопнувшие от деформации трубы вызвали всплеск растительной жизни. Все, что хирело на подоконниках, вспомнило о себе. Гортензия открыла красную пасть и меланхолически поглотила обомлевшую от подобного захода муху, а потом выплюнула поочередно шесть маленьких берцовых костей, декабрист выбросил далеко вверх ядовито-желтые цветы, на чьих лепестках отчетливо читались наиболее важные фрагменты статьи «Памяти Герцена», толстянка, она же денежное дерево, наконец зацвела деньгами, чего столько лет не делала, хоть ее исправно кормили суперфосфатом, и жена хотела было их собирать в пакет, но увидела, что это купюры, отмененные реформой, когда шутили, что у нас теперь все деньги юбилейные в честь Виктора Гюго, одни – «Отверженные», другие – «93-й год», и что если она хочет нынешних денег, ей надо пойти в магазин за новой толстянкой, проклюнувшейся уже после реформы. Пока стволы и листья всего этого, кудрявясь в объятиях друг друга, застилали стены, источая влажный дух тропического леса,

процесс радостного одичания перекинулся на царство минералов, причем первым на его пути стало наследственное шоколадное пианино с благородными очертаниями шведской ратуши, на котором младшая дочь в пору своей музыкальности бегло отыгрывала французскую песню «Скажи, любимый мой, зачем ты не со мной». Пианино икнуло, словно намекая, что могло бы заниматься вокализом и без принуждения, и, приподняв крышку, словно верхнюю губу, отчего приобрело вид раздражительности, выбросило из крайних белых клавиш длинные бивни, а потом подумало и аналогичные бивни, только черные, отрастило из соседних клавиш. Вследствие этого выход из комнаты, не сопряженный с массивной кровопотерей, стал невозможен. Пока жена человека освобождала ноги от домогательств со стороны плотоядных лиан, сам человек с тяжелым удивленьем глядел на все, его окружавшее, смутно вспоминая из служебной молодости, что любое окружение производится с целью уничтожения или пленения, чему особенно способствует одновременное блокирование с воздуха; на воздухе он ничего пока не видел, но форточку прикрыл. Паноптикум семейственных вещей нависал над ним, наливаясь неумолимой враждебностью, словно гулкий замковый коридор, по которому он шел с астматическою свечкой, и любая вещь, которую он счастливо купил в Москве в 63-м году, не пожалев для нее сходить занять денег у человека, с которым у него были очень натянутые отношения еще по Новосибирску и которого он, правду сказать, не без оснований считал порядочной сволочью, – эта вещь, наплевав на все то, что было ими вместе прожито, грозила за его спиною обернуться курьей ногой на нитке. Человек коротко вскрикнул, уронил на себя дуршлаг и побежал. Коридор, еще не

зная, что началось общее восстание, пропустил его беспрекословно. Человек застыл на пороге комнаты, вглядываясь, как средь душно-ароматного мрака криптомерий его жена, в истерзанном кочующими муравьями халате, с волосами, льющимися волной до пояса, как сорок лет назад, и с лицом, искаженным победой, наступает на горло размозженной лиане, и из глаз ее льется тот чудесный, давно смеркшийся свет, который, как можно было теперь понять, и был единственным недвусмысленным в его жизни. Он протянул к ней руки, сразу расцарапанные пианинными бивнями, не очень заботясь, узнает ли она его лицо, лоснящееся от страха, в чьи глаза с размаху билась изнутри заточенная брюнетка, и хотел сказать ей, что она одна – что только ею – – Рыбы из аквариума выглядывали с интересом, облокотясь на плавники, и ждали, как пойдет трогательная сцена меж человеком и женой. Между тем в их аквариуме, который начал функционировать как телеприемник, стало видно, как в соседнем подъезде, у того человека, который когда-то спотыкался о корни люстры, на его ковре, с невыводимым пятном от супа, персидский шах так влюбился в прекрасную серну, что жить без нее не мог, и, казнимый ежеденно ее холодностию, в конце концов наложил на себя руки, совершив тяжкий грех, и валялся непогребенный до тех пор, пока мужик, ходивший по нему ногами, не вытерпел и не сказал, что это не соответствует никаким санитарным нормам и что надо его достойно похоронить. На вопрос жены, кто этим, с его точки зрения, должен заниматься, он отвечал, что, насколько можно заключить из осмотра ковра, у покойного никого ближе, чем они двое, на этом свете не осталось и долг погребения лежит на них. И у него хватило упорства отправить ее в областную библиотеку, где она искала

протокол захоронения персидских шахов, а потом усадить ее на две недели вышивать по вечерам на этом ковре крестом, как ее учили в школе, правильный катафалк и нескончаемую скорбную процессию с многочисленными орденами и медалями покойного, и лишь с большим трудом она отвоевала у своего мужа, возглавившего комиссию по организации похорон, право не вышивать на ковре надгробные речи, выходящие изо рта пузырями, как в комиксах, и написанные куфическим письмом. А прекрасная, но жестокая серна, когда процессия проходила мимо нее, пережила такое потрясение, что от мук совести превратилась в свою мраморную статую, и ее поставили на могиле покойного в предостережение всем жестоким, что остаются еще в подлунном мире. Для некоторых деталей вышивки жена мужика хотела пригласить из соседнего подъезда жену Пикеева или кого-либо из его дочерей, которые славятся своим рукодельем, но поскольку у Пикеева был в тот момент массированный запой, там все были разнообразно заняты, так что даже обрушение дома прошло для них малозаметным. Все это видно было в аквариуме, как на ладони, среди кормушек, колесиков и рыбьих домиков, но все рыбы были повернуты к этой увлекательнейшей истории вуалевыми хвостами, поскольку перипетии одного человека, как лица, оплачивающего их корм, были для них важнее, и при известных условиях, если бы кто-то взялся за драматическую обработку этого эпизода, рыбы составили бы в этой драме отличный хор, умей они при этом петь. Но широкий лист папоротника, испятнанный пурпурным лишаем, развернулся тяжелою кулисой, заслонив человека с его женой от рыбьих глаз, и рыбам этой квартиры оставалось только мечтать о такой активной роли в жизни людей, какая, скажем, разворачивалась семью

этажами ниже, где жена человека, в свое время видевшего за окном салаку, снова купила салаку, но, на этот раз сумев инсталлировать ее в холодильник, была вынуждена видеть, как при сотрясении дома ее холодильник, с тем остервенением, с каким вообще этот текст отделывается от своих героев, распахивается и выпускает из себя длинную рыбу, с облегчением расправляющую на полу закоченелые члены. Жена человека намерена была подойти и рыбу на руки взять, но из-за сотрясений дома скользкая салака понеслась по линолеуму, ушла у нее из пальцев (это напоминало какую-то сцену лова с острогой из Купера) и, докатившись до комнаты, очень ловко попала под ноги мужу, перемещавшемуся откуда-то с газетой, заставив его рухнуть плашмя, а сама откатилась под сервант и выглядывала оттуда с удивительно уютным видом, как бы спрашивая: чего это вы, хозяева, взгомозились? что у вас за шум, а драки нет? Хозяйка кинулась за ней, но дом качнулся в обратную сторону, и салака, использовав своего распластанного хозяина как горнолыжный трамплин, гордо взмыла в воздух, прогудела у хозяйки мимо виска и снова оказалась на кухне, где в момент ее прибытия что-то рухнуло, так что любая грамотная баллистическая экспертиза по звуку вычислила бы траекторию салаки и ее нынешнее местонахождение. Но жена была больше по закупкам, чем вычислять траекторию, а тут как раз в дверь кто-то зазвонил, и хотя ее пластающийся муж кричал, чтоб никого не пускала, потому что мало ли кто там сейчас, но она почему-то от потери соображения рассудила, что это кто-нибудь из профессиональных ловцов салак, как бывает, что обходят по подъездам люди, ориентированные на мышей, и что, возможно, это сам Павел Сергеевич, чьи успехи в одолении рыб были известны.

Это, правду сказать, не был Павел Сергеевич, потому что истинный Павел Сергеевич со своего шестого этажа в этот момент с оцепенением смотрел, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник, как их дом, этаж за этажом, уходит, трясясь и стеня, в кипящую землю, но она этого не знала и предупредительно крикнула в дверь, что все, что ему доведется в этом доме поймать, принадлежит ей, и только на таком условии она его впускает. В дверь веско вошел Недоручко В. А., 1956 года рождения, все еще с каслинским литьем в размозженной голове, и представился Сергеем Михайловичем. Он оказался среди людей, на том свете по недоумию возбужденных проповедями Терентия Гальбы, – до того, что решил проверить, так ли яростно и интересно все в этом мире, который ему не вовремя привелось покинуть, и какими-то путями выполз оттуда через подвал, мертвецки пахнущий лежалой картошкой. Жена, смущенная состоянием его головы, по которой видно было, что профессиональных знаний в ней немного уцелело, а те, что есть, заветрились, все же пустила его в дом, поскольку он выказал такое намерение, и гостеприимно сказала: «А вот тут у нас салака». На мебель Недоручко смотреть не стал, недружелюбный к человеческому искусству с тех пор, как, встретившись с настоящим Плутоном, он увидел, до какой степени на него не похожа та отливка, что сидела у него в голове, так что если бы милиции понадобилось найти его по этому портрету, она ничего бы не добилась, – но салаку пошел посмотреть с интересом, потому что, будучи нрава созерцательного, часто сидел у Стикса, наблюдая, какие странные породы берут там на мотыля. Сев на корточки, он с интересом оглядывал кухню в этот ракурсе, ища, откуда блеснут салачьи зубы с прилипшей паутиной, но в дверь опять

зазвонили, и он, сказав, что откроет, пошел и распахнул дверь перед скелетом, которого наготу ничто не прикрывало, кроме галстука, и если жена самонадеянно претендовала на все, что попадется Сергею Михайловичу в ее доме, то тут она поняла, что сразу надо было очертить круг притязаний, чтобы не было непонимания в дальнейшем. Что не стоит пускать скелет в дом, они как-то сразу все поняли, но он, никого не спрашиваясь и видя, что тут весело, хотел было перенести костяную ногу через порог, как вдруг те самые трубы, что обусловили цветение странных орхидей в квартире одного человека, с сатаническим шипом пустили кипящую струю поперек двери, и пройти сквозь нее стало невозможным. Эта струя размыла купленный давеча хозяином торт «Тирамису», приготовленный по старинной технологии, со всеми теми афродизиаками, которым он обязан своим названием, и пролетавшие над пахучим кипятком мухи, забыв о первоначальной цели полета, с обезумевшими глазами начинали гоняться друг за другом. Стоя по обе стороны того, что в старых вузовских учебниках литературы назвали бы «пряно-эротической струей», обитатели квартиры, с одной стороны, и скелет при галстуке, с другой, не видели, как возникший на лестничной клетке призрак Серафимы Павловны, с бесплотною улыбкой поглядев на их стояние, в знак прощания наклонил голову, через которую видно было синюю краску лестничных стен, и пошел дальше вниз, к подвалу. В это время дом дал новый крен, и салака, опрометью прокатившись по настороженной квартире, ввергласъ с огненными брызгами в дымную ширь меж дверей, выскочила оттуда с выражением самой недвусмысленной похоти на длинном лице и накинулась на хозяйку, мало стесняясь присутствием ее мужа. Та, однако, не будь дура, выхваченным

из Недоручки каслинским литьем убила салаку влет, и с лицом, разгоревшимся от охоты и действительно прекрасным в эту минуту, вставила чугунного Плутона обратно в паз, сказав: «Спасибо, Сергей Михайлович». Со смешанным чувством смущения и облегчения покидаем мы эту историю. Все шло, нет – летело к концу. Петров, решившийся-таки выскочить из квартиры, поскольку гнев оказался в нем деятельнее страха, бежал, задыхаясь, вверх по лестнице, следом за улетающими брюнетками, в то время как дом, внутри которого он бежал, с той же стремительностью двигался в противоположную сторону. От жены, углубившейся в свое внезапное бессмертие, как в самое большое испытание из тех, что ей выдавались, он, тигриным скоком расстилаясь над лестницами, мимо мертвых глаз, уставленных на него из подвала, мимо кипящих сладострастием загробных рек, на чьих заливных лугах чугунный Плутон, восстав из чьей-то головы, победно овладевал плачущей племянницей, средь вдовьего стона несущих конструкций, мимо страшных руин Серафимы Павловны и таких же, но умиротворенных руин Ивана Петровича, подле которых уже никого не было, мимо запертой двери Павла Сергеевича, из-за которой неслись крики, что он еще так молод, и наступающих на лестничную клетку джунглей одного человека, мимо всех тех людей, с их бедной опытностью, которые квартировали здесь и чье сердце неотступно находилось в чьих угодно руках, только не в их собственных, Петров, с неистово бьющимся сердцем, вслед за извивающейся брюнеткой вынесся, выбив головой люк, на самую башенку и застал еще тот момент, когда с вершины дома, торжественно и мрачно погружающегося в кипящие пропасти земли, можно было видеть спокойное небо субботнего вечера и красное солнце, укрывающееся за

соседними домами. Хочется надеяться, что Петров успел застать это мгновенье, в котором, кроме него, никто больше не присутствовал, и услышать, стоя со свернутой газетой на краю обреченного дома, как в раскинувшемся воздухе незримый филармонический хор, весь стоявший разутым, твердит ему о любви. Все это продолжалось очень недолгую секунду, а потом последний треск возвестил об окончательной гибели дома №37, поглощенного вечно голодной матерью-землей. Замешкавшаяся над башенкой брюнетка заложила круг, наклоняясь над тускнеющим зерцалом городской пучины, но тут рука Петрова, выдернувшаяся из грунта, последним усилием ухватила ее за стройную ногу, – и с гортанным криком, маша в воздухе оставшейся ногой, она повлеклась за неумолимым победителем к новым местам жительства, пока тяжелые земляные буруны, с пеной грязного снега на гребнях, не сшиблись и не успокоились над ее головой.

Глава пятнадцатая,

в которой ничто, кроме переговоров со слонами, не мешает Генподрядчику довести эту историю до конца

Генподрядчик, интимно дохнув в домофон, который ничем ему не ответил, пожал плечами и начал подниматься по лестнице. На лестничной клетке первого этажа стоял человек с совком в руках. «Все снится, – сказал он, завидев Генподрядчика. – Один и тот же. Говорит: вставай, говорит, Петров и ходу отсюда, пока не поздно. А зачем, не рассказывает». «Да, – сказал Генподрядчик. – Говорят, на закате спать вредно. А может, и правда, развеяться как-то, проехаться, в самом деле». «Да жена ведь, – приглушенно сказал тот, с тоской оглянувшись в глубь квартиры. – Куда денешься». «Да, – снова сказал Генподрядчик. – Бывает». Тот вздохнул и бодро спросил: «Замазкой не интересуетесь? Хорошая. Залежи остались». «Спасибо. Может быть, в другой раз». Человек с совком еще вздохнул и задом скрылся в квартире. Генподрядчик выбрался из дому знакомой дорогой. Прораб ждал его посреди двора, по-хозяйски ковыряясь носком в асфальте. «Что так долго-то, – сказал он. – Я уже волноваться начал». «Правда, долго?» – спросил Генподрядчик. «Да, не соврать, минут сорок, – сказал Прораб, глянув на часы. – Что делал-то?» «Так», – неопределенно сказал Генподрядчик, с выражением лица, означавшим то же самое. «Водителя я отпустил, – сказал Прораб. – У него рабочий день до шести. Пешком пойдем, здоровее будет». Незнакомый им человек, понурив голову в серой шапке, прошел мимо и скрылся в подъезде. Это был некогда известный читателю, но давно им забытый дядя Паша. Он бывал здесь часто с той поры, как племянница, выйдя замуж, уехала то ли в Череповец, где у ее мужа были все родственники, то ли еще куда-то. Именно здесь, когда дядя Паша однажды ночевал, произошла известная история со слоном. Собственно говоря, ее исходная ситуация, лишившаяся, как свойственно притче, всяких черт местности, хо-

рошо известна отечественному любителю. Человек в ходе продолжительного запоя выходит ночью на балкон и видит во дворе пасущегося белого слона. Он перестает пить, больше года ведет образ жизни, удивляющий родных и знакомых, и лишь по случайности узнает, что в то время к ним в город приезжал странствующий цирк, а слона держали в теплую погоду на заднем дворе, чтобы он мог развеяться. Немногие знают, что человеком, бросившим пить из-за увиденного слона, был известный дядя Паша и что, увидев слона, он не сразу пережил пищевой кризис, а сначала попробовал заговорить с животным и провел в общении с ним несколько небесполезных минут.

– Слышь, земляк, – позвал он, сев на корточки и высунув тяжелую голову между приятно холодящими балконными прутьями, – ты что, слон?

– Ну, любезнейший, – откашлявшись, приятным академическим баритоном сказал тот, – что, собственно, значит «слон». Давайте как-то определимся с понятиями, если вы хотите поговорить об этом. Надеюсь, – прибавил он, покосившись на дядю Пашу, – вы задали этот вопрос не из бессмысленной вежливости и в ваших устах он значил нечто большее, чем «как дела» или «как вы себя носите», по выражению наших коллег-французов.

– Нет, ну что значит «слон», – сказал дядя Паша. – Тут ведь что есть, то есть, ничего не попишешь. Нельзя, как говорится, уйти от очевидного.

– Что мы, в самом деле, – досадливо сказал слон, – как дети малые. Во-первых, нельзя на основе наблюдений за одной особью делать заключения о виде. Как вы отделите случайные признаки от необходимых? Может, у меня хобот – фамильная черта, как у Габсбургов нос? А во-вторых, насчет очевидного, – я столько раз

на своем веку от него уходил, что, скажу вам, от него-то уйти всего проще! От чего другого еще помучишься, и так попробуешь, и этак, а от очевидного – это плевое дело!

– А почему вы случайные признаки прямо отождествляете с индивидуальными? – насторожился дядя Паша, чья умственная сфера испытывала благотворное влияние балконных прутьев. – Как же вы объясните взаимодействие индивидуальных и видовых форм, если между ними такое неравенство?

Слон посмотрел на него с интересом.

– Вижу, что недооценил вашей пытливости, – признал он. – Будем считать, это я сгоряча сказал. Давайте отрешимся от этого вопроса, чтоб не сбиваться, и вы сейчас дадите скоренько рабочее определение слона, а я готов обсуждать, кто тут слон, а кто нет.

Дядя Паша подумал.

– Слон – это животное, – уверенно сказал он. – Семейства слоновых, – добавил он зачем-то, тоскливо оглянувшись.

– Э, нет, – запротестовал слон, – мое семейство оставимте в покое – я так понимаю, вы на него намекаете – потому что этак мы до Страшного суда будем круги нарезать. Без тавтологий, если можно.

– Ходит на четырех ногах, – безнадежно продолжил дядя Паша.

– А если встанет на две? – перебил слон, – в цирке видели, должно быть, такой номер: что же это, хлоп – и не слон? Это что, аттракцион такой, «Был слон – и нету»?

– Не менее чем на двух ногах, – поправился дядя Паша.

– Другое дело, – удовлетворился слон. – На одной-то, конечно, трудновато.

– Обладает большими ушами, – перечислял дядя Паша, – и хоботом, образованным из губы и носа, который вследствие своей эластичности может принимать разнообразные формы.

– Вот тут я-таки позволю себе естественный вопрос, – сказал слон. – Хобот, он где кончается?

Дядя Паша не понял.

– Где ноздри, – сказал он.

– Нет, – сказал слон. – Где ноздри, это самоочевидно. С обратной стороны, где слон. Там где кончается хобот?

Дядя Паша не знал.

– Вот здесь уже слон? – спросил слон и показал на себе хоботом, что, в общем-то, ему ничем не грозило. – Или еще хобот? А здесь? – спросил он, показав дальше вглубь слона.

– Не знаю, – признал дядя Паша.

– Хорошо, – откомментировал слон. – Вернемся. Какие еще признаки вы собирались перечислить?

– Все уже, – сказал дядя Паша. – Ну, еще кожа голая. Набирает в хобот воду и живет в Африке.

– В Индии еще, – напомнил слон. – Так, значит, все? Прекрасно. Позвольте мне обобщить ваше описание. Слон – это минимум двуногое животное без перьев, часть которого может принимать разные формы, причем границы этой части невозможно установить с точностью. Вследствие чего соотношение этой части с целым остается крайне проблематичным. Так?

– Так, – сказал дядя Паша. – Вроде.

– Таким образом, – сказал слон, с удовольствием щуря умные глаза. – Слон – это нечто, способное в своей неопределенной части, в пределе равной целому, усваивать себе любые социально приемлемые формы. Оно живет в разных местах, везде упорно наливая в себя воду.

И у него есть семья, которая любит его даже и такого. Вот что, дорогой незнакомец, вы имеете в виду, когда, стоя на балконе, беспечно произносите «слон». Вы подумайте, стоит ли пользоваться этим словом так вот огульно, или, может, вообще отложить его в пассивный словарь до разъяснения, от греха подальше?

– Я отложу, – обещал дядя Паша, судорожно сглотнув. – Отложу, вот крест.

– Вы поймите, дорогой, – вкрадчиво сказал слон. – Слон – это ведь не просто так, что вы вот вышли на балкон, а он тут стоит. Нет. Слон – это проблема самоопределения. Всякое познание неизбежно пользуется способом отрицания, это уж так повелось. Я – не стол, по тем и тем причинам, я не птичка-завирушка из-за того-то и того-то. Но если предмет, от которого вы хотели оттолкнуться, вдруг оказывается трясиной под цветами? Как же вы выберетесь? Кем же вы будете? Заметьте, мы взяли первое попавшееся – а ведь мало ли что тут могло попасться? Тут ведь муфлон мог стоять! у нас ведь есть один, его просто сегодня гулять не пустили за плохое поведение! Или даже сорокопут какой-нибудь! А? как тогда?

И тут дядя Паша, сместившийся по балкону правее, вдруг заметил по ту сторону слона что-то шевелящееся и с лопатой.

– Эй, – грозно сказал он, – ты там кто такой умный?

– Я-то, – сказали там, выходя на обзор. – Я что, я сторож.

– Так это ты, негодяй, со мной тут перетирал? – недружелюбно сказал дядя Паша. – А не он?

– Я, – безмятежно сказал сторож. – Ну, ты сам подумай. Если б слон разговаривал, его как загрузили бы аттракционами. Так он, может, и умеет, да помалки-

вает. Слоны, они тоже не дураки. Это можно было даже в определении отразить.

– А чего ты меня доставал своими определениями? – все еще негодовал дядя Паша. – Что ж ты, смеялся надо мной?

– Нет, ну как можно, – сказал сторож. – Просто молодость вспомнилась. Тень императора встала. Я ведь кандидатскую об этом писал. «Прогрессивное учение Аристотеля о логическом определении».

– Так ты философ? – переспросил дядя Паша. – А чего за слоном подбираешь? Это такой мысленный эксперимент или просто с природой сливаешься?

– Как ты скажешь, – ответил сторож, – вследствие эластичности. Платят больше, чем в вузе, – пояснил он, – а зоопарк такой же.

Дальше их разговор теряет для нас занимательность.

Генподрядчик с Прорабом шли по улице. «Ну, как там? – спросил Прораб. – Внизу?» Генподрядчик повел лицом. «Непросто», – сказал он. «Что делать будем?» – спросил Прораб. «Завтра что у нас, пятница? – спросил Генподрядчик. – Так вот, давай до завтра. Я чего-то устал». Кругом кипела вечерняя городская жизнь. Какой-то человек перебегал дорогу, налетевшее такси зацепило его за пуговицу и поволокло за собой, ударяя о столбы и урны с пыльными окурками. Он проволокся метров пятьдесят, все меньше протестуя, пока наконец такси не затормозило, таксист выбросился из него и побежал в дом культуры, убедительно прося убежища. Негодующие и стенающие люди обступили истерзанное тело несчастного, все в облупившейся краске от столбов и клочьях дряни; он, полузакрыв глаза, блаженно улыбался бледным ртом и шептал, что это правильно, это он расстроил своего отца, когда тот вернулся с военных сборов, и вот пришло заслуженное

возмездие. С тревожным ревом подлетела «Скорая помощь», из нее выпорхнула медсестра в халатике, уютно шуршащем на ее розовом теле, села на грудь распластанного по тротуару несчастливца и, осторожно разжав ему зубы, вложила в рот зелененькую витаминку. Человек вздохнул и порозовел, его рука принялась неуверенно ощупывать свежие изменения на теле, включая медсестру. Раны ощутительно рубцевались. Медсестра утверждала, что человек должен на ней жениться, и спрашивала, чувствует ли он себя сейчас на это способным; он отвечал, что, кажется, чувствует, но, впрочем, еще одна витаминка ему бы не повредила. Витаминка была ему предоставлена. Медсестра настаивала при этом, чтоб он принял в браке ее фамилию, поскольку нельзя, чтоб ее род пресекся, а он просил хотя бы о том, чтобы взять двойную, причем, разумеется, ее часть будет на первом месте. Медсестра оказалась по фамилии Костяная, мужчина под ней был Эдуард Скакун, о чем предоставил паспортное свидетельство, фамилию Костяной-Скакун он с минуту пожевал во рту и нашел ее не лишенной размаха. Медсестра поднялась, отряхнула коленки и стала звать окружающих на свадьбу, в знак праздничной щедрости раздавая всем по витаминке. Генподрядчик с Прорабом специально сделали крюк, чтобы им не досталось. У одного мужчины, съевшего свадебный подарок, оконный карниз в руках превратился в целых два, и он поспешил домой, перегораживая улицу большой буквой Х из разъезжающихся карнизов и в сердце своем благословляя удачный вечер плохого дня. У другого кочан капусты в портфеле приобрел человеческие черты и принялся обещать такое, что выходит за рамки предпринятой нами работы. У третьего (им был таксист, осторожно вышедший из храма культуры под раздачу витаминок) отросли не-

большие золоченые рога, что кажется для этого романа несколько однообразным. Сначала он стеснялся их и прятал под носовой платок, но потом старожилы вспомнили древнее пророчество, согласно которому человек с такими рогами некогда станет директором лыжного проката в соседнем квартале, и таксиста, несмотря на его стыдливые попытки отбиваться, поднятого на руки, понесли в соседний квартал, где он тотчас принял дела. Одну женщину, плакавшую оттого, что у нее умер муж, превратили в реку, чтоб не отравляла людям праздничного дня, и она, забыв обо всем, державно потекла через город, одетая в гранит, и приезжие тотчас принялись искать на ней моста для поцелуев. Смотреть на это было утомительно. «Как много в людях наносного, – с осуждением сказал Прораб. – Какое-то роевое поведение. Нельзя так». «В самом деле», – сказал Генподрядчик. Они с Прорабом расстались на углу улиц 21-го Марта и Ветчинной, где их дороги расходились; Прораб обещал завтра позвонить и пошел домой воспитывать сына, занимавшегося с «Плейбоем», причем Генподрядчик на прощанье просил его строго с ребенка не взыскивать. Он шел по своей улице, невнятно напевая. Жена открыла ему дверь. «Ужин готов», – сказала она. Он вымыл руки и прошел на кухню. «Мыши завелись, – сказала она. – По столу бегают». «Топить», – лаконически решил Генподрядчик. «Догони сперва, – предложила жена. – А от них, между прочим, туляремия. Они хлеб обгрызают». «Змейку надо купить, – сказал Генподрядчик. – Это сейчас модно. Есть такие породы, специально натасканы на это занятие. И с людьми в прекрасных отношениях. Их даже можно на приемы надевать. Медленным кольцом скользят вокруг шеи». «Я не люблю змей, ты знаешь, – сказала жена. – Они возбуждают во

мне гадливость». «Если удалить из мира все, что возбуждает в тебе гадливость, – сказал Генподрядчик, – то его прославленное богатство окажется в значительной мере под вопросом». «Почему мне одной все неприятности», – с выражением сказала она. «Они пользуются для этого знаками, известными им одним», – укоризненно сказало радио. «Намечая их напротив себя, так далеко, как хватит глаз», – рассеянно сказал Генподрядчик. «Ты это к чему?» – спросила жена. «А? Нет, это я просто так. Спасибо», – сказал он, вставая из-за стола. «На здоровье», – отвечала она. В коридоре он задержался и пристально посмотрел на обои. Смутное влечение его тревожило. Он успел уйти в комнату и сесть на диване, со вздохом, означавшим конец рабочего дня, прежде чем осознал, что это чувство толкает его вон из дома, на потемневшую улицу. Он почти выбежал из дому, сказав удивленной жене, что скоро вернется, и, бормоча, натягивал пальто на лестнице. Есть где-то, казалось ему, такая комната, в которой скрыты для него все объяснения всего, что с ним было и что вроде бы ни для чего не требовалось, и что надо эту комнату найти. «От судьбы не уйдешь», – бормотал Генподрядчик. Он шел по улице. Что-то тревожное чувствовалось в воздухе. Под стенами домов вспыхивали бледно-зеленые огоньки, не дававшиеся в руки человеку. Шнурки развязывались. На кухнях из кранов тек портвейн, не приносивший забвения. Люди смотрели так, будто с Генподрядчиком были когда-то знакомы и теперь силились сами вспомнить или чтоб вспомнил он. Ветер подымался, на угрюмом небе впервые за долгие недели видно стало голубые закраины, в которых пробивалось заходящее солнце, и от этого некоторым казалось, что наконец настанет зима, как положено. Генподрядчик почти ма-

шинально нашел нужный дом и поднялся до квартиры. Шаги на его звонок вышли не сразу и долго возились под дверью, косясь в глазок. «А это кто», – сказали там с интонацией, обозначавшей скорее гипотетическое утверждение. «Это я», – сказал Генподрядчик со всей силой закона тождества. На это дверь приоткрылась на цепочке, часть автора выставилась в нее. «Чем могу», – сообщила она. «Откройте, дело есть», – сказал Генподрядчик. «Э, нет», – завела она свою обычную песню, но тут Генподрядчик, пробормотав что-то сквозь зубы, с той неожиданной силой, с какой, ударив из засады, рубил он врагов в битве при Великих равнинах, порвал рукой железную цепочку и вошел в квартиру, откинув ошеломленного автора. «Эт-то что такое, – сказал тот, с шипением потирая ударенную руку. – Это разбой форменный. За это вы поплатитесь еще». «Оставьте бредить», – с холодной брезгливостью сказал Генподрядчик, намереваясь пройти из прихожей в комнату, но автор с гортанным криком неприязни стал у него на пути. Генподрядчик надавил, автор подался, и Генподрядчик прошел было сквозь него, но увяз. Они пошатнулись. Противоестественное единство, смотревшее двумя искаженными удивлением и нелюбовью лицами, авторовым – на открытую входную дверь, с двумя шевелящимися огрызками цепочки, уже начавшими жить самостоятельно, генподрядчиковым – на окно, за которым, если можно так выразиться, догорал закат, схватилось двумя право-левыми руками за стену, а еще двумя сделало в воздухе противоречивый жест. Молчаливое остервенелое сцепление двух тяжело изумленных людей выстрелило ажурной струйкой дыма, поднимавшегося из их среды и стлавшегося по потолку. Они закружились; цвет их сменился с вишневого на алый, пробивающий ослепительно-белыми вспышками. Нако-

нец, загоревшись открытым пламенем, радостно пожиравшим недоконченные бумаги на столе, они прокатились по комнате до окна, вышибли его и выпорхнули с тесного балкона новой звездою, которая запнулась было от непривычки, но с ликованьем новизны прочертила по ясному ночному небосводу длинную дугу до предреченного ей места, на мгновенье затмив старинный, уверенный огонь Венеры.

январь 2007

Оглавление

Книги издательства Salamandra P.V.V.

Джозайя Флинт. Хобо в России. 108 с., илл.

Воспоминания американского писателя-бродяги Джозайи Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной полиции и генерале Куропаткине. Первый перевод на русский язык.

А. Я. Гуревич. Москва в начале XX века: Заметки современника. 212 с., илл.

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала XX века.

Борис Херсонский. Новый Естествослов. 154 с., илл.

Новая книга известного поэта, автора более десяти поэтических сборников, содержит вариации на тему Естествослова-Бестиария и представляет собою поэтические переложения средневековых текстов.

Роман Шмараков. Под буковым кровом. 208 с., илл.

В этой книге доктор филологических наук и прекрасный переводчик античной поэзии Роман Шмараков представляет свои прозаические опыты – семь изысканных и стилистически безупречных новелл, действие которых переносит читателя из древней Греции в

Германию XVIII века, Италию времен Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнадцатого.

Дилан Томас. Собрание стихотворений 1934-1953. 258 с., илл.

Первый полный перевод на русский язык канонического собрания стихотворений одного из величайших английских поэтов XX в. Дилана Томаса, отобранного самим Томасом в качестве поэтического наследия. Переводы известного поэта и переводчика Василия Бетаки снабжены подробными комментариями и статьей о жизни и творчестве Томаса.

Кики. Мемуары Кики. 243 с., илл.

Самая знаменитая натурщица XX века, она вдохновляла Сутина и Модильяни, Фуджиту и Кальдера, Брассая и Пикабиа, была возлюбленной Ман Рэя, подругой Жана Кокто и Макса Эрнста и удостоилась титула «королевы Монпарнаса». Первый русский перевод откровенных мемуаров Алисы Прен, прославившейся под именем Кики (1929), дополнен в нашем издании предисловиями Эрнеста Хемингуэя и Фуджиты, подробными комментариями и другими материалами, а также мемуарными отрывками, написанными Кики в 1950 г.

Редьярд Киплинг. Избранные стихи из всех книг. 331 с., илл.

Книга, подготовленная к изданию поэтом и переводчиком В. Бетаки, включает лучшие стихотворения Редьярда Киплинга из всех его книг в наиболее удачных поэтических переводах. Некоторые стихотворения представлены в двух-трех переводах. В книге есть и старые, давно полюбившиеся русскому читателю переводы, и немало совсем новых. Многие стихотворения Киплинга, никогда не переводившиеся на русский язык, представлены в этой книге впервые.

Я. Эйхенбаум. Гакраб (Битва). Поэма о шахматной игре. 97 с., илл.

Первое откомментированное издание курьезной поэмы о шахматной игре просветителя и поэта XIX в. Я. Эйхенбаума, деда выдающегося филолога и литературоведа Б. Эйхенбаума. Рисуя сражение между армиями древних воителей Хебера и Коры, автор описывает ход эф-

фектной шахматной баталии с неожиданной концовкой (воспроизведение этой партии на шахматной доске доставит читателю немалое эстетическое наслаждение). Книга снабжена предисловием Б. Эйхенбаума.

В. Бетаки. В поисках деревянного слона: Облики Парижа. 284 с., илл.

Эта книга, рассказывающая об истории, архитектуре, искусстве и многоликом облике Парижа, родилась из цикла радиопередач, которые поэт Василий Бетаки вел в семидесятые-восьмидесятые годы. «В поисках деревянного слона» – признание в любви к городу, где автор прожил более 35 лет.

Книги серии «Gemma magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма»:

Райские цветы, помещенные в седми цветниках. 80 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. I).

Первая книга серии «Gemma Magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма» знакомит читателя с редкостным масонским изданием – переводом мистического шедевра XVII в. «Херувимский странник».

История доктора Джона Фаустуса. 40 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. II).

Впервые на русском языке – перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году.

Крата Репоа. 100 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. III).

Первое за почти 100 лет полное переиздание знаменитого трактата «Крата Репоа» – таинственной книги, которая оказала глубокое влияние на судьбы европейского и русского масонства XVIII-XIX веков и стала «фундаментальным документом» европейской эзотерики в целом.

М. И. Попов. Описание древняго славенскаго языческаго баснословия, собраннаго из разных писателей, и снабденнаго примечаниями. 80 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. IV).

«Описание древняго славенскаго языческаго баснословия» (1768) одаренного писателя, поэта и переводчика М. И. Попова стало одним из первых сочинений, ре/конструировавших мифологический пантеон, демонологию и народную магию древних славян. С XVIII в. этот важный источник оставался труднодоступен для широкого читателя.

Артур Конан Дойль. Пришествие фей. 241 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. V).

Словно великий сыщик Шерлок Холмс, сэр Артур Конан Дойль, блестящий писатель и убежденный спиритуалист, расследует в этой книге историю с фотографиями фей, сделанными в первые десятилетия XX в. двумя девочками из глухой английской деревушки. Первый полный и откомментированный перевод на русский язык.

Джон Ди. Рог Венеры. Священная Книжица черной Венеры. 68 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. VI).

Первый русский перевод любопытного гримуара XVI века, чье авторство приписывается выдающемуся английскому ученому и эзотерику, советнику королевы Елизаветы I, герою многих книг и легенд

Джону Ди. В этой магической книге рассказывается, как с помощью ритуала «Рога Венеры» вызвать демонов и заставить их повиноваться и разыскивать спрятанные сокровища.

Ильин А. Я. Из дневника масона 1775-1776 гг. 54 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. VII).

Дневник А. Я. Ильина – ценный исторический документ, рассказывающий о повседневной жизни и деятельности масонского мастера последней четверти XVIII столетия. Подготовленный к печати в начале минувшего века известным историком В. И. Саввой, дневник Ильина впервые за более чем 100 лет публикуется в полном объеме, с включением масонского шифра – «Литер ордена В.К.».

Гримуар заклинания духа места. 41 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. VIII).

Французская рукопись XVII века под названием «Гримуар заклинания духа места» в последнее время привлекает к себе растущее внимание. Этот необычный гримуар сочетает языческие и христианские мотивы с элементами народной карнавальной обрядности и традициями магико-гримуарной литературы, идею жертвоприношения с церемониальным ритуалом вызывания духов. «Гримуар заклинания духа места» впервые переводится на русский язык.

Книги серии «Библиотека авангарда»:

Владимир Гольцшмидт. Послания Владимира жизни с пути к истине. 85 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. I).

Первое современное издание произведений «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта (1891? – 1957), поэта, агитатора, культуриста и одного из зачинателей жанра артистического перформанса. Основатель московского «Кафе поэтов» и создатель памятника самому себе, авантюрист и йог, ломавший о собственную голову доски во время выступлений, Гольцшмидт остался легендарной фигурой в истории русского футуризма.

Филиппо Томмазо Маринетти. Битва у Триполи (26 октября 1911 г.), пережитая и воспетая Ф. Т. Маринетти. 97 с., илл., карта (Библиотека авангарда: Вып. II).

Основатель итальянского футуризма, неистовый урбанист и певец авиации и машин Филиппо Томмазо Маринетти – на фронте итало-турецкой войны. Книга поэтической прозы «Битва у Триполи» в полной мере отразила как литературное дарование, так и милитаристский пафос итальянского футуриста. Переведенная на русский язык эгофутуристом и будущим лидером имажинизма В. Шершеневичем, «Битва у Триполи» не переиздавалась с 1915 г. и давно является библиографической редкостью.

Е. П. Радин. Футуризм и безумие: Параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов. 94 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. III). Факсимильное изд.

Наряду с острой критикой футуризма, понимаемого как мистическое течение, в книге содержится немало ценных наблюдений касательно ряда основных принципов футуристической креативности. Особое внимание автор, психиатр Е. П. Радин, уделяет творчеству В. Хлебникова, а также приводит многочисленные примеры текстов, рисунков и картин душевнобольных. В предисловии к факсимильному переизданию этой редкой ныне книги монография Радина (1914) рас-

сматривается на фоне дискурса «вырождения» и «дегенерации» конца XIX – начала XX вв.

Обвалы сердца. Авангард в Крыму. 187 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. IV).

В книге полностью воспроизводятся четыре футуристических альманаха, выпущенных в Крыму в 1920-1922 гг. поэтом-космистом Вадимом Баяном (1880-1966) – «Радио», «Обвалы сердца», «Срубленный поцелуй с губ вселенной» и «Из батареи сердца». Альманахи В. Баяна, организатора и участника «Первой олимпиады футуризма» (1914) и «героя» одной из пьес В. Маяковского – любопытная и во многом уникальная страница в истории русского авангарда. Приложены воспоминания В. Баяна о «Первой олимпиаде футуристов» и отрывки из мемуарных текстов И. Северянина и Д. Бурлюка. Книга снабжена подробными комментариями и предисловием, в котором биография В. Баяна раскрывается на фоне авангардного движения 1910-1920-х годов.